ИВАН VI АНТОНОВИЧ

Евгений Анисимов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Несчастнейшей из человеческих жизней может быть названа жизнь героя этой книги, императора-младенца Ивана VI Антоновича (годы царствования 1740–1741). Виновный лишь в том, что появился на свет наследником российского престола, ставший в двухмесячном возрасте царем, он процарствовал чуть более года, был свергнут и вместе с семьей посажен под стражу. Весь остаток своей жизни – а прожил он неполных двадцать четыре года – несчастный провел в заточении, причем последние восемь лет – в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. О трагической судьбе «третьего императора» и о России его времени рассказывает в своей новой книге известный петербургский историк, автор многих замечательных исследований по русской истории XVIII столетия Евгений Викторович Анисимов.

- Евгений Анисимов
  - Предисловие
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Заключение
  - Приложения
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
  - Список основной литературы и опубликованных источников
  - Основные даты жизни императора Ивана Антоновича и членов его семьи
  - Иллюстрации и фото
- notes
  - 1
  - 2

- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46

- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90

- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134

- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178

- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222

- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266

- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310

- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354

- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398

- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442

- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486

- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530

- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561

Евгений Анисимов
Иван VI Антонович

Предисловие

В 1747 году при досмотре на таможне вещей возвращавшегося из России в Германию «пуговишного подмастерья» Каспера Шраде в его бауле обнаружилось пять монет с портретом императора Иоанна Антоновича.[1] Подмастерье сразу был арестован и отправлен в Петербург, в Тайную канцелярию. Там его вздернули на дыбу, били кнутом, и он признался, что захотел привезти из России что-нибудь своим братьям, и монеты с профилем юного императора ему показались самым подходящим подарком. По тем временам пуговишник Шраде поступил как настоящий безумец. Это все равно, что теперь на досмотре в Шереметьево предъявить баул, в котором лежат пять гранат Ф-1. Использовать, расплачиваться, принимать и вообще брать в руки монеты с изображением императора, которого по официальной версии вообще не существовало, было категорически запрещено с 1742 года многочисленными манифестами счастливо царствовавшей тогда государыни Елизаветы Петровны. В итоге Шраде поехал не домой, где его тщетно ждали братья, а в Оренбург, с приговором: «На житье вечно». Естественно, что указ обрекал его не на вечную жизнь, а на пожизненную ссылку. Правда, в истории пуговишного подмастерья есть свой подтекст. Он выезжал из России не просто в Германию, а в Брауншвейг-Люнебургское герцогство, и не исключено, что пытался провезти пять запрещенных рублевиков для того, чтобы продать их с выгодой для себя, но просчитался: всякое упоминание этого чудесного германского герцогства вызывало у русских чиновников озноб. Ведь именно оттуда приехал в Россию отец императора Ивана Антоновича принц Антон Ульрих, и отношения у России с этим герцогством были самые напряженные – на престоле там сидел родной брат Антона Ульриха герцог Фердинанд, обеспокоенный судьбой брата, неведомо куда канувшего на просторах России.

Если брауншвейгский пуговишник пострадал по своей глупости или жадности, то множество российских подданных теряли свободу, здоровье и даже жизнь фактически ни за что. Один – канцелярист – поленился пересмотреть свои делопроизводственные бумаги, чтобы вырвать из дела и сжечь, согласно строжайшему манифесту Елизаветы, указы, мемории, записки, письма «с титлом» императора Иоанна Антоновича, а товарищ канцеляриста это обнаружил и донес куда следует. Другой человек, псковский целовальник, привез в Петербург две бочки рублевиков – винный сбор, и при сдаче в казначейство

среди 3899 монет вдруг обнаружилась одна с профилем царя-младенца. Третий, пьянчужка обыкновенный, расплатился с кабацким сидельцем за чарку водки проклятым рублем; четвертый, библиофил, пожалел книгу с посвящением автора юному государю, которое надлежало вырвать и сжечь, а потом дал ее почитать своему коллеге; пятый, священник, вовремя не сдал завалившуюся за сундук «Форму поминовения членов высочайшей фамилии». Она начиналась страшными словами: «Во первых великих ектениях на вечерни, утрени и литургии: *о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем, императоре Иоанне Антоновиче, о благоверной государыне принцессе Анне и о супруге ее…»*,[2] а бумагу нашел убиравший горницу псаломщик… А уж о шестом, обычном болтуне, произнесшем прилюдно вслух имя опального императора или его матери, много и говорить не приходится – таких сотнями хватали и волокли в застенок, чтобы задать три роковых вопроса: «С какими намерениями ты эти слова говорил? Кто тебя этим словам подучил? Кто твои сообщники?», а потом сечь плетью, кнутом, резать язык, клеймить и ссылать в Рогервик, Охотск, Нерчинск, Оренбург – да мало ли было в России «ударных строек», где требовались работные люди без жалованья!

Если бы Елизавета Петровна приказала написать историю XVIII столетия, то глава о царствовании императрицы Анны Иоанновны кончалась бы датой ее смерти 17 октября 1740 года, а следующая за ней глава о счастливо царствующей государыне Елисавет Петровне начиналась бы датой 25 ноября 1741 года. Что произошло между этими двумя датами, было приказано забыть навсегда.

Собственно говоря, истории этого «пропущенного» года с небольшим, в который уложилось все царствование императора Иоанна III Антоновича и одновременно регентство герцога Бирона и правительницы Анны Леопольдовны, и посвящена эта книга. Историография данной темы совсем невелика. Конечно, ни один историк регентства не может обойтись без незаменимого 21-го тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, [3] и, как бы мы ни возмущались (про себя, конечно) вольностью нашего патриарха исторической науки при цитировании источников, а порой – художественно-эпическим изложением материала, все-таки от этого тома, как от печки, танцуют все исследователи. Справедливости ради отметим, что Соловьев был не первым в научной разработке этой темы. Приоритет по праву принадлежит истинному подвижнику – собирателю, публикатору и исследователю «потаенной» истории XVIII века М. И. Семевскому, издателю знаменитой «Русской старины». Его статья

в «Отечественных записках» 1866 года и открывает, по существу, скромную историографию темы, ныне (даже с вкраплениями переводов иностранных авторов XVIII–XIX веков) в значительной мере устаревшую.[4] На сегодня наиболее выверенная история царствования Ивана Антоновича изложена в книге И. В. Курукина «Эпоха „дворских бурь“. Очерки политической истории послепетровской России. 1725–1762 гг.».[5] Эта книга посвящена не только времени регентства, а охватывает всю историю так называемой «эпохи дворцовых переворотов» и является лучшим исследованием этой темы в историографии, как отечественной, так и зарубежной. Автор не стремится (как нередко бывает в науке) построить исследование на уничтожении работ своих предшественников, на вытаскивании и смаковании их вольных и невольных ошибок и неверных прочтений. Но, соглашаясь с трактовками автора понятия «дворцовый переворот» и с другими его тонкими наблюдениями аналитического, обобщающего характера, я все же резко возражаю против оригинальной по замыслу попытки «вычислить» (и отчасти вычертить в виде графиков) некую «парадигму дворцовых переворотов» и тем самым, на основании комплекса известных фактов и современных исторических и сопредельных исторической науке концепций, выявить главные причины ошеломляющей политической «карусели» у российского трона в послепетровское время. Сама затея выведения некоей типологии, как мне кажется, бесплодна, как и другие псевдотеоретические выкладки на материалах истории. Так, многие выделенные автором причины политической нестабильности и «переворотства» в послепетровское время присутствовали в таком же сочетании и в других эпохах русской истории, но тем не менее не приводили к переворотам. Но они же в том же сочетании могут «срабатывать» не только в период с 1725 по 1762 год. И в этом смысле заговор и переворот 29 июня 1174 года, завершившийся свержением и убийством великого князя Владимирского Андрея Боголюбского, мало чем отличается от заговора и переворота 11 марта 1801 года, закончившегося убийством императора Павла I. Словом, мне кажется, что даже самая тонкая и изящная попытка выявить в истории переворотов некие закономерности и парадигмы заведомо обречена на неудачу: она позволяет нам только тешиться иллюзией познания непознаваемой в принципе истории.

Мне кажется, что истоки «дворских бурь» – исключительно в сущности самодержавной власти. В самой сердцевине самодержавного режима, как в яйце жизни и смерти Кощея, заключена личностная, часто неуправляемая, «бешеная» и страшная для подданных неправовая сила. Спору нет, на уровне

законодательства именно эта сила и была источником правовых норм. Не без оснований И. И. Дитятин писал, что попытки водворения законности в системе управления – черта весьма характерная для русской действительности еще с московских времен. Вместе с тем, пишет Дитятин, если отрешиться от юридической сферы, перейти от памятников законодательства к «памятникам самой жизни», то «у вас не останется и тени сомнения в том, что в этой жизни, на всем протяжении этих четырех веков начало законности в „государевом царственном и земском деле“ вполне отсутствовало».[6] В долгой истории отношений самодержавия с законом образовалась роковая замкнутая цепь. С одной стороны, самодержавие возникло и укрепилось в Московский период русской истории вопреки складывавшейся тогда же системе сословного представительства, за счет уничтожения начал сословности, механизмов и атрибутов института земских учреждений. Прекращение деятельности Земских соборов стало следствием усиления самодержавной власти. Именно тогда, в конце XVII века, самодержавие достигло такого могущества, которое позволило Петру I провести свои реформы, не считаясь с потерями и жертвами во имя достижения имперских целей. В ходе этих реформ Петр последовательно избегал восстановления или создания (на западный манер) институтов сословного или иного группового представительства. Источником закона окончательно стала его самодержавная воля. Слов нет, самодержавие было могущественной силой. Созданная на его фундаменте система властвования отличалась колоссальной прочностью и накрепко связывала под единой властью Москвы, а потом Петербурга гигантскую страну (в современных размерах), но с малочисленным (всего 10–15 миллионов человек) населением.

Допускаю, что, возможно, иного способа, кроме самовластного и недемократического, управлять такой страной и ее населением тогда (как, впрочем, и теперь) не было. Не случайно Василий Татищев, Екатерина II и многие другие русские мыслители ухватились за популярный в просветительской литературе «географический фактор», отводили ему особое место в истории становления и существования России как государства. По их мнению, великим государством на таких просторах Россия могла стать только благодаря мощной централизующей, сплачивающей силе «вольного» самодержавия. Нет сомнений также, что многие люди в XVIII веке понимали издержки самодержавной формы правления (степень гуманности которой определялась в конечном счете «добронравием» государя), но были единодушны в том, что самодержавие для России есть если

не безусловное благо, то уж точно – необходимое зло, так же как и то, что прогресс в России достижим не иначе, как исключительно с помощью насилия, принуждения.

С другой стороны, огромная мощь самодержавия, основанная на непререкаемом праве государя править без нормативных ограничений, без определения хотя бы примерного круга компетенции монарха как высшего должностного лица, оборачивалась для русского самодержавия (а вместе с ним и для России) неожиданной стороной, делала его в какие-то моменты беззащитным и слабым. Начиная с 1682 года огромная власть самодержца многократно подвергалась нападкам авантюристов, не раз становилась заложницей стрельцов, гвардейцев и «ночных императоров» – фаворитов. Достаточно было нескольких сотен или даже десятков пьяных солдат, чтобы свергнуть законного государя и возвести на престол нового. Из всех, кто сидел на престоле в XVIII веке, две государыни – Елизавета Петровна и Екатерина II – оказались попросту узурпаторшами – они нарушили все принятые тогда на сей счет юридические нормы, попрали священную присягу, проигнорировали не писанные на бумаге заветы отцов, традиционные «династические счеты». Так, при разных обстоятельствах, в силу вроде бы разных причин, самодержавие, буйно разросшееся за пределами поля закона (на котором худо-бедно, но все же произрастали порядок и законность), оказывалось беззащитным перед незаконными силовыми действиями, становилось подверженным случайностям. Напротив, развитие тех правовых выборных и представительских институтов (земских и иных), которые существовали в России до утверждения самодержавия, могло бы, в принципе, обеспечить русскому царю-императору гарантии неприкосновенности его власти и личности, ибо защита закона и установленных им порядков является институционной обязанностью подобных правовых учреждений. В отсутствии таких учреждений я вижу причины хронической политической неустойчивости в России на протяжении всего XVIII века, да и позже. Это была та высокая цена, которую платило самодержавие за право править без права. [7]

Возвращаясь к историографии темы, скажем о том, что ценной и интересной является и вышедшая в 2000 году книга Л. И. Левина «Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих (История „Брауншвейгского семейства“ в России)». Автор поднял в сущности неизвестный до сих пор пласт брауншвейгских источников по теме. Сведения этих источников, наряду с материалами сборника статей и документов «Брауншвейгские князья в России в первой половине XVIII века» (Gottingen, 1993),

позволяют уточнить картину происходившего в России в 1740–1741 годах. Меньше находок принесла работа автора в российских архивах. Он шел по борозде, ранее уже «пропаханной» бароном М. А. Корфом – современником Пушкина, автором книги «Брауншвейгское семейство», подготовленной в 1860—1870-х годах. Публикацию этой книги Корфа начали издатели журнала «Старина и новизна», но в 1917 году прекратили по независящим от публикаторов причинам. Полностью текст книги Корфа был издан в 1993 году в Москве. Тогда же значительная часть глав рукописи этой книги была заново опубликована Л. И. Левиным под придуманным «завлекательным» названием: «Холмогорская секретная комиссия: Грустная повесть об ужасной судьбе российского императора и его семьи, написанная Владимиром Стасовым для другого императора и извлеченная с архивной полки для читателя Леонидом Левиным» (Архангельск, 1993). Уже из названия видно, что Л. И. Левин считает истинным автором книги (которую почему-то называет повестью) не Корфа, а знаменитого критика В. В. Стасова, работавшего под началом Корфа – директора Императорской Публичной библиотеки, хотя и не приводит убедительных аргументов в пользу своей гипотезы. Вообще же, вопрос об авторстве этой книги непростой. Безусловно, Корф, как многие другие высокопоставленные историки, активно использовал труд своих подчиненных в качестве собирателей архивного материала и его первоначальных литературных обработчиков. Стасов как раз и был таким «литературным рабом», но при всей значительности его труда по обработке архивного материала он не позволял ему претендовать на авторство или хотя бы соавторство – чего В. В. Стасов, кстати, никогда и не делал. Известно к тому же, что, кроме Корфа, рукопись книги читал и правил сам император Александр II, а Стасов, по приказу своего начальника Корфа, аккуратно покрывал пометы государя лаком. Книга Корфа состоит в значительной степени из больших цитат и выписок из архивных дел Тайной канцелярии, ныне числящихся по разряду 6 (Уголовные дела по государственным преступлениям) Российского государственного архива древних актов (РГАДА), и поэтому не утратила своей ценности.[8]

Огромные возможности для исследователя представляют опубликованные источники различного происхождения по данной теме. Во-первых, это достаточно большой (для рассматриваемого отрезка времени) комплекс мемуаров Х. Г. Манштейна, Б. Х. Миниха, Эрнста Миниха, князя Я. П. Шаховского, Э. И. Бирона и др. Переведенные и изданные в XIX – начале XX века, теперь они переизданы в серии мемуаров «История России и дома Романовых

в мемуарах современников XVII–XX вв.».[9] Попутно замечу, что серия эта продолжается уже второе десятилетие благодаря поистине подвижнической издательской деятельности Маргариты Дубовой и превосходит по качеству подготовки текстов и комментария другие переиздания подобных источников.[10] Это существеннейшим образом облегчает работу современных историков дореволюционной России.

Второй большой пласт источников – донесения иностранных дипломатов, в том числе участников событий 1740–1741 годов. Они были опубликованы в сборниках Императорского Русского исторического общества (РИО) в основном во второй половине XIX века.[11] Тексты на языке оригинала и в переводе содержат уникальные сведения, работа с которыми тем не менее требует внимания, здорового источниковедческого недоверия и перепроверки – так субъективны и неточны бывают порой донесения посланников при русском дворе. Особенно интересны донесения французского посланника Шетарди, которые порой противоречат одно другому, и из этого можно извлечь немало выводов и наблюдений. Ценен для нас своими комментариями к донесениям Шетарди и том документов, изданный П. Пекарским, неутомимым публикатором материалов времен регентства Бирона и Анны Леопольдовны.[12]

Третий комплекс источников – следственные дела почти всех главных действующих лиц той эпохи: Бирона, Бестужева-Рюмина, Миниха, Головкина, Остермана, Левенвольде. Особенность этих источников заключается в том, что сановники, которые упекали за решетку своих врагов и допрашивали их, сами бывали замешаны в том, в чем обвиняли подследственных, а потому стремились «скорректировать» ход расследования и оформление его материалов.[13] А затем, спустя год-полтора, они становились фигурантами дел, заведенных уже на них самих. И в том, чтобы распутать образовавшиеся в ходе следствия клубки, в которых нити правды и лжи невероятно перепутаны, сопоставить их с данными, извлеченными из мемуаров, официальных документов, донесений иностранных дипломатов, и восстановить картину прошлого, и состоит увлекательная задача для историка. Ждет ли на этом пути нас успех – судить читателю, которого я и приглашаю к историческому путешествию… в далекое Мекленбург-Шверинское герцогство.

Глава первая
Близкая нам и такая далекая Мекленбургская сторона

История эта начинается задолго до рождения Анны Леопольдовны в 1718 году и уж тем более – до рождения Ивана Антоновича в августе 1740 года. И, чтобы рассказать ее, нам нужно окунуться в самую гущу военных и политических событий, потрясших Европу в годы Северной войны (1700–1721).

В 1711–1712 годах русские войска Петра Великого вместе с союзниками – саксонцами и датчанами – вступили в Мекленбург-Шверинское герцогство, расположенное на севере Германии. Да, к этому времени Северная война России, Саксонии, Польши, Дании против Швеции, начавшаяся под Ригой и Нарвой в 1700 году, докатилась и до Северной Германии. Целью союзников были германские владения Швеции в Западной Померании. Присоединенные к могучему Шведскому королевству по Вестфальскому мирному договору 1648 года, они так и назывались – Шведская Померания. Но Северная война, столь успешно начатая королем-воином Карлом XII, заканчивалась не в пользу шведов. К 1716 году из всех северогерманских владений в их руках остался только город Висмар на мекленбургском берегу Балтики. Его и осадили союзные войска, к которым на помощь шел русский корпус генерала А. И. Репнина.

К этому времени между царем Петром и мекленбургским герцогом Карлом Леопольдом наладились весьма дружественные отношения. Герцог, вступивший на престол в 1713 году, видел большую пользу в сближении с великим царем – триумфатором Полтавы. Во-первых, Петр обещал содействовать возвращению Мекленбургу некогда отобранного у него шведами Висмара. Во-вторых, присутствие русских войск в мекленбургских владениях устраивало Карла Леопольда, так как его отношения с местным дворянством были весьма напряженными и он надеялся с помощью русской дубинки укротить дворянских вольнодумцев, недовольных его тиранническими замашками.

Петр также искал свою выгоду на мекленбургском берегу. Царь не собирался легко и быстро уходить из понравившейся ему Северной Германии – важной стратегической зоны, откуда можно было угрожать не только непосредственно Швеции, но и Дании, которая требовала пошлины с каждого русского торгового корабля, проходившего через созданный Богом, а не датчанами

Зундский пролив при выходе из Балтийского в Северное море. А это не нравилось Петру, мечтавшему об активном участии России в мировой торговле.

И вот 22 января 1716 года в Петербурге был подписан русско-мекленбургский договор, положивший начало истории, о которой пойдет речь в этой книге. Согласно этому договору Карл Леопольд брал себе в супруги племянницу Петра I царевну Екатерину Ивановну, а Петр со своей стороны обязывался вооруженною рукой обеспечивать герцогу и его наследникам безопасность от всех внутренних беспокойств. Для этого Россия намеревалась разместить в Мекленбурге несколько полков, которые поступали в полное распоряжение Карла Леопольда и должны были «оборонять его, герцога, от всех несправедливых жалоб враждующего на него мекленбургского дворянства и их приводить в послушание». Кроме того, Петр обещал подарить своему будущему зятю еще не завоеванный союзниками шведский Висмар. Дело требовало быстроты, и свадьбу решили сыграть, не оттягивая, сразу же после Пасхи 1716 года в Данциге (Гданьске), куда ехал по делам Петр.

Петр Великий был подлинным реформатором России. Он прервал идеологическую, религиозную, политическую и экономическую замкнутость страны и через прорубленное им «окно» довольно грубо вытолкал русских людей на Запад. Одним из нововведений, потрясших русских современников, были международные брачные союзы, которые стал планировать и заключать царь. Как известно, в XVII веке Россия полностью отказалась от браков царственных особ с иностранными женихами и невестами, хотя раньше, в древности, это было делом обычным – вспомним королеву Франции и дочь великого князя Киевского Ярослава Мудрого Анну Ярославну или супругу Ивана III Софью Палеолог. Не раз намеревался жениться на иностранках Иван Грозный, привечал иностранных женихов для своей дочери Ксении царь Борис Годунов. Но ужасные последствия Смуты, история Лжедмитриев, Марины Мнишек, избрания в цари польского королевича Владислава, вообще – нашествие иностранцев в Россию – все это после Смуты, со вступлением в 1613 году на трон Михаила Романова, привело к политике династической самоизоляции. Отныне русские цари женились только на соотечественницах, а русские царевны так и умирали, не изведав сладости и горечи брака, потому что их не выдавали ни за своих верноподданных – как можно, чтобы женщиной царского рода владел государев холоп, пусть даже и знатный! – ни за женихов из иноземных пределов – можно ли отдать царскую дочь или сестру за какого-нибудь «поганого лютора» или

«схизматика-паписта»!

Петр резко переменил династическую политику. Первым делом он поставил эксперимент на собственной семье – подобрал для своего непутевого сына царевича Алексея невесту из древнего германского герцогского рода Вольфенбюттель. Это была Шарлотта Христина София, кронпринцесса Вольфенбюттельская, приходившаяся к тому же сестрой императрице Елизавете Христине – супруге императора Священной Римской империи германской нации Карла VI. Свадьба царевича Алексея состоялась в Торгау в 1711 году. Чуть раньше, в 1710 году, за потомка славного рода курляндских владетелей Кетлеров герцога Фридриха Вильгельма была выдана племянница царя, царевна Анна Иоанновна, ставшая впоследствии императрицей Всероссийской (1730–1740). Намеревался царь Петр выдать за юного французского короля Людовика XV и свою дочь Елизавету – почти ровесницу правнука «короля-солнца». Ее же старшую сестру Анну Петровну царь в 1724 году просватал за голштинского герцога Карла Фридриха. Свадьба их состоялась уже после смерти Петра Великого, в 1725 году, и плодом этого брака стал будущий император Петр III, родившийся в 1728 году в Киле.

Начатая таким образом петровская «брачная экспансия» была рассчитана на далекое будущее. Царь исходил из того, что политические союзы России с державами Европы временны и недолговечны, а вот династические связи Романовых с европейскими правящими домами могут быть надежными и прочными. И хотя история правящих династий Европы говорила, что родство и браки – вовсе не препятствие для распрей даже между ближайшими родственниками, когда воевали с братьями и сестрами, отцами и матерями, Петр все-таки считал очень важным для Романовых влиться в пусть и недружную, но все-таки семью европейских государей. Это было для Петра верным знаком признания «европейскости™» России, ее принадлежности к ойкумене европейского мира. Преемники Петра с таким успехом развили эту «экспансию», что в последнем российском императоре Николае II текла ничтожная часть крови от ветви Михаила

Романова и огромнейшая – от других (в первую очередь – германских) европейских династий. Это, кстати, стало причиной страшного несчастья в семье Николая II – гемофилии наследника цесаревича Алексея. Но вернемся в 1710-е годы.

Брак мекленбургского герцога Карла Леопольда с царевной Екатериной Ивановной был одним из этапов петровской династической политики. Как сообщает «Журнал, или Поденная

записка Петра Великого», «в 8 день <апреля 1716 года> государь, будучи во Гданьске, поутру герцогу Мекленбургскому изволил наложить кавалерию ордена Святого Андрея по подтверждении трактата супружественного, а по полудни в 4 часу щасливо совершился брак Ея высочества государыни царевны Екатерины Ивановны с его светлостью герцогом Мекленбургским при присутствии государевом и государыни царицы (Екатерины Алексеевны. – *Е.А.),* королевского величества Польского (Августа П. – *Е. А.),* также генералитета и министров российских, польских и саксонских и других знатных персон, и ввечеру был фейерверк», который устроил и поджег на рыночной площади Гданьска сам Петр – большой любитель огненных потех.[14]

Молодая жена герцога Мекленбургского Екатерина Ивановна по критериям XVIII века, когда замуж нередко выходили в 14–15 лет, была не так уж молода: она родилась 29 октября 1692 года и, следовательно, вышла замуж за Карла Леопольда в 24 года. Жизнь ее до брака была вполне счастливой. Она появилась на свет в семье старшего брата Петра Великого, царя Ивана V, и царицы Прасковьи Федоровны. После смерти отца в 1696 году четырехлетняя Екатерина вместе с матерью и двумя младшими сестрами – трехлетней Анной (будущей императрицей) и двухлетней Прасковьей – переехала жить в подмосковную усадьбу Измайлово. Здесь, в тиши и покое, в удобном деревянном дворце, среди садов и полей, прошло детство Екатерины. Уже пятнадцатилетней девицей она покинула уютное Измайлово и в числе других родственников царя-реформатора переселилась в его тогда еще неофициальную столицу, Санкт-Петербург, в новую, непривычную для царевен-москвичек обстановку. Но, в отличие от сестер и многих других москвичей, тосковавших на болотистых, неприветливых берегах Невы по обжитой, «нагретой» Москве, Екатерина Ивановна быстро приспособилась к стилю жизни молодого, продуваемого всеми ветрами города. Этому благоприятствовал характер царевны – девушки жизнерадостной и веселой даже до неумеренности. Ей, как, впрочем, и другим юным дамам российской столицы, новые порядки светской жизни, праздники и, конечно, моды были не просто симпатичны, а кружили голову. Вообще же создается впечатление, что не очень уж подавленная «Домостроем» русская женщина XVII века как будто только и ждала Петровских реформ, чтобы вырваться на свободу. Этот порыв был столь стремителен, что авторы опубликованного в 1717 году «Юности честного зерцала» – кодекса поведения молодежи – были вынуждены предупреждать девиц, чтобы они, несмотря на открывшиеся перед ними возможности светского обхождения, соблюдали скромность и

целомудрие, не носились по горницам, не садились к молодцам на колени, не напивались бы допьяна, не скакали бы, наконец, «разиня пазухи», по столам и скамьям и не давали бы себя тискать, «как стерву», по всем углам.

Это было написано как будто для Екатерины Ивановны – девицы, которая была, как нынче говорят, без комплексов, – до нас дошли упорные слухи, ходившие в тогдашнем обществе, что ее прелестями пользовался сам грозный дядюшка – государь Петр Алексеевич. Как и многие другие русские женщины, царевна особенно полюбила петровские ассамблеи и маскарады, где отплясывала с кавалерами до седьмого пота. Маленькая, краснощекая, чрезмерно полная, но живая и энергичная, она каталась, как колобок, и ее смех и болтовня не умолкали весь вечер. По общему мнению, Екатерина, как и две другие Ивановны, умом и образованностью не отличалась. Не изменился пылкий характер Екатерины и позже. «Герцогиня – женщина чрезвычайно веселая, и всегда говорит прямо все, что ей придет в голову», – писал камер-юнкер Берхгольц, придворный голштинского герцога Карла Фридриха. Позже ему вторил испанский дипломат герцог де Лириа: «Герцогиня Мекленбургская – женщина с необыкновенно живым характером. В ней очень мало скромности, она ничем не затрудняется и болтает все, что ей приходит в голову. Она чрезвычайно толста и любит мужчин».[15] Последнее высказывание напоминает знаменитую реплику из «Бригадира» Дениса Фонвизина: «Толста, толста! Проста, проста!»

Во всем Екатерина была совершенной противоположностью своей высокорослой и угрюмой сестре Анне, и, насколько не любила мать-царица Прасковья Федоровна среднюю дочь, настолько же она обожала старшую, которую ласково называла «Катюшка-свет». Именно для того, чтобы удержать подольше возле себя любимицу, царица в 1710 году отдала за курляндского герцога нелюбимую Анну, хотя по традиции принято было выдавать первой старшую дочь. Но в 1716 году настал момент расставания и с Екатериной – отправляясь в конце января из Петербурга в Гданьск, Петр захватил с собой племянницу, которая смело поехала навстречу своей судьбе.

Жених, которому было тогда 38 лет, собственно говоря, ждал другую невесту – он рассчитывал получить в жены более молодую Ивановну – вдовствующую курляндскую герцогиню Анну, потерявшую мужа почти сразу же после свадьбы. Но у царя Петра на сей счет было иное мнение, и он в раздражении даже пригрозил Сибирью мекленбургскому посланнику Габихсталю, который, согласно воле своего господина, настаивал на том, чтобы за герцога была выдана именно Анна.[16] Мекленбуржцам

пришлось скрепя сердце согласиться на кандидатуру Екатерины Ивановны, тем более что Петр сразу же после брачного контракта подписал с герцогом договор о военной и прочей помощи. Это было очень кстати для Карла Леопольда, вступившего в острое противостояние с собственным дворянством: стиль его правления был до того жестоким и беззаконным, таким непривычным для Германии, что дворяне отказывались подчиняться герцогу и жаловались на него во все имперские инстанции (Мекленбург входил в Священную Римскую империю германской нации). Чтобы «укротить смутьянов и бунтовщиков», Карл Леопольд и решил прибегнуть к русской помощи. Петр же, как уже говорилось, тоже хотел закрепиться в Мекленбурге – важном стратегическом пункте, позволявшем иметь выход и к Балтийскому, и к Северному морям. После грандиозных попыток построить Волго-Донской канал идея сооружения в Германии канала, соединяющего эти моря (будущего Кильского), не казалась Петру фантастической. Словом, вокруг брака Екатерины Ивановны и Карла Леопольда шла большая политическая игра, и племянница Петра Великого стала той первой пешкой, с которой царь начал свою партию в Северной Германии.

Естественно, с грозным дядюшкой-стратегом не могли спорить ни вдовствующая царица Прасковья Федоровна, ни Катюшка-свет. Отправляя племянницу под венец, Петр дал краткую, как военный приказ, инструкцию, как ей надлежит жить за рубежом: «1. Веру и закон, в ней же родилася, сохрани до конца неотменно. 2. Народ свой не забуди, но в любви и почтении имей паче протчих. 3. Мужа люби и почитай яко главу, и слушай его во всем, кроме вышеписанного. Петр».[17]

О любви к мужу, конечно, и речи идти не могло: Карл Леопольд этого доброго чувства не вызывал ни у своих подданных, ни у первой жены, Софии Гедвиги, с которой он, кстати, едва успел развестись к моменту женитьбы на Екатерине, да и то благодаря тому, что торопивший дело Петр сам заплатил деньги за развод. Герцог Мекленбургский, по отзывам современников, был человек грубый, неотесанный, деспотичный и капризный, да ко всему прочему страшный скряга, никогда не плативший долги. Подданные герцога были несчастнейшими во всей Германии – он тиранил их без причины и жестоко расправлялся с жалобщиками на его самоуправство. К своей молодой жене Карл Леопольд относился холодно, отстраненно, подчас оскорбительно, и только присутствие Петра, провожавшего новобрачных до столицы герцогства города Ростока, делало его более вежливым с Екатериной. После же отъезда царя из Мекленбурга герцог своей неприязни уже не

сдерживал, потому что брак этот, вопреки обещаниям Петра, не принес ему реальных выгод – русские войска, на которые герцог так рассчитывал, вскоре покинули Мекленбург навсегда. Дело в том, что планы русского царя вызвали серьезную тревогу у соседей Карла Леопольда – в Ганновере и Брауншвейге. Русское присутствие в Северной Германии их категорически не устраивало, как и фигура деспотичного мекленбургского герцога. Петр довольно быстро понял, что его план не удается, что с Ганновером лучше не связываться – с 1714 года ганноверский курфюрст взошел на английский престол под именем короля Георга I, причем связей с родиной не порвал, а наоборот, усилил заботу о ней. Поэтому Петр ушел из Мекленбурга и, в общем-то, бросил Карла Леопольда на произвол судьбы, оставив того перед лицом дворянской оппозиции, которой новый родственник русского царя еще недавно грозил Сибирью. Изменив тактику, царь стал советовать Карлу Леопольду помириться со своими дворянами, действовать осторожно, расчетливо. Но герцог был неисправим, он негодовал на царя и продолжал воевать с собственными дворянами. В конце концов, проиграв все имперские суды, он стал изгоем среди немецких князей.

Естественно, что в сложившейся обстановке герцогине Екатерине Ивановне пришлось несладко. Это мы видим по письмам ее матери, царицы Прасковьи Федоровны, к царю Петру и его жене царице Екатерине. Если поначалу вдовствующая царица благодарила царя «за особую к Катюшке милость», то потом ее письма наполнились жалобами и мольбами. «Прошу у Вас, государыня, милости, – пишет она Екатерине Алексеевне, – побей челом Царскому величеству о дочери моей Катюшке, чтобы в печалях ее не оставил… Приказывала она ко мне на словах, что и животу своему (то есть жизни. – *Е. А.)* не рада…» По-видимому, много плохого пришлось вытерпеть прежде такой жизнерадостной Катюшке в доме мужа, если мать умоляла ее в письмах: «Печалью себя не убей, не погуби и души».[18]

Положение герцогини в Ростоке было чрезвычайно сложным. Карл Леопольд считал, что царь Петр его обманул. Висмар, отнятый у шведов союзниками Петра в годы Северной войны, ему так и не достался, а русскую армию А. И. Репнина союзники – датчане и саксонцы – туда даже не впустили, что стало причиной дипломатических трений. Словом, Петр решил отложить помощь Карлу Леопольду до завершения Северной войны. После заключения Ништадтского мира 1721 года царь писал племяннице в Росток: «И ныне свободно можем в вашем деле вам помогать, лишь бы супруг ваш помягче поступал», – имея в виду застарелую ссору герцога с его дворянством. А еще царь

советовал, чтобы герцог «не все так делал, чего хочет, но смотрел по времени и обстоятельствам». В этом видна мудрость Петра. Сам царь, горячий и часто несдержанный, все-таки умел обуздывать свой нрав во имя высших государственных целей. Но Карл Леопольд был другим человеком, к компромиссам совершенно не способным; он продолжал самоубийственную борьбу не только с дворянством Мекленбурга, но и со всем окружающим его германским миром. Добром это кончиться не могло, да и Петр был раздражен упрямством нового родственника. По переписке самой герцогини Екатерины Ивановны видно, что она, как жена, воспитанная в традициях послушания мужу, поначалу не стремилась бежать из Мекленбурга, да и боялась ослушаться грозного дядюшку-царя. По воле деспотичного мужа Екатерина даже писала письма царю в его защиту: «При сем прошю Ваше Величество не переменить своей милости до моего супруга, понеже мой супруг слышал, что есть Вашего величества на него гнев, и он, то слыша, в великой печали себя содержит». Просила она, чтобы Петр, ведя большую политическую игру на Балтике, не забыл и интересы ее мужа.

Бесправность, униженность мекленбургской герцогини видны во всем – в ее незавидном положении жены человека, которому было бы уместнее жить не в просвещенном XVIII веке, а в пору Средневековья, и в пренебрежительном отношении к ней знати немецких медвежьих углов, называвших московскую царевну «Die wilde Herzoginn» – «Дикая герцогиня», и в повелительных, хозяйских письмах к ней царя Петра, и, наконец, в ее подобострастных посланиях в Петербург. 28 июля 1718 года она пишет царице Екатерине: «…милостью Божию я обеременела, уже есть половина, а прежде половины писать я не посмела до Вашего величества, ибо я подленно не знала».[19] И вот 7 декабря того же года в Ростоке герцогиня родила принцессу Елизавету Екатерину Христину, которую в России, после крещения в православие, назвали Анной Леопольдовной.

Девочка росла болезненной и слабой, и здоровье внучки, ее образование, времяпрепровождение были предметами постоянных забот нежно ее полюбившей на расстоянии старой бабушки-царицы Прасковьи Федоровны. А когда Анне исполнилось три года, Прасковья стала писать письма уже самой внучке. Они до сих пор сохраняют человеческую теплоту и трогательность, которые часто возникают в отношениях старого и малого: «Пиши ко мне о своем здоровье и про батюшкино, и про матушкино здоровье своею ручкою, да поцелуй за меня батюшку и матушку: батюшку в правый глазок, а матушку – в левой. Да посылаю тебе, свет мой, гостинцы: кафтанец теплой для того,

чтоб тебе тепленько ко мне ехать… Утешай, свет мой, батюшку и матушку, чтоб оне не надсаживались в своих печалех, и назови их ко мне в гости, и сама с ними приезжай, и я чаю, что с тобой увижусь, что ты у меня в уме непрестанно. Да посылаю я тебе свои глаза старые (тут рукой царицы были нарисованы два глаза. – *Е. А.),* уже чуть видят свет, бабушка твоя старенькая, хочет тебя, внучку маленькую, видеть».[20]

Тема приезда герцогской четы в Россию становится главной в письмах старой царицы к Петру и Екатерине. Прасковья страстно хочет завлечь дочь с внучкой в Петербург и там оставить, благо дела Карла Леопольда шли все хуже и хуже: объединенные войска германских государств изгнали его из герцогства, и Карл Леопольд вместе с женой обивал имперские пороги в Вене. Помочь ему было трудно. Петр с раздражением писал племяннице весной 1721 года: «Сердечно соболезную, но не знаю, чем помочь. Ибо ежели бы муж ваш слушался моего совета, ничего б сего не было, а ныне допустил до такой крайности, что уже делать стало нечего».

К 1722 году письма царицы Прасковьи становятся отчаянными. Она, чувствуя приближение смерти, просит, умоляет, требует – во что бы то ни стало, она хочет, чтобы дочь и внучка были возле нее: «Внучка, свет мой! Желаю тебе, друк сердешной, всева блага от всево моего сердца, да хочетца, хочетца, хочетца тебя, друк мой, внучка, мне, бабушке старенькой, видеть тебя, маленькую, и подружитца с табою: старая с малым очень живут дружна. Да позави ка мне батюшку и матушку в гости и пацалуй их за меня, и штобы ане привезли и тебя, а мне с табою о некаких нуждах самых тайных подумать и перегаварить <нужно>». Самой же Екатерине царица угрожала родительским проклятием, если та не приедет к постели больной матери, – к этому времени царица была уже серьезно больна. Писала она и государю, прося его помочь непутевому зятю, а также вернуть ей Катюшку-свет. К лету 1722 года старая царица, наконец, добилась своего, и Петр потребовал, чтобы герцогская чета прибыла в Россию, в Ригу. Император писал, что если Карл Леопольд приехать не сможет, то герцогиня должна приехать одна, «понеже невестка наша, а ваша мать, в болезни обретается и вас видеть желает».[21] Воля государя, как известно, закон, и Екатерина с дочерью, оставив супруга одного воевать с его вассалами, уехали в Россию, в Москву, в Измайлово, где их с нетерпением ждала мать и бабушка. Царица Прасковья посылала навстречу дочери и внучке нарочных с записочками: «Долго вы не будете? Пришлите ведомость, где вы теперь? Еще тошно: ждем да не дождемся!» И когда 14 октября 1722 года голштинский герцог

Карл Фридрих посетил Измайлово, то он увидел там довольную царицу Прасковью: она сидела в кресле-каталке и держала на коленях «маленькую дочь герцогини Мекленбургской – очень веселенького ребенка лет четырех».[22] Да, уже в августе 1722 года Екатерина Ивановна с дочерью Анной приехали в Измайлово. Снова Екатерина оказалась в привычном старом дедовском доме, среди родных и слуг. А за окнами дворца, как и в детстве царевны, шумел полный осенних плодов прелестный Измайловский сад.

И мать, и придворные, вероятно, только посмеивались, глядя на Катюшку: жизненные трудности, печали, болезни не сокрушили ее всепобеждающего оптимизма, не изменили веселого нрава общей любимицы. Она была, как и прежде, жизнерадостна и беззаботна. Почти сразу же по возвращении она начинает танцевать, веселиться до упаду. В октябре 1722 года для своих гостей Екатерина устроила спектакль. Она набрала труппу из фрейлин и слуг, заказала у придворных портных костюмы, попросила в долг у голштинского герцога парики и самозабвенно режиссировала спектакль, состоявший, как писал Берхгольц, «не из чего иного, как из пустяков». Примечательно, что во время одного из опусканий занавеса, когда зрительный зал, наполненный приглашенными на спектакль иностранцами, погружался в полную темноту, у Берхгольца украли дорогую табакерку. Полегчали карманы и других голштинских гостей.

Берхгольц в 1722 году писал, что раз, прощаясь с царицей Прасковьей, он имел счастье видеть голенькие ножки и колени принцессы, которая, «будучи в коротеньком ночном капотце, играла и каталась с другою маленькой девочкой на разостланном на полу тюфяке» в спальне бабушки. По-видимому, красавец камер-юнкер очень понравился маленькой прелестнице. 9 декабря того же года Берхгольц записал, что его посетил придворный герцогини и «просил, чтобы я после обеда приехал в Измайлово танцевать с маленькой принцессой, которая все обо мне спрашивает и ни с кем другим танцевать не хочет».

Привезенная матерью девочка-принцесса сразу же попала в обстановку русского XVII века, постепенно терявшего, под натиском новой культуры XVIII века, свои черты. Берхгольц занес в дневник за 26 октября 1722 года запись о визите его господина к мекленбургской герцогине в Измайлово. Екатерина привела голштинцев к себе в спальню, где пол был устлан красным сукном, а кровати матери и дочери стояли рядом. Гости были шокированы присутствием там какого-то «полуслепого, грязного и страшно вонявшего чесноком и потом» бандуриста, который пел для герцогини ее любимые и, как понял Берхгольц, не совсем

приличные песни. «Но я еще более удивился, увидев, что у них по комнатам разгуливает босиком какая-то старая, слепая, грязная, безобразная и глупая женщина, на которой почти ничего не было, кроме рубашки… Принцесса часто заставляла плясать перед собой эту тварь и… ей достаточно сказать одно слово, чтобы видеть, как она тотчас поднимает спереди и сзади свои старые вонючие лохмотья и показывает все, что у нее есть. Я никак не воображал, что герцогиня, которая так долго была в Германии и там жила сообразно своему званию, здесь может терпеть возле себя такую бабу». Наивный, непонятливый камер-юнкер! Екатерина Ивановна выросла в царицыной комнате своей матери, и нравы традиционного окружения русской царицы, люди, его составляющие, – шуты, дураки, убогие – никуда не исчезли. Измайловский дворец хранил старину, несмотря на ветры петровских перемен. И девочка-принцесса оказалась в этой среде, в окружении привычных для бабушки и матери ценностей.

О том, как прожили Екатерина Ивановна с дочерью все годы после своего возвращения из Мекленбурга в Россию и до воцарения Анны Иоанновны, мы знаем очень мало. Не можем мы сказать ничего определенного и о характере девочки. Наверное, она росла обыкновенным ребенком. Известно, что девочка-принцесса вместе с матерью переехала из Измайлова в Петербург. Здесь 13 октября 1723 года скончалась царица Прасковья. Перед смертью, как пишет современник, она приказала подать зеркало и долго всматривалась в свое лицо. Похороны царицы состоялись через две недели и были по-царски торжественны и утомительны: балдахин из фиолетового бархата с вышитым на нем двуглавым орлом, изящная царская корона, желтое государственное знамя с крепом, печальный звон колоколов, гвардейцы, император со своей семьей, весь петербургский свет в трауре. Наконец прозвучал условный сигнал – и высокая черная колесница, запряженная шестеркой покрытых черными попонами лошадей, медленно поползла по улице, которую позже назовут Невским проспектом. Царицу Прасковью до самой Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря провожала вместе с матерью и теткой Прасковьей пятилетняя Анна, которую везли в карете.

Дела мекленбургского семейства после смерти царицы Прасковьи не пошли лучше. Стало известно, что муж Екатерины Карл Леопольд не намерен менять своей самоубийственной политики, и германский император пригрозил передать управление герцогством его брату Христиану Людвигу. Екатерина Ивановна была огорчена и тем, что Карл Леопольд отказывался приехать в Петербург, к Петру, который мог бы помочь «дикому герцогу». Все просьбы герцогини к мужу были бесполезны. Петр

Великий в 1725 году умер, и в конце концов, после долгой борьбы, герцог, не менявший своей «натуры», в 1736 году был лишен германским императором престола, который перешел к его брату. Брауншвейгские и ганноверские войска заняли герцогство, а позже Карл Леопольд был арестован и кончил жизнь в ноябре 1747 года в темнице мекленбургского замка Демниц. С женой и дочерью он после их отъезда в Россию так никогда и не увиделся.

Впрочем, огорчения Катюшки-свет были неглубоки и недолги – ее оптимизм и легкомыслие неизменно брали верх над печальными мыслями, она веселилась, да к тому же и полнела. Берхгольц писал, что как-то герцогиня пожаловалась ему: император, видя ее полноту, посоветовал ей есть и спать поменьше, и она очень страдала от такого бесчеловечного совета. Но, замечает Берхгольц, «герцогиня скоро оставила пост и бдение, которых, впрочем, и не могла бы долго выдержать».

Анна все время жила рядом с матерью, которая при Екатерине I, вступившей на престол в 1725 году, и при Петре II – российском императоре с 1727 по 1730 год, окончательно уходит в тень безвестности, – в этот период Ивановны никого уже не интересуют.

Глава вторая
Новый поворот судьбы

Так и канули бы в безвестность имена наших героинь, как пропал во времени уютный деревянный дворец в Измайлове, если бы в январе 1730 года не произошло чудо: умер Петр II, и державшие власть в руках верховники – члены Верховного тайного совета – пригласили на престол Российской империи вдовствующую курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, тетку одиннадцатилетней мекленбургской принцессы Елизаветы Екатерины Христины.

Довольно быстро, к началу февраля 1730 года, Анна Иоанновна освободилась от тех ограничений власти, которые наложили на нее члены Верховного тайного совета, и сделалась полновластной самодержицей. Вслед за этим с неизбежностью встал вопрос о престолонаследии. Анна не имела детей, по крайней мере законнорожденных, и смерть ее могла открыть дорогу к власти либо дочери Петра Великого цесаревне Елизавете Петровне, либо «чертушке» – так звали при дворе племянника цесаревны, двухлетнего голштинского принца Карла Петера Ульриха, сына умершей в 1728 году старшей дочери Петра Великого Анны Петровны. Этого Анна Иоанновна ни при каких обстоятельствах допустить не могла – она, дочь русского царя, «природная» русская царевна, презирала «выблядков» – бастардов, какими были Анна и Елизавета Петровны, родившиеся до брака Петра с бывшей лифляндской прачкой Мартой Скавронской – Екатериной I. Сама же императрица Анна, давно состоявшая в пикантной связи со своим фаворитом Эрнстом Иоганном Бироном, замуж идти не хотела. Когда в 1730 году вдруг объявился жених – брат португальского короля инфант Эммануил, его подняли на смех и поспешно, одарив собольей шубой, выпроводили восвояси – никто в России даже представить себе не мог, чтобы у самодержицы-императрицы появился муж! Кто же тогда будет над нами царствовать?

И вот тут-то возник довольно сложный вариант решения проблемы престолонаследия, который разработал вице-канцлер Андрей Остерман – мастер хитроумных и запутанных комбинаций, а осуществил обер-шталмейстер граф Рейнгольд Густав Левенвольде. В 1731 года Анна Иоанновна потребовала от своих подданных всеобщей присяги на верность тому наследнику престола, которого в будущем выберет она сама. Поступая так, императрица воспользовалась знаменитым «Уставом о

престолонаследии» Петра Великого 1722 года, согласно которому государь имел право назначить себе в преемники любого из своих подданных. Послушно присягая в том, что от них требовали, подданные слегка недоумевали: кто же будет наследником? Вскоре стало известно, что им станет тот, кто родится от будущего брака племянницы царицы, которой в ту пору было всего двенадцать лет, и ее еще неведомого мужа. В этом-то и состоял хитроумный план Остермана. Это он подал императрице доклад, явно подготовленный по ее поручению, ибо в преамбуле его было сказано: «Чтоб Ея императорского величества известное всемилостивейшее намерение во исполнение приводить, следующее всеподданнейше представляется…» Хотя доклад Остермана не датирован, он, скорее всего, относится к 1732 году, когда Левенвольде отправился в Германию, в Брауншвейг. Ему было поручено передать принцу Брауншвейг-Вольфенбюттельскому Антону Ульриху, племяннику правящего герцога Людвига Рудольфа, официальное приглашение Анны Иоанновны прибыть в Россию в качестве претендента на руку племянницы императрицы.

Миссия Левенвольде принесла успех, принц в конце 1732 года начал собираться в Россию. Из записки Остермана следует, что эта брачная комбинация была тщательно продумана и подготовлена. Согласие на брак было уже получено как от родителей принца, так и от австрийского двора. Остерман писал: «О соизволении и желании Римского цесарского двора уже и без того известно, однако же в разсуждении о ближнем сродстве, в котором оне с принцом находятся, небеспристойно быть может, чрез грамоту цесарю… о том нотификацию учинить». «Ближнее родство», упоминаемое Остерманом, – это, в сущности, главная лакомая приманка для русского двора – Антон Ульрих приходился племянником австрийской императрице Елизавете Христине. Он же был племянником умершей в 1715 году кронпринцессы Софии Шарлотты, несчастной супруги не менее несчастного царевича Алексея, казненного Петром Великим в 1718 году. Сын Алексея и Шарлотты, российский император Петр II, занимал престол с 1727 по 1730 год, а после его смерти династическая ниточка, связывавшая петербургский и венский дворы, оборвалась. И тут, спустя больше десяти лет, возникла реальная возможность соединить эту порванную судьбой нить. Искусным ткачом, способным сделать это, и выступил Остерман, видевший в таком брачном союзе массу внешнеполитических выгод благодаря родству с могущественным европейским домом. Уже с середины 1720-х годов Остерман делал ставку на Австрию как на лучшего союзника России в двух районах взаимных

интересов: в Польше, с целью раздела ее территории, и в Причерноморье, где наиболее эффективной была союзническая борьба с общим и еще могучим соперником – османской Турцией. Неудивительно, что сохранилось много свидетельств особого интереса Остермана к судьбе Антона Ульриха в это время. Словом, императрица Анна согласилась с доводами Остермана и одобрила его предложения.

В своем докладе вице-канцлер писал, что еще до сговора о браке следует племянницу императрицы «к православному греческой церкви исповедыванию публично приступить». 12 мая 1733 года девушка, некогда при крещении в Мекленбурге нареченная по лютеранскому обряду Елизаветой Екатериной Христиной, получила то имя, под которым она вошла в русскую историю, – Анна. Впрочем, известно, что еще до крещения по православному обряду она звалась Анной и даже подписывала так письма – по-видимому, это было ее домашнее имя. Теперь она официально стала называться Анной Леопольдовной. При этом не совсем ясно, почему ее звали именно так, а не Анной Карловной по первому (и основному) имени отца, герцога Карла Леопольда. У сторонних наблюдателей сложилось впечатление, что императрица удочерила племянницу и передала ей свое имя. Скорее всего, Анна Иоанновна была крестной матерью Анны Леопольдовны. С этого времени в судьбе принцессы начались волшебные перемены. Девочку поселили во дворце тетки, назначили ей приличное содержание, штат придворных, а главное – Анну начали поспешно воспитывать и обучать. Этим занимался ученый монах Феофан Прокопович – самый образованный в России человек.

Родная мать, герцогиня Екатерина, присутствовала на торжественной церемонии крещения дочери 12 мая 1733 года, но буквально через месяц умерла. Все годы замужества Екатерина Ивановна страдала серьезными женскими болезнями, позже у нее развилась водянка, и смерть пришла, когда ей было всего сорок лет. Как писал в Англию резидент Клавдий Рондо, Анна Иоанновна тяжело перенесла потерю сестры, «была крайне опечалена и горько плакала». Мекленбургскую герцогиню похоронили рядом с матерью, царицей Прасковьей, в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря. Но она все же успела при жизни рассмотреть жениха дочери.

Девятнадцатилетний Антон Ульрих, принц Брауншвейг-Люнебургский, родился в августе 1714 года, происходил из знаменитого древнего рода немецких князей Вельфов, расплодившегося по просторам Германии и окрестных стран. Отцом юноши и его тринадцати братьев и сестер (Антон Ульрих

был вторым сыном после первенца Карла) был герцог Брауншвейг-Бевернский Фердинанд Альбрехт II, генерал-фельдмаршал австрийской армии, сподвижник великого полководца, принца Евгения Савойского. Мать же – Антуанетта Амалия, состояла с отцом Антона Ульриха в довольно близком родстве, так как была дочерью герцога БрауншвейгБланкенбургского – двоюродного брата своего мужа. В 1731 году герцог Брауншвейг-Бланкенбургский стал главой обширного Брауншвейгского дома.[23] Герцог Людвиг Рудольф и отец Антона Ульриха разрешили юноше отправиться в Россию под благовидным предлогом – наняться на русскую службу. Эта мода распространилась среди германских князей с тех пор, как в России сделали успешную карьеру братья принцы Гессен-Гомбургские. К тому же русские обещали пожаловать принцу чин полковника и создать для него особый кирасирский полк. Но все знали, что это лишь формальная причина поездки юноши в Россию – принц едет в качестве будущего жениха племянницы русской императрицы.

Антон Ульрих прибыл в Петербург 5 февраля 1733 года, в студеную зимнюю пору, и попал сразу же на праздник тезоименитства императрицы Анны Иоанновны и соответственно – своей будущей невесты Анны Леопольдовны. В тот вечер он вместе с именинницами и их знатными гостями наблюдал удивительное зрелище: на поверхности застывшей Невы, на ледовом поле, которое образовалось между стрелкой Васильевского острова, Петропавловской крепостью и Зимним дворцом, тысячами зеленых и синих огней засиял искусственный сад, «в середине которого Ея императорского величества вензловое имя красными цветами <иллюминации> изображено было, а сделанную над оным корону представляли разные цветы, такой вид имеющие, какой в употребленных в короне натуральных камнях находится». На все это славное «позорище» пошло больше ста шестидесяти тысяч светильников. Иллюминация украшала крепости – Петропавловскую и Адмиралтейскую, а также Кунсткамеру – тогдашнюю Академию наук. Эти здания сияли множеством огней, вычерчивавших их фасады. Достигалось это с помощью тысяч горящих глиняных плошек с жиром. Принц мог убедиться, как ему повезло, – его принимали в столице могущественной империи. Но больше всего он интересовался не фейерверком, а будущей невестой.

Если судить по письму брауншвейг-вольфенбюттельского посланника Христиана Фридриха Кништедта, принцесса Анна произвела хорошее впечатление на немцев: «Довольно рослая, красива лицом, имеет хорошие манеры и весьма

благовоспитанна, и можно надеяться, что меж ними (Анной и Антоном Ульрихом. – *Е. А.)* возникнут добрые отношения».[24] Характеристика, данная высокопоставленной девице посланником, весьма формальна: рост, лицо, манеры, воспитание. Но большего от невесты и не требовалось.

Зато приезжий жених Анны Леопольдовны всех разочаровал: и саму невесту, и ее мать, и императрицу, и двор. Худенький, белокурый, женоподобный юноша был неловок под пристальными, недоброжелательными взглядами «львов» и «львиц» двора Анны Иоанновны. Английский дипломат Клавдий Рондо, свидетель приезда принца в Россию, писал в 1739 году о том, что он «был на первом его представлении герцогу Курляндскому, тогдашнему графу Бирону,[25] и не мог не заметить крайнего удивления графа при виде малого роста принца, не соответствовавшего возрасту». Похоже, размышлял Рондо, венский двор отправил русским негодный династический товар. Впрочем, и никакой другой жених принцессы Анны не мог бы вызвать симпатии у временщика императрицы – Бирон больше других придворных боялся грядущих перемен, а с браком племянницы царицы они становились неизбежными. Будущее заведомо не несло фавориту стареющей императрицы ничего хорошего.

Но делать было нечего – жених уже приехал. Как писал в мемуарах сам Бирон, «принц Антон имел несчастье не понравиться императрице, очень недовольной выбором Левенвольде. Но промах был сделан, исправить его, без огорчения себя или других, не оказалось возможности». Иначе говоря, принц знатнейшего германского княжеского рода – это не жених из неведомой в России Португалии, и его просто так не выставишь за дверь, наградив собольей шубой с царского плеча. Тем более что о предстоящем сговоре уже поставили в известность (или, как тогда выражались, «учинили нотификацию») австрийский, прусский и английский дворы. В итоге, что бы ни думала про себя императрица Анна Иоанновна, она «приняла принца чрезвычайно любезно и озаботилась снабдить его всем необходимым сообразно его положению».[26] Тогда же при дворе решили, как принято в таких ситуациях, потянуть время. Государыня не сказала курировавшему сватовство австрийскому посланнику ни да, ни нет относительно «главного дела» – так называли в своих письмах брауншвейгские дипломаты ту цель, ради которой принц отправился в далекую северную страну.[27] Принца оставили в России, чтобы он, якобы дожидаясь совершеннолетия принцессы, обжился, привык к новой для него стране. Для этого были формальные основания – официально принц, как уже сказано,

приехал в Россию, чтобы поступить на службу. На самом же деле, как писал К. Рондо, в Петербурге «установилось мнение, что русскому двору приятно было бы отделаться от него».[28]

Антон Ульрих неоднократно и безуспешно пытался сблизиться со своей будущей супругой, но она равнодушно отвергала его ухаживания, «была безучастна» – так оценивал ее реакцию Х. Ф. Гросс, брауншвейгский дипломат.[29] «Его усердие, – утверждал впоследствии Бирон, – вознаграждалось такой холодностью, что в течение нескольких лет он не мог льстить себя ни надеждою любви, ни возможностью брака». Злопыхатели распространяли о нем невыгодные слухи: физически он слаб, страдает падучей и т. д.[30] Но будем помнить, что Бирон был одним из таких злопыхателей. Думается, что Бирон, с его влиянием на Анну Иоанновну, и поддерживал в государыне неприязнь к принцу. Сам же он, со свойственным ему дерзким хамством, открыто третировал Антона Ульриха и «весьма уничтожал и, несмотря на высокое его рождение, хуже всякого партикулярного человека всегда принимал и не токмо все его поступки при Ее величестве и публично при всех, и при чужестранных министрах хуливал»[31] – так было написано в допросных пунктах следствия по делу Бирона за 1741 год. Как грубо и бесцеремонно обращался временщик с людьми, хорошо видно из записок князя Я. П. Шаховского да и других мемуаристов. Неудивительно, что Бирон и его клевреты несколько лет повторяли, «будто царица никогда не обещала выдать племянницу за принца, а согласилась только принять его на русскую службу».[32] Но это не так: точно известно, что в 1732 году Левенвольде вел в Брауншвейге переговоры именно о браке принца Антона Ульриха и Анны Леопольдовны, а из упомянутой записки Остермана следовало, что об этом сватовстве были извещены австрийский и другие европейские дворы. Более того, в мае 1733 года между Остерманом и брауншвейгским посланником фон Кништедтом начались переговоры об условиях заключения брачного контракта и процедуре бракосочетания.

Напомню, что в мае этого года принцесса была окрещена по православному обряду. Это Остерман в записке 1733 года отмечал особо: девицу необходимо перекрестить в православие «еще прежде зговору, а по последней мере прежде совершения брака». Но дальше этих переговоров брачное дело не пошло, и в этом была личная заслуга Бирона. С самого начала он встретил в штыки идею задуманного Остерманом брака, ибо расценил этот проект как удар против себя. И все это хорошо понимали. Недаром принц Антон Ульрих в сентябре 1735 года в сочувственном письме матери, герцогине Антуанетте Амалии, по

поводу смерти своего отца Фердинанда Альбрехта, просил ее походатайствовать за него перед Бироном и Остерманом. По-видимому, мать принца написала Бирону, и тот отвечал, что для него нет более важного дела, чем забота о ее сыне.[33] Цена этих слов, естественно, была весьма невысока. На самом деле для Бирона было бы лучше, если бы вообще никакого брака не заключили, а Анна Леопольдовна состарилась в девках. Из дела казненного в 1740 году по наветам Бирона кабинет-министра Артемия Волынского видно, что как только временщик узнал о частых визитах Волынского к принцессе Анне Леопольдовне, то его гневу против дерзкого сановника не было предела. Кабинет-секретарь Иван Эйхлер, хорошо знавший придворную конъюнктуру, предупреждал своего друга Волынского: «Не веди себя близко к Анне Леопольдовне и не ходи часто. Мне кажется, что там от его светлости есть на тебя за то суспиция, ты нрав его знаешь». Но Волынский не унимался, шел поперек воли Бирона, за что вскоре и потерял голову.

Что же касается Остермана, который поначалу столь деятельно взялся за брачное дело принца, а потом вдруг остыл к нему, то не может быть никаких сомнений в истинных причинах охватившего вице-канцлера равнодушия к брауншвейгскому жениху. Остерман, весьма чуткий – как флюгер – к настроениям Бирона, умыл руки и несколько лет тянул резину, кормя пустыми обещаниями брауншвейгских дипломатов, которые настойчиво и постоянно напоминали вице-канцлеру о договоренностях Левенвольде с герцогом Брауншвейгским, о прерванных переговорах в Петербурге и пр.[34]

Как же в действительности смотрела на это дело сама императрица? Возможно, что ей было жалко выдавать племянницу за человека, ей не симпатичного, а по общему мнению, еще и неразвитого и слабого. Наверняка императрица вспоминала, как некогда, в 1710 году, ее, семнадцатилетнюю девушку, Петр Великий выдал, не спрашивая согласия, за герцога Курляндии Фридриха Вильгельма – такого же, как Антон Ульрих, несмышленыша, который через месяц после свадьбы умер (как утверждали злые языки, с перепою), и вся судьба юной вдовы Анны Иоанновны оказалась исковерканной чужой могучей волей. Следует отметить, что Анна Леопольдовна и императрица были родными, близкими друг другу людьми. Этому много свидетельств. При всей незатейливости натуры Анны Иоанновны, присущей ей грубости, в ней жили и чувства высокие, порывы щедрые и благородные, особенно когда дело касалось устройства благополучия бедных людей, обиженных жизнью сирот. Выступать в роли свахи, подбирать пары и устраивать их счастье

(кто же будет возражать такой свахе!) было ее страстью. Некоторые из таких бедных пар, по воле Анны Иоанновны, праздновали свадьбу в царском дворце. Как известно, императрица, сама лишенная семейного счастья, лепилась к семье своего фаворита Бирона. Одновременно она выступала как несокрушимый оплот нравственности своих подданных и сурово наказывала нарушителей общепринятой морали.

После смерти сестер императрицы – Екатерины Ивановны и Прасковьи Ивановны – Анна Леопольдовна осталась для нее единственным родным существом. К тому же девушка была почти сиротой (отец ее был жив, но с четырех лет она его не видела ни разу). Словом, племянница очень подходила для проявления лучших чувств Анны Иоанновны. Да государыня и не скрывала своей горячей привязанности к Анне Леопольдовне. Как писал в 1739 году Шетарди, «царица считает ее и желает, чтоб другие также смотрели на нее как на родную ее дочь». Это же говорил Шетарди и вице-канцлер Остерман, когда они вместе разрабатывали церемониал первых аудиенций французского посла у царственных особ русского двора.[35] При установлении очередности визитов посла к Анне Леопольдовне и Елизавете Петровне Остерман сказал, что официальное положение Анны Леопольдовны и цесаревны Елизаветы Петровны одинаково, однако «принцесса Анна настолько дорога для царицы, что все, относящееся к ней, затрагивает непосредственным образом Ее царское величество, которая смотрит на эту принцессу как на свою дочь». Примечательно, что и Шетарди отмечал: Анна Леопольдовна «такого же характера, как и ее тетка, и старается подражать ей во всем».[36] Прямо скажем, императрица Анна Иоанновна была не лучшим образцом для девушки, хотя искренность их чувств друг к другу очевидна. Пожалев, что она доверилась Остерману и Левенвольде в выборе жениха для племянницы, императрица решила выждать, тем более что летом 1733 года русский двор получал через своего посла во Франции князя Антиоха Кантемира заманчивое предложение Версаля выдать племянницу за принца французского королевского дома. Но из этого ничего не вышло.

Существовала, пожалуй, и другая важная причина многолетней заминки с брачным соглашением. Думаю, что поначалу, придя к власти в 1730 году, Анна Иоанновна не хотела всерьез задумываться о наследниках – ведь ей, ставшей императрицей в тридцать семь лет, после стольких лет унижений и бедности, выпал, наконец, «выигрышный билет». Она помнила, как ее, юную вдовствующую герцогиню, по воле Петра Великого оставили блюсти государственные интересы России в чужой,

нищей Митаве, под присмотром русского резидента Петра Бестужева (который вскоре залез к молодой вдовице и в постель), и при этом совсем не думали о ее погубленной молодости, о ее желаниях, мечтах, страданиях. После памятных событий начала 1730 года Анне Иоанновне казалось, что жизнь ее только тогда и началась, когда она, наконец, вырвалась на свободу из курляндского заточения и стала государыней Всероссийской на долгие годы, а то и на десятилетия. Поэтому она не стремилась срочно решить брачное дело племянницы и, тем самым, подготовить себе при жизни замену. То, что приехавший жених ей не понравился, и послужило императрице поводом для отсрочки брака племянницы на неопределенное время.

Но время шло, и к концу 1730-х годов какое-то шестое, «династическое» чувство все-таки вынудило государыню, несмотря на все сказанное выше, задуматься хотя бы о потенциальном наследнике. Она всегда помнила, что в Киле подрастает опаснейший соперник – внук Петра Великого Карл Петер Ульрих, которого в российском обществе считали весьма серьезным претендентом на престол. Бирон говорил на следствии (и это подтверждается другими источниками), что существование голштинского принца нервировало Анну Иоанновну и она «изволила часто о возрасте голстинского принца спрашивать и объявляла при том всегда некоторое от него опасение».[37] Поэтому после нескольких лет колебаний императрица решилась все-таки выдать племянницу замуж.

Тем временем принцесса Анна Леопольдовна взрослела, и это вскоре дало о себе знать. Летом 1735 года начался скандал, отчасти объяснивший подчеркнутое равнодушие принцессы Анны к принцу Антону Ульриху. Как сообщал в Версаль 28 июня 1735 года французский посланник, императрица Анна Иоанновна обедала с племянницей в Екатерингофе, а затем, «не успела государыня уехать, как кабинет-министры явились к старшей гувернантке принцессы госпоже Адеркас с приказанием собрать вещи и тотчас выбраться из дворца, так как принцесса в ее услугах более не нуждается». Ошарашенной гувернантке дали денег, а «вслед затем немедленно явился в комнату майор Альбрайт (в русской транскрипции Альбрехт. – *Е. А.)* с 10–12 гвардейцами», они быстро собрали вещи Адеркас и сопроводили ее в Кронштадт, где посадили на уходивший в море иностранный купеческий корабль. Скорее всего, на этом обеде в Екатерингофе состоялось объяснение, точнее – семейный допрос, во время которого Анна Леопольдовна – тогда шестнадцатилетняя девица, созналась тетушке в своей близости с красавцем и любимцем петербургских дам графом Динаром – польско-саксонским

посланником в Петербурге. Выяснилось, что покровительницей этого романа была воспитательница принцессы (старшая гувернантка) госпожа Адеркас, родственница прусского посланника Мардефельда. Она благоволила Динару, который посещал Адеркас почти каждый день и благодаря этому мог беспрепятственно видеться и миловаться с Анной Леопольдовной. Разгневанная Анна Иоанновна постаралась пресечь эту связь на корню. После высылки гувернантки польский король Август II по просьбе русского правительства без шума отозвал из Петербурга и графа Динара, причем Бирон, ранее весьма расположенный к Динару, написал в Дрезден, чтобы его более в Россию не посылали. Словом, причина всего скандала была, как писал Клавдий Рондо, стара как мир: «Принцесса молода, а граф – красив» («The princess being very young and the count a pretty fellow»). Маркиз де ла Шетарди был того же мнения: Динар обладал «прекрасной наружностью» («belle figure»).[38] Пострадал и камер-юнкер принцессы Иван Брылкин, который, скорее всего, служил почтальоном возлюбленных. В свое время, в 1724 году, за такую же вину (переносил записочки императрицы Екатерины Алексеевны и ее любовника Виллема Монса) пострадал «на теле» Иван Балакирев, ставший уже при Анне Иоанновне первейшим шутом двора. Судьба Брылкина сложилась счастливей. Он был сослан в Казань, а с приходом Анны Леопольдовны к власти в 1740 году неведомый никому раньше бывший камер-юнкер Брылкин был назначен обер-прокурором Сената и камергером двора.[39] О судьбе Динара будет сказано ниже.

Известно, что после скандала императрица Анна Иоанновна установила за племянницей весьма жесткий, недремлющий контроль. Проникнуть посторонним на ее половину стало совершенно невозможно. Изоляция Анны Леопольдовны от общества ровесников, подруг, света и отчасти даже двора, при котором она появлялась лишь на официальных церемониях, длилась пять лет и не могла не повлиять на ее психику и нрав. И раньше не особенно живая и общительная от природы, Анна теперь совсем замкнулась, стала склонной к мрачности, уединению, раздумьям, сомнениям и, как писал Э. Миних, большой охотницей до чтения книг, что по тем временам считалось делом диковинным и барышень, как известно, до добра не доводящим. И вот, наконец, уже покрытое исторической пылью брауншвейгское брачное дело было реанимировано, что всех поразило. К. Рондо в мае 1739 года писал, что брака Анны и Антона Ульриха «никто не ожидал», и он не сомневается, «что все проживающие здесь представители иностранных государств уверяли свои правительства в несбыточности такого факта».

Возможно, кроме вышеназванных мотивов, императрица действительно обеспокоилась судьбой двадцатилетней племянницы – в те времена в такие годы замужние женщины уже рожали второго или третьего ребенка. Нет причин не верить Бирону, писавшему, что государыня как-то сказала ему: «Никто не хочет подумать о том, что у меня на руках принцесса, которую надо отдавать замуж. Время идет, она уже в поре. Конечно, принц не нравится ни мне, ни принцессе; но особы нашего состояния не всегда вступают в брак по склонности». Как писал Клавдий Рондо, русские полагают, что принцессе пора замуж, она начинает полнеть, а полнота может повлечь за собою бесплодие.[40] И это заставило Анну Иоанновну поспешить пристроить девицу.

Кроме того, возможно, что стимулом к возобновлению российско-брауншвейгского брачного проекта стало появление нового нежданного-негаданного жениха. Дело в том, что в 1738 году судьбой принцессы Анны вдруг озаботился фаворит императрицы, у которого обнаружился свой план решения затянувшегося вопроса о ее браке. Видя демонстративное безразличие Анны к жениху, герцог в 1738 году запустил пробный шар: через посредницу – одну из придворных дам – он попытался выведать, не согласится ли принцесса выйти замуж за его старшего сына, принца Курляндского Петра Бирона. То обстоятельство, что Петр был на шесть лет младше Анны, не особенно смущало герцога – ведь в случае успеха его замысла Бироны породнились бы с правящей династией и посрамили бы хитрецов предыдущих времен – Меншикова и Долгоруких, которые пытались проделать тот же династический фокус! Сведения о проекте Бирона уже летом 1738 года стали известны в Лондоне, и лорд Гаррингтон, статс-секретарь короля Георга II, просил К. Рондо передать Бирону, что «такой выгодный брак его очень приятен королю». Приятность подобного альянса для Англии заключалась в том, что столь неприятный британцам русско-австрийский союз в этом случае не состоится. И когда Рондо, воспользовавшись дружелюбным разговором с Бироном, спросил его о брачном проекте с участием старшего сына герцога, тот все отрицал, но как-то не очень убедительно. Поэтому Рондо в своей депеше Гаррингтону заключил: «Это заставляет меня предполагать, что, несмотря на все уверения, герцог все-таки пытается сосватать ее (Анну Леопольдовну. – *Е. А.)* за сына, когда принц достигнет надлежащих лет и найдется удобный случай открыть свои замыслы».[41]

Возможно, так это и было. Внимательные придворные и дипломаты стали замечать, что на балах принцесса стала все чаще танцевать не с Антоном Ульрихом, а с пятнадцатилетним

Петром Бироном, который однажды даже явился в одежде того же цвета, что платье Анны Леопольдовны, – выразительный знак особого внимания к своей даме. Петр стал ее частым партнером и в придворной карточной игре. А в начале 1739 года сам Бирон переговорил с принцессой о ее брачном будущем, но получил решительный отказ. Принцесса сказала, что, пожалуй, готова выйти замуж за Антона Ульриха – по крайней мере, «он в совершенных летах и старого дома». Это была звонкая пощечина фавориту, чистота происхождения и древность рода которого у всех вызывали сомнения. (Скорее всего, Бирон происходил не из конюхов, как говорили злые языки, а из мелкопоместного бедного курляндского дворянства.) Известно, что императрица Анна Иоанновна безмерно любила своего фаворита, осыпала его наградами и ласками, ни в чем ему не отказывала, но тут она как-то странно молчала. Возможно, «династическое чувство» ей говорило, что все-таки подобный мезальянс с незнатным (как говорили тогда даже при дворе – «нефамильным», «худородным») Бироном пойдет во вред Романовым. А чувство своей избранности, важности чистоты крови никогда не покидало эту настоящую московскую царевну – дочь прирожденного русского царя и русской царицы из знатного рода. Из истории ее отношений с Елизаветой Петровной нам известно, с каким презрением относилась императрица к отпрыскам «лифляндской портомои». Возможно, что при всей любви Анны Иоанновны к Бирону императрица не была готова отдать племянницу за его сына. Наконец, возможен еще один вариант (о котором писал Клавдий Рондо в донесении от 12 мая 1739 года[42]): императрица не мешала, но и не помогала Бирону в его проекте.

Она предоставила племяннице выбор: какого из принцев выберешь – тот и будет тебе женихом! Но уже сам по себе предоставленный выбор (учитывая огромное влияние Бирона на императрицу) был скрытым неодобрением возможного брака принцессы с Петром Бироном. И тогда Анна Леопольдовна остановилась на Антоне Ульрихе – лучшем варианте из двух худших. Возможно, что принцесса вовремя получила и дельный совет. Из дела Волынского и его приятелей-«конфидентов» следует, что слухи о намерении Бирона женить своего сына Петра на Анне Леопольдовне их обеспокоили, – все понимали, что власть Бирона усилится. Канцлер князь А. М. Черкасский, по словам Волынского, говорил ему: «Это знатно Остерман не допустил и отсоветовал (от брака Анны с Петром Бироном. – *Е. А.),* видно, – человек хитрый. Может быть, думал, что нам это противно будет»; они сошлись на том, что хотя принц Брауншвейгский «и не высокого ума, но милостив».

Впрочем, вновь обратив взоры на принца Антона Ульриха, многие заметили, что за пять истекших лет, проведенных в России, он изменился и возмужал. Он пополнил свое образование: выучил русский язык – его учителем был знаменитый поэт В. К. Тредиаковский. С другими учителями он занимался науками по плану, некогда составленному еще в 1727 году Остерманом для малолетнего императора Петра П. Все это, кстати, говорит о том, что прибыл он в Россию явно недоучившимся. Иначе, зачем ему пришлось заниматься арифметикой, геометрией, фортификацией и другими науками из минимального набора знаний тогдашнего дворянина?

Принц посвящал время не только учебе. Он пошел по пути своего знаменитого отца, получил чин полковника – ради этого из Ярославского драгунского полка сделали Бевернский (или Брауншвейгский) кирасирский полк.[43] В 1737 году он отправился волонтером на Русско-турецкую войну. В Петербурге этим обстоятельством были довольны – война есть война и назначение принца – хорошее средство убрать его с дороги. Принц служил при штабе Миниха, но там не отсиживался, а показал себя храбрецом во время осады турецкой крепости Очаков. Во время боя его одежда была прострелена вражескими пулями, один конь под ним ранен, а другой убит. Возле него погиб его паж,[44] и есть версия, что как раз на смену этому погибшему молодому человеку и приехал в Россию в будущем знаменитый враль барон К. Ф. И. фон Мюнхгаузен.[45] За участие в кампании принц удостоился чина генерал-майора и майора Преображенского полка. В январе 1738 года он был награжден орденом Андрея Первозванного и получил под свою команду гвардейский Семеновский полк. И что особенно важно – тогда же снискал похвалу самой императрицы, потрепавшей юношу по плечу. Отличился он и в кампании 1738 года под Бендерами, где сам участвовал в боях.

Словом, оценив все эти обстоятельства, императрица решила больше свадьбу не откладывать. Переломным можно назвать февраль 1739 года, когда Остерман в письме дипломатическому представителю Брауншвейг-Вольфенбюттельского герцога барону фон А. А. Крамму вдруг назвал брак принца с Анной Леопольдовной на манер Бирона «делом всей своей жизни».[46] При этом мы знаем, что с 1733 по 1739 год Остерман даже палец о палец не ударил, чтобы продвинуть «главное дело» принца. Письмо Остермана стало сигналом для брауншвейгцев. В марте брауншвейг-вольфенбюттельский посланник при русском дворе Г. И. Кейзерлинг удостоился беседы с самим Бироном, который объявил ему о предстоящем браке Анны Леопольдовны и Антона

Ульриха. О том же Бирон объявил и английскому резиденту К. Рондо и, надо полагать, другим дипломатам.[47] Тогда же Остерман потребовал, чтобы сватом выступил – вероятно, для пущей важности – вновь назначенный в Россию посол римского императора маркиз де Ботта д'Адорно и чтобы все расходы жениха-принца (карета, наряд, подарки) взял на себя Брауншвейг.[48] Кроме того, принц не отправился, как предполагалось ранее, в армию, воевавшую против турок, а остался в Петербурге. В мае императрица приняла Крамма и вела с ним переговоры о браке, а 1 июля 1739 года состоялось официальное обручение. По тщательно разработанному Остерманом церемониалу состоялся торжественный въезд нового австрийского посланника маркиза Ботта д'Адорно. При русском дворе он олицетворял собой Империю, подданным которой и был принц Антон Ульрих. В Большом зале дворца маркизу была дана высочайшая аудиенция. Посланник от имени своего государя просил руки Анны Леопольдовны для принца Антона Ульриха.[49] Анна Иоанновна дала на брак свое высочайшее согласие.

Затем последовал молебен в придворной церкви и обмен кольцами, которые обрученным подавала сама государыня. Принц Антон Ульрих вошел в зал, где происходила церемония, одетый в белый с золотом атласный костюм, его длинные белокурые волосы были завиты и распущены по плечам. Леди Рондо, стоявшей рядом со своим мужем, пришла в голову странная мысль, которой она и поделилась в письме к своей приятельнице в Англию: «Я невольно подумала, что он выглядит, как жертва». Удивительно, как случайная, казалось бы, фраза о жертвенном барашке стала мрачным пророчеством. Ведь Антон Ульрих действительно был принесен в жертву династическим интересам русского двора. Но в тот момент всем казалось, что жертвой была невеста. Она дала согласие на брак и «при этих словах, – продолжает леди Рондо, – обняла свою тетушку за шею и залилась слезами. Какое-то время Ее величество крепилась, но потом и сама расплакалась. Так продолжалось несколько минут, пока, наконец, посол не стал успокаивать императрицу, а обер-гофмаршал – принцессу». После обмена кольцами первой подошла поздравлять невесту цесаревна Елизавета Петровна. Реки слез потекли вновь. Все это больше походило на похороны, чем на обручение.

Само бракосочетание состоялось через два дня в Казанской церкви на Невском проспекте в присутствии государыни и всего двора. Венчал Анну Леопольдовну и Антона Ульриха Амвросий, епископ Вологодский. Потом великолепная процессия потянулась по Невскому проспекту. В роскошной карете лицом к лицу сидели

императрица и новобрачная в серебристом платье. Потом зазвенел бокалами торжественный обед, грянул бал, вспыхнул праздничный фейерверк. Простой народ поили белым и красным вином из фонтанов, специально для того устроенных, и кормили жареным быком с «другими жареными мясами». Наконец невесту облачили в атласную ночную сорочку, герцог Бирон привел одетого в домашний халат принца, и двери супружеской спальни закрыли. Целую неделю двор и столица праздновали свадьбу. Сменяли друг друга обеды и ужины, придворный маскарад с новобрачными в оранжевых домино, опера в театре, фейерверк и иллюминация в Летнем саду. Леди Рондо была в числе гостей и потом сообщала приятельнице, что «каждый был одет в наряд по собственному вкусу: некоторые – очень красиво, другие – очень богато. Так закончилась эта великолепная свадьба, от которой я еще не отдохнула, – продолжала супруга английского резидента, – а что еще хуже, все эти рауты были устроены для того, чтобы соединить вместе двух людей, которые, как мне кажется, от всего сердца ненавидят друг друга; по крайней мере, думается, что это можно с уверенностью сказать в отношении принцессы: она обнаруживала весьма явно на протяжении всей недели празднеств и продолжает выказывать принцу полное презрение, когда находится не на глазах императрицы». Говорили также, что в первую брачную ночь молодая жена убежала от мужа в Летний сад. Это похоже на правду – советник брауншвейгского посольства Гросс с тревогой сообщал в октябре 1739 года, что нет никаких признаков беременности супруги герцога и что будто бы назло мужу Анна Леопольдовна часто катается в санях вдвоем с Петром Бироном – недавно отвергнутым женихом.[50] Позже, уже в елизаветинские времена, за «непристойные разговоры» был арестован полковник Иван Ликеевич. Он рассказывал собеседникам, что с самого начала «Антон Улрих плотского соития с принцессой не имел, и государыня на принцессу гневалась, что она тому причина». Потом якобы выяснилось, что и сам молодой муж нездоров, «призвали лекарей и бабок и Улриха лечили. И принцесса-де с мужем своим жила несогласно, и она-де его не любила, а любилась с другими».[51] Но видно, что прятаться каждую ночь от мужа под сенью деревьев Летнего сада принцессе не удавалось, да и здоровье принца пошло на поправку. Как бы то ни было, в декабре 1739 года Анна понесла, и 18 августа 1740 года этот печальный брак дал свой плод – Анна Леопольдовна родила мальчика. Императрица Анна, как писал Шетарди, «ни на миг не оставляла» роженицу во время родов.[52]

Английский посланник Э. Финч так описывает только что происшедшее в русской столице событие: «В то самое время как я

занят был шифрованием этого донесения, огонь всей артиллерии (речь идет о пушках Адмиралтейской и Петропавловской крепостей. – *Е. А.)* возвестил о счастливом разрешении принцессы Анны Леопольдовны сыном. Это заставило меня немедленно бросить письмо, надеть новое платье… и поспешить ко двору с поздравлением. Сейчас возвратился оттуда. Принцесса вчера еще гуляла в саду Летнего дворца, где проживал двор, спала хорошо, сегодня же поутру, между пятью и шестью часами, проснулась от болей, а в семь часов послала известить Ее величество. Государыня прибыла немедленно и оставалась у принцессы до шести часов вечера, то есть ушла только через два часа по благополучном разрешении принцессы, которая, так же как и новорожденный, в настоящее время находится, насколько возможно, в вожделенном здравии».

Рождение «благообразного принца»[53] у молодой четы обрадовало императрицу Анну Иоанновну – ведь задуманный еще в 1731 году рискованный династический эксперимент увенчался полным успехом – родился, как по заказу, мальчик, он был здоровым и крепким! Будущее династии, таким образом, было обеспечено, и императрица тотчас засуетилась вокруг новорожденного. Для начала она отобрала младенца у родителей и поместила его в комнатах, расположенных рядом со своими покоями. Контроль за тем, как пеленают ребенка, поручили жене Бирона, герцогине Курляндской. Теперь, когда Анна Леопольдовна и Антон Ульрих свое дело сделали, их отстранили от воспитания младенца. Удивительно, что в русской истории XVIII века так бывало еще не раз: в 1754 году тогдашняя императрица Елизавета Петровна точно так же отобрала у великого князя Петра Федоровича (будущего императора Петра III) и его супруги, великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины II), их новорожденного сына Павла Петровича (будущего императора Павла I) и решила воспитывать ребенка сама. Когда в 1777 году у великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны родился сын Александр, его с подобной же бесцеремонностью отобрала у родителей императрица Екатерина Великая, которая поселила мальчика рядом с собой и рьяно занялась его воспитанием. Когда у Павла и Марии в 1779 году родился второй сын Константин, его ожидала та же судьба, что и Александра… Во всех случаях этим действием правящие монархини выражали неудовольствие своими наследниками и сами лично хотели воспитать внуков в том духе, который более соответствовал высокому предназначению, им уготованному. Поэтому не следует отбрасывать суждения иностранных дипломатов, считавших в

1740 году, что Анна Иоанновна отобрала внучатого племянника, чтобы «воспитать его с самого детства, внушая принципы и правила, соответствующие духу здешнего народа».[54] Вполне возможно, что императрица, глядя на родителей наследника – полунемку Анну Леопольдовну и немца Антона Ульриха, не могла не испытывать беспокойство за будущее новорожденного, которому предстояло занять престол русских царей и императоров.

Через несколько дней после рождения мальчика крестили и нарекли именем Иван – так звали отца императрицы, царя Ивана Алексеевича (1666–1696). Крестины происходили в покоях Анны Иоанновны, которая была восприемницей от купели, то есть крестной матерью. Весь двор «в полной парадной форме» собрался в смежных комнатах.

Но воспитать внучатого племянника императрице Анне так и не удалось. Вечером в воскресенье 5 октября 1740 года у нее за столом (или, точнее, по сообщению Финча, на горшке: «a strong fainting fit last night whilst she was easing nature»)[55] произошел сильнейший приступ почечнокаменной болезни, которую врачи наблюдали у императрицы и раньше. Это всех встревожило – подобной болезнью страдала и от нее умерла мать Анны Леопольдовны Екатерина Ивановна. Позже вскрытие показало, что в почках императрицы образовался целый коралл из отложений, что и привело ее к смерти.[56]

Глава третья
«Не бойсь!», или Судьба России под подушкой

В тот же день потрясенный происшедшим Бирон созвал совещание, на которое пригласил фельдмаршала Б. Х. Миниха, обер-гофмаршала Р. Г. Левенвольде, кабинет-министров князя А. М. Черкасского и А. П. Бестужева-Рюмина. Миних-сын упоминает, что на это заседание пригласили еще следующих знатных персон: начальника Тайной канцелярии генерала А. И. Ушакова, адмирала и президента Адмиралтейской коллегии Н. Ф. Головина, обер-шталмейстера князя А. Б. Куракина, генерал-прокурора князя Н. Ю. Трубецкого, генерал-поручика В. Ф. Салтыкова и гофмаршала Д. А. Шепелева.[57] Английский посланник назвал эту группу знати «хунтой» (на испанский манер —*junto),* что довольно точно.

Показания Левенвольде на следствии в 1742 году отчасти передают обстановку растерянности, воцарившуюся тогда во дворце: когда императрице «в болезни зело тяжко стало, то прислано было к нему (как и к другим сановникам. – *Е. А.)* от него, герцога, чтоб он (Левенвольде. – *Е. А.)* ехал во дворец, и как он приехал к нему, герцогу, и он, ему объявя, что Ее величество трудна, спрашивал что делать? На что он сказал, что он не знает, надобно-де для того призвать министров. Он его послал для того ж к графу Остерману».[58] Действительно, решили просить совета у Остермана и послали к нему также кабинет-министров – князя А. М. Черкасского, А. П. Бестужева-Рюмина и фельдмаршала Миниха.[59] Вице-канцлер уже несколько лет (из-за подлинной или выдуманной подагры) не выходил из дома, и к нему постоянно посылали записки или сами сановники приезжали для совещаний.[60] Эта система давно сложилась при Анне Иоанновне, и для императрицы и многих сановников двора репутация Остермана как наиболее опытного и умного советника была непререкаема. Без его участия в это время обычно не рассматривалось ни одно серьезное дело.

У Бирона были довольно сложные отношения с Остерманом. Как писал еще в феврале 1740 года французский дипломат, «граф Остерман представляется как бы помощником герцога, но на самом деле этого нет; правда, что герцог советуется с этим наиболее просвещенным и опытным из всех русских министров, но он не доверяет ему, имея на то верные основания».[61] Как и

многие другие, Бирон знал вице-канцлера как человека лживого и двуличного. Не сложилось доверительных отношений между Бироном и Остерманом и позже, когда первый стал регентом.

Как писал Бирон в своих записках, Остерман дал визитерам такой совет: издать Манифест о наследнике престола, чтобы «учредить и утвердить порядок его возможно скорее и на прочных основаниях», имея в виду новорожденного Ивана Антоновича.[62] Этот Манифест о наследстве «писал по его сказыванию Андрей Яковлев», секретарь Кабинета министров. При дворе царила паника, и, как показал в 1742 году Остерман, «манифест еще был не окончен, а о скорейшем того сочинении от двора была присылка, дабы немедленно оное прислано было, который он, окончив начерно, с Андреем Яковлевым и отослал в Кабинет».[63] Анна Иоанновна на смертном одре почти сразу же одобрила и подписала документ.

Он предусматривал объявление принца Иоанна наследником российского престола. В Манифесте говорилось, что государыня, проявляя «матернее наше попечение… к приведению Нашего отечества с часу на часу в вящее цветущее состояние», решила, «по довольном и зрелом рассуждении», согласно петровскому Уставу о престолонаследии 5 февраля 1722 года и Закону о престолонаследии 1731 года, назначить Ивана Антоновича, названного «Любезнейшим Внуком», своим наследником. Далее в Манифесте говорилось, что если Иван Антонович умрет до того момента, как у него самого появятся «законно рожденные наследники», то престол переходит к его (еще не родившемуся тогда) младшему брату, а если и этот наследник умрет бездетным, то трон переходит к «другим законным из того же супружества (Анны Леопольдовны и Антона Ульриха. – *Е. А.)* раждаемым принцам…».[64]

Документ этот отражал всем известное упрямое желание Анны Иоанновны сохранить престол за старшей ветвью Романовых, идущей от царя Ивана Алексеевича, и во что бы то ни стало не допустить на трон представителей той династической ветви, которая шла от младшего брата царя Ивана – Петра Великого. В этом Анна в точности повторила поступок императрицы Екатерины I, которая, умирая в мае 1727 года, подписала (по настоянию светлейшего князя А. Д. Меншикова) завещание – Тестамент. В нем было сказано, что престол от Екатерины переходит к внуку Петра I великому князю Петру Алексеевичу (сыну злосчастного царевича Алексея), а в случае его, Петра II, смерти (при его бездетности) на престол вступает Анна Петровна и ее мужские потомки, а затем Елизавета Петровна и ее сыновья и внуки. Формально и Тестамент, и

Манифест 1740 года отвечали главному принципу петровского Устава о престолонаследии 1722 года – государь вправе устанавливать любой порядок престолонаследия, а также изменять его по своей воле. В этом – суть самодержавия. Но одновременно и Тестамент Екатерины, и Манифест Анны противоречили этому основополагающему принципу самодержавия – ведь и Петр Второй, и Иван Антонович, войдя в совершеннолетний возраст, даже не имея детей, были вправе (согласно Уставу Петра Великого) определять порядок престолонаследия так, как им заблагорассудится, а не так, как указывали их предшественники, оставившие завещание. Однако Анна Иоанновна об этом не задумывалась, как и Остерман, писавший Манифест. Зато они хорошо знали, как часто тогда умирали младенцы, даже не дожив до года. Поэтому и предусматривался механизм дублеров Ивана Антоновича из его младших (повторю, еще не родившихся) братьев.

Но это был лишь первый шаг при решении вопроса о власти. Никого не смущал тот факт, что наследником назначается двухмесячный младенец. Формально здесь соблюдалась логика предшествующего указа Анны Иоанновны 1731 года о престолонаследии, в котором было сказано о будущем наследнике, рожденном от брака Анны Леопольдовны с неким иностранным принцем. Одновременно автор Манифеста Остерман ссылался на пример Петра Великого, назначившего наследником (после казни царевича Алексея в 1718 году) своего трехлетнего младшего сына Петра Петровича.

Уже в момент составления Манифеста во всей своей остроте вставал серьезнейший вопрос: кто при новом императоре-младенце Иване будет регентом? Этот вопрос предстояло решить, не откладывая в долгий ящик, пока жива императрица. Скорее всего, обсуждение проблемы регентства происходило тогда же, 5–6 октября, на совещаниях вельмож. К такому выводу пришла следственная комиссия 1741 года: «…а по следствию явилось: рассуждение и совет о регентстве его (Бирона. – *Е. А.)* был 5 октября в вечеру. А то определение (завещание, или Акт. – *Е. А.)* писано того же вечера и ночью, а чтено ему (Бирону. – *Е. А.)* поутру на другой день, и между тем от сочинения до чтения и сведения его было токмо несколько часов, а слушав онаго, некоторые пункты и сам прибавить велел».[65] В принципе перед собравшимися сановниками был выбор из трех основных вариантов: первый – создается регентский совет в составе высших чиновников империи (с участием или без участия родителей императора); второй – регентшей становится мать императора Анна Леопольдовна; третий – регентом объявляется герцог Бирон.

Последний вариант среди иностранных наблюдателей даже не рассматривали – настолько невероятным он казался. Шетарди и другие дипломаты на все лады обсуждали возможные варианты правления, упоминая не только регентский совет, Анну Леопольдовну, но и Елизавету Петровну с ее племянником герцогом Голштейн-Готторпским.

С точки зрения тогдашнего права и принятых династических обычаев в России и Западной Европе первый и второй варианты были вполне законны, тогда как третий мог быть легитимен только с точки зрения логики Устава о престолонаследии Петра Великого 1722 года, основанного на самодержавном принципе – кого хочу, того и назначу в преемники. Если рассматривать варианты с позиций правящей верхушки, то коллективное регентство было менее предпочтительно, чем регентство Анны Леопольдовны. В верхах не было единства, и существовала опасность, что такая система не сработает. К тому же исторические примеры коллективного правления в России были неудачны: Боярское правление в малолетство Ивана Грозного, Семибоярщина 1610 года и особенно Верховный тайный совет 1730 года, бывший у всех на памяти. В последнем случае именно неприемлемость коллективного управления для массы дворянства стала причиной провала «затейки» верховников ограничить императорскую власть Анны Иоанновны. Пример гибнущей от дворянской демократии Речи Посполитой также с давних пор пугал всех верных подданных. Общее мнение было таким: «Они-де не хотят так сделать, как в Польше, чтоб многие персоны в совете присутствовали».[66] Ярым противником коллективного регентства выступал Бирон, который в ответ на предложение ввести такую систему решительно возразил: «Какой-де имеет быть совет? сколько-де голов, столько-де разных мыслей будет».[67]

Регентство же матери государя-императора казалось более привычным и естественным. Недаром сторонники Бирона и сам герцог понимали, что его регентство, при отстранении Анны Леопольдовны и ее мужа от власти, «не без ненависти будет в других государствах, ежели их высочества обойти».[68] Примеров женского регентства в истории встречалось немало, хотя эти примеры свидетельствовали о том, что политическая жизнь в государстве, где правила регентша-мать, никогда не была безмятежной. Вспоминаются наиболее яркие примеры: правление матери Ивана Грозного Елены Глинской, Марии Медичи, увековечившей себя Варфоломеевской ночью, или Анны Австрийской.

Анну Леопольдовну в роли регентши наверняка хотел видеть

с давних пор симпатизировавший Брауншвейгской фамилии А. И. Остерман. Возможно, он полагал, что после объявления Манифеста 6 октября такой вариант регентства и будет реализован. В «Изложении вин Остермана», составленном в 1742 году, отмечается, со слов Левенвольде, что когда в начале болезни императрицы Анны Иоанновны Бирон послал к Остерману за советом о форме правления, тот сказал: «Ежели быть наследником принцу Иоанну, так *матери его должно быть правительницею,* а по ней учрежденному совету, а в том совете может присутствовать и он, герцог».[69] Но Бирону это сразу не понравилось, и вариант этот был отвергнут. А когда события пошли по сценарию герцога, то Остерман, привыкший думать прежде всего о себе, сразу же занял общую для большинства позицию – стал ратовать за кандидатуру Бирона в регенты.

Неизбежно возникает вопрос: почему же Анна Иоанновна, обладая полным правом назначить себе в наследники любого,[70] сразу же не сделала наследницей свою племянницу, которая была ближайшей ее родственницей? Возможно, действовала инерция акта 1731 года, не предусматривавшего такого варианта. Возможно, учитывались традиционные соображения о необходимости вернуть правление «мужской особе» как более привычной для общества. Анна Леопольдовна была замужем, а в России был неизвестен институт супруга-консорта. Такой вариант был бы не понят и, возможно, не принят в России.

Наконец, на решение Анны Иоанновны – особы эмоциональной, обидчивой – могли повлиять изменения в отношениях с племянницей. После рождения Ивана между тетушкой и племянницей как будто пробежала черная кошка. Когда позднее, во время следствия, Бирона обвинили в том, что он наговаривал императрице на принцессу, чтобы последнюю «в подозрение привесть и милость и любовь от оной отвратить», и склонял императрицу отослать Анну Леопольдовну к отцу в Мекленбург, то в ответ Бирон утверждал, что Анна Иоанновна сама ему жаловалась, что племянница «к ней неласкова и что для того намерение имеет ее в Мекленбург отправить».[71] О напряженных отношениях тетки и племянницы известно из донесения Финча лорду Гаррингтону (если, конечно, эти сведения попали к нему не от самого Бирона). Английский дипломат писал через две недели после смерти императрицы, что Анна Иоанновна, «чувствуя себя хуже, чем полагали окружающие, накануне (начала смертельной болезни 5 октября. – *Е. А.)* вечером посылала за принцессой Анной, чтобы сказать ей, что с самого момента рождения юного принца… посвятила новорожденного служению Богу и отечеству и торжественною

клятвою нарекла его своим наследником, пока же нарекает его великим князем. Ваше превосходительство легко представите себе, насколько такое заявление изумило принцессу, которая со дня своего замужества, и тем более со дня рождения сына, была уверена в том, что наследие останется за ней».[72] Финч явно утрирует реакцию Анны Леопольдовны, ибо о назначении ее сына наследником было известно и ей, и всей России начиная с 1731 года. Но тут важен сам факт такой беседы, в особенности отказ императрицы говорить с племянницей об установлении ее регентства. Это, как известно, и открыло Бирону возможность претендовать на власть.

Тема мекленбургского влияния, точнее, влияния известного своей несносной вздорностью отца принцессы, герцога Карла Леопольда, неожиданно возникла в этом деле в качестве неблагоприятного фактора для Анны Леопольдовны как возможной регентши. Вот как излагал этот сюжет Бирон в записках, объясняя 5 или 6 октября 1740 года своим приближенным, почему государыня не назначила регентшей Анну Леопольдовну: «Принцесса, правда, не глупа, но у нее жив отец, тиран своих подданных; он тотчас явится сюда, начнет поступать в России, как в своем Мекленбурге, вовлечет наше государство в пагубные войны и приведет его к крайним бедствиям…» Мысль эту поддержали и другие. Миних больше всего опасался, как бы этот ужасный Карабас-Барабас из Мекленбурга не завладел вверенным ему российским «военачальством». Беспокойство выказал и князь Черкасский: «Ея высокий родитель… чтоб не домогался сие государство привесть в войну, понеже он человек горячий и стараться будет генералиссимусом быть».[73] Насколько реальны были эти опасения и мог ли Карл Леопольд приехать к дочери в Россию, сказать трудно, но в течение того года, когда Анна Леопольдовна находилась у власти, вопрос о визите ее батюшки в Россию даже не возникал, хотя некоторые хлопоты о его судьбе были предприняты в 1741 году русским дипломатическим ведомством. Однако в момент обсуждения вариантов регентства такие опасения присутствовали, и нельзя сказать, что они были совершенно беспочвенны. Все помнили, что накануне свадьбы Анны Леопольдовны и Антона Ульриха в 1739 году разгорелся дипломатический скандал, инициатором которого стал невоздержанный отец невесты. Дело было в том, что императрица Анна Иоанновна, согласно обычаю, просила Карла Леопольда дать дочери отеческое благословение на брак. Тот, не видевший дочь почти двадцать лет, решительно отказался одобрить ее союз с принцем из Брауншвейга – ведь это герцогство он считал своим заклятым врагом! И вместо того, чтобы

«немедленно дружелюбную нотификацию учинить» о своей вящей радости по поводу предстоящего брака принцессы, Карл Леопольд потребовал, чтобы Россия исполнила условия русско-мекленбургского договора 1716 года и вооруженной рукой помогла ему в нескончаемой борьбе с многочисленными врагами. На этом Карл Леопольд не успокоился и с требованием восстановить столь нужный ему союз с Россией послал в Петербург какого-то авантюриста, который был арестован и умер в заточении в Москве. Анне пришлось идти под венец без батюшкиного благословения, но этот мекленбургский инцидент не забыли, и в дальнейшем он мог сказаться на ее судьбе. Впрочем, даже если бы отец Анны Леопольдовны был самым примерным из всех германских правителей, все равно в тот момент она бы не стала регентшей – слишком велико оказалось преимущество Бирона в борьбе за власть.

Тогда временщик был почти всесилен и подавлял волю императрицы. Как писал в 1740 году К. Рондо, при русском дворе «делается только то, что… Бирону угодно бывает приказать», что он – «единственный вершитель всех дел». Преемник Рондо Э. Финч придерживался сходного мнения: при русском дворе «никто, кроме герцога Курляндского, не осмеливается говорить о чем бы то ни было».[74] Так же полагали и другие наблюдатели. Идти против всесильного фаворита казалось самоубийством; недавнюю печальную историю казненного летом 1740 года кабинет-министра Волынского, вставшего ему поперек дороги, помнили все. После казни Волынского у генерала Шилова – члена суда над Волынским и его конфидентами – спросили: не было ли ему слишком тяжело подписывать неправедный приговор 20 июня 1740 года? «Разумеется, было тяжело, – отвечал тот, – мы отлично знали, что они все невиновны, но что поделать? Лучше подписать, чем самому быть посаженным на кол или четвертованным». В начале октября 1740 года многие думали так же. Эрнст Миних – сын фельдмаршала, позже пытался объяснить постыдный поступок своего отца, способствовавшего утверждению регентства Бирона. Он сообщает нам, что при оценке поведения его отца и других сановников надо исходить из той обстановки, которая сложилась при дворе императрицы Анны Иоанновны: «Обстоятельство сие было весьма щекотливое, в каком только честный человек находиться может, ибо всё то, что гнуснейшая лесть, как герцогу, так и его семье оказываемая, придумать может, по сей день императрица не только всегда допущала, но даже в угождение свое поставляла. Напротив того, за малейшие оскорбления, учиненные от кого-либо сему любимцу, столь сурово взыскивала по обыкновению своему, что премножество

несчастных примеров на то имелось». Далее Миних-младший обращает внимание на саму ситуацию, возникшую из-за болезни императрицы: «Хотя медики малую к выздоровлению императрицы подавали надежду, однако ни один из них не мог сказать доподлинно, что кончина ее близка. И если бы случилось, что она опять съела что-то не то и отравилась (такие случаи с ней бывали. – *Е. А.),* то одной недели было бы довольно, чтобы погубить того, кто захотел бы сказать герцогу чистую правду. Вследствие этого если кто упомянутые обстоятельства правильно поймет, тому, я надеюсь, не покажется в сем деле поступок отца моего странным и со здравым смыслом несовместным».[75] Словом, все действовали так, как кратко выразил один из участников событий, – «имея страх по тогдашним обращениям».[76]

События, происходившие во дворце с 5 по 16 октября 1740 года, описывать довольно сложно, ибо они окружены не только завесой лжи, но и секретностью. Нет сомнений, что Бирон сознательно ограничивал круг людей, причастных к реализации идеи его регентства. Многие государственные чиновники об этом или совсем не знали, или получали отрывочные сведения. Они могли, как иностранные дипломаты, видеть только интенсивное движение богатых карет по улицам столицы да пробавляться слухами. К этому добавим, что с первого же дня болезни императрицы Бирон установил вокруг ее постели своеобразный карантин: почти неотлучно (часто вместе с женой) он находился в императорской опочивальне и следил за появлением посетителей у кровати больной. К ней он допускал на короткое время (и только в своем присутствии) Анну Леопольдовну и Елизавету Петровну, но не пустил принца Антона Ульриха и многих других сановников. Собственно, новостью такое поведение фаворита в те времена не было. Не без оснований на следствии 1741 года его обвиняли в том, что «с самого вступления на Всероссийский престол до самого окончания жизни Ее величества его старательством никому, кто бы ни был, мимо его к Ее величеству никакого доступа не было».[77] Но заметим, что Бирон не держал Анну в заточении, как Кощей Бессмертный. Так хотела сама императрица, о чем свидетельствует история жизни Анны Иоанновны.[78] Когда в 1741 году Бирона стали обвинять в том, что он со своей семьей «Ее величество обеспокаивали, многими неприличными и Ее величеству чувствительными внушениями утруждали, и словами, и поступками своими, почитай, денно и ночно так досаждали и опечаливали, что Ее величество только той минуты малой покой имела, когда он с фамилией своей из спальни выйдут, как сама Ее величество о том ближним своим

комнатным служительницам неоднократно засвидетельствовать изволила»,[79] бывший фаворит решительно отверг это обвинение, основанное на показаниях дворцовой прислуги, для которой временщик, учитывая его характер, был, вероятно, истинным тираном. Бирон же утверждал, что все было как раз наоборот: «… когда они (супруги Бироны. – *Е. А.)* отлучатся, в тот час опять к себе призывав, приказывала, в чем им Ее величеству ослушными быть было невозможно». По той же причине бедный временщик оставался годами неокормленным в протестантской кирхе, «понеже всякому известно, что ему от Ея императорского величества… никуды отлучиться было невозможно». Действительно, о липучей привязанности императрицы к фавориту, без которого она нигде и никогда не появлялась, известно из многих источников. Возможно, императрица и жаловалась прислуге на надоедливого Бирона, но при этом сама без него не могла прожить и часа.

Бирона, как и подобных ему «ночных императоров», понять можно: вчера было все благополучно, а нынче, со смертью императрицы, все могло разом рухнуть. К тому же у него был внутренний мотив, которым он оправдывал свое властолюбие и явно незаконные притязания на власть. Регентство представлялось самому Бирону как бы платой, как он говорил, за его «службу, в которой 22 года был», то есть с 1718 года, когда он поступил в камер-юнкеры к Анне Иоанновне, курляндской герцогине, при которой находился неотлучно все эти годы.[80] По-человечески Бирона, так долго страдавшего от нестерпимой навязчивости своей малосимпатичной возлюбленной, понять можно, но цену за свои страдания он заломил у России уж очень высокую.

Учитывая все это, можно понять, почему у сановников был только один выход – предложить регентство Бирону. Кто первым высказал мысль об этом, не совсем ясно. Впоследствии, когда Бирон рухнул с вершины власти и в Манифесте императора Ивана Антоновича был назван узурпатором, вторым Годуновым, его бывшие сподвижники дружно отреклись от ставшей совсем не почетной роли инициаторов выдвижения Бирона в регенты. При расследовании Бирон показал на Миниха как на первейшего, «найревностнейшего» своего сторонника.[81] В своих записках Бирон повторяет, что именно Миних, выражая общее мнение сановников, заявил ему, что они «после многих размышлений и единственно в видах государственной пользы нашли способнейшим к управлению меня».[82] Во время следствия Бирон также показал, что Миних, находившийся с ним «в особливом дружелюбии… с таким горячеством» просил его стать регентом,

что если бы не эти просьбы и клятвы в верности, то «во веки б он, Бирон, правительства не принял».[83]

Конечно, в этом утверждении бывшего регента проглядывает обида на неверного фельдмаршала, который 9 ноября 1741 года коварно его сверг. И в других записях показаний Бирона видны эта обида и желание отомстить изменнику даже из-за решетки. Бирон показал, что Миних всегда был предателем, причем больше всего от него страдал, оказывается, Остерман, которого «… старался он 10 лет лишить чести, живота и имения» и которого пытался рассорить с ним, Бироном.[84] Ясно, что все эти инсинуации предназначались для глаз Остермана, который в этот момент был на коне, в отличие от Бирона, сидевшего в Шлиссельбургской крепости.

Следствие 1741 года, точнее «Экстракт о генерал-фельдмаршале фон Минихе», содержит эпизод, который нелегко придумать: «Как Ее императорское величество занемогла и ему, фельдмаршалу, от Бирона о том было объявлено, то о правительстве в совете и рассуждениях он первым предводителем к регентству его был, понеже, когда Ее величество наследником всероссийского престола Его императорского величества (Ивана Антоновича. – *Е. А.)* определить и указ (5 октября. – *Е. А.)* подписать соизволила, он, фельдмаршал, оставаясь в спальне Ея величества и стоя у дверей, держався за оную, велегласно говорил: «Милостивая императрица! Мы согласились, чтоб герцогу быть нашим регентом, мы просим о том подданнейше!»»[85] Показания Бирона о Минихе как инициаторе выдвижения его в регенты и выводы следствия 1741 года подтверждает и заключение елизаветинских следователей 1742 года по допросам самого Миниха, уже угодившего в государственные преступники: «Нашлось, что он, Миних, главнейшую винность имеет в том, что Бирон в дело о правительстве вступил, ибо-де он первейший о том говорил и непрестанно просил и возбуждал».[86]

Бестужев также считал, что Миних «к тому регентству его, герцога, первым зачинщиком был и с начала его, герцога, о принятии регентства просил и других к тому приводил и склонял».[87] Сам же Миних в своих мемуарах обходит молчанием интересующий нас вопрос о его роли в провозглашении Бирона регентом, что свидетельствует против него. Примечательно, что в ноябре—декабре 1740 года и в самом начале 1741 года, когда Миних находился в зените славы низвергателя регента, по-видимому, с его подачи была предпринята попытка «скорректировать» историю, «очистить» его от вышесказанных обвинений. Для этого при допросе Бестужева 5 января 1741 года

был задан вопрос, который начинался словами: «Сам ты слышал благое намерение генерала-фельдмаршала графа фон Миниха, что не иному кому правление государства во время малолетства Его императорского величества вручено быть может, как токмо родителем Его императорского величества?» Но эта попытка освободиться от обвинений оказалась крайне неуклюжей и противоречила всему, что было известно о роли Миниха в «затейке Бирона». Впрочем, вскоре сам фельдмаршал оказался в опале, и выгодная Миниху тема ревностного защитника прав Брауншвейгской фамилии была, таким образом, закрыта.

Когда в 1742 году, во времена Елизаветы Петровны, начали об этом допрашивать самого Миниха, то он все валил на Бестужева: «Оный господин Бестужев сказал ему (Бирону. – *Е. А.):* «Некому-де, кроме вас, быть регентом»».[88] Однако ему зачитали выписку из дела 1741 года, которая свидетельствовала, что именно он, фельдмаршал, был первым инициатором регентства Бирона.

Впрочем, сын Миниха, оправдывая отца, указывает на кабинет-министра князя А. М. Черкасского, который якобы произнес первым слово о регентстве Бирона.[89] Эта версия подтверждается материалами следствия 1741 года по делу Черкасского. Бестужев показал, что, когда 5 октября он вместе с Черкасским возвращался от Остермана в одной карете, Черкасский «в разговорах о правительстве наперед зачал говорить, что-де дальше некому, разве герцогу Курляндскому быть, понеже-де он в русских делах искусен». По возвращении во дворец, в собрании вельмож, «он и стал представлять Бирона в регенты и обще с фельдмаршалом и с другими его о том просил».[90]

Теперь о Бестужеве, давшем эти показания. Без сомнений, сам он был непосредственно причастен к инициативе «истинных патриотов» (так назвал Бирон тех молодцов, которые уговорили его быть регентом). Бестужев был особо деятелен и участвовал в подготовке многих необходимых документов для провозглашения Бирона регентом. Вообще, из всех сановников Анны Иоанновны Бестужев был самым близким соратником Бирона, его верным клиентом, послушной креатурой. С давних пор, еще в бытность свою послом в Копенгагене, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин поддерживал с фаворитом переписку, а потом, по инициативе Бирона отозванный в Петербург, «многие секретные разговоры с ним имел».[91] Истоки такой активности и преданности Бирону кроются в особенностях служебной судьбы Бестужева – безусловно талантливого и честолюбивого человека. Как известно, карьера этого истинного «птенца гнезда Петрова»

началась блестяще, он показал себя хорошим дипломатом, был замечен и обласкан Петром Великим. Но затем движение наверх приостановилось, и 20—40-е годы XVIII века Бестужев «мыкал горе» в посольстве России в Копенгагене, что не отвечало его честолюбивым представлениям. Известно, что еще в 1717 году, узнав о бегстве царевича Алексея в Австрию, Бестужев из Копенгагена написал добровольному изгнаннику письмо, в котором выражал преданность царевичу и предлагал свои услуги. Письмо это затерялось и чудом не попало в руки Петра Великого, иначе Бестужеву сидеть бы не в мягких креслах в Копенгагене, а в Москве, на колу посреди Болотной площади. В 1720—1730-х годах карьера Бестужева не развивалась дальше, пока он не установил связь с Бироном, благодаря чему бывший посол в Дании занял место казненного Волынского в Кабинете министров, совмещая там официальные обязанности министра с ролью клеврета фаворита. Неудивительно, что свое дальнейшее существование Бестужев связывал исключительно с Бироном. В следственном деле о Бестужеве было сказано, что Бирон, «надеясь на его к себе из давних лет верность, своим фаворитом имел и, когда он еще был в чужих краях, онаго в свои дела употреблял». Бестужев был всегда «весьма откровенным шпионом»[92] герцога. И сколько бы потом, на следствии 1741 года, оба ни отрицали своих близких отношений, существование их несомненно: Бестужев с Бироном «тайные советы о произведении всяких замыслов, также о повреждении других… людей имел».[93]

Но при этом Бестужев действовал гораздо тоньше и искуснее других. Финч передает в своих сообщениях в Лондон еще одну версию роковой для всех инициативы выдвижения фаворита в регенты. По его сведениям, инициатива исходила от Бестужева, который как бы поделился сокровенными мыслями в конфиденциальной беседе со своим товарищем по Кабинету князем Черкасским. Он рассуждал о трех возможных вариантах регентства: регентство матери императора явно не подходит – у Анны Леопольдовны может быть характер ее отца, который к тому же тотчас заявится в Россию… и т. д. Коллективное регентство также не для нас – оно «не согласуется с характером русского правительства, с духом народа». Это доказано всей историей Верховного тайного совета. Поэтому, «сознавая необходимость ввиду духа русского правительства сосредоточить власть в одних руках, он, Бестужев, считает герцога единственным лицом, которому желательно вручить регентство, потому предлагает князю Черкасскому, буде с ним согласен, соединиться в стремлении к общей цели и вместе с другими сановниками ходатайствовать перед государыней о назначении его светлости

регентом». Черкасский согласился действовать с Бестужевым заодно…[94] В итоге Черкасский оказался в глазах многих инициатором регентства Бирона.

Словом, как бы то ни было, пальму первенства в деле провозглашения Бирона регентом империи оспаривают громогласный Миних, простодушный Черкасский и хитрый Бестужев.

Уже из этой попытки выявить инициаторов регентства фаворита видно, что существовало несколько версий того, как Бирону было предложено стать регентом. Из рассказа самого Бирона следует, что он неотлучно находился при государыне, и тут к опочивальне императрицы явились несколько сановников во главе с Остерманом. Отведя Бирона в сторону, вице-канцлер от имени «общества» просил герцога согласиться стать регентом, дабы, получив его согласие, идти просить государыню об этой милости. Тут же Остерман и другие сановники прочитали фавориту «письменный акт, ими заготовленный», то есть завещание в пользу Ивана Антоновича при регентстве Бирона.[95] Воспоминания Бирона подтверждаются материалами дела о нем и его сообщниках: «Когда определение набело было переписано и пред почивальнею Ея императорского величества публично чтено, и он, Бирон, от регентства отговаривался, тогда он (князь Черкасский. – *Е. А.)* с фельдмаршалом и другими о принятии того его паки просил, обещая, что они, каждый в своем чине, яко честной человек, будет ему то бремя носить помогать».[96]

«Не видя ни вероятности, ни возможности увернуться от возлагаемых на меня обязанностей, – продолжал Бирон, – я потребовал прибавления к акту, по крайней мере, того заключительного пункта, что в случае, если нездоровье или другие побудительные причины воспрепятствуют мне править государством, за мною остается право – сложить с себя достоинство регента».[97] Иначе говоря, Бирон был якобы совершенно не в курсе инициативы сановников, они явились перед ним неожиданно и предложили ему быть регентом, показали подготовленное завещание, и тогда Бирон, якобы против своего желания, был вынужден согласиться, причем внес в текст дополнительный пункт.[98] После этого Остерман, согласно Бирону, отправился к Анне Иоанновне, переговорил с ней и передал государыне составленный ранее акт.

В относящемся к весне 1741 года Кратком экстракте дела Бирона следователи представили иную картину происшедшего. Как только императрица Анна 5 октября подписала Манифест, Бирон призвал к себе Миниха и двух кабинет-министров (Черкасского и Бестужева) «для совету о правительстве, кому во

время Его императорского величества малолетства быть», и при этом заявил им, что императрица не хочет, чтобы регентшей была Анна Леопольдовна.

Здесь сложный момент, и до истины докопаться трудно. Убедиться в том, что Бирон точно передал волю императрицы, невозможно, хотя допускаем два возможных варианта. Первый – Анна Иоанновна, действительно, не хотела видеть племянницу в качестве регентши, но при этом не предлагала регентства и Бирону (это уж точно!), и второй – Бирон, воспользовавшись молчанием императрицы, думавшей не о регентстве после ее смерти, а о своем выздоровлении, обманул сподвижников, чтобы побудить их действовать в свою пользу.

Однако и этим сподвижникам тоже верить нельзя: на следствии 1741 года по делу Бирона и Миних, и Черкасский, и Бестужев, естественно, валили все на регента, объясняя свою противозаконную (для весны 1741 года) деятельность тем, что они поверили дезинформации Бирона, пошли у него на поводу и поэтому, не видя иного выхода, предложили герцогу регентство. На самом деле они могли быть с ним в сговоре и знать всю правду.

По версии Краткого экстракта, Бирон вначале послал своих клевретов к Остерману за советом, но они вернулись ни с чем – Остерман совета, как им поступать, не дал. После этого Бирон вновь спрашивал у Черкасского, Бестужева и Миниха, а также у присоединившегося к ним Левенвольде, «как же быть и кому поручить, упоминая паки», что императрица против кандидатуры племянницы и что от правления супругов «опасности государству последуют». Тогда-то четверо этих вельмож и предложили ему быть регентом, после чего он приказал послать еще за тремя сановниками, которые, прибыв во дворец, присоединились к идее выдвижения регентом Бирона.

В Кратком экстракте так сказано о завершающей стадии обсуждения: «Как оное на мере поставили (то есть четверо сановников постановили предложить в качестве регента Бирона. – *Е.А.),* тогда еще по трех только персон послать велел… и с оными, всего в восьми персонах, себя к тому удостоил и то свое регентство в действо произвел без соизволения Ея императорского величества». Вот эта восьмерка: князь А. М. Черкасский, А. П. Бестужев-Рюмин, Б. Х. Миних, Р. Г. Левенвольде, А. И. Ушаков, князь Н. Ю. Трубецкой и князь А. Б. Куракин.[99] На следующий день к ним присоединился А. И. Остерман.

По версии сына Миниха все было совсем не так: история с предложением Бирону быть регентом и его лицемерным отказом,

а затем согласием произошла раньше поездки Миниха и других к Остерману за советом. Миних-сын пишет, что Бирон сразу же после приступа болезни императрицы призвал к себе Миниха, Бестужева, Черкасского и Левенвольде и, «проливая токи слез и с внутренним от скорби терзанием, вопиял» не только о своей судьбе (что, конечно, было искренне), но и о судьбе России, которой грозили несчастья из-за малолетства Ивана Антоновича и слабохарактерности Анны Леопольдовны в свете возможного приезда ее отца, мекленбургского герцога. Под конец Бирон заявил, что «крайне важно и полезно правление государства вверить такой особе, которая не токмо достаточную снискала опытность, но также имеет довольно твердости духа непостоянный народ содержать в тишине и обуздании». Тогда-то министры и заявили, что иного такого правителя, кроме самого Бирона, они не видят, причем первым, как уже сказано выше, это слово произнес А. М. Черкасский, а другие его поддержали.[100]

Тут Бирон начал отказываться от высокой должности, ссылаясь на плохое состояние здоровья, домашние заботы, усталость. В принципе, несмотря на некоторую художественность описания сцены, смысл текста Миниха-младшего близок к заключению авторов следственного Краткого экстракта: Бирон сам «выманил» у сановников предложение о назначении его регентом, подвел их к этой мысли, потом, выслушав предложение, для вида поломался и наконец согласился.

О первоначальном отказе Бирона стать регентом свидетельствуют и другие источники.[101] Я бы не стал, по примеру некоторых историков, доверять искренности порыва Бирона, якобы испугавшегося ответственности. Все его последующее поведение свидетельствует о том, что он рвался к власти, но хотел, чтобы его об этом просили и даже умоляли. Так поступали в истории многие стремившиеся к власти временщики и узурпаторы – слишком поспешное согласие принять тяжкое бремя правления может затруднить впоследствии процедуру легитимизации создаваемого режима. И вообще, как заметил Финч, в этом проявляется традиционный принцип при избрании епископа – «nolo episcopari»,[102] когда кандидат считает хорошим тоном поначалу отказываться как недостойный высокого звания. Усерднее других, согласно следствию 1741 года, «велегласно» уговаривал Бирона принять регентство Миних. Он «обнадеживал своей преданностью, которую к нему имеет и впредь иметь будет, и еще говорил по-немецки: „Прими, ваша светлость, весло правительства, лучше вам при веселе быть“».[103] Нельзя исключить, что отказ входил в некие правила игры, придуманной Бироном и его клевретами. Не без оснований следователи

спрашивали Бестужева, не было ли во всей этой сцене умысла: «Бывший регент многажды внешне в принятии регентства отговаривался, а ты сказываешь, что все по его приказам учинено. Из чего явно видно, что во всем том между вами соглашенные и установленные интриги были, дабы тем кого-либо обольстить и очи ослепить», и вообще, «когда он разумел сие быть тягостным, чего ради такую тягость на себя принял?».[104]

Миних-сын далее пишет: после согласия Бирона на предложенное ему регентство «отец мой вместе с прочими вышеименованными особами» известил отсиживавшегося дома Остермана обо всем происходящем, и тот «немедленно при величайших знаках усердия согласие свое изъявил, присовокупя, что если герцог Курляндский в нерешимости своей останется, то надлежит самую императрицу утруждать, дабы она преклонила его к тому».[105] На следующий день вице-канцлер появился во дворце, что всеми было воспринято как событие из ряда вон выходящее – Миних-младший сообщал, что тот пять лет не выходил из дома. Английский дипломат Э. Финч 7 октября писал в Лондон, что положение императрицы, вероятно, тяжелое, и об этом свидетельствует приезд ко двору множества влиятельных и знатных лиц. «Вчера (то есть 6 октября. – *Е. А.)* можно было наблюдать еще большие опасения: графа Остермана (который уже несколько лет не выходит из дому вследствие воображаемой или действительной болезни) по особенному приказанию принесли ко двору в носилках, он оставался там всю ночь и возвратился только сегодня рано поутру», то есть 7 октября 1740 года.[106] То, что 6 октября Остерман приказал тащить себя на носилках во дворец, чтобы участвовать в разворачивающихся событиях и не упустить своего, а не самоустранился (как делал не раз в опасной ситуации), позволяет считать, что версия Миниха-сына при описании последовательности событий установления регентства Бирона ближе к истине, чем утверждение следователей – авторов Краткого экстракта, писавших свою бумагу в то время (весна 1741 года), когда Остерман был у власти и влиял на ход следствия.[107]

Вообще, о роли Остермана в этой истории нужно сказать особо. Версия Краткого экстракта – итогового произведения следствия зимы – весны 1741 года – нацелена на то, чтобы вообще вывести Остермана за скобки этого дела. В тексте Краткого экстракта он появляется лишь один раз, чтобы не дать преступным сообщникам фаворита никакого совета. Всю вину на этом следствии взял на себя Бестужев-Рюмин, который признался, что был с другими сановниками у Остермана, и тот якобы сказал, что «то дело – не другое (то есть одно дело – Манифест о престолонаследии, а другое, более сложное, – завещание с

упоминанием о регентстве. – *Е. А.),* торопиться не надобно, а чтоб о том подумать, ибо он скоро сказать не может». Вернувшись во дворец, Бестужев якобы утаил это осторожное мнение вице-канцлера, сказал, что Остерманом «о правительстве ничего не положено, что же говорил Остерман, о том умолчал… представлял, чтоб ему, Бирону, регентом быть», и затем предложил фавориту призвать на совет еще четверых сановников. Они-то все вместе и просили Бирона стать регентом.[108]

По материалам следствия получается, что Бестужев – главный виновник всего происшедшего: это он скрыл от Бирона мудрое высказывание Остермана и своим обманом подвигнул герцога к регентству. Такая версия следствия была выгодна Остерману. Между тем Бестужев был у Остермана не один, и его товарищи могли бы легко обнаружить перед герцогом обман коллеги.

Известно, что во время следствия в Шлиссельбургской крепости зимой 1740/41 года Бестужеву грозили пытками, и он в страхе был вынужден, «очищая» Миниха и Остермана, брать всю вину на себя. Бирон в своих записках вспоминал, что ему дали очную ставку с Бестужевым, «самый вид которого уже возбуждал сожаление», и Бестужев тут же отказался от прежних показаний, заявив: «Признаюсь торжественно, что я был подкуплен фельдмаршалом Минихом: он обещал мне свободу, но с условием – запутать герцога. Жестокость обращения и страх угроз вынудили меня к ложным обвинениям герцога».[109] Действительно, чуть позже, когда в марте 1741 года Миних ушел в отставку и перестал влиять на следствие в нужном для него ключе, Бестужев отказался от большей части своих показаний против Бирона. Но при этом он понимал, что с уходом Миниха резко усилился Остерман, интересы которого в этом деле бывший кабинет-министр не мог не учитывать.

Но все попытки следователей снять с Остермана вину в причастности к «затейке Бирона» разбиваются о многочисленные факты его реальных действий в пользу герцога. Пребывание Остермана во дворце, куда он примчался на носилках на глазах всего дипломатического корпуса и где оставался несколько дней, [110] несомненно, как несомненно и его участие в обсуждении всей ситуации с составлением завещания.

Любопытно, что в донесении от 1 ноября 1740 года Финч сообщает, что регент и его клевреты праздновали победу и хвастались иностранным дипломатам, как все удачно и быстро у них получилось. При этом Бестужев рассказывал, что, добившись принципиального согласия Бирона стать регентом, он, вместе с другими сановниками, отправился за советом к Остерману, как

им оформить соответствующую бумагу. Финч пишет: «Так как решительный шаг сделан не был, граф, как слышно, пожелал уклониться от выражения собственного мнения; он признал вопрос слишком важным, не подлежащим его суждению как иностранца». Заметим попутно, что первую часть высказывания Остермана – о том, что надо сначала хорошенько обдумать документ о регентстве, – мы как раз встречаем в приведенном выше отрывке из Краткого экстракта. После этого, как пишет Финч, «Бестужев (с которым отношения графа не из лучших) немедленно прервал графа, выразив удивление, как его сиятельство, прожив в России столько лет, занимая одну из важнейших государственных должностей, руководя почти один всеми делами, смотрит на себя как на иностранца; что его мнения никто не насилует, что его только спрашивают – каково оно; что – раз он не намерен высказаться – какая же польза от его присутствия при возникших совещаниях. Граф из этих слов вскоре понял, куда дело клонится, и… заявил, что его плохо поняли, что, по его мнению, регентство нельзя передать в лучшие руки, чем в руки герцога…». Рассказ Бестужева, переданный английским послом, кажется весьма правдоподобным. Известно, что точно так же вел себя Остерман в феврале 1730 года, когда верховники выбирали Анну Иоанновну в императрицы.

Теперь о подписанном Анной Иоанновной документе, так резко изменившем судьбу Анны Леопольдовны, Бирона и многих других. Источниковедческая история акта – так он назван в записках Бирона – не совсем ясна. В следственных делах 1740–1741 годов фигурируют два документа: «Духовная и Определение о регентстве».[111] То, что было опубликовано позже, после смерти Анны Иоанновны, 18 октября 1740 года, названия не имеет, но оформлено как типичный манифест: «Божиею милостию мы, Анна, императрица и самодержица Всероссийская…» и в нем не видно «швов», которые бы соединяли «Духовную», то есть собственно завещание, с «Определением о регентстве». Поэтому речь можно вести в целом о завещании, согласно которому престол переходил к императору Ивану Антоновичу, а регентом при нем становился герцог Бирон.

О содержании Определения о регентстве в экстракте дела Бестужева сказано, что оно сперва было написано кратко и заключало в себе следующие положения: «Управлять ему, Бирону, на основании прав и указов все государственные дела, как внутренние, так и иностранные». Но потом в этот текст добавили, что Бирону надлежит быть регентом до семнадцатилетия государя Ивана Антоновича, состоять главнокомандующим вооруженными силами, распоряжаться финансами и

государственными учреждениями и, наконец, определять наследника в случае смерти императора.[112]

Во второй редакции Определения было добавлено еще несколько важных пунктов: об обязанности Бирона руководить воспитанием юного императора, причем с «выключением его императорских родителей» от этого важного дела, а также о приравнении родителей Ивана Антоновича к прочим подданным императора. В конце шла речь о размере жалованья регента. Эти прибавления исчезли из третьей редакции документа. Наконец, в последний момент перед подачей текста всего завещания императрице на подписание появилась четвертая редакция с поправками, продиктованными самим Бироном, о чем уже шла речь выше. Но как соотносится эта, подписанная умирающей императрицей, редакция с опубликованным 18 октября Манифестом, наверняка сказать мы не можем – подлинник документа до нашего времени не сохранился.[113] Можно только предположить, что на последнем этапе собственно духовную в пользу Ивана Антоновича дополнили Определением о регентстве, что и было издано в виде Манифеста 18 октября (см. Приложение).

Многое остается неясным и в вопросе об авторстве Акта. Из дела Миниха вытекает, что сочинение документа было плодом коллективного творчества Миниха, Бестужева, Черкасского и Трубецкого, а сам текст писал под их диктовку советник К. Г. Бреверн. Из дел Бирона и Бестужева следует, что автором документа был один Бестужев. Согласно признанию последнего, именно он, в ночь с 5 на 6 октября, «начал писать Духовную и Определение о регентстве». Но уже позже он от своего единоличного авторства, как и от обвинительных показаний против Бирона, отказался; по его словам, после того как Бирон согласился быть регентом, он «приказал готовить проект» Акта и для этого распорядился действительному статскому советнику Бреверну отправиться в Кабинет и сочинять документ. Но тот отвечал, что из-за плохого знания русского языка «один сочинять не может». Тогда Бестужев позвал с собой князя Н. Ю. Трубецкого и они стали «все трое обще писать», точнее – диктовать секретарю Кабинета министров Андрею Яковлеву.

Есть еще одна версия сочинения Акта. Из донесения Финча о визите Бестужева и других к Остерману следует, что после упреков Бестужева Остерман не только согласился с кандидатурой Бирона, но и откликнулся на предложение подготовить необходимые документы: «Тогда графу предложено было составить одно завещание, назначающее великого князя наследником, и другое – устанавливающее регентство герцога

Курляндского. И то и другое скоро были готовы. Тогда графу поручили отнести обе бумаги к Ее величеству, предъявив вторую от общего имени, как общее ходатайство. Это и сделано было в тот же день. Государыня немедленно подписала документ, касавшийся престолонаследия, в присутствии графа, он же приложил печать; документ же о регентстве Ее величество пожелала оставить у себя. Тогда престолонаследие было немедленно провозглашено и принесена надлежащая присяга. Однако никто (кроме, быть может, регента) не знал, подписала ли Ее величество и другой документ»,[114] то есть завещание в пользу Ивана Антоновича при регентстве Бирона.

Сопоставляя версии рассказа о том, как был сочинен Акт (завещание и Определение о регентстве), вновь отметим, что показаниям Бестужева, данным в Шлиссельбургской крепости в январе 1741 года, под сильным давлением Миниха и Остермана, не следует доверять. Напомню, что именно тогда Остерман правил в угодную ему сторону черновики допросов Бестужева, Бирона и других арестованных. В черновиках даже сохранился образец такой правки: «Января 5 дня, его сиятельство граф Андрей Иванович Остерман изволил приказать…» И далее следовала правка одного из пунктов допроса Бестужева. Конкретно, подследственного спрашивали о событиях 23 октября 1740 года, когда он на заседании Кабинета министров велел устранить противоречие в документах, заключавшееся в том, что Акт с Определением о регентстве был подписан умирающей государыней 16 октября, а датировано оно было задним числом – 6 октября, когда Акт был подан вместе с Манифестом о провозглашении принца Ивана наследником престола.[115] В допросном пункте № 39 Бестужева спрашивали по этому поводу: «Скажи именно: какое твое и других с тобою сообщников было коварство, и кто при подписании оного был, и чего ради задним числом подписано?» Остерман приказал слова «"кто при подписании оного был" выключить, а написать вместо сие – „понеже граф Остерман именно объявил, что оное Ея императорским величеством в 6-м числе не подписано, а подписано накануне преставления Ее величества“».[116] Получилось, что и здесь Остерман был на страже законности, хотя на самом деле в тот день, 23 октября, вместе с другими кабинет-министрами одобрил подлог.

Как же, по нашему мнению, в результате анализа всех известных версий, развивались события, приведшие к провозглашению регентства Бирона? Итак, после того как 5 октября у императрицы начался приступ болезни, Бирон собрал для совещания четырех своих сторонников: Миниха, Бестужева,

Черкасского и Левенвольде. На этом совещании сановники, узнав из его уст, что государыня желает передать престол Ивану Антоновичу, но не хочет, чтобы регентшей при нем была Анна Леопольдовна, стали обсуждать варианты регентства. Под давлением Бирона они отказались как от идеи коллективного регентства, так и от провозглашения регентшей матери императора. Затем кто-то из них (возможно – Черкасский, подготовленный исподволь Бестужевым, а возможно – Миних) предложил регентство самому Бирону. Он, для виду поломавшись некоторое время, согласился, и тогда встал вопрос о написании необходимых документов, в которых закреплялось бы все оговоренное выше. Решили, как уже повелось, прибегнуть к помощи Остермана – непревзойденного умельца по части составления важнейших государственных бумаг. К нему была отправлена депутация с целью, во-первых, узнать его мнение и, во-вторых, в случае согласия вице-канцлера на кандидатуру Бирона – составить Манифест о престолонаследии и Акт (завещание – духовную и Определение о регентстве). Получив согласие Остермана, депутация вернулась во дворец, а Остерман надиктовал секретарю Яковлеву оба документа в черновом виде и срочно отослал эти черновики во дворец. Все это происходило вечером и, возможно, ночью 5 октября. Получив от Остермана наброски, над ними поработали коллективно другие участники «затейки Бирона»: Бестужев, Черкасский, Бреверн. 6 октября к ним присоединился и Остерман, а затем в дело включился сам Бирон. Когда Манифест о престолонаследии и Акт приняли окончательный вид, Остерман отправился с ними на аудиенцию к императрице, которая сразу подписала Манифест о престолонаследии, а Акт (духовную и Определение о регентстве) положила под подушку.

Описания того, как происходила аудиенция Остермана у императрицы, как сказано выше, в следственных делах 1741 года мы не найдем: участие вице-канцлера в событиях вокруг провозглашения Бирона регентом, согласно исправленной самим Остерманом версии следственных бумаг, ограничилось лишь тем, что он отказался давать совет посланной к нему депутации. О том, что Остерман был на аудиенции у императрицы и вел разговор о регентстве 6 октября, сказано в записках самого Бирона: «Остерман… отправился к Ее величеству, говорил с ней без свидетелей и передал ей Акт». После этого Остерман, по словам герцога, появился во дворце во второй раз, уже незадолго до смерти государыни, чтобы присутствовать при подписании Определения.[117] О том, что Остерман был тогда у императрицы, писали и оба Миниха – отец и сын. В манифесте о винах Бирона

от 14 апреля 1741 года на основе показаний Бестужева сказано, что будто бы некие клевреты герцога утверждали, что Анна Иоанновна не объявила Бирона регентом «для того, что наш генерал-адмирал (таким стал чин вице-канцлера при правительнице Анне Леопольдовне. – *Е. А.)* граф Остерман надлежащим образом Ее величеству о том тогда не докладывал, в чем оные и вину положили на него одного».[118] Тем самым получается, что Остерман, якобы умышленно «плохо доложивший» умирающей государыне суть дела, добился того, что она не подписала Определение о регентстве в пользу Бирона. Но тут, справедливости ради, отметим, что Остерман действительно не лез из кожи вон, чтобы убедить государыню сделать Бирона регентом, – ведь он видел, что Анне Иоанновне вся эта затея фаворита не очень нравилась. Но для нас важно другое – из этого, даже исправленного в угоду Остерману, текста следует, что Остерман все-таки участвовал в «затейке Бирона» на самом важном ее этапе и от него многое зависело в деле провозглашения Бирона регентом. Как бы то ни было, после разговора Остермана с императрицей стало ясно, что она не намерена подписывать Акт, так как положила бумагу под подушку. Остерман вышел от Анны Иоанновны и объявил собравшимся, «что Ея величество сочиненное от них Определение выслушать, потом к себе взять и оставить изволила».[119] Это полностью разбивает ту трогательную картину, которую нарисовал в своих записках Бирон: «В минуту входа моего к государыне она держала акт в руках и готовилась подписать его. Я умолял императрицу не делать этого, представляя, что отказ Ее величества утвердить акт почту полным вознаграждением за все мои службы и услуги. Государыня взяла бумагу и положила ее себе под изголовье. Все нетерпеливо желали знать, подписан ли акт, но узнали, что нет. И хотя в течение следующих дней императрица несколько раз была готова исполнить желание министров, но я, несмотря на продолжительные настояния Ее величества, отклонял ее от такого исполнения». Верить Бирону, что это он сам уговорил государыню не подписывать бумагу, не стоит. Кстати, в вышеприведенном отрывке записок Бирон случайно проговаривается о том, что попытки добиться подписи он (или его люди) возобновлял неоднократно: «И хотя в течение следующих дней императрица *несколько раз* была готова исполнить желание министров…» О том же, в сущности, идет речь в деле Бирона 1741 года: «А по собственному его герцогскому частному объявлению Ея императорское величество сама ему *неоднократно* в принятии регентства отсоветовала».[120]

Итак, молниеносный план провозглашения фаворита

регентом, так ловко придуманный Бироном и его клевретами, с треском провалился. Царская подушка, которая так много помогала Бирону в жизни, вдруг стала серьезным препятствием на его пути к власти. Почему же государыня, всегда души не чаявшая в своем Иоганне, столь жестоко с ним поступила?

Дело в том, что после сильного приступа мочекаменной болезни, произошедшего 5 октября 1740 года, императрице благодаря усилиям врачей на какое-то время полегчало, и она, как каждый человек, рассчитывала прийти в себя и поправиться. Чем ей помогли доктора, мы не знаем, но известно, что у страдающих мочекаменной болезнью приступы нестерпимой боли (вызванные движением камней) сменяются спокойными периодами, когда острые болевые ощущения исчезают, хотя болезнь развивается и проявляется в других симптомах. Вполне возможно, что больная императрица руководствовалась теми соображениями, которые упомянуты в указе Ивана Антоновича о наказании Бирона от 14 апреля 1741 года: «Определение, не апробовав, оставила у себя в том рассуждении, дабы, по облегчении от скорби… рассмотреть, чтобы оное нам, как наследному государю, впредь полезным быть может, и так продолжалось без апробации того ж октября по 16 число».[121]

Имелись, кроме того, и другие причины столь неприятного Бирону упрямства Анны Иоанновны. Как считали Шетарди и Финч, государыня не подписала завещание, ибо была во власти предубеждения: стоит огласить завещание – скоро и помрешь. «В России, – пишет Шетарди, – господствует предрассудок, основанный на действительно бывших примерах, будто бы монарх никогда не живет долго после распоряжения» о наследстве.[122] Что имеет в виду французский дипломат – неясно. Может быть, речь идет о Тестаменте Екатерины I, которая в мае 1727 года, тотчас после его подписания, умерла. Впрочем, действительно, и другие русские государи не спешили до самой смерти объявлять завещания и нередко умирали без оглашения последней воли. Мы знаем, к чему привела затяжка с провозглашением завещания в январе 1725 года, когда Петр Великий, умирая, духовной своей не составил, и в итоге страна оказалась в крайне тяжелом положении. Знаем мы, что и через сто лет после этого случая нежелание императора Александра I предать гласности свое, задолго до смерти составленное, завещание в пользу младшего брата Николая Павловича привело к кровавому мятежу на Сенатской площади в декабре 1825 года…

Впоследствии Бирон в своих ответах на вопросы следователей приводил другое объяснение задержки с подписанием Акта: Анна Иоанновна якобы боялась за свою власть и говорила, что стоит

официально объявить наследником Ивана Антоновича, «то уж всяк будет больше за ним ходить, нежели за нею». Словом, царица надеялась на выздоровление и при этом хорошо знала нравы своих «нижайших рабов». Поэтому и не спешила ставить подпись под Актом.

События за пределами царского дворца между тем шли своим чередом. Как сообщали дипломаты, 7 октября 1740 года гвардейские и армейские полки, собранные у Летнего дворца (думаю, что, скорее всего, они стояли на Марсовом поле), присягнули в верности воле государыни, избравшей наследником своего престола внучатого племянника Ивана Антоновича, правнука царя Ивана Алексеевича. Никаких других царских указов при этом объявлено не было. Все, как писал Финч, «свершилось в большем спокойствии, чем простой смотр гвардии в Гайд-парке».[123] Шетарди уточняет: Бирон всю процедуру присяги простоял у знамени Преображенского полка, потом знать была приведена к присяге в церкви Летнего дворца, служащие коллегий и контор присягали в Петропавловском соборе, придворные лакеи и слуги—в церкви Зимнего дворца под присмотром гофмаршала Д. А. Шепелева.[124] Все было спокойно, да и вряд ли могло быть иначе: своей присягой подданные лишь подтверждали прежние присяги на верность выбору императрицы, кого бы она ни назначила наследником престола. Как и во множестве других случаев, присягавшие мало вслушивались в слова присяги, которую им зачитывали священники. В сущности, эта присяга состояла из одного предложения, пространного и трудно воспринимаемого даже при прочтении про себя, а не то что на слух (см. Приложение).

Строго говоря, из текста Манифеста и присяги следовало, что государыня умирать не собиралась, а лишь заботилась о будущем династии и России. Некоторое улучшение здоровья императрицы тотчас отразилось на жизни двора, которая стала входить в нормальную колею. Иностранных дипломатов начали вновь приглашать на куртаги во дворец, хотя государыня на них и не появлялась. Возобновились обычные для спокойного времени встречи и переговоры чиновников дипломатического ведомства с их «подопечными» – посланниками иностранных государств. В частности, Шетарди сообщал, что он встречался (7 или 8 октября) с Остерманом и официально выразил тому радость по поводу начавшегося выздоровления государыни, а в ответ вице-канцлер стал энергично уверять его, что слухи о болезни государыни беспочвенны и что причиной некоторого недомогания императрицы был испуг по поводу болезни Анны Леопольдовны (та была беременна во второй раз, как потом выяснилось –

принцессой Екатериной). Теперь, утверждал Остерман, здоровье государыни и ее племянницы поправилось, и «в течение трех дней, когда он имел счастье достаточно часто беседовать с царицей, он никогда не видел ее ни более веселой, ни рассуждающей с большей отчетливостью, ясностью и проницательностью».[125] Но французский дипломат не очень-то доверял старому лису и после этой встречи писал в Версаль, что государыня остается больной, но, чтобы скрыть это, при дворе как раз и устраиваются куртаги. К тому же вышло тайное повеление придворным дамам являться ко двору аккуратнее, чем прежде, «с целью скрыть опасность, в которой находилась или не замедлит очутиться царица».

Но многим тогда казалось, что кризис миновал. Финч писал 11 октября, что «болезнь царицы принимает, однако, со среды (то есть с 8 октября. – *Е. А.),* по-видимому, лучший оборот. Вчера поутру (то есть 10 октября. – *Е.А.),* явясь ко двору с поздравлением принцессе Анне по случаю провозглашения ее сына великим князем, я слышал, будто Ее величеству лучше». 14 октября он же сообщал, что врачи «надеются… что настоящий приступ пройдет благополучно».

На самом деле все было как раз наоборот. Лишь после смерти Анны дипломаты это поняли. Тот же Финч сообщал 18 октября в Лондон, что «с неделю тому назад (10–11 октября. – *Е. А.)* царица почувствовала было некоторое облегчение, но затем проявились новые крайне тяжелые симптомы. Они усиливались со дня на день, но это ухудшение хранилось в строжайшей тайне».[126] Бирон, не выходивший из спальни больной, был лучше других осведомлен об истинном состоянии государыни. Возможно, что именно к этому времени стало сбываться упоминаемое в показаниях Бирона 1741 года предупреждение архиатера Фишера, что «ежели болезнь так будет продолжаться, то-де, в два дни жизнь… императрицы прекратиться может». При этом, повторю, о реальном состоянии государыни почти никто не знал. Бирон, изолировав императрицу, сознательно дезинформировал общество и – как значилось в заключении следствия о его преступлениях – тем людям, «кто о дражайшем Ее величества здравии у него, Бирона, или у его фамилии, спрашивали, на оное, всех обманывая, ответствовал, будто бы Ее величество от имеющей болезни есть свободнее, и такие обманы употребляя до самой блаженной кончины, к Ее величеству никого не допускали… хотя у Ее величества жестокая болезнь час от часу умножалась».[127] Эта тактика замалчивания реальной картины болезни императрицы отразилась и в приведенной выше беседе Остермана с Шетарди.

Несомненно, обстановка во дворце была крайне напряженная. Все наблюдатели отмечают, что Бирон тяжело переживал болезнь императрицы, сильно нервничал. Временщик волновался не зря. Он понимал, что если императрица умрет, не подписав Акта нужного ему содержания, то правителями при императоре Иване могут стать родители младенца, а не он, герцог Курляндский. Между тем прогнозы личного врача императрицы стали сбываться. Через неделю после первого приступа ей вновь стало хуже – дипломаты делали вывод об этом по тому, как во дворец вновь, на ночь глядя, отправлялись видные сановники вроде Остермана и Миниха – в обычной обстановке они почивали дома, в своих постелях. Значит, заключали те, кто наблюдал непрерывные передвижения сановных экипажей, государыне плохо и во дворце идут, за завесой тайны, срочные и важные совещания о престолонаследии. Так это и было.

Известно, что после провала попытки получить подпись государыни под Актом Бирон и его сторонники снова пытались убедить императрицу подписать документ. Этим занимался, как показано выше, Бирон, да и Бестужев признавался, что, «один остався у Ее величества, в пользу его (Бирона. – *Е. А.)* Ее величества склонять дерзнул».[128] Но все было тщетно. В донесении Финча, которое я уже цитировал выше, сказано, что с 11 октября здоровье императрицы ухудшилось и «хунта» сторонников Бирона «предложила вновь отправить графа Остермана к государыне, дабы он, если сможет, <узнал> подписала ли она документ о регентстве. Ее величество дала, однако, только общий ответ в том смысле, что ее воля и решение откроются по кончине ее».[129]

Короче говоря, ситуация для Бирона складывалась весьма неблагоприятная. И тогда было решено воздействовать на упрямую государыню иначе: подать ей челобитную высших государственных сановников с выражением полной поддержки Бирона и с просьбой провозгласить его регентом. Миних-сын писал, что сановники «за нужное нашли о сем единогласном мнении своем письменное императрице сделать представление и утруждать просьбою, дабы Ее величество, всемилостивейшее одобрив оное, благоволила герцога Курляндского склонить к принятию регентства».[130] Эта челобитная, подписанная лишь персонами 1-го и 2-го классов, была, как сказано на следствии, «в действо произведена».[131] Но что это значит, сказать точно мы не можем. Известно, что князь Трубецкой отдал подготовленную им (или кем-то другим?) коллективную челобитную самому Бирону для передачи государыне. С этого момента названный документ исчезает из поля нашего зрения.[132] Возможно, до императрицы

верноподданнейшее прошение так и не дошло или аргументация челобитной показалась самим ее инициаторам неубедительной. Тогда они придумали начинание посерьезнее. Подозревая – и не без оснований – колебания сановников (вполне объяснимые упорным молчанием умирающей императрицы) и не доверяя им (всем было известно, что, например, Остерман всегда раньше держал сторону Брауншвейгской фамилии), Бирон начал действовать более решительно, как говорится, на опережение – по принципу: теперь или никогда! Он задумал прорваться к власти и без завещания императрицы. В своих записках он пишет, что, «убедясь, наконец, что в течение нескольких дней все еще не произошло никакого решения, государственные сановники согласились сделать меня регентом даже и в том случае, если бы государыня скончалась, не успев утвердить Акта о регентстве и, следовательно, не сделав никаких распоряжений о государственном правлении». И далее: «Для того же, чтобы лучше успеть в своем намерении, сановники пригласили в собрание все чиновные лица, до капитан-поручиков гвардии. Таким образом, около 190 лиц, собравшихся в Кабинете, добровольно обязались действовать в пользу назначения моего к регентству».[133] Ниже он пишет, что узнал об этом только сутки спустя и несказанно удивился – как можно так поступать без его ведома! Но Бирон, сочиняя эти строки, явно рассчитывал на простодушных людей, к которым мы с вами, читатель, к счастью, не относимся. Бывший фаворит излагает события весьма произвольно. Из рассказа Бирона следует, что за его спиной образовался чуть ли не целый заговор высших должностных лиц в его пользу, а он об этом даже не знал! На самом же деле новая попытка утверждения фаворита регентом была инспирирована им самим, а исполнителями стали те же люди, та же «хунта» – Бестужев-Рюмин, Трубецкой, Бреверн и др. Они составили новое челобитье, названное «Позитивной декларацией».[134] Писал ее под их диктовку, как и прежде, кабинет-секретарь А. Яковлев. Смысл декларации сводился к тому, что не просто восемь сановников, а «вся нация Бирона регентом желает». По словам Бирона, Бестужев в тот момент говорил патрону: «Ежели-де Ея императорское величество оное (завещание. – *Е. А.)* не подпишет, то оное дело уже совсем от всех классов даже до капитанов-лейтенантов от гвардии <может быть> апробовано».[135] Об этом пишет и Финч: после неопределенного ответа больной императрицы Остерману «хунта» предложила составить некое заявление от имени высших чинов «о том, что до совершеннолетия наследника провозгласят регентом герцога Курляндского в случае, если царица не сделает какого-либо иного распоряжения или вовсе не распорядится о

регентстве».[136]

Затем был организован добровольно-принудительный сбор подписей под новой челобитной. Подписать ее, в отличие от первой челобитной, предстояло уже всей верхушке государства: кабинет-министрам, сенаторам, членам Священного синода, руководителям коллегий и других учреждений, генералам, адмиралам и офицерам гвардии. Расчет строился на том, что чины первых двух классов, подписавших первую челобитную, подпишут и вторую, «а на них смотря, и все прочие чины не подписывать побоятся».[137] Вопреки утверждению Бирона, никакого общего собрания всех чинов в Кабинете для обсуждения и подписания новой бумаги не было. По-видимому, допустить такое сборище, на котором могли бы вспыхнуть споры, подобные тем, что случились в 1730 году, Бирон и его «хунта» не решились. Временщик не мог выйти перед всем собранием со своими претензиями, он явно опасался, «чтоб от многаго собрания препятствия ему в том не было».[138] Поэтому и была устроена процедура раздельного подписания декларации в Кабинете. Все внесенные в списки персоны приходили разом по нескольку человек в Кабинет министров (он располагался в императорском дворце) и ставили свои подписи под декларацией. Бирон, который отрицал в своих записках, что он знал о сборе подписей, все-таки проговорился на допросе в начале марта 1741 года. Видя идущих в Кабинет людей, он спросил Бестужева: «"Оставляется ль однакож каждому в его воле (подписывать)?" На что ответствовал он (Бестужев. – *Е. А.)* «Да»».[139] В том, что это не было свободным волеизъявлением, сомневаться не приходится.[140] Пришедшим в Кабинет зачитывали какое-то «увещание». Видно, что этот документ, написанный генерал-прокурором Трубецким,[141] стал своего рода «бумажной дубиной». Из манифеста о винах Бирона 14 апреля 1741 года следовало, что в «увещании» говорилось: со всеми несогласными и даже с теми, «кто мало поупрямится и подписывать не будет», станут поступать «яко с изменниками и бунтовщиками». И затем «всех к той подписке принудили и по подписке, под жестоким истязанием, приказывали, чтоб содержали оное тайно и никому не разглашали», особенно Брауншвейгскому семейству.[142] Когда пришедшим оглашали «увещание», сомневающиеся переставали сомневаться и безропотно подписывали декларацию, тем более что там уже стояли подписи высокопоставленных персон первых двух классов. Позже Бестужева и Бирона обвиняли в том, что таким образом они обманом «нацию принудили» подписаться за назначение Бирона регентом.[143] По большому счету, так оно и было, хотя и подписанты знали, под чем они ставят свою подпись. Среди них,

наверняка, был и тот самый генерал Шипов, который летом 1740 года подписывал смертный приговор Волынскому.

Но подписывать челобитье пригласили не всех. Так, за пределами списка остался принц Антон Ульрих, генерал и командир Семеновского гвардейского полка, что видно из показаний Петра Граматина, которому принц говорил: «Чинится подписка в Кабинете: подписываются генералитет и гвардии офицеры, только о чем – неведомо, а меня не пригласили».[144]

Итак, Бирон, убедившись, что Акт (духовную и Определение о регентстве) государыня может и вообще не подписать, решил обойтись без нее. Обладая властью и влиянием, обусловленным близостью к императрице, он прибег к институту, который тогда называли по-разному: «собрание всех чинов», «совет Синода, Сената, генералитета и всех государственных чинов», «многое собрание».[145] В послепетровский период политическая, военная и придворная верхушка уже дважды выходила в таком сплоченном виде на политическую сцену: в 1725 году – при воцарении Екатерины I и в 1730 году – при возведении на престол курляндской герцогини Анны Иоанновны. Как известно, с установлением деспотического самодержавия Петра Великого и уничтожением органов «земли» – сословного представительства в виде Земских соборов и отчасти Боярской думы потребность власти в общественной поддержке в трудные моменты своего существования (прежде всего – в междуцарствия) все-таки не исчезла окончательно. Прежняя «земля» трансформировалась, точнее – выродилась в «собрание всех чинов», или «все министерство, Синод, Сенат и генералитет». Бестужев это сообщество называл на западный манер «нацией». Решение такого собрания оформлялось примерно так, как это сделано в указе 18 октября 1740 года о титулатуре Бирона-регента: «Будучи в собрании Кабинет, Синод, Сенат, обще с генералами, фельдмаршалами и прочим генералитетом… определили…»[146]

Естественно, что это собрание не было «землей» в традициях XVII века. Речь шла о двух сотнях придворных, военных и чиновников первых двух-трех классов и об офицерах четырех гвардейских полков, которых, даже не собрав вместе, заставили подписать некую бумагу. Но для Бирона и его «хунты» эта процедура была крайне важна. В случае смерти императрицы без завещания подписи «нации» позволяли Бирону получить регентство не посредством переворота, а вполне легитимным, традиционным путем. А это давало властителю моральное право свободнее распоряжаться своей властью. Неслучайно, что собирать подписи «нации» продолжили даже после того, как 16 октября Анна Иоанновна все-таки подписала Акт. При этом от

подписантов скрывали то, что завещание государыней так и не подписано и лежит у нее в опочивальне.

Вообще, с точки зрения тогдашнего права, вся затея Бирона была преступна и в случае выздоровления самодержицы могла, в принципе, стать предметом расследования в Тайной канцелярии. Бирона можно было бы обвинить в попытке захвата власти обманным («лукавым»[147]) путем. Как бы то ни было, под петицией поставила свои подписи большая часть элиты – Бирон упоминал 190, а саксонский посланник Пецольд 197 человек.

Но при этом все – и Бирон в первую очередь – понимали, что даже одобрения этой затеи «всеми чинами» «во всяком случае будет недостаточно, если царица устно не выскажет свою волю», – нужна была официальная бумага. Так писал об этом Шетарди. А бумага эта по-прежнему лежала в изголовье государыни.

Поначалу аферу со своим регентством Бирон держал, как уже сказано выше, в тайне от родителей будущего императора Ивана. Бестужев на следствии 1741 года показал, что герцог «о всех, до регентства касающихся, советах от их высочеств таить ему заказывал и велел секретно держать».[148] Все действия Бирона и его клевретов, прежде всего – Бестужева, по вполне обоснованному утверждению следователей 1741 года, ставили целью Анну Леопольдовну «весьма от правления исключить», а «о регентстве его сама им объявить изволила» (то есть императрица сама объявила бы супругам о регентстве Бирона).[149] Тогда бы и все общество узнало о совершившемся так же внезапно, как 6 октября оно узнало о провозглашении наследником принца Ивана Антоновича.

Но после того как первая попытка уговорить императрицу подписать завещание провалилась, дело об Акте неизбежно получило огласку.[150] В этой ситуации мать наследника престола Анна Леопольдовна – уже в силу своего резко повысившегося официального статуса – стала для Бирона серьезным соперником. Он понимал, что с каждым часом роль Анны Леопольдовны, племянницы умирающей императрицы, будет возрастать. Это почувствовали и другие люди из высших сфер. Видя задержку с подписью Анны Иоанновны под завещанием с упоминанием Бирона как регента, они могли обратиться к обсуждению другого варианта регентства – коллективного, с участием Анны Леопольдовны и ряда высокопоставленных сановников. Из донесения брауншвейгского дипломата Гросса от 14 октября 1740 года (то есть за два дня до смерти императрицы) следует, что с Анной Леопольдовной вели переговоры кабинет-министры А. М. Черкасский и А. П. Бестужев-Рюмин в компании с фельдмаршалом Минихом. По-видимому, это не был дежурный

визит сановников к приболевшей тогда принцессе. Известно, что принцесса сама не позволила присутствовать при этой беседе мужу-принцу, а это, безусловно, вызвало беспокойство брауншвейгцев, заботившихся о престиже и власти своего господина. Из этого наблюдения Гросс сделал вывод, что Анна может быть объявлена регентшей России одна, без принца Антона Ульриха.[151] Впрочем, троица, упомянутая в донесении Гросса, кажется нам подозрительной – уж очень они были тогда близки к Бирону. Скорее всего, они действовали по его поручению, и темой их разговора с принцессой было не коллективное регентство с участием Анны Леопольдовны, а согласие матери будущего царя на регентство Бирона.[152] Их миссия была вполне успешной – Анна Леопольдовна одобрила их намерение провозгласить герцога регентом. Потом, когда она стала правительницей, этот эпизод стремились затемнить. В Кратком экстракте о винах Бирона было нарочито туманно сказано: некие злокозненные сообщники Бирона домогались у Анны Леопольдовны одобрения регентства Бирона, и принцесса «некоторых из собрания к себе призвать повелела, и оным всемилостивейшее объявить изволила, чтоб они поступали как пред Богом, пред Ея императорским величеством, государством и всем светом ответствовать могут». Однако сообщники Бирона ответ этот от него утаили «для его угождения… а вместо оного сказали, будто они некоторую от Ея высочества склонность к тому признали, однако ж не совершенно». Авторы Краткого экстракта стремились вывести из-под удара саму правительницу. В принципе, ответ принцессы был вполне двусмысленным, и его, в частности, можно истолковать и так, как сделали сподвижники Бирона. Но дальше в Кратком экстракте сказано, что эти сообщники «вину положили на единого, при том бывшего графа Остермана, что он надлежащим образом Ея высочеству не представлял, и для того Ея высочество совершенного намерения об нем, Бироне, объявить не изволила». Это упоминание Остермана именно в таком контексте отводило и от него подозрения в тесном сотрудничестве с Бироном: нарочитую неприлежность вице-канцлера, якобы плохо убеждавшего Анну Леопольдовну поддержать претензии Бирона, можно было бы расценивать как проявление лояльности к принцессе. Любопытно сравнить этот выверенный текст (его предназначали, наверняка, для самой правительницы) с записками служившего у Анны Леопольдовны Эрнста Миниха, который даже в елизаветинской ссылке остался верен памяти своей покойной госпожи. Описывая, как уговаривали принцессу поддержать Бирона, он вкладывает в ее уста гуманные слова о больной государыне, которую она якобы вовсе не хочет волновать

просьбами о регентстве, ибо они будут восприняты пожилой женщиной как лишнее напоминание о смерти. Но под конец принцесса якобы сказала, что, «впрочем, не неприятно ей будет, если императрица благоволит вверить герцогу регентство во время малолетства принца Иоанна».[153] Таким образом, Эрнст Миних, ничего не зная о содержании Краткого экстракта, дезавуировал его подправленное содержание.

Ответ Анны Леопольдовны в редакции Миниха-сына не противоречит показаниям и самого Бирона. После разговора с вернувшимися от принцессы посланниками он пришел к выводу, что – это цитата из его допросов – «регентство его Ея высочеству противно не будет… то он, Бирон, сам от Ея императорского высочества слышал…». Далее Бирон показал, что уже после разговора с министрами вдруг «Ея высочество пришла ко мне в мои покои, как я обедал, и сказывала, что министры у нее были, а мне говорила она тож, что мною уже упомянуто» (слова об ответственности перед Богом, императрицей и пр.). При этом Бирон на следствии категорически отрицал, что он принцессу «к вручению ему регентства склонял», даже наоборот: он сам предлагал ей, «не соизволит ли Ея высочество лучше сама в правительство вступить, или оное супругу своему… поручить», – на что принцесса отвечала, что «она, кроме дражайшего Ее императорского величества здравия и государственной тишины, ничего не желает».[154] Возможно, что герцог, действительно, сам не уговаривал принцессу, каштаны из огня за него уже вытащили другие, а вот появление самой Анны Леопольдовны в апартаментах Бирона без приглашения кажется выразительным штрихом – возможно, принцесса опасалась каких-либо интриг со стороны Бирона из-за ее первоначально нерешительного ответа депутации. Наконец, и в донесении Финча от 1 ноября 1740 года сказано: когда депутация спросила ее мнение о регентстве, принцесса, зная об уже принятом всеми решении, сказала, что она «признает герцога лицом наиболее подходящим» или, по крайней мере, так были перетолкованы ее слова.[155]

Словом, Бирон после всех этих разговоров «от того своего замышленного намерения не отстал», и как бы потом ни интерпретировали следователи этот эпизод в пользу правительницы и Остермана, ответ принцессы можно было понять как одобрение: я не возражаю, затеваете, мол, дело, так и несите за него полную ответственность! Это-то и было нужно Бирону.

Неясно, в какой момент из текста Акта выпал пункт, непосредственно касающийся родителей императора: «4. Воспитанию Его императорского величества быть в единой его… диспозиции, выключа Его императорского величества родителей».

[156] Возможно, изъятие этого пункта было платой за проявленную принцессой лояльность к намерению Бирона стать регентом: взамен он согласился не разлучать младенца с родителями.

И вот, уже добившись согласия «общества» и принцессы, герцог все-таки решился на действие, как писал Шетарди, «весьма смелое и опасное». Он «пал на колени перед царицей, не скрывая от нее опасности, в какой она находится, он напомнил ей, как он всецело жертвовал собой ради нее, дал ей понять, что он и все его семейство погибнет, если она их не поддержит, будучи мало обнадежен в своей дальнейшей участи, (что) он не может быть в ней уверен, если только она, царица, не будет продолжать оказывать ему доверия, которым она всегда его отличала, а такое доверие может подтвердиться лишь при назначении его регентом, правителем империи на время несовершеннолетия принца Ивана. Основания, на которых царица желала сначала отказать ему в том, были опровергнуты и устранены благодаря нежности, которую герцог сумел в ней пробудить». А если выразить последнее предложение не витиеватым барочным языком Версаля, а попроще, то Бирон, забыв гордость и спесь, начал сам, стоя на коленях, со слезами на глазах упрашивать царицу подписать Акт, где было сказано о его регентстве.

Можно понять его отчаянную смелость. Ситуация для всесильного фаворита складывалась неудачно, и, как злорадно пошутил Миних-младший, в тот момент, когда все рычаги давления на императрицу были использованы, «герцог видел себя принужденным сам по своему делу стряпать». Стряпать приходилось на скорую руку, кое-как – болезнь Анны была не просто опасна, а уже смертельна. Во время следствия 1741 года арестованный Бирон признался, что «о конечной опасности Ее императорского величества болезни и что жизнь Ее императорского величества больше уже продлиться не может, как он, так и супруга его, за день до преставления Ее величества, по словам докторским, ведал».[157] Вот почему он так заторопился. Думаю, что Шетарди верно передал логику речи Бирона, обращенной к государыне: не могла же она не отблагодарить своего преданного слугу за все годы верного служения, не хотела же она бросить своего возлюбленного и его семью на произвол судьбы? И тогда императрица подписала завещание с включенным в него Определением о регентстве.

Сам же Бирон рассказывает об этом так: «Остерман сидел у государыни в то самое время, когда я, входя в опочивальню, застал Ее величество вынимающей акт из-под изголовья. „Я утверждаю акт, – говорила императрица, – а вы, Остерман, объявите господам, чтоб они успокоились: прошение их

исполнено“». Это произошло, согласно Краткому экстракту, «перед самою кончиною только за несколько часов, а именно 16 числа октября».[158] После этого Остерман запечатал завещание, датированное днем подачи (6 октября), и, по словам Бирона, придворная дама, подполковница А. Ф. Юшкова, близкая государыне, положила документ в шкатулку с драгоценностями императрицы.[159] Фельдмаршал Миних, которого не было в этот момент в опочивальне государыни, писал: «Предполагают, что императрица, находившаяся в большой слабости, подписала это завещание, а герцогиня Курляндская заперла его в шкаф, где хранились драгоценности. После этого Остерман приказал перенести себя в приемную императрицы, где уже собрались все вельможи, извещенные врачами о том, что императрица была при смерти». Там он и объявил о свершившемся.[160] То есть в записках Миниха вместо Юшковой появляется супруга Бирона, которая прячет завещание в шкаф (или, может быть, в шкатулку или в кабинет?). Может быть, Миних прав, и Бирон в своем рассказе об этом событии, для придания большей объективности происшедшему, «подменил» свою жену подполковницей Юшковой? Это могло отчасти отвести подозрения в подлоге. А они, эти подозрения, появились почти сразу же после кончины императрицы.

Анна Иоанновна умерла (или, как сказано в указе нового императора Иоанна III Антоновича, Господь государыню «из временного к себе, в свое вечное блаженство, отозвал») поздно вечером 17 октября 1740 года. Бирон писал, что императрица сохранила разум и память до последней минуты, попрощалась со всеми близкими, «потом велела себя соборовать и скончалась весьма покойно». Другие источники сообщают, что Бирон стоял в ногах у ложа императрицы до самого конца. Английский посланник Финч писал на следующий день в Лондон: «Ее величество, глядя на него, сказала „Не бойсь!“ („Nie bois!“) – обычное выражение в этой стране, означающее „Нисколько не бойся!“. Это были последние слова Ее величества».[161]

Тотчас после кончины государыни двери царской опочивальни были открыты и все могли увидеть ее тело на смертном одре. Все плакали и рыдали. Как сообщает Эрнст Миних, Бирон «громко рыдал и метался по горнице без памяти. Но спустя минут пять, собравшись с силами, приказал он внести декларацию относительно его регентства и прочитать перед всеми вслух». Генерал-прокурор Трубецкой подошел поближе к горящим на столе свечам и начал читать бумагу. Бирон, несмотря на свое горе, заметил, что принц Брауншвейгский не подошел к Трубецкому, и «спросил его неукоснительно, не желает ли и он

послушать последнюю волю императрицы. Принц без возражения подчинился и подошел к Трубецкому поближе».[162] Упоминания о том, откуда извлекли завещание, у Миниха-сына нет.

Иначе изображает все сам Бирон, хотя и из его записок видно, что безмерное горе и рыдания не помешали ему озаботиться о вполне земном, материальном. После кончины императрицы, пишет Бирон в своих записках, он сидел в антикаморе, где его «первой заботой было запечатать драгоценности императрицы». Тут к нему «пришли… сановники и спрашивали, где завещание государыни. Я направил их к подполковнице Юшковой, которая и указала справившимся известную шкатулку с драгоценностями. Шкатулку отпечатали в присутствии принца Брауншвейгского, вынули из нее завещание, сняли с него конверт, и генерал-прокурор князь Трубецкой во всеуслышание прочел содержание акта о регентстве».[163]

Финч тоже получил от кого-то информацию об обстоятельствах появления на публике завещания императрицы, но дает иную интерпретацию происшедшему. В его рассказе тоже фигурирует некая любимая государыней камер-юнгфера, которая всегда пользовалась ее доверием. Заметим, что именно такой придворной дамой и была Анна Федоровна Юшкова. Финч продолжает, что в тот самый момент, когда вошедшие в покои императрицы сановники хотели опечатать комнату, в которой хранились драгоценности государыни, эта дама «объявила, что государыня подписала в ее присутствии бумагу, принесенную Ее величеству в начале болезни графом Остерманом, приказала затем отнести эту бумагу в комнату с драгоценностями и принести себе ключи от этой комнаты. Принесенные ключи с той самой минуты постоянно лежали под подушкой больной, которая в то же время сказала любимице, что спрятанная бумага – бумага чрезвычайной важности, но что о ней следует строго молчать впредь до кончины государыни, а затем объявить, где найти ее. Содержание бумаги рассказчице было неизвестно». Невзирая на это, присутствующие требовали, чтобы комната была немедленно опечатана. И тут вмешались Бирон и Бестужев. Они стали «решительно настаивать на том, чтобы бумага была сперва прочтена, так как по всем вероятиям и по заявлению камер-юнгферы она должна заключать в себе данные чрезвычайной важности, способные полнее выяснить последнюю волю усопшей. Бумагу достали. Она оказалась запечатанной личной печатью Ее величества, всегда хранившейся при ней. Когда бумагу вскрыли – она оказалась документом, назначающим герцога регентом; документ был подписан государыней и помечен 6 октября, то есть тем самым днем, когда граф Остерман вручил ее покойной».

После этого Трубецкой прочитал ее присутствующим.[164]

В материалах следствия по делу Бирона также отмечалась особая суетливость герцога после кончины императрицы, его желание не упустить момент для обнародования этого тогда почти никому неизвестного документа: «Как Ее императорское величество скончалась и конторку с алмазными вещами печатать стали, он, Бирон, не умолчал того, чтоб и его желание тамо спрятано, но восхотел, дабы скорее оное на свет произвести, тотчас сказал, что в тех вещах Ее императорского величества последняя воля лежит, и приказал оную отдать не другому кому, как советникам своим, что ими в действие и произведено».[165]

По рассказу Бирона, кроме него, Остермана, и Юшковой, у постели государыни в момент подписания завещания никого не было. Почему конверт с документом чрезвычайной важности запечатывал только Остерман, причем в присутствии одного Бирона да госпожи Юшковой? Почему для придания достоверности столь важному государственному акту не были приглашены генерал-прокурор Сената Н. Ю. Трубецкой и другие высшие сановники? Не было в этот момент и обычно освящавшего подобные церемонии священника или иерарха Синода. Почему завещание не было передано сразу в Сенат, и его куда-то унесла госпожа Юшкова (или в редакции фельдмаршала Миниха – жена Бирона)? Да и была ли императрица в тот момент в состоянии подписывать какие-либо бумаги? Положение Анны Иоанновны стало уже критическим – недаром в манифесте о преступлениях Бирона от 14 апреля 1741 года сказано, что в момент подписания Акта государыня находилась «в крайнем изнеможении и беспамятстве и близ самой смерти».

Следователи в 1741 году обвиняли Бирона в сокрытии от окружающих того обстоятельства, что завещание было подписано умирающей императрицей буквально за несколько часов до ее смерти, в то время как на самом документе стояла другая дата – 6 октября. Делалось это, полагали следователи, для создания впечатления, чтобы «всяк думал, яко бы оное заблаговременно от Ее величества апробовано».[166] Действительно, в этом эпизоде, как и во всей «затейке Бирона», нельзя не усмотреть элементов политического жульничества.

Вся кулуарность подписания этого важнейшего государственного акта, да еще датированного задним числом, настораживает и укрепляет подозрения в подлоге. Из текста обвинения по делу А. П. Бестужева-Рюмина выясняется поразительная вещь. В седьмом пункте обвинения сказано, что Бестужевым «оное Определение набело писано 7-го, а число поставлено 6-е, подписано же 16-го октября, *тогда ж было*

изготовлено другое без числа, оставшееся без действия». Это «в запас было сделано… ежели б Ея императорское величество не изволила 6-м числом подписать, а повелела число поставить тогда, как апробовать соизволила, то можно б было то число вписать». И далее: «Видя он, Бестужев, что то худо сделано, и 16-го числа, когда то Определение Ея императорское величество подписать соизволила, не записано, а 23-го числа… будучи в Кабинете, велел, в свое оправдание, а в вящее Бироново регентом утверждение, записать, что Ея императорское величество 16-го числа подписать изволила, а что уже 6-м числом в публику выдано, то забвению предано».[167] Итак, из пункта 7 обвинения Бестужева вытекало, что существовало два экземпляра текста Акта. Один – датированный 6 октября. Он лежал у государыни в изголовье, и она его и подписала 16 октября.[168] А второй – без даты, на тот случай, если Анна Иоанновна, вытащив из-под подушки Акт и увидев на нем дату «Октября 6-го», откажется подписывать его. Тогда бы ей и предъявили недатированный документ. Далее. Из 8-го пункта обвинения следует, что Бестужев 23 октября, когда начались аресты противников герцога и возникла опасность разоблачения всей «затейки Бирона», постарался устранить несогласованность в документах: ведь в бумагах Кабинета министров за 6 (или 7) октября факт подписания государыней Акта не был зафиксирован. Поэтому Бестужев письменно распорядился сделать запись (вероятно, в журнале) о том, что государыня подписала документ 16 октября.[169] Что же означает последняя фраза («…а что уже 6-м числом в публику выдано, то забвению предано»), неясно. Тут ведь возникает новое противоречие: запись в журнале фиксировала, что государыня подписала Акт 16 октября, между тем как подлинный Акт – собственно завещание – имел иную дату подписи императрицей – 6 октября. Впрочем, оборот «предать забвению» на языке того времени (да и позднейших времен) означал, что власть распорядилась всё, сказанное ею раньше, – забыть, «предать забвению!». Иначе говоря, речь идет о «предании забвению» важнейшего фрагмента из Манифеста 17 октября 1740 года: «…А 6 числа сего ж месяца оная наша любезнейшая государыня бабка Ея императорское величество блаженныя вечнодостойныя памяти Анна Иоанновна, Самодержица Всероссийская, о управлении всяких государственных дел до семнадцати лет возраста нашего… учинить и оной всемилостивейшее собственною рукою укрепить и подписать соизволила, с которого для всенародного известия при сем сообщается печатная копия».[170] В итоге организаторы регентства Бирона, как неудачливые шулера, запутались в своих фокусах,

отчего неизбежно возникло поле для сомнений и недоверия официальной версии.

Неслучайно сразу же после установления регентства Бирона по чьему-то доносу был арестован секретарь домовой конторы Анны Леопольдовны Михаил Семенов, который публично сомневался в подлинности подписи Анны Иоанновны под завещанием. На допросах Семенов показал на кабинет-секретаря Андрея Яковлева, и тот признался, что действительно об этом говорил Семенову. Но дальше следствие не стало выяснять, что же послужило причиной для подобных подозрений арестованных, а лишь выпытывало, для чего Яковлев это говорил.[171] Между тем Яковлев был «статским советником во управлении секретарской должности», а точнее – тем самым писцом, которому Остерман и другие диктовали основные документы последних дней жизни Анны Иоанновны. Примечательно, что после свержения Бирона Яковлев был освобожден из Тайной канцелярии и восстановлен в прежней должности. О нем, как и о других арестованных при Бироне, в указе 15 декабря 1740 года было сказано, что они «неповинно страдали и кровь свою проливали».[172]

По-видимому, мнения о подложности завещания придерживались и другие люди из лагеря противников Бирона. В октябре 1740 года между Бироном и Антоном Ульрихом произошла сцена выяснения отношений, во время которой принц заявил, что одной из причин его неудовольствия регентством является его неверие «в подлинность завещания покойной императрицы», и он «даже подозревает, что подпись Ея величества – подложная». «Тогда я, – продолжал Бирон, – сказал принцу, что об этом он вернее всего может узнать от Остермана, который в деле по завещанию императрицы может почитаться лицом ответственным». Любопытно, что Бирон ссылается только на Остермана – значит, действительно, больше никого из ответственных лиц государства в момент подписания завещания в опочивальне государыни не было. А между тем за Остерманом прочно закрепилась репутация лжеца и лицемера. Но далее Бирон, как бы закрывая тему (и тем самым еще больше наводя на себя подозрения в подлоге), «ткнул носом» принца в неизбежные последствия копания в этом деле: «Я заявил принцу и мое мнение, что Его высочество, напрасно пороча завещание, вредит сыну своему, который именно этому завещанию обязан престолом».[173]

Финч в своем донесении в Лондон передает сходные слова, сказанные принцу Бироном по поводу завещания императрицы: «Ваше высочество, кажется, подозреваете, что завещание покойной государыни касательно престолонаследия и ее

распоряжение о назначении меня регентом не достаточно ясны, что регентство следовало бы возложить на вас. Граф Остерман, составлявший и тот и другой документ, заявит вам, что он вручил их оба Ее величеству одновременно и видел, как она подписала один из них. Он по ее приказанию, в ее присутствии приложил печать к нему. Ваше высочество и большинство присутствующих здесь лиц знают, как найден другой документ, открытый в вашем и их присутствии, носящий на себе все признаки несомненной подлинности».[174] И даже это объяснение не снимает проблемы подлинности Акта. Бирон говорил принцу, что Остерман видел, как императрица подписала «один из них», то есть Манифест о наследии престола от 6 октября, и «приложил печать к нему». Но при этом герцог не утверждал, что Остерман видел, как царица подписала второй документ.

В Кратком экстракте о Бироне, как и вообще на следствии по его делу, вопрос о подлинности завещания не ставился, ибо все понимали (и в этом Бирон был прав), что в случае признания Акта поддельным разрушилась бы легитимность всего режима правительницы. А вот почему этим не воспользовался режим Елизаветы, понять трудно. Доказать, что подпись умирающей императрицы Анны Иоанновны была поддельна, А. И. Ушаков со своими костоломами смог бы играючи, а эффект от этого был бы грандиозный: всех бы убедили в том, что император Иван, которого свергла Елизавета, – не подлинный государь и что завещание Анны Иоанновны подложно! Но шансом этим окружавшие новую императрицу неопытные в интригах люди так и не воспользовались. Да и то: между ними уже не было хитроумного Андрея Ивановича Остермана…

Наутро после кончины императрицы во дворец съехались все высшие сановники империи. Остерман объявил им о кончине государыни и приказал секретарю огласить завещание покойной, после чего все перешли в придворную церковь и присягнули новому государю и регенту, а затем стали поздравлять регента. Бирон произнес заготовленную заранее речь с призывом теснее сплотиться вокруг трона и, следовательно, вокруг него самого.[175] При этом «глаза его наполнялись слезами, и он все время должен был держать платок у лица».[176] Затем началась процедура присяги выстроенных у Летнего дворца на Марсовом поле гвардейских полков, а потом и служащих коллегий.

Глава четвертая
«Боюсь Преображенских»

Бирон, несмотря на все его горе, мог быть доволен. Его стряпня вполне удалась, и он надежно обеспечил свое будущее – точнее, так ему тогда казалось. Согласно Акту – завещанию Анны Иоанновны императором был объявлен Иван III Антонович, а регентом при нем – герцог Бирон до совершеннолетия императора (то есть до семнадцати лет). Во всех официальных документах новый император имел порядковый номер «III» – после первого царя Ивана Грозного и своего деда царя Ивана Алексеевича, но позже в литературе у него появился другой номер – «VI», с учетом великих московских князей – Ивана I Калиты, Ивана II Красного и Ивана III.

Императрица Анна Иоанновна на все долгие семнадцать лет регентства даровала Бирону «полную мочь и власть управлять на вышеозначенном основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные», заключать и подписывать международные трактаты и договоры, быть главнокомандующим вооруженными силами, ведать финансами и вообще «о всех прочих государственных делах и управлениях такие учреждения учинить, как он по его рассмотрению запотребно в пользу Российской империи изобретет». В сущности, Бирон на 17 лет, до 1757 года, получал самодержавную власть в России. При необходимости он мог и продлить свое господство. В Акте повторяются мотивы Манифеста 6 октября и присяги: если император скончается «прежде возраста своего», то наследником становится следующий принц, его младший брат (кстати, тогда еще не родившийся), и Бирон будет регентом и при нем. «А в случае и его преставления – других законных из того же супружества раждаемых принцов всегда первого и при оных быть регентом до возраста их семнадцати ж лет упомянутому же государю Эрнсту Иоганну». И только уж когда никого в живых из принцев не останется, должен был Бирон, вместе со всеми чинами, выбрать наследника.[177] Любопытно, что Бирон оставил себе максимально возможный срок, определив дееспособность государя в 17 лет, хотя известно, что позже его упрекали в незаконном увеличении возраста недееспособности молодого государя, и в манифесте 14 апреля 1741 года «о вечном заключении Бирона» сказано, что малолетство Петра Великого «гораздо сократительное того было… от рождения своего 10 лет государем возведен, а коронован 12 лет».[178] На сей счет был и

более свежий пример: император Петр II в 12 лет в 1727 году был признан правоспособным и присутствовал на заседаниях Верховного тайного совета.

О политической роли Анны Леопольдовны и ее супруга как в завещании, так и в объявленном в день восшествия на престол императора Ивана III манифесте не было сказано ничего, точнее – супруги упоминались как некие детородные органы для произведения «законных из того же супружества раждаемых принцов». Как передает Финч, Анна Леопольдовна, после того как ей стало ясно, что она не будет регентшей при сыне-императоре, «в первом порыве недовольства по поводу обманутых надежд», выразилась так: «Или меня держали только для родов?!»[179]

Сколько раз уже бывало в истории, что вот так, достигнув вершины власти, человек от одного неверного движения или чьего-то легкого толчка вдруг низвергался в пропасть политического небытия. Именно так в 1727 году пал с вершины российского Олимпа тогдашний политический Голиаф – генералиссимус Меншиков, преодолевший все препятствия на своем пути наверх. И вот теперь наступила очередь Бирона: от судьбы не убежишь! Кто бы мог подумать, что запланированное на семнадцать лет регентство Бирона будет продолжаться всего три недели? Впрочем, английский посланник Финч, завершая свою депешу от 18 октября, писал не без сарказма, что регентству присягнули, и «оно установилось прочно, как только может быть прочным нечто, едва народившееся».[180]

Но поначалу все шло хорошо. Уже 18 октября со слезами на глазах печальный с виду регент принимал соболезнования и одновременно – поздравления иностранных дипломатов и придворных. В тот же день был провозглашен первый указ императора Иоанна Третьего, согласно которому Бирона было указано титуловать «Его высочество, регент Российской империи, герцог Курляндский, Лифляндский и Семи-гальский». Из императорского указа следовало, что решение об этом было принято на собрании «всех чинов» «по довольном рассуждении», а в конце значилось: «Подлинный за подписанием всего министерства, Синода, Сената и генералитета».[181] Вновь мы видим, как для утверждения титула на политической сцене (реально или фиктивно) появляется собрание «всех чинов», или «нация». Естественно: не сам же регент должен был определить свои официальные титулы! Но примечательно, что здесь, как и в других случаях, родители императора вообще никак не фигурируют – ни сами по себе, ни в составе «всех чинов». Тем самым подчеркивается их политическое ничтожество. Более того, Бирон (через Бестужева) вынудил Анну Леопольдовну присягнуть

«под образом» в верности Акту 6 октября.[182] По-видимому, здесь не обошлось без шантажа и угроз. В манифесте о винах Бирона от 14 апреля об этом сказано глухо: «…понеже при том безбожно и с немалыми угрозами поступлено, ежели б Ея императорское высочество, видя такие его богопротивные и бессовестные поступки и опасался как собственно против своей высочайшей особы, так и генерально против всей нашей императорского величества фамилии от него, Бирона, злых следований, с великим сердечным сожалением и слезами подписать склонилась».[183] Чем же мог Бирон «генерально» так припугнуть Брауншвейгское семейство, что принцесса «подписать склонилась» противную ее интересам бумагу?

По-видимому, регент стращал Анну Леопольдовну тем, что вернет в Россию побеги «семени Петрова» – герцога Голштинского, чьи права на престол были даже предпочтительнее прав Ивана Антоновича.[184] Зная, как Бирон и его клевреты протащили Акт, добились подписи «всех чинов», Анна Леопольдовна могла этой угрозы испугаться. Впрочем, одновременно Бирон мог предлагать Брауншвейгской фамилии и союз против этого общего для них врага, в пользу которого (как и его тетки Елизаветы) была расположена гвардия. На следствии 1741 года Бирон сказал, что в беседе с супругами он «представил, что, понеже в нынешнем случае и во время порученного ему правительства без злых внушений с обеих сторон не будет, и для того их высочества изволили б о таких внушениях ему всегда объявлять, что он, с своей стороны, также обещает, дабы тем всяким злым умышлениям пристойным образом предупреждено было, в чем ссылается на их высочества и многих из генералитета, которым при том тогда быть случилось».[185] «Злые внушения и умышления», которые могли быть опасны и для Бирона, и для Анны Леопольдовны, могли исходить только из круга сторонников дочери Петра Великого и ее племянника.

23 октября регент сам даровал принцу Антону Ульриху титул «Его высочества».[186] В те дни Бестужев-Рюмин хвастливо рассказывал саксонскому дипломату Пецольду, как они с Бироном ловко все обстряпали: мигом, за одну ночь после смерти Анны Иоанновны, отпечатали манифест о регентстве и форму присяги, что позволило уже на следующий день привести к кресту (то есть к присяге) полки и жителей столицы. Сделано, действительно, это было так быстро, что возможные противники не успели даже прийти в себя. Как сообщал Шетарди, по требованию генерал-прокурора Трубецкого все сенаторы, члены Синода, кабинет-министры, президенты коллегий, генералы, офицеры и чиновники коллегий и других учреждений были

призваны в Кабинет, где подписали присягу в верности завещанию покойной императрицы.[187] «Теперь, – вещал Бестужев, фаворит нового властителя России, – для достижения полного единодушия нам остается только награждать благонамеренных и примерно наказывать непокорных». В самом деле, присяга гвардии – самый щекотливый момент каждого воцарения в тогдашней России – в целом прошла вполне гладко. Регент Бирон мог опереться на своих людей везде. В армии заправлял казавшийся тогда его преданным союзником фельдмаршал Миних, который сразу после смерти Анны Иоанновны придвинул к столице армейские полки, вероятно, с целью предотвратить возможные волнения в гвардии. Да и гвардия была под контролем: сам Миних командовал Преображенским полком, А. И. Ушаков, после отставки Антона Ульриха, – Семеновским, брат регента Густав Бирон – Измайловским, а курляндец барон Георг Рейнгольд Ливен замещал малолетнего Петра Бирона на должности командира Конной гвардии.[188] В государственном аппарате, в Кабинете министров сидели верный Бестужев-Рюмин и слабый, покорный сильнейшему князь А. М. Черкасский. Не раз в прошлом показывал свою преданность временщику и только что назначенный им на должность генерал-полицмейстера князь Я. П. Шаховской. В секретной полиции – Канцелярии тайных розыскных дел (более известной как Тайная канцелярия) – распоряжался уже упомянутый надежный Андрей Иванович Ушаков. Человек беспринципный, циничный, службист и профессионал пыточного дела до мозга костей, он всегда верно служил тому, кто стоял в данный момент у власти, – для него было не важно, кто именно. Если Бирон у власти – пытал и допрашивал его врагов, если Миних и Остерман – то Бирона и Бестужева, если Елизавета Петровна – то Остермана и Миниха и т. д. Конечно, порой у него из-за этого случались неприятности. И в начале 1741 года, когда Бирона сбросили, кресло под Ушаковым, безотказно исполнявшим волю регента, пошатнулось, но гуманная правительница Анна Леопольдовна ограничилась нестрашным внушением, а чтобы главный палач империи не расстраивался, пожаловала ему ленту ордена Андрея Первозванного.

Кроме того, на службе у регента состояло множество штатных и добровольных шпионов. Первейшим из них считался генерал-прокурор князь Н. Ю. Трубецкой, о котором один из подследственных в Тайной канцелярии сказал, что Трубецкой «у регента на ухе лежит».[189] Из окружения Анны Леопольдовны регент предполагал получать информацию от сына Миниха,

гофмейстера ее двора.[190] Кроме того, в Москву был послан указ, чтобы «под рукою искусным образом осведомиться старались, что в Москве между народом и прочими людьми о таком нынешнем определении (регентстве. – *Е. А.)* говорят, и не происходит ли иногда, паче чаяния, от кого о том непристойные рассуждения и толкования».

Как человек решительный, Бирон сразу же занялся остановившимися из-за болезни и смерти Анны Иоанновны государственными делами, начал проводить заседания правительства, побывал в Адмиралтействе, где присутствовал при закладке нового 66-пушечного корабля. Как и все русские правители, взявшие власть в свои руки, он объявил амнистию преступникам, снижение налога добросовестным плательщикам, прощение недоимок недобросовестным, объявил о послаблении дезертирам, если они одумаются и вернутся в свои части. По традиции Бирон подтвердил и жалованную грамоту потомкам Кузьмы Минина и, как полагается в России, сразу же начал непримиримую и столь же безуспешную борьбу с коррупцией в судопроизводстве. Осудил регент в указе и роскошь знати, столь заметную при явной нехватке государственных средств на самые неотложные потребности, правда, исключив из борьбы с этим пороком членов царственного дома и самого себя (регентскую зарплату он определил себе в 600 тысяч рублей – сумма, сопоставимая с расходами на императорский двор), а также собственную жену, как раз в те дни заказавшую какое-то необыкновенно дорогое платье.

Позаботился регент и об армии. Его указ 1740 года – единственный в своем роде, действующий в наших вооруженных силах и у всякого рода вохры до сих пор. Бирон распорядился, чтобы в морозы часовые стояли не как прежде – в одних мундирах, а прикрывались бы шубами. Этот полезный обычай был доведен до изумительного совершенства в XIX веке, и возле Зимнего дворца зимой собирались зрители, чтобы посмотреть смену «караула в шубе»: сдающий караул вылезал из шубы, а одновременно с ним принимающий влезал в нагретое предшественником нутро этого роскошного сооружения из овчины. При этом был момент, когда оба находились в одной шубе, напоминая сиамских близнецов: сдающий еще держал руку в левом рукаве шубы, а принимающий уже влезал рукой в правый рукав этого изумительного творения русских скорняков. Эффект от этого фокуса, запечатленного кистью художника А. Орловского, наверняка был не слабее, чем от красочного зрелища смены караула возле современного Букингемского дворца в Лондоне или на Арлингтонском кладбище в США.

Нельзя утверждать, что, достигнув вершины власти, Бирон почил на лаврах. Князь Я. П. Шаховской, назначенный в первые дни регентства начальником полиции, в своих мемуарах повествует, что утром его вызвали к регенту, и когда камердинер провел Шаховского в покои Бирона, то оробевший чиновник увидел могущественного регента в дезабилье, пьющим утренний кофе, которым он угостил и Шаховского, почти насильно усадив его в кресло. Несомненно, этим выражалась высшая степень доверия регента. «Дав мне выпить кофе, – продолжает Шаховской, – начал со мною благосклонные разговоры и, как теперь помню, во-первых, говорил мне, что он надежен, что во мне столько разума есть, чтоб нашу полицию в лучшее состояние привести, а кого-де тебе в помощь к тому именно по твоему избранию и какие еще вспоможения надобно, требуй от меня, все то исполню… Его высочество, встав с кресел и, в знак ко мне милостивой доверенности, дая мне свою руку, а другой указывая на двор, говорил, что он всегда в оную камеру без доклада входить и персонально с ним изъясняться позволяет… Потом начал его высочество одеваться, а я, поклоняясь, шел из оной комнаты, дабы, в таком духа удовольствии будучи, ехать домой, помыслить и собрать потребные сведения для лучшего производства моего звания».[191]

Действия Бирона, судя по этому описанию, вполне разумны: новый начальник полиции должен был почувствовать особую доверенность правителя, представшего перед ним без штанов, и, воодушевленный этим явленным доверием и распитой с самим регентом чашкой кофе, должен был от усердия рыть носом землю. Прежде всего, предстояло уделить внимание «изучению общественного мнения» – ему и другим чиновникам поручалось проведать, «что в народе слышно и тихо ли?».[192]

Вскоре, уже в октябре, Бирону пришлось употребить власть к непокорным. «Наушники» (производное от «лежания на ухе») донесли, что отец императора, принц Антон Ульрих, позволяет себе публично осуждать регента и сомневаться в подлинности завещания покойной императрицы и что у него есть немало сторонников в гвардии. Первым сообщение о том, что два поручика Преображенского полка «затевают недоброе», принес верный Бестужев, потом о других крамольниках сообщил князь Черкасский.[193] Донесли Бирону и о сочувственных Антону Ульриху разговорах в среде гвардейцев и чиновников и даже о готовящемся заговоре в пользу Брауншвейгской семьи и прямой причастности к этому самого принца – командира Семеновского полка. Регент действовал, как всегда, решительно и быстро – по его приказам были арестованы более двадцати замешанных в

этом гвардейцев и чиновников. Их тотчас отвезли в Петропавловскую крепость, в Тайную канцелярию, где они оказались «в катских руках», в камере пыток. Под пытками они показали, что были недовольны установившимся регентством и симпатизировали Брауншвейгской фамилии, что связаны с принцем и – в меньшей степени – с принцессой.

Бирон, получив эти сведения, сразу же накинулся на принца Антона Ульриха как зачинщика и причину доставленного регентству беспокойства. Вначале Бирон вызвал Антона Ульриха к себе домой на «воспитательную беседу», а потом устроил принцу публичный допрос в присутствии высших чинов государства (опять «все чины»!). Во время этого действа Бирон, как писали в указе времен правительницы Анны Леопольдовны, «против их высочеств многие угрозительные слова произнес», стал Антона Ульриха «многими непристойными нападками нагло утеснять», а проще говоря, вероятно, орал на отца императора, угрожая ему дуэлью.[194] Сказал свое веское слово и начальник политического сыска генерал Ушаков, который укорял и стыдил принца и обещал поступить с ним как с государственным преступником. Растерянный принц совершенно стушевался, оправдывался и просил прощения. Бирон, по словам Финча, потом насмехался над поверженным принцем, говорил, что Антон Ульрих вызывает жалость по причине своего недомыслия. На устроенном ему допросе принц, со слов Бирона, простодушно признался, что хотел, как он выразился, «немного побунтовать» («to rebel a little») и что в числе восьми его главных сообщников были шут, цирюльник и подмастерье.[195]

Возможно, Бирон, по своей давней нелюбви к принцу, да еще перед иностранными дипломатами, весь этот допрос, ответы и реакцию Антона Ульриха окарикатурил. Между тем вот как Бирон передает в своих записках разговор с принцем: «Я сказал ему… (что) считаю своею обязанностью предостеречь Его высочество насчет людей, затевающих возмущение, о чем ему уже известно, но если закрывать глаза на это бедствие, то оно, едва возникая теперь, будет возрастать со дня на день и неизбежно приведет к гибельным последствиям. „Да ведь кровопролитие должно произойти во всяком случае“, – заметил принц. Я спросил Его высочество, не считает ли он кровопролития такой безделицею, на которую можно согласиться почти шутя? „Представьте себе, – говорил я ему, – все ужасы подобной развязки. Не хочу думать, чтобы ваше высочество желали ее“. – „Могу вас уверить, – три раза повторил принц, – я никогда не начну первый“. – „Такой ответ, – возразил я принцу, – дурно обдуман. Не одно ли и то же заражать разномыслием и сообщать движение мятежу? Впрочем,

легко может случиться, что ваше высочество первый ж и пострадает за это“. Принц повторял одно, что он ничего не начнет первый и не поднимет прежде других знамени возмущения. Я спросил еще, что думает Его высочество выиграть путем мятежа? И если он недоволен чем-нибудь, то чем именно? – Наконец, принц объяснился, что не совсем верит в подлинность завещания покойной императрицы… Уговаривая Его высочество не слушать людей неблагонамеренных, но объявлять их, я сделал еще одну напрасную попытку изменить образ мыслей принца…»[196] Прочитав этот текст, принадлежащий перу явного недоброжелателя Антона Ульриха, читатель может убедиться, что регент имел разговор совсем не с ребенком, слабоумным или слабовольным ничтожеством, а с убежденным в своей правоте человеком.

Теперь по поводу сообщников принца – шута, цирюльника и ученика – и почти детского желания Антона Ульриха «немного побунтовать». Ну, во-первых, через прислугу и мелких служителей при дворе проще простого передавать заговорщицкую переписку; известно, что их часто привлекали к заговорам. Во-вторых, круг сторонников принца этим не ограничивался. Обратимся вновь к запискам Бирона. После разговора с принцем, пишет бывший регент, он получил материалы допроса арестованного накануне адъютанта Антона Ульриха, который признался, что план заговора был таков: «Принц в минуту смены караулов долженствовал стать во главе бунтовщиков, захватить всех, кто стал бы сопротивляться, и провозгласить себя вторым лицом в государстве после императора. К исполнению этого плана принц намеревался приступить в самый вечер дня, назначенного для похорон императрицы, хотя вольфенбюттельский советник Кейзерлинг – главный советник принца, и советовал обождать, представляя, что принцу прежде всего необходимо добиться звания генералиссимуса, с чем уже все остальное совершится без затруднения и согласно желаниям Его высочества».[197] И из этого отрывка также следует, что дело затевалось нешуточное и, по словам Бирона, его советники – Бестужев и Черкасский «рассудили, что настояла непременная надобность пригласить в собрание всех особ первых двух классов». Такое собрание было созвано в тот же вечер. Ясно, что сподвижники регента и, вероятно, он сам сильно встревожились. На этом собрании Антону Ульриху и была устроена описанная выше публичная выволочка, когда в присутствии всего генералитета Бирон (согласно Краткому экстракту) принцу «с великою злобою выговаривал, яко бы Его (высочество) масакр, то есть рубку людей или замешание зачинить хочет, показывая некоторыя угрозы, что

он себя устрашить не дает…».[198] Был момент, когда Бирон угрожал принцу дуэлью. Миних-сын объясняет это недоразумением: в разговоре принц «без намерения положил левую руку на эфес своей шпаги, а герцог, приняв сие за угрозу и ударяя по своей, говорил, что он и сим путем, если принц желает, с ним разделается».[199]

Ни в этом описании, ни в приведенных выше отрывках из записок Бирона о разговоре регента с принцем Антон Ульрих не предстает перед нами слабоумным и инфантильным. Что же касается самого собрания, на котором Бирон устроил Антону Ульриху головомойку, то оно было, по-видимому, хорошо срежиссировано, и на молодого человека в присутствии множества людей разом обрушился град упреков, обвинений и оскорблений. После резкого, угрожающего выступления начальника Тайной канцелярии, страшного для всех генерала Ушакова, по словам Бирона, «принц заплакал. Он проклинал тех, кто ввел его в заблуждение, просил прощения в присутствии всего собрания и клятвенно обещал не возобновлять никаких покушений».[200] Вполне допускаю подобный исход этого судилища: нервы молодого человека не выдержали. По другим источникам мы можем представить себе разъяренного регента – сущего бизона, который сметает на своем пути все, что ему мешает. Позже в анонимной эпиграмме свергнутого Бирона сравнили с комолым быком – но в описываемый момент с рогами у него еще было все в порядке. Своим натиском, хамством и громогласными угрозами Бирон многих приводил в замешательство. Утверждать, что он во времена своего фавора поколачивал императрицу Анну Иоанновну, мы не можем – нет документальных свидетельств, но одним из официальных обвинений Бирона в 1741 году было то, что императрица от грубостей своего любовника не раз «в чувственное сокрушение и неоднократно весьма в слезы приведена была». При этом речь идет не о субтильной кроткой Анне Леопольдовне, а об Анне Иоанновне – женщине внушительной, грубоватой и крепкой. «Он же, – читаем дальше в деле, – часто в самом присутствии Ее величества не токмо на придворных, но и на других, и на самых тех, которые в знатнейших рангах здесь в государстве находятся, без всякого рассуждения о своем и об их состоянии, крикивал и так продерзостно бранивался, что и все присутствующие с ужасом того усматривали и Ее величество сама от того часто ретироваться изволила».[201] Словом, Бирон мог смутить и сбить с толку и не такого деликатного человека, каким, по общему мнению, был Антон Ульрих.

На следующий день Бирон потребовал, чтобы принц сложил с

себя должности командира Семеновского полка и Брауншвейгского кирасирского полка и отказался от звания генерал-поручика, на что принц согласился и написал соответствующее прошение на имя сына-императора. В нем он объяснил причину своего желания уйти в отставку тем, что ныне называется «по семейным обстоятельствам»: «А понеже я ныне, по вступлению Вашего императорского величества на Всероссийский престол, желание имею помянутые мои военные чины низложить, дабы при Вашем императорском величестве всегда неотлучно быть».[202] Затем принцу предписали переселиться в апартаменты принцессы (в своих он встречался с офицерами-заговорщиками) и запретили выходить из дворца. Антона Ульриха фактически посадили под домашний арест «под претекстом (предлогом. – *Е. А.)* опасной по улицам езды».[203] Этот домашний арест объясняли заботой о безопасности Антона Ульриха – как бы его не побили на улице как виновного в том, что из-за него страдают в застенке его сообщники.[204] Примечательно, что «нижайшего раба» (так он подписался) уволили указом за подписью Бирона, а не императора Ивана: «Именем Его императорского величества Иоганн, регент и герцог».

Зная происшедшее с Бироном через месяц, мы можем предположить, что столь успешное «подавление» (с помощью стучания кулаком по столу) «детского заговора» принца ввело регента в заблуждение относительно реальных возможностей оппозиции и подлинных опасностей, нависших над ним. В этом легком ветерке регент не признал начала бури, которая вскоре сбросит его с вершин власти. Он не сумел верно оценить даже полученную от ведомства Ушакова и от шпионов информацию о характере общественных настроений. Вероятно, многолетняя безмятежная жизнь возле теплого бока любившей его императрицы притупила инстинкты временщика. Он не понял, что со смертью Анны Иоанновны система его защиты – и одновременно источник его власти – рухнула, чем и объясняются начавшиеся волнения. Бирону же казалось, что арестами и пытками (а потом и примерными наказаниями) можно успокоить недовольных в гвардии – в допросе 6 марта 1741 года он признавался, что аресты были произведены «для утишения других».[205]

Между тем многим людям в Петербурге было очевидно, что родители императора, как и дочь Петра Великого Елизавета, обижены, что их просто не признали за фигуры, достойные власти или хотя бы внешних ее атрибутов. С точки зрения этих людей, наглый зарвавшийся временщик, известный только тем, что «государыню штанами крестил», на глазах у всех, среди бела дня,

поддержанный продажной придворной камарильей, за спиной общества с помощью сомнительных манипуляций захватил власть на целых семнадцать лет. Он ни у кого не вызывал добрых чувств – только страх. О Бироне говорили, что он ограбил казну, утащил в свою Курляндию несметные богатства России. Эти слова отчасти справедливы и подтверждаются великолепным дворцом Руенталь в Митаве, который построил для Бирона архитектор В. В. Растрелли. За время своего фавора Бирон не прославился ни как полководец, ни как дипломат. За десять лет у власти он не стал ни крупным государственным деятелем, ни меценатом. Он даже не был подданным России, а лишь владетелем мелкого соседнего герцогства, находившегося в вассальной зависимости от Речи Посполитой. Изучение многочисленных дел политического сыска за XVIII век убеждает, что в толще народа, в общественном сознании ведется некий «счет» каждому политику. В его «графы» вносятся порой своеобразно интерпретированные реальные поступки, дела, слова этого человека, а также сплетни и мифы о нем. И из всего этого постепенно складывается репутация человека в обществе. Репутация же у Бирона в тогдашнем обществе была скверная, и это обстоятельство он недооценил.

Можно предположить, что регента сознательно подвел Андрей Ушаков. Мы знаем, как в том же 1740 году из сущих пустяков в деле Артемия Волынского этот опытный палач и царедворец сумел раздуть «разветвленный антигосударственный заговор». То, что Волынский – тщеславный потомок героя Куликовской битвы Боброка-Волынца – составлял свое генеалогическое древо, стало основанием для обвинения его в намерении захватить русский престол. И хотя все понимали, что дело шито белыми нитками, Волынский и двое его подельников лишились голов. А в деле арестованных сторонников принца было столько соблазнительных для настоящей ищейки фактов! Во-первых, налицо имелся состав преступления. Все арестованные говорили примерно одно и то же: «Напрасно мимо государева отца и матери регенту государство отдали…»; «Отдали все государство какому человеку, регенту! Что он за человек? Лучше бы до возраста государева управлять отцу императора или матери… Это было бы справедливо». Одновременно гвардейцы высказывали и преступное намерение совершить переворот: «… проведали бы от государыни принцессы, угодно ли ей будет, то я здесь и Аргамаков на Петербургском острову учинили бы тревогу барабанным боем… и мы б регента и сообщников его, Остермана, Бестужева, князь Никиту Трубецкого, убрали».[206]

Как известно, политический сыск расценивает однозначно как заговор схожие слова и мысли множества разных, даже не

знакомых друг с другом людей. С помощью дыбы и кнута их между собой «знакомили», и они признавались в преступном сговоре. А здесь и этого делать было не нужно – арестованные находились друг с другом в тесных отношениях и имели прямой выход «наверх». Следует обратить внимание на состав арестованных: кроме гвардейских офицеров среднего звена и сержантов были взяты: упомянутый выше секретарь Кабинета министров Андрей Яковлев, секретарь принцессы Анны Леопольдовны Михаил Семенов, адъютант принца Антона Ульриха Петр Граматин, подполковник Пустошкин, а также адъютант самого Ушакова. На месте начальника Тайной канцелярии Ушакова, который обычно следовал привычным клише политического сыска, легко было заключить, что заговор в пользу родителей императора и с целью свержения регента пронизывает окружение принца и принцессы, правительственный аппарат, гарнизон Петропавловской крепости, гвардию и даже органы госбезопасности. Словом, Ушакову предстояла результативная работа в застенке. И он рьяно взялся за дело: с помощью присланного к нему на помощь Бироном генерал-прокурора Н. Ю. Трубецкого привычно запустил свою отлаженную пыточную машину, и вскоре она уже дала первые результаты – приведенные выше цитаты взяты из следственного дела Ханыкова, Аргамакова и др. Бирон с ними знакомился сразу же – допросы ему читали в Кабинете,[207] а Пустошкина даже допрашивали в его присутствии.

Но вдруг начатое дело разом остановилось, и регент ограничился публичной выволочкой и репрессиями только в отношении принца. Скорее всего, Ушаков, к которому клеврет Бирона князь Трубецкой был приставлен, вероятно, не столько для помощи, сколько для контроля, все делал как надо. Внезапная остановка расследования связана с тем, что Бирон испугался слишком углубляться в начатое дело – это грозило непредсказуемым расширением круга подследственных и новыми проблемами, которые регент, только что заступивший на свой пост, решать был не готов. Поэтому на первых порах он решил ограничиться только публичным расследованием дела самого Антона Ульриха и примерным – на глазах у всей элиты – наказанием принца, которого считал главным зачинщиком смуты. Впрочем, что он сделал бы с «исполнителями», сидевшими в крепости, мы не знаем – приговор по их делу к моменту свержения Бирона готов не был, но ничего хорошего этих сторонников Брауншвейгской фамилии не ожидало. Однако, повторяю, аресты и пытки должны были, по мысли Бирона, произвести впечатление «для страху другим, чтоб к тому не

приставали, против него не поднимались» – так показал на следствии Бестужев по этому поводу, и этому утверждению следует доверять.[208]

Наверняка Бирон знал, что в гвардии были случаи отказа гвардейских солдат и офицеров от присяги в верности Акту о регентстве. Следствие показало, что и здесь причиной неповиновения было недовольство регентством Бирона и сочувствие родителям императора.[209] Особо примечательно упоминавшееся выше дело подполковника Пустошкина, который уже 6 октября, когда был объявлен Манифест Анны Иоанновны о престолонаследии, проникся идеей подать от всего российского шляхетства челобитную с просьбой сделать регентом принца Антона Ульриха. 22 октября, то есть уже после провозглашения Бирона регентом, Пустошкин явился к канцлеру России князю А. М. Черкасскому и заявил, что «их много, между ними офицеры Семеновского полка… все желают, чтобы правительство было поручено принцу Брауншвейгскому». Пустошкин был арестован и, как уже сказано, допрошен самим регентом.[210] Важно то, что Пустошкин с товарищами направились к Черкасскому, «напомнив о прежнем подвиге его, столь достохвальном и полезном для общества», и «просили князя отправиться с ними к принцессе и представить Ее высочеству о желании народа». Речь идет о памятном событии начала 1730 года, когда князь Черкасский возглавил выступление русского дворянства против узурпировавших власть верховников – членов олигархического Верховного тайного совета.[211] Но в 1730 году ситуация была уже другая, да и Черкасский тогда был другим. А в 1740 году он тотчас, ничтоже сумняшеся, донес о депутации Пустошкина Бирону. Здесь важно то, что недовольство в обществе стало отливаться в привычные для общественного движения той поры формы депутаций, коллективных обращений, что само по себе говорило о потенциальной их силе и несомненной опасности для каждого узурпатора.

Почему регент все-таки не обратил серьезного внимания на все эти факты и предостережения? Может быть, потому, что в деле Пустошкина упоминались семеновцы, да среди отказавшихся от присяги также было больше всего семеновцев – напомню, что принц Антон Ульрих был командиром Семеновского полка. А потому все эти выступления могли расцениваться Бироном и его клевретами не как отражение опасных для «хунты» общественных настроений, а как корпоративная солидарность подчиненных со своим несправедливо обиженным командиром. К тому же Бирон рассчитывал на верность Измайловского и Конного полков,

сформированных в царствование Анны Иоанновны и не имевших тех опасных для него преторианских традиций, какими славилась старая петровская гвардия – два первых полка, Преображенский и Семеновский.

Заметно, что Бирон опасался делать резкие движения и задевать гвардию. В перспективе он хотел обновить старую гвардию за счет увольнения из ее рядов петровских ветеранов, которых, действительно, остерегался. Опасения эти отражены в его записках. В них рассказывается, как Антон Ульрих говорил Бирону, что тот «прекрасно бы сделал, если б уволил старых гвардейских солдат и офицеров, служивших еще великому Петру. Я отвечал, что сделать это вовсе нелегко и такое увольнение будет соединено с риском еще более увеличить опасность, потому, что Его высочеству должно быть известно впечатление, оставленное Петром (Великим) не только в умах, но и в сердцах всех его подданных».[212] Мы не знаем, как справился бы Бирон с решением проблемы гвардии, если бы дольше продержался у власти, но пока он явно осторожничал.

После расправы с Антоном Ульрихом регент вновь, уже после присяги, припугнул и Анну Леопольдовну, пообещав выписать из Киля «чертушку» – сына Анны Петровны Карла Петера Ульриха. Тем самым Бирон намекал, что может и выслать Брауншвейгское семейство в Германию – так сказать, к разбитому корыту. На допросах 1741 года эта тема всплывала дважды; на одном из них Бирон винился (на следствии с ним подобное – редчайший случай), говорил, что произносил это «яко безумный, который разума своего лишился»,[213] а на другом отрицал подобные угрозы со своей стороны, но признавался, что о голштинском сопернике с принцессой и принцем говорил – в том смысле, что им всем нужно держать ухо востро из-за возможных происков французской дипломатии в пользу внука Петра Великого. Тогда стало известно, что при дворе Елизаветы Петровны вдруг обнаружился портрет юного Карла Петера Ульриха. Думаю, что голштинский герцог был в равной степени неприятен и опасен и Брауншвейгской фамилии, и Бирону-регенту. Что же касается до осуществления угроз «выписать чертушку», то это было нереально – ведь будущее Бирона как регента было связано прежде всего с Брауншвейгской фамилией, и он оставался регентом до тех пор, пока на престоле был император Иоанн III, а не Петр III. Собственно, потом, на допросе, он резонно указывал следователям на нелепость таких угроз: все знают, как он старался возвести на трон именно Ивана Антоновича, и эти его усилия с намерением пригласить голштинского принца «весьма не согласуются».[214] Впрочем, принцесса могла и всерьез

испугаться: после того как Бирон сумел добиться регентства при Иване III, у него хватило бы наглости стать регентом и при Петре III.

Бирон не упускал из виду и другую возможную претендентку на престол из династической ветви потомков Петра Великого: в те же дни он встречался с цесаревной Елизаветой Петровной. Как утверждает Манштейн, регент «имел с царевной Елизаветой частые совещания, продолжавшиеся по нескольку часов». Он заплатил ее долги и обещал ей хорошее содержание. Лучшего для этой вечно нуждавшейся в деньгах мотовки нельзя было и придумать. Так Бирон мог не просто нейтрализовать ее амбиции, но привлечь на свою сторону, а может быть, – чем черт не шутит! – и выдать ее замуж за своего сына Петра.[215] По-видимому, регент хотел убедиться в намерениях и настроениях дочери Петра Великого и обращался с ней вполне мирно и доброжелательно. Как известно, Елизавета была по натуре злопамятна, но, став императрицей, зла на регента не держала. И это не случайно. В августе 1741 года Шетарди через Лестока узнал, что, оказывается, когда Бирон стал регентом, то он, «не совещаясь даже с ней, прислал ей от себя через доверенное лицо двадцать тысяч рублей несколько дней спустя по кончине царицы, и она чувствует за это такую признательность, что почтет себя обязанной возвратить ему свободу, как только в состоянии будет это сделать». Дать Бирону свободу Елизавета, став государыней, все-таки не решилась, но Бирона при ней перевели из холодной Сибири в Ярославль, где бывший регент жил в довольно комфортабельных, в сравнении с отправленными в Сибирь Остерманом, Минихом и Левенвольде, условиях.

В эти дни перед нами на мгновение появляется и сам двухмесячный государь, император Иван Антонович. В субботу 18 октября 1740 года Финч отправился поутру в Летний дворец с поздравлениями Бирону-регенту, и тут, пишет английский дипломат, «по дороге я встретил юного государя, которого перевозили из Летнего дворца в Зимний (по указу Бирона; сам регент остался в Летнем до выздоровления опасно заболевшего старшего сына Петра. – *Е. А.)*. Его величество сопровождал отряд гвардии, впереди ехал обергофмаршал и другой высший чин двора, камергеры шли пешком. Сам государь в карете лежал на коленях кормилицы, его сопровождала мать, принцесса Анна. За их каретой ехало еще несколько, образуя поезд. Я немедленно остановил свой экипаж и вышел из него, дабы поклониться Его величеству и Ее высочеству».[216]

Одним словом, регент, несмотря на печаль по своей покойной благодетельнице (она еще не была похоронена и гроб с ее телом

стоял в Летнем дворце, открытом по традиции для прощания петербуржцев), был активен, и все у него, казалось, шло как нельзя лучше.

* * *

Так прошли октябрь и начало ноября 1740 года. А в ночь с 8 на 9 ноября на Бирона внезапно обрушился смертельный удар – заговорщики во главе с фельдмаршалом Минихом совершили очередной петербургский дворцовый переворот и низложили регента. Фельдмаршал проявил в организации заговора и переворота ум, расчетливость, решительность и быстроту. И заговор, и переворот произошли, в сущности, за несколько часов. Миних сумел найти общий язык с Анной Леопольдовной, которой ранее, при установлении регентства, сторонился. Задумав свергнуть регента, он стал чаще видаться с принцессой, благо сам Бирон поручал ему вести дела, связанные с Брауншвейгским семейством. Вероятно, после всего, что сделал с ней Бирон, Анна Леопольдовна не могла испытывать к нему ни чувства благодарности, ни теплоты. В целом, столкновение между Анной Леопольдовной и Бироном должно было произойти рано или поздно, хотя они соблюдали все правила придворного этикета, наносили друг другу визиты и говорили вежливые слова. Но при этом, как писал 1 ноября 1740 года Финч, несмотря на величайшую мягкость и уважение, проявляемые публично регентом в отношении Анны, они оставались врагами: «Герцог всегда видел в принцессе смертельного врага и чувствует, что присвоение регентства в ущерб ей, особенно по устранении ее от самого престола, она ему никогда не простит».[217] Так это, вероятно, и было. Миних это обстоятельство хорошо понял и использовал в своих целях.

Сам Миних в своем очерке описывает заговор сдержанно и деликатно: «Поведение регента герцога Бирона побудило благонамеренных лиц представить принцессе Анне, матери юного императора, что для блага государства необходимо удалить Бирона и его семейство. Принцесса, подвергаемая вместе с принцем, своим супругом, постоянным оскорблениям со стороны Бирона, одобрила это предложение».[218] По сведениям сына главного мятежника, решительный разговор Миниха с принцессой состоялся днем 8 ноября 1740 года, когда Миних – начальник Сухопутного кадетского корпуса, основателем которого он был, – представлял принцессе кадетов, назначенных в пажи. По-видимому, разговор был откровенным: принцесса

жаловалась на регента, а фельдмаршал предложил Анне Леопольдовне убрать его с дороги и даже взялся сделать это лично. Тут-то принцесса и одобрила предложение «благонамеренного лица». После этого разговора Миних решил действовать, не откладывая в долгий ящик, той же ночью, тем более что этой ночью заканчивалось недельное дежурство в дворцовых караулах преображенцев, командиром которых был Миних. В следующий раз они заступали на посты только через шесть дней.[219] Он спешил, но действовал вполне взвешенно и расчетливо. Чтобы информация о заговоре не просочилась сквозь стены дворца, он убедительно просил принцессу никому не рассказывать (не исключая и мужа) о их сговоре, после чего отправился, как ни в чем не бывало, обедать к Бирону.[220]

В этом месте в источниках обычно упоминается знаменательный разговор регента с Минихом. Его передают в двух редакциях. Манштейн, со слов Миниха, пишет, что фельдмаршал обедал у Бирона вместе со своей семьей, а потом был приглашен приехать во дворец к регенту вновь вечером, уже на ужин. Обычно они сидели допоздна в узком кругу доверенных лиц и обсуждали дела. «Герцог, – писал Манштейн, – был весь вечер озабочен и задумчив. Он часто переменял разговор как человек рассеянный и ни с того ни с сего спросил фельдмаршала, не предпринимал ли он во время походов каких-нибудь важных дел ночью. Этот неожиданный вопрос привел фельдмаршала почти в замешательство, он вообразил, что регент догадывается о его намерениях; оправившись, однако, как можно скорее, так что регент не мог заметить его волнения, Миних отвечал, что он не помнит, но что его правилом было пользоваться всеми обстоятельствами, когда они кажутся благоприятными». Думаю, что ответ Миниха регенту уж очень вызывающе опасен в этой ситуации. Возможно, сам фельдмаршал в разговоре с адъютантом придумал свой ответ, что называется, ради красного словца.

Мы располагаем рассказом об этом вечере и в другой редакции. Его со слов Миниха записал английский посланник Э. Финч: «…за ужином и затем в течение всего вечера обыкновенно довольно болтливый, герцог едва ли вымолвил слово. Чтобы сколько-нибудь оживить присутствующих и поддержать разговор, фельдмаршал стал рассказывать о сражениях, о делах, в которых бывал в течение сорокалетней службы. Под конец граф Левенвольде совершенно ненамеренно спросил его: „Случалось ли ему быть в деле ночью?“ Странность такого несвоевременного вопроса при данных обстоятельствах несколько поразила фельдмаршала, но он скоро пришел в себя и, оправившись, отвечал с напускным равнодушием, что, при множестве дел, в

которых ему довелось бывать, конечно, находилась работа для любого часа суток, так как время схватки зависит от неприятеля. Граф рассказывал мне, будто герцог, лежавший на диване, при вопросе графа Левенвольде несколько приподнялся и, опираясь на локоть, поддерживая голову рукою, оставался в этой позе и в глубокой задумчивости с четверть часа».[221] Кажется, что в этой редакции происходивший неспешный разговор не так драматичен, как в первом варианте. Ответ Миниха более нейтрален, примирителен, хотя и довольно спорен – время схватки зависит не только от неприятеля, но и от самого рассказчика, что и прозвучало в первой редакции. А в том, что герцог, лежа на диване, сменил позу, трудно усмотреть что-то особенно настораживающее. Обе редакции рассказа исходят от самого Миниха, который в своих записках о памятной беседе не упоминает ни слова.

Как ни странно, молчит об этом красочном эпизоде и сын Миниха Эрнст, довольно информированный мемуарист, текст которого отец править не мог – в момент писания мемуаров в 1757 году сын находился в ссылке в тысячах верст от отца (бывший обер-гофмейстер – в Вологде, а бывший фельдмаршал – в Пелыме). Из текста Эрнста Миниха следует, что никакого описанного Манштейном и Финчем ужина вообще не было. Точнее сказать, регент ужинал, но не с фельдмаршалом, а… с супругой его сына, Эрнста, который пишет буквально следующее: «После обеда отец мой, возвратясь в свой дом, ожидал ночи с великой нетерпеливостью. Между тем моя жена, которая столь же мало, как и я, о том ведала, вместе с бароншею Менгден, свояченицей моей, поехала к герцогине, *ужинала у нее вместе с регентом и почти до полуночи с ними просидела.* При сем случае герцог приказал чрез жену мою сказать ее свекру, а моему отцу, что как скоро погребение императрицы отправлено будет, то он повелит выдать ему определенную сумму денег на уплату его долгов. Поскольку же жена моя поздно домой приехала и сочла, что отец мой уже спит, то исполнение своего препоручения отложила до другого вечера».[222]

Оставим на совести мемуаристов эти разночтения, но приметим, что Миних-сын запомнил этот эпизод как некий курьез в канун исторического события, что порой даже легче застревает в памяти, чем само событие. Юмор рассказа Миниха-сына в том, что ежели бы сноха фельдмаршала не была так деликатна и передала бы последнюю волю Бирона, знавшего, как мается Миних от долгов, то, может быть, Миних и не отправился бы в свой ночной поход за славой и наградами. Случай же, рассказанный Манштейном и Финчем со слов фельдмаршала,

тоже имел характер символического курьеза, но он Миниху-сыну почему-то не запомнился. Может быть, потому, что о нем он ничего не слышал или… его и впрямь вообще не было?

Как бы то ни было, мы можем поверить со спокойной совестью, что фельдмаршалу дома не спалось. Он пролежал, как пишут все наши авторы, не сомкнув глаз, до двух часов ночи, а потом вызвал предупрежденного заранее генерал-адъютанта, подполковника Христофора Германа Манштейна, которому открыл свой замысел и получил согласие на сообщничество.

Далее оба отправились в Зимний дворец, охраняемый преображенцами. Они тотчас пропустили своего командира. Манштейн пишет, что их через гардеробную провели в покои Анны Леопольдовны, фрейлина Юлия Менгден разбудила принцессу и та вышла к ночным визитерам. Миних, «поговорив с минуту» с ней, приказал явиться в покои Анны Леопольдовны всем бывшим тогда в карауле Преображенским офицерам. Когда они пришли, принцесса «высказала им в немногих словах все неприятности, которые регент делал императору, самой ей и ее супругу (Антона Ульриха при этой сцене благословения заговорщиков не было. – *Е.А.),* прибавив, что, так как ей было невозможно и даже постыдно далее терпеть эти оскорбления, то она решила арестовать его, поручив это дело фельдмаршалу Миниху, и что она надеется, что офицеры будут помогать ему в этом и исполнят его приказания». После этого принцесса дала каждому из них (наверное, офицеров было три-четыре человека) приложиться к руке. Офицеры спустились в караулку и ударили тревогу. Построившимся солдатам – их было 120 человек – Миних объявил, в чем дело; «солдаты громко отвечали, что готовы идти за ним всюду».[223]

Нужно признать, что Миних поступал предусмотрительно и осторожно. Во-первых, он действовал быстро, и первоначально в заговоре было всего два участника – Миних да принцесса. Во-вторых, он сумел получить, если так можно сказать, максимальную легитимизацию незаконного, антигосударственного акта, вовлек в него и гвардейцев, и принцессу, мать императора, которая формально никакими официальными полномочиями не обладала, но в конечном счете взяла всю ответственность за предприятие на себя. В случае провала заговора Анна Леопольдовна пострадала бы больше всех, ибо Миних и гвардейцы, как один, утверждали бы, что на совершение этого тяжкого государственного преступления их послала принцесса, а они, честные и простодушные служаки, не могли не выполнить волю матери императора. Эрнст Миних, находившийся в то время во дворце, передает еще одну важную

подробность этого судьбоносного ночного визита в Зимний. Оказывается, что в ту минуту, о которой упоминает Манштейн, Миних требовал от принцессы, чтобы она лично отправилась вместе с мятежниками арестовывать регента, но «она ни под каким видом на то не соглашалась», причем это было уже второе после беседы днем 8 ноября приглашение. Понятно, почему Миних упорствовал – ему было очень важно иметь принцессу живым знаменем и одновременно заложницей – на случай измены.

Да и в дальнейшем Миних действовал столь же осмотрительно. Когда с 80 солдатами и несколькими офицерами он подошел к Летнему дворцу, то остановил отряд в 200 шагах от него (думаю, они подошли к ограде Летнего сада, где находился первый пост. – *Е. А.)* и послал Манштейна переговорить с офицерами караула, «чтобы объявить им намерения принцессы Анны», – как мы видим, не сам и не свои намерения! Офицеры не возражали, они были даже готовы помочь Манштейну арестовать регента. Манштейн вернулся к Миниху и доложил о своей командировке.[224] Тогда Миних выделил ему двадцать солдат и приказал «арестовать герцога и в случае малейшего сопротивления с его стороны убить его без пощады». Сам же Миних, как вытекает из рассказа Манштейна, остался ждать в удалении от дворца. И в этом нельзя не увидеть умысла фельдмаршала: получилось так, что и предварительные переговоры с охраной, и арест регента совершил не Миних, а его адъютант! Надо полагать, что Миних тем временем отдавал распоряжение о том, чтобы подогнали его карету, в которой потом и увезли арестованного Бирона, ставшего уже бывшим регентом.

Манштейн, войдя во дворец, приказал солдатам двигаться за ним в отдалении, чтобы не производить лишнего шума. Минуя отдающих ему честь часовых и кланяющихся слуг, он уверенно и спокойно зашагал по залам, будто бы со срочным донесением фельдмаршала к регенту. Но на самом деле Манштейн страшно волновался: он боялся заблудиться в полутемных залах, а спрашивать у попадавшихся навстречу слуг, где спит герцог, он не мог – это было бы слишком странно и подозрительно. Впрочем, предоставим слово самому Манштейну (он пишет о себе в третьем лице): «Он прошел в сад (Летний. – *Е. А.)* и беспрепятственно дошел до покоев. Не зная, однако, в какой комнате спал герцог, он был в большом затруднении, недоумевая куда идти… После минутного колебания он решил идти дальше по комнатам в надежде, что найдет, наконец, то, чего ищет. Действительно, пройдя еще две комнаты, он очутился перед

дверью, запертой на ключ; к счастью для него, она была двустворчатая и слуги забыли задвинуть верхние и нижние задвижки, таким образом, он мог открыть ее без особенного труда (а если бы слуги не забыли про задвижки, что делал бы тогда Манштейн? – *Е. А.)*. Там он нашел большую кровать, на которой глубоким сном спали герцог и его супруга, не проснувшиеся даже при шуме растворившейся двери.

Манштейн, подойдя к кровати, отдернул занавесы и сказал, что имеет дело до регента, тогда оба внезапно проснулись и начали кричать изо всей мочи, не сомневаясь, что он явился к ним с недобрым известием. Манштейн очутился с той стороны, где лежала герцогиня, поэтому регент соскочил с кровати, очевидно, с намерением спрятаться под нею, но тот поспешно обежал кровать и бросился на него, сжав его как можно крепче обеими руками, и держал до тех пор, пока не явились гвардейцы. Герцог, встав, наконец, на ноги и желая освободиться от этих людей, сыпал удары кулаком вправо и влево; солдаты отвечали ему сильными ударами прикладом, снова повалили его на землю, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом одного офицера и снесли его голого до гауптвахты, где его накрыли солдатской шинелью и положили в ожидавшую его тут карету фельдмаршала». Затем бывшего регента отвезли в Зимний дворец, а на следующий день, под усиленной охраной, – в Шлиссельбургскую крепость. Век был еще гуманный – ведь Манштейну было указано фельдмаршалом арестовать регента и «в случае малейшего сопротивления с его стороны убить его без пощады», но адъютант приказа не исполнил.

Сам Бирон в позднейших мемуарах к описанию печального эпизода собственного падения смог только добавить: «Я был схвачен в постели в ночь с 8 на 9 ноября, поднят в одной рубашке гренадерами, вытащен ими к карете, приготовленной Минихом, и под конвоем Минихова адъютанта Манштейна отвезен в Зимний дворец. Тут меня ровно ни о чем не спрашивали». Да, уж конечно, – спрашивать будут потом следователи!

Заметим попутно, что ночная беготня, крики и шум этой классической сцены дворцового переворота подняли на ноги весь дворец, и только покойной императрице Анне Иоанновне не было до всего этого никакого дела – она тихо лежала в гробу в парадном зале дворца и не видела, как мимо пронесли мычащего и лягающегося Бирона. Она уже ничем не могла помочь своему возлюбленному обер-камергеру.

«В то время, когда солдаты боролись с герцогом, – заключает Манштейн свой приключенческий рассказ, – герцогиня соскочила с кровати в одной рубашке и выбежала на улицу, где один из

солдат взял ее на руки, спрашивая у Манштейна, что с ней делать. Он приказал отнести ее обратно в ее комнаты, но солдат, не желая утруждать себя, сбросил ее на землю, в снег, и ушел». Из сугроба герцогиню извлек командир караула, который «охранял» регента и его семью в ту ночь, и приказал вернуть ее в покои, где держать под стражей. Затем она присоединилась к своему мужу, отправленному на следующий день сначала в Александро-Невский монастырь, а потом в Шлиссельбургскую крепость. Заметим, что не в Петропавловскую – тюрьму Тайной канцелярии, а в Шлиссельбургскую, отстоявшую от города на 60 верст. Думаю, что в этом тоже проявилась предусмотрительность Миниха, опасавшегося, как бы Бирон не выскочил из клетки. Затем Манштейн арестовал брата регента, Густава. Это было опасно – тот пользовался уважением в своем Измайловском полку, и в какой-то момент чуть было не началась перестрелка, но наконец захваченный врасплох Густав сдался Манштейну. Другой адъютант Миниха, капитан Кенигсфельд, арестовал первейшего клеврета Бирона, Бестужева-Рюмина, причем, как передает один из источников, кабинет-министр спросил Кенигсфельда: «Что за причина немилости регента?»[225]

Почему фельдмаршал Миних совершил этот столь некрасивый поступок? Что им двигало? Несомненно, Бирон не доверял Миниху и, может быть, действительно, что-то и заподозрил. Манштейн сообщает, что в ночь переворота караулы были значительно усилены и регент, подозревавший, что «против него намерены что-то предпринять, приказал караульным офицерам никого не пропускать во дворец после того, как он удалится в покои; часовым было приказано арестовать тех, которые могли прийти и в случае сопротивления убить на месте того, кто стал бы противиться. В саду, под окнами регента, стоял караул из одного офицера и 40 человек солдат, и вокруг дома были расставлены часовые». По-видимому, Манштейн писал со знанием дела: эту информацию ему сообщил человек, осведомленный в системе охраны герцога, возможно, он был из числа Преображенских офицеров, несших караул во дворце и в Летнем саду.

Поступок Миниха, схожий с ударом ножа в спину, жестоко оскорбил Бирона; это – косвенное свидетельство его собственного просчета в оценке и Миниха, и всей ситуации. Поэтому Бирон, даже сидя в елизаветинской ссылке, стремился отомстить предателю, уделив в показаниях, а потом и мемуарах так много места обвинениям Миниха. Он говорил и писал о фельдмаршале как о предателе, потенциальном противнике цесаревны. В 1741 году Бирон говорил, что он и раньше не доверял Миниху, ибо

«нрав графа фельдмаршала известен: имеет великую амбицию и при том десперат и весьма интересоват» (то есть человек отчаянный и заинтересованный). Но на самом деле это – типичная «догадливость на лестнице». В своих показаниях Бирон хотел предупредить воцарившуюся Елизавету от сближения с Минихом – своим врагом. Он не скрывал своего огорчения и досады на Миниха. На одном из допросов он уклонился от главной темы и стал говорить, что и ранее, в начале своей карьеры, Миних слыл предателем. Он изменил пригревшему его саксонскому фельдмаршалу Флемингу, а потом, уже в России, Миних «в несчастие привел и старался лишить живота» нового своего благодетеля – генерал-прокурора Павла Ягужинского.

Бирон видел причины предательского поступка фельдмаршала не «в ответственной ревности к Его императорскому величеству или государству», а в том, что фельдмаршала «к тому возбудили и привели три причины: 1. Уведал, что народ был в беспокойстве, и для того хотел себя наперед показать, понеже когда бы дошло до следствия, то бы явно показалось, что он в первые ему, Бирону, предлагал и более о том побуждение чинил; 2. Чтоб получить себе от Его императорского величества милость и потом свою чрезмерную амбицию удовольствовать; 3. Свою ненасытность насытить».[226]

Так Бирон, оказавшись банкротом, пытается объяснить исходные мотивы, приведшие Миниха к предательству и свержению его, регента. Герцог признает, что Миних более чутко, чем он сам, ощутил, что «народ в беспокойстве», и хотел фактом свержения регента получить для себя на будущее своеобразную индульгенцию от греха участия в «затейке Бирона», в которой фельдмаршал был по уши замешан. Мотив этот кажется сомнительным, хотя общественные настроения Миних, действительно, учитывал. Две другие причины, указанные Бироном, кажутся довольно точными: свергнув регента, Миних получал неограниченный доступ к власти при слабой правительнице Анне Леопольдовне, и это послужило удовлетворением безмерного честолюбия фельдмаршала да и его значительных материальных запросов. Близко к этому и объяснение адъютанта Миниха, полковника Христофора Манштейна, писавшего, что Миних, помогая Бирону, думал, что «получит от него все, чего ни пожелает, что герцог будет только носить титул, а власть регента будет принадлежать фельдмаршалу. Он хотел руководить делами со званием генералиссимуса всех сухопутных и морских сил».[227] Действительно, амбиции Миниха были велики, он все время рвался к звонким титулам, что, возможно, объясняется

комплексом парвеню – его отец получил дворянство уже после его рождения. Чин же генералиссимуса был для Миниха, считавшего себя великим полководцем, самой сокровенной мечтой, но Бирон так и не превратил эту мечту в явь – как, впрочем, впоследствии и правительница Анна Леопольдовна.

Но все-таки Манштейн, кажется, слегка упрощает ситуацию. Миних хорошо знал Бирона и вряд ли надеялся заправлять при нем всеми делами, тогда как армия и так подчинялась фельдмаршалу. Однако честолюбие и тщеславие жгли Миниха сильнее, чем предостерегало чувство осторожности. По характеру Миних и Бирон были схожи – оба были заядлые игроки в жизни (а Бирон ежедневно и за карточным столом), и намерение убрать такого могучего и умного соперника, как Бирон, могло воодушевлять Миниха – «десперата» и сулило потом немыслимые блага и славу. Все зависело от личного мужества и решительности самого фельдмаршала, а этого ему было не занимать. К тому же Миних, как никто другой, понимал, что у Бирона, с тех пор как ушла в мир иной императрица Анна Иоанновна, нет никакой реальной опоры. Как уже сказано выше, Миних не только знал (как, впрочем, и Бирон) о настроениях гвардии, но и решил использовать эти настроения в своих целях. Бирон, уже сидя в Шлиссельбурге, в марте 1741 года, вспоминал, как Миних ему говорил, что «Преображенская гвардия ныне его (то есть Миниха. – *Е. А.)* более любит, нежели при жизни» Анны Иоанновны. Это регенту не понравилось, и он намеревался помешать усилению Миниха: «А после того времени принял я в рассуждение, что у него первый и люднейший гвардии полк и почти вся армия под командою… того ради восприял я намерение о сем Его императорского величества высоким родителям объявить и мнение свое о фельдмаршале обоим их императорским высочествам я открыл бы, но понеже его фамилия в милость обращалась (брат и сын Миниха служили при дворе Анны Леопольдовны. – *Е. А.),* того ради в том отважиться не хотел».[228]

Дворцовый переворот произошел необыкновенно быстро и легко. Манштейн не скрывал своего изумления по этому поводу. Как признался ему офицер, стоявший, по-видимому, в карауле Летнего дворца, он «не мог понять, как все это могло обойтись так легко, ибо, судя по всем принятым мерам, дело не должно было удаться: если бы один только часовой закричал, то все было бы проиграно». Да и сам Манштейн был уверен, что «если бы один только человек исполнил свой долг, то предприятие фельдмаршала не удалось бы». Конечно, свою роль сыграло то обстоятельство, что на караулах стояли преображенцы, знавшие

Манштейна в лицо. Но все-таки они проявили беспечность и, как писал Манштейн, нерадение – ведь регент накануне приказал никого не пропускать во дворец. «Это-то нерадение гвардейцев, на которое не было обращено внимания при великой княгине (Анне Леопольдовне. – *Е.А.),* и облегчило тот переворот, который год спустя предприняла царевна Елизавета».[229] Как военный, Манштейн, по-своему – с точки зрения воинского устава, соблюдения офицерской чести и исполнения долга, – прав, но ведь и он в ту ночь проявил «нерадение» в защите регентства Бирона, которому, как и все другие, присягал.

И, наконец, последнее: известно, что Миниху часто везло. Военные историки ломают голову над тем, как ему, полководцу столь бездарному, удалось добиться значительных побед в Русско-польской и Русско-турецкой войнах 1730-х годов. Кажется, что удача и счастье никогда не покидали Миниха. От поражения его не раз спасал счастливый случай или фантастическое везение. Когда он бросил штурмовые колонны на стены турецкой крепости Очаков, то почти потерпел поражение – штурм оказался неподготовлен, гарнизон крепости успешно отбил натиск, нанеся огромные потери нападающим. Миних, видя, как гибнет на стенах и во рву его армия, уже рвал на себе волосы и сам под пулями бросился было в самое пекло (кстати, именно тогда возле него находился принц Антон Ульрих), как вдруг неожиданно взорвался главный пороховой погреб в турецкой крепости и чудовищный взрыв погубил все укрепления, похоронив под обломками половину гарнизона. Миних праздновал победу над одной из сильнейших крепостей Причерноморья. В сражении под Ставучанами, также по неизвестным до сих пор причинам, турки вдруг впали в страшную панику, оставили укрепленный лагерь и, бросая пушки и оружие, побежали в сторону крепости Хотин. Потери русских в этом деле составили всего 19 человек. Огромные трофеи достались победителю. Но это еще не все. Бежавшие от Ставучан турецкие солдаты ворвались в сильнейшую в Подолье крепость Хотин, и ее 10-тысячный гарнизон, также объятый паникой, бежал следом за армией, бросив на произвол судьбы бастионы этой поистине неприступной, вырубленной в скале крепости и даже свои знамена… А тут какой-то дворец в Летнем саду!

Впрочем, Манштейн, довольно критически относившийся к своему командиру, писал, что «гораздо легче было бы арестовать герцога среди белого дня, так как он часто посещал принцессу Анну в сопровождении одного только лица. Графу Миниху или даже какому-нибудь другому надежному офицеру стоило только дождаться его в прихожей и объявить его арестованным при

выходе от принцессы. Но фельдмаршал, любивший, чтобы все его предприятия совершались с некоторым блеском, избрал самые затруднительные средства».[230] И это ему вполне удалось.

Кроме Бирона и его семьи (жена, дочь и двое сыновей) были арестованы двое его братьев – Карл и Густав, а также генерал Бисмарк, женатый на сестре герцогини и командовавший войсками в Риге. Из «хунты» был арестован только ближайший клеврет Бирона А. П. Бестужев-Рюмин. Его сразу отправили в тюрьму в Ивангород. Все остальные сподвижники регента не пострадали, а даже наоборот, получили повышения.

Глава пятая
Взлет и падение Миниха

«С какой нетерпеливостью ожидали мы известия об успехе означенного предприятия, всякий легко себе вообразить может», – писал Миних-сын, находившийся рядом с Анной Леопольдовной в Зимнем дворце в момент переворота. Наконец появился торжествующий отец мемуариста «с сей добычей» и «принесенною им самим вестью неизреченную произвел радость».[231]

Кто-то радовался благополучному исходу, а кто-то трепетал за свое будущее. Князь Яков Шаховской, только что удостоенный чести пить утренний кофе с регентом, через сутки проснулся в страхе и полном смятении, когда разбудивший его «еще прежде рассвета» полицейский офицер объявил, что надо ехать во дворец, ибо «принцесса Анна, мать малолетнего наследника, приняла правление государственное, а регент герцог Бирон со своею фамилиею и кабинет-министр граф Бестужев взяты фельдмаршалом Минихом под караул и в особливых местах порознь посажены». У дворца стояла толпа, и новоиспеченный начальник полиции «продрался сквозь людей на крыльцо, где был великий шум и громкие разговоры между оным народом». Далее мемуарист дает яркую, почти кинематографическую зарисовку: «Но я, того не внимая, бежал вверх по лестницам в палаты, и как начала, так и окончания, кто был в таком великом деле начинателем и кто производитель и исполнитель, не зная, не мог себе в мысль вообразить, куда мне далее идти и как и к кому пристать. Чего ради следовал за другими, спешно меня обегающими. Но большею частью гвардии офицеры с унтер-офицерами и солдатами, толпами смешиваясь смело, в веселых видах и не уступая никому места ходили, почему я вообразить мог, что сии-то были производители оного дела. В таких сомнениях вошел я в дворцовую залу и в первом взгляде увидел в великом множестве разных чинов и по большей части статских, теснящихся в дверях и проходах к придворной церкви, которая также была наполнена людьми и освещена множеством горящих свеч».

Шаховской, совершенно ни о чем не знавший, был в полной растерянности: «Я несколько приостановился, чтоб подумать, как бы и в которую сторону подвинуться и найти кого из моих приятелей, от коих бы обстоятельства узнать и по тем бы поступку мою удобнее употребить мог, но в тот же миг один из моих знакомых, гвардии офицер, с радостным восторгом ухватил

меня за руку и начал поздравлять с новою нашею правительницею и, приметя, что я сие приемлю как человек, ничего того не знающий, кратко мне об оном происшествии рассказал и проговорил, чтоб я, нимало не останавливаясь, протеснился в церковь, там-де принцесса и все знатные господа учинили ей уже в верности присягу и, видите ль, что все прочие тоже исполнить туда спешат». Тут Шаховской вновь вспомнил свое злосчастное кофепитие с герцогом: «Сие его обстоятельное уведомление, во-первых, поразило мысль мою и я сам себе сказал: „Вот теперь регентова ко мне отменно пред прочими милостивая склонность сделает мне похоже, как и после Волынского толчок, но чтоб только не худшим окончилось. Всевидящий, защити меня!“ В этом размышлении дошел я близ дверей церковных, тут уже от тесноты продраться в церковь скоро не мог и увидел многих моих знакомых, в разных масках являющихся. Одни носят листы бумаги и кричат: „Извольте, истинные дети отечества, в верности нашей всемилостивейшей правительнице подписываться и идти в церковь в том Евангелие и крест целовать“; другие, протесняясь к тем по два и по три человека, каждый только спешит, жадно спрашивая один другого, как и что писать, и, вырывая один у другого чернильницу и перья, подписывались и теснились войти в церковь присягать и поклониться стоящей там правительнице в окружности знатных и доверенных господ».

Наконец Шаховской продрался-таки в церковь, поцеловал Евангелие и крест, учинив пристойный поклон правительнице, стал позади окружающих ее господ, «воображая себе, что я в таком чине, коему теперь отдаляться не надлежит, и могут мне быть касающихся до полиции в теперешних обстоятельствах потребных делах повеления. Но, увы! вскоре потом инаковую приемность почувствовал». Одни не обращали на Бирона начальника полиции никакого внимания, другие «с язвительными усмешками спрашивали, каков я в своем здоровье и все ль благополучен», третьи за спиной несчастного князя громко рассказывали «о моем у регента случае». Но главное, что огорчало Шаховского, – это то, что он не имел «ни от правительницы, ниже от ее министров, уже во многие вновь доверенности вступивших, никаких приветствий, ниже по моей должности каких повелений, с прискорбными воображениями, почти весь день таскавшись во дворце между людьми, поехал в дом свой в смятении духа моего». Через пару дней он узнал, что вместо него генерал-полицмейстером назначен Ф. В. Наумов, а о Шаховском в указе правительницы не было сказано ни слова. Поэтому он счел, что его из полиции не уволили, и явился туда исполнять обязанности товарища начальника.

Такое положение дел было типично для этого переворота – произошла смена чиновников, но никто, кроме Бирона и Бестужева, всерьез не пострадал – типично верхушечная революция!

Конечно, за прошедшую бурную ночь с императором Иваном Антоновичем не произошло той волшебной перемены, которая случилась с героем сказки о князе Гвидоне, – увы, царь Иван не стал в одночасье взрослым, несмотря на тот звонкий титул, которым он обладал: «Божиею поспешествующею милостию мы, Иоанн Третий, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, государь Псковский и великий князь Смоленский, князь Эстляндский, Лифляндский, Корельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Белгородский и иных, государь и великий князь Новгорода низовские земли, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и всея северныя страны повелитель, и государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинской земли черкасских и горских князей и иных наследный государь и обладатель».[232]

Но хотя государь и остался младенцем, он теперь «издавал» указы один грознее другого: уже на следующее утро, 9 ноября, был зачитан обличительный манифест трехмесячного императора, который сообщал, что «Мы, к великому нашему неудовольству, усмотреть принуждены были…» – а далее шла речь о преступления регента: «Он, герцог Курляндский… к любезнейшим нашим родителям, их высочествам, государыне нашей матери и государю нашему отцу, такое великое непочитание и презрение публично оказывал и при том еще с употреблением непристойных угрозов, такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, по которым не токмо вышепомянутые любезнейшие наши государи родители, но мы сами и покой и благополучие империи нашей в опасное состояние приведены быть могли б». В этих туманных словах тогдашний обыватель вряд ли разобрался, но мы понимаем, что регент формально отрешен от власти за проявленную в отношении принцессы грубость и шантаж («чертушку» из Киля обещал привезти!). Это отрешение осуществлено, как следовало из манифеста, по «всеподданнейшему усердному желанию и прошению всех наших верных подданных». Они же, верные подданные, просили передать «оное правительство Всероссийской нашей империи во время нашего малолетства вселюбезнейшей нашей государыне матери Ея императорскому высочеству

государыне принцессе Анне (которой мы отныне титул великой княгини Всероссийской придать соизволили)» со всеми полномочиями регента, а в сущности, самодержца.[233] И. В. Курукин справедливо заметил, что этот «классический» дворцовый переворот показал, что существующая власть может быть свергнута «силой без сколько-нибудь серьезных доказательств ее вины и без всяких попыток воздействия на нее со стороны других законных учреждений. Обоснованием таких насильственных действий явилось еще только предполагаемое нарушение „благополучия“ империи и состоявшееся „прошение всех наших подданных“. Такое объяснение стало в дальнейшем непременным условием публичного оправдания каждой последующей „революции“».[234]

Вечером, после молебна по случаю победы, к придворным и высшим чинам вышла новая великая княгиня в голубой ленте и со звездой высшего российского ордена Андрея Первозванного. Анна Леопольдовна жаловала всех к руке, а затем именем государя, сына своего, объявила награды. Власть и полномочия ее приравнивались к тем, что были у регента герцога Бирона, хотя слова «регентша» употреблено не было. Вместо него был использован старый русский синоним – «правительница», который применялся к царевне Софье после майского мятежа стрельцов 1682 года. Полноту своей власти в статусе правительницы Анна Леопольдовна подтвердила в указе Кабинету за октябрь 1741 года: «…по неотступному прошению как от вас, так и от всех наших верных подданных приняла я правление всея России, пока сын мой и государь в совершенныя лета и в возраст придет на таком же основании, как блаженныя памяти тетка моя, государыня императрица Анна Иоанновна, бывшему регенту духовною своею определить изволила». В другом указе дана иная, более четкая редакция: «…Тогда по прошению ж духовных, министров, генералитета и всех верных подданных взяли мы на себя правление всей Российской империи на таковом основании и в такой же власти и силе, как ему, Бирену, в духовной предписано было». Сходное суждение о пределах власти принцессы высказал в 1741 году Амвросий, архиепископ Новгородский: «…веть Ея императорское высочество с полною самодержавною властию правительствует».

Отцу императора Антону Ульриху вернули командование Семеновским полком, заодно он стал подполковником Конной гвардии, а самое главное – был пожалован чином генералиссимуса всех вооруженных сил России. Фельдмаршал Миних стал первым министром и получил дворец самой принцессы, переселившейся в Зимний дворец.[235] Канцлером

России был объявлен князь А. М. Черкасский, вице-канцлером граф М. Г. Головкин. Бывший вице-канцлер А. И. Остерман стал генерал-адмиралом (или, как писали дипломаты, великим адмиралом). Другие получили деньги на оплату долгов, деревни, ордена Андрея Первозванного и Александра Невского. Графиня Миних стала первой статс-дамой, подполковник Манштейн – полковником.

Указом правительницы были освобождены все офицеры и чиновники, попавшие в октябре в Тайную канцелярию как государственные преступники по делу принца Антона Ульриха. Теперь они были признаны невиновными, ибо «природному и истинному своему государю и всей нашей императорской фамилии верно служили и ревностно поступали, не щадя живота своего, за которые их истязанные притязания и верные службы нашей императорской милостию награждены и по прикрытии знаменами паки в нашу службу употреблены». Также все были предупреждены о «непорицании их тем, что они были в катских руках».[236] Правда, указ, подписанный: «Именем Его императорского величества, Анна», датирован лишь 15 декабря 1740 года. Не очень-то спешили новые власти с реабилитацией невинно осужденных! Зато нещадно пытавших их Ушакова и Трубецкого наградили сразу же после переворота Анны Леопольдовны. Из Сибири были освобождены и все, кто попал в ссылку по политическим преступлениям во время царствования Анны Иоанновны, как известно, гуманностью не отличавшейся.

У всех остальных дела обстояли как нельзя лучше. Победители потешались над непотопляемым вице-канцлером Остерманом, который утром, после свержения Бирона, ссылаясь на колики, поначалу отказался явиться к правительнице. Как известно, его скрытность и лицемерие были притчей во языцех, а не особенно искусное притворство анекдотично. Сохранилось множество рассказов о том, как в самые ответственные или щекотливые моменты своей политической карьеры Остерман внезапно заболевал. У него открывалась то подагра правой руки (чтобы не подписывать опасные для него бумаги), то ревматизм ног (чтобы не ходить во дворец), то хирагра или мигрень (чтобы не отвечать на щекотливые вопросы). Он надолго ложился в постель, обвязывал голову полотенцем, и вытащить его оттуда не было никакой возможности – он так громко стонал, что несчастного больного было слышно с улицы. Бывало, что у вице-канцлера внезапно начиналась рвота в ходе переговоров, когда он хотел прервать неудобный для него разговор. Шетарди пишет: «Граф Остерман прибегнул к своему обычному способу, когда он бывает в затруднении и отстаивает неправое дело, – он стал

уклоняться от прямого ответа, жизнь его, по его словам, цепь страданий, внезапно овладевавшие им болезненные приступы заставляли его делать тысячи гримас, его кресло никак не могло доставить ему покойного положения, он обливался обильным потом, жестокий кашель душил его, причем он несколько раз отирал лицо. Прикрываясь платком, он бросал на меня взгляды, стараясь лучше проникнуть в мои мысли».[237] Английский посланник Финч, противник Шетарди, был с ним полностью солидарен и писал, что в этом случае нужно хладнокровно сидеть и ждать: «Знающие его предоставляют ему продолжать дрянную игру, доводимую подчас до крайностей, и ведут свою речь далее; граф же, видя, что выдворить собеседника не удается, немедленно выздоравливает как ни в чем не бывало».

Миних, хорошо изучивший повадки Остермана, просил передать хитрецу через его родственника, что есть некоторые обстоятельства, способные заставить вице-канцлера все-таки сделать над собою усилие и явиться во дворец, а именно: совершенно точно известно, что бывший регент Российской империи, герцог Курляндский и Семигальский сидит под арестом в Зимнем дворце.[238] Остерман тотчас поправился и поспешил к разделу пирога. Некоторые иностранные наблюдатели были уверены, что весь переворот 9 ноября – на самом деле следствие сложной интриги хитроумного вице-канцлера – ведь не мог же он стоять в стороне от «революции». Между тем Остерман, действительно, был непричастен к заговору и к мгновенной силовой импровизации Миниха.

С этого момента наступил звездный час фельдмаршала Миниха. «Ночная революция» 9 ноября 1740 года вознесла его на вершину власти. Совершая переворот, он многим рисковал – вдруг Манштейн так и не нашел бы опочивальню регента? И теперь за все страхи и переживания он хотел получить свое. Цели Миниха были ясны. «Фельдмаршал Миних, – писал нещадно разоблачавший своего начальника Манштейн, – арестовал герцога Курляндского единственно с целью достигнуть высшей степени счастия, цель его была та же, как и в то время, когда он убеждал герцога сделаться регентом, то есть он хотел захватить всю власть, дать великой княгине звание правительницы и самому пользоваться сопряженной с этим званием властью, воображая, что никто не посмеет предпринять что-либо против него. Он ошибся». Да, Миних ошибся – его, российского Марса, победителя страшного Бирона, вскоре низринула с Олимпа тихая, рассеянная женщина – Анна Леопольдовна. Это событие подготавливалось постепенно. Было несколько факторов, определивших низложение Миниха. Во-первых, явно неудачное для Миниха распределение

постов в новом правительстве. Из мемуаров Э. Миниха следует, что после победы Миних-отец посадил сына и барона Менгдена обсудить и записать его первые распоряжения о разделе власти и о наградах. Поначалу было решено самого Миниха «за оказанную им услугу» сделать генералиссимусом. Но потом сын якобы отсоветовал батюшке так поступать: может быть, этот чин желает получить принц Антон Ульрих, и «нужно… пристойным образом о сем у него разведать; в таком случае советовал я отцу моему испросить себе титул первого министра. На сие он согласился (без всякой „разведки“. – *Е. А.)* и, оставя прежде упомянутое достоинство, избрал для себя последнее. После сего спросил он меня и барона Менгдена, как же может граф Остерман над собою терпеть первого министра. Мы отвечали, что надлежало бы и ему назначить достоинство, которое с высшим чином сопряжено, нежели каковой он по сие время имел. Отец мой сказал, что вспомнил, как граф Остерман в 1723 году, работая над новым положением о флоте, намекал, что он охотно желал бы быть великим адмиралом». – «Да кто же будет великим канцлером?» – вопросил Миних-сын и, видя, что отец молчал, предложил сделать канцлером князя Черкасского, а вице-канцлером графа Михаила Головкина, «дабы знатнейшие достоинства оставались в руках более у природных россиян».[239] Если это было именно так, как описывает Эрнст Миних, то он, хотя и невольно, подложил своему отцу большую свинью: распределение постов оказалось явно неудачным и невыигрышным для фельдмаршала. Почему Миних согласился с советами ничего не смыслившего в государственных делах сына и бесцветного Менгдена? Ведь фельдмаршал всегда мечтал получить высший воинский чин генералиссимуса. Еще при Бироне, в Кабинете, во время допроса по делу Антона Ульриха его адъютанта Граматина, зашла речь о том, что принц хотел стать генералиссимусом, и это возмутило присутствовавшего на допросе Миниха. Он «просил, чтоб не сделать ему обиды, понеже-де он к тому чину заслуги имеет, такожде и кроме Кабинета говорил, что должно ему быть генералиссимусом и к тому дальнее намерение имел». Так было записано в Экстракте о Минихе со слов Бирона и Бестужева,[240] и этому утверждению можно верить. Но тогда, в момент дележки мест, видно, гордыня затмила ему очи и вожделенного высшего воинского чина ему показалось мало – он видел себя правителем всех, а не только воинских, дел империи, метил на место регента. Но так как регентом уже стать было невозможно, то Миних выбрал себе известный во многих европейских странах пост главы ответственного перед монархом правительства – премьер-министра. Значение такого поста, например, в Англии было и

тогда чрезвычайно высоко. Но Россия такого института не знала в силу природы самодержавной власти, в России никогда не было ответственного правительства, наделенного определенным кругом делегируемых ему полномочий. Существовавший при Анне Иоанновне Кабинет министров был просто советом двух-трех сановников и не представлял собой правительственной корпорации, составленной из руководителей основных ведомств.

Миних, придумав под себя диковинный для России пост «первого министра в наших консилиях», тем самым невольно попал в бюрократическую западню, им самим расставленную. Как регент (читай – временный самодержец) он управлять империей не мог, как и не мог быть западноевропейским премьер-министром. В итоге он сделался руководителем существовавшего тогда Кабинета министров с полномочиями председательствовать на заседаниях и докладывать дела правительнице. Одновременно он оказался в рамках существовавшей тогда системы субординации, распределения государственных дел и ведения служебного делопроизводства: в сфере военных дел, которые он оставил при себе, пребывая на должности президента Военной коллегии, фельдмаршал был теперь обязан подчиняться генералиссимусу, что впоследствии стало причиной конфликта, приведшего Миниха к катастрофе. Это противоречие было заложено уже в указе 11 ноября, объявленном правительницей: «…И как он уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимусе первым в империи быть». Ставя себя на самую высокую ступень в гражданской иерархии, Миних оказывался все равно ниже правительницы, точно так же как в военной субординации – ниже ее супруга. Как писал Манштейн, «первые жалобы принца против Миниха были вызваны по поводу его письменных сношений с ним, так как в России существует известная форма, которую подчиненные обязаны употреблять во всех служебных письменных обращениях к своим начальникам: фельдмаршал вовсе ее не соблюдал и во всех сношениях с генералиссимусом придерживался формы обыкновенных писем. Он не сообщал ему (принцу. – *Е. А.)* ни одного важного дела».[241] Отношения между ними не могли быть хорошими уже потому, что работать вместе с Минихом и не подвергаться оскорблениям было невозможно: скандалы сопровождали всю карьеру фельдмаршала. Известно, что во время Русско-турецкой войны Миних так оскорбительно обращался с заслуженными генералами, что в штабе едва не начался бунт против главнокомандующего. Бесцеремонность, унижение достоинства других людей, безмерная спесь и бестактность – черты характера Миниха, которые не исчезли у него и после 9 ноября. Он всегда

находил возможность оскорбить или унизить человека. Сочинив указ о пожаловании принца в генералиссимусы, он вставил в него оскорбительное для Антона Ульриха «обоснование» своего великодушного отказа от высшего воинского чина: «И хотя генерал-фельдмаршал и в коллегии Военной президент к пожалованию б сего знатного чина надежду иметь мог, токмо во всенижайшем к вышеупомянутому Его высочеству почтении от сего высочайшего чина отрекается». Это называется «оскорбить почтением». Постепенно стало ясно, что отец царя недоволен своим положением по существу – при Минихе, державшем военное управление в своих руках, звание генералиссимуса было лишь почетным титулом, без реальной власти.[242] Словом, Миних создал себе врага.

Второго врага он «взрастил» в Кабинете, ибо недальновидно поступил с вице-канцлером Остерманом. Для начала он больно ударил этого честолюбца по носу – ведь чин канцлера был для Остермана таким же желанным, как для Миниха чин генералиссимуса. Но Остерман его не получил. Пожалование же больному, обезножевшему и совершенно сухопутному человеку чина генерал-адмирала, а значит, и руководителя сложнейшего и страшно запущенного хозяйства флота и Адмиралтейства, было сущей насмешкой. Новое назначение преследовало цель вообще отстранить Остермана от внешней политики, передав ее князю Черкасскому, человеку бесцветному и послушному, а фактически – самому Миниху.

К тому же после свершенного ночью 9 ноября похода Миних серьезно заболел: либо простудился, пока на осеннем петербургском ветру ждал результатов «экспедиции» Манштейна, либо сказалось страшное нервное напряжение – неизбежный спутник ночных приключений немолодых людей.[243] Болел он серьезно и даже думал, что умрет, – в начале декабря фельдмаршал исповедался. Окончательно поправился он лишь в двадцатых числах декабря 1740 года.[244] Пока он болел, вся система управления работала по старым принципам. А когда Миних выздоровел, то оказалось, что сложился устойчивый кружок его недоброжелателей, которые начали согласованно действовать против него. Душой нового придворного заговора был Остерман, который стал часто встречаться с правительницей и с принцем Антоном Ульрихом и старался наладить хорошие отношения с Анной Леопольдовной. Причем это не были официальные визиты вежливости, когда генерал-адмирала приносили на носилках. Встречи продолжались по нескольку часов. Остерман нашел у правительницы понимание, когда речь зашла о ее отце, герцоге Мекленбургском. 29 ноября 1740 года

английский посланник Э. Финч сообщал в Лондон, что во время очередной встречи по русско-английским делам Остерман вдруг заговорил о герцоге Карле Леопольде. Он сказал: «Вы знаете, что герцог – отец Ее высочества великой княгини, и поймете, насколько ей, как дочери, естественно входить в интересы своего родителя. Судьба этого герцога, человека преклонных лет, вынужденного немногие оставшиеся годы жизни проводить вдали от собственных владений и притом в крайне стесненных обстоятельствах, конечно, вызывает сострадание…» И далее: «Остерман полагает, что найдется возможность смягчить судьбу герцога, не нанося ущерба его подданным». Остерман обратился к Финчу не случайно – английский король был одновременно владетелем Ганновера, игравшего существенную роль в судьбе мятежного герцога – отца правительницы. Финч сразу признался, что дела мекленбургского герцога представляются ему «крайне щекотливыми и запутанными», но он сообщит обо всем в Лондон и будет ждать инструкций.[245]

Уже эти хлопоты Остермана не могли не растопить сердце дочери беспутного отца. Кроме того, неопытным людям, оказавшимся на самой вершине власти, было полезно посоветоваться с Остерманом и послушать его – профессионального дипломата, человека толкового и знающего, тем более что ситуация в Европе резко обострилась: после смерти австрийского императора Карла VI и прихода к власти в Пруссии Фридриха II началось многолетнее противостояние блоков держав по поводу Силезии и вообще «австрийского наследства». России предстояло определить свое место в грандиозном конфликте между Пруссией и Австрией – Пруссия только что вторглась в Силезию, началась Первая Австро-прусская война. Попутно заметим, что Остерман с середины 1720-х годов придерживался проавстрийской ориентации, тогда как Миних не скрывал своих симпатий к молодому прусскому королю.

Вскоре выяснилось, что особенно сблизился с Остерманом муж правительницы. Как остроумно заметил один из наблюдателей (в передаче Э. Финча), принц Антон Ульрих в беседах с Остерманом посещал как бы «политическую школу».[246] Остерман никогда не был бескорыстным человеком и, несомненно, извлекал из бесед с супругами пользу для себя или, попросту говоря, готовил низвержение Миниха и свое возвышение.

28 января 1741 года появился именной указ, по-современному говоря, «об упорядочивании и совершенствовании системы управления с целью повышения ее эффективности» («дабы входящие в наш Кабинет дела вдруг и безостановочное

течение свое имели»). Указ был направлен в конечном счете против единовластия Миниха, хотя в нем шла речь лишь о распределении дел Кабинета министров по департаментам. Миниху, как первому министру, был поручен военный департамент, все дела, относящиеся к армии, причем он обязывался обо всем рапортовать принцу Антону Ульриху. Остерман, кроме навязанного ему Адмиралтейства, по-прежнему руководил внешней политикой, канцлер Черкасский и вице-канцлер Головкин ведали делами внутреннего управления. Начальники департаментов сообщали друг другу информацию «для соглашения», общие дела предполагалось обсуждать на заседаниях Кабинета министров.[247] В итоге от власти первого министра почти ничего не осталось. Миних почувствовал себя оскорбленным.

Он терпел только до конца зимы 1741 года. 28 февраля Финч сообщал в Лондон: «Все еще заметно какое-то брожение во внутренних делах здешнего правительства. Первый министр находит, что не пользуется такой широтой власти, на которую рассчитывал, а потому намекнул (великой княгине. – *Е. А.)* о своем желании сложить с себя настоящую должность. Великая княгиня отвечала, что не вполне понимает, что он хочет сказать и на что он жалуется, так как властные полномочия генералиссимуса определены и установлены еще Петром Первым; при распределении… дел (имеется в виду рассмотренный выше указ 28 января 1741 года. – *Е. А.)*… имелось в виду только наилучшее отправление дел».[248] Неизвестно, был ли еще разговор у правительницы с Минихом, но 3 марта неожиданно появился указ Анны Леопольдовны своему мужу-генералиссимусу об отставке первого министра по его просьбе («он сам нас просит за старостию и что в болезнях находится и за долговременные нам, и предкам нашим, и государству нашему верные и знатные службы его»).[249] Правительница боялась своего первого министра и даже свою волю объявила ему через Левенвольде (по другой версии, через сына фельдмаршала Эрнста) и несколько ночей, пока Миних не перебрался в свой дом на Васильевском острове, меняла спальни – не хотела, чтобы с ней поступили так же, как со спящим Бироном.

«Это известие как громом поразило его, – пишет Манштейн о том, как воспринял отставку Миних, – однако он опомнился после нескольких минут размышления, принял довольный вид, благодарил великую княгиню за оказанную милость и удалился несколько дней спустя в свой дворец на противоположный берег Невы… его отблагодарили <отставкой> за его службу, как раз в то время, когда он воображал, что могущество его утверждается

более чем когда-либо».[250] Нужно согласиться с мнением мемуариста. Миних был уверен, что его никогда не отправят в отставку, считая себя «столпом империи», – именно так он называл себя в своих записках. Несомненно, Миних пал жертвой своей амбициозности – он всерьез считал, что незаменим, что без него не обойдутся и еще станут просить остаться. Шетарди точно написал о Минихе, что он «поддерживает свое влияние самоуверенностью, которая его никогда не покидает», хотя за ней ничего не стоит. Предшественники Анны Леопольдовны на троне по крайней мере дважды попадались на удочку капризного фельдмаршала, удовлетворяли его требования и просили забрать просьбы об отставке. А тут и бумаги никакой не потребовалось – желание фельдмаршала уйти на покой, высказанное в беседе с Анной Леопольдовной, приняли за прошение об отставке! Фельдмаршалу определили огромное денежное пособие в 100 тысяч рублей,[251] а также приличествующую его рангу пенсию и караул возле дома, который отставной, но полный сил и замыслов деятель считал почему-то – в отличие от всех остальных – почетным. По крайней мере, так он написал о приставленном к нему карауле в мемуарах, хотя на самом деле его посадили под домашний арест.

Что лежало в основе решения правительницы об увольнении Миниха, точно сказать невозможно. Может быть, интриги Остермана и примкнувшего к нему Левенвольде, уговоры мужа, требовавшего, чтобы Анна проявила твердость. Известно, что на упреки Елизаветы Петровны в неблагодарности Миниху правительница отвечала, что на нее сильно надавили муж и Остерман.[252] Может быть, сработал принцип «Мавр сделал свое дело…». Миних был неприятен правительнице как человек, совершивший хотя и необходимый для нее, но низкий поступок. Кажется уместной и приводимая по этому случаю секретарем саксонского посольства Пецольдом латинская пословица «Proditionem amo, proditorem odi» («Люблю предательство, ненавижу предателя»). Ко всему прочему Миних обходился с принцессой довольно бесцеремонно. Чего стоит хотя бы история о том, как он в январе 1741 года привез во дворец нового австрийского посланника маркиза Ботта и «прямо вошел к великой княгине, которая была неодета, и доложил ей, что Ботта ожидает в приемной».[253] Возможно, что ускорило отставку подозрение, которое возникло у правительницы после визита Миниха к цесаревне Елизавете в конце февраля. Как показал на следствии 1742 года Левенвольде, знавший это от самой Анны Леопольдовны, «она на фельдмаршала Миниха по причине того, что будто он к (цесаревне) приходил, суспицию (подозрение. – *Е.*

А.) имела. Потом оный фельдмаршал из службы уволен».[254]

Манштейн и, вслед за ним, историк С. М. Соловьев считали, что падению Миниха способствовал донос бывшего регента Бирона из Шлиссельбурга. Действительно, тот написал из заключения, что «никогда не принял бы регентства, если бы граф Миних не склонял бы его к этому столь убедительно, что хотел даже броситься перед ним на колени». Поэтому Бирон, поминая свою печальную историю, советовал правительнице остерегаться Миниха, ставшего из «верного сына отечества» «самым опасным человеком в империи».[255] По-видимому, Манштейн не очень исказил истину. Сохранились не известные ему показания Бирона, кратко изложенные в начале 1742 года елизаветинскими следователями. В этом тексте есть знакомая нам по запискам Манштейна фраза: «Ни во веки б он, Бирон, правительства не принял, ежели б по представлению онаго фельдмаршала Миниха и непрестанному его прошению и предложению то не сделано».[256] Вышесказанное находит подтверждение в донесении Э. Финча от 3 марта 1741 года: «Герцог Курляндский тоже писал великой княгине письмо, в котором желает ей всякого счастья и благополучия в делах правления и прибавляет, что – несмотря на уверенность в невозможности изменить в чем-либо собственную судьбу… несмотря на убеждение, что его советы не могут иметь значения для ее высочества, он не может не умолять ее, ради ее собственного блага, не слишком доверяться фельдмаршалу. Простая предосторожность и пример самого герцога должны служить предупреждением. Герцог уверяет, что, сделай он графа Миниха генералиссимусом, он оставался бы регентом поныне».[257]

Весной 1741 года прояснилась судьба и самого Бирона. Она не оказалась счастливой. После того как бывший регент был доставлен в Шлиссельбург, он тяжело переживал происшедшее, вспоминая страшное пробуждение, и, естественно, не мог спать по ночам. Почти две недели никакого расследования не велось. Разве что у самого Бирона и членов его семьи «расследовали» ларцы, кошельки и карманы, отобрали все деньги, золото и драгоценности. И хотя все это было тщательно переписано, не прошло и полугода, как фантастические богатства бывшего регента куда-то растворились, как некогда «растворились» богатства опального светлейшего князя Меншикова. Потом, 23 ноября 1740 года, в Шлиссельбурге состоялась «выездная сессия» Тайной канцелярии. Ее возглавляли непотопляемый А. И. Ушаков и сенатор, генерал-лейтенант М. И. Леонтьев. Они допросили Бирона по данным им вопросным пунктам. Вопросы касались «нерадения его о дражайшем здравии» покойной государыни,

происков против родителей царя, а главное – «затейки» с присвоением регентства в октябре 1740 года. 29 декабря Ушаков докладывал о следствии на заседании Кабинета министров в присутствии Анны Леопольдовны, после чего правительница постановила, во-первых, «с сего времени называть его Бирингом» (возможно, такой была первоначально фамилия экс-регента, позже облагороженная на французский манер); и во-вторых, сослать его с семьей «в Сибирь, на Пелынь». В Петербурге в географии Сибири разбирались плохо и часто путали или искажали сибирские топонимы. Да и какая разница: Пелынь, Пелым, Белымь, главное – в Сибирь! С глаз долой! А администрация в сибирской столице – Тобольске уж сама разберется, куда направить узника.

Миниху – тогда еще первому министру – поручалось отправить в Пелым специального офицера, которому «близ того города Пелыни сделать по данному здесь рисунку нарочно хоромы, а вокруг оных огородить острогом высокими и крепкими полисады из брусьев, которые проиглить как водится (то есть вставить сверху острые гвозди. – *Е. А.)*». Задолго до этого сам фельдмаршал Миних, считавший себя великим инженером, набросал эскиз уютного домика для своего поверженного врага и даже послал специального комиссара в Пелым для наблюдения за сибирской новостройкой. Правда, в Сибири Бирон пробыл недолго – вскоре новая императрица Елизавета Петровна приказала перевести его с семьей в Ярославль. А в пелымский дом в 1742 году въехал другой новосел – сам Миних, который и прожил там двадцать лет. Пока же в Сибирь с чертежиком дома отправился подпоручик барон Шкот и уже к 6 марта 1741 года в ударный срок возвел хоромы и ров вокруг выкопал, только «еще полисад не поставлен».[258]

А в это время в Петербурге вновь занялись делом Бирона. 23 февраля в Шлиссельбург прибыла комиссия из восьми следователей во главе с генералом Григорием Чернышевым, которая допросила бывшего регента по «допросным пунктам» обвинения с характерным названием: «Явные погрешения бывшего регента Курляндского и в чем его допрашивать надлежит». Здесь содержался «полный букет» обвинений, начиная с упреков в нехождении в церковь и кончая уличением в преступных связях с представителями иностранных держав. Ответы заключенного, естественно, не удовлетворили следственную комиссию, приехавшую на остров у истоков Невы совсем не для того, чтобы выяснить правду. Впрочем, в составе комиссии был человек, который хотел обнаружить правду. Это был кабинетный секретарь Андрей Яковлев, попавший ранее в

Тайную канцелярию и пытанный за слова о подложности подписи императрицы Анны Иоанновны. Как писал о нем Финч, «это несомненно человек партии: решительный, предприимчивый, заявляющий прямо, что раз рисковал головою, то рискнет ею и другой раз, лишь бы узнать, кто в конце прошлого царствования присоветовал собрать подписи городов, приглашавших герцога Курляндского принять регентство… (и) когда, по чьему совету царица подписала документ, в силу которого герцог был признан регентом, так как Бестужев несомненно заявил, что подпись подложна и сделана не по его совету».[259] Угроза разоблачения аферы Бирона была вполне серьезна, да только у Яковлева руки оказались коротки – никто не был заинтересован в том, чтобы доподлинно узнать, подложна подпись императрицы Анны Иоанновны или нет.

При этом нужно отдать должное бывшему регенту – оборонялся он искусно. Так, когда его обвиняли «в небрежении здравия» покойной императрицы Анны Иоанновны, которая якобы, несмотря на подагру, хирагру и почечнокаменную болезнь, была вынуждена много времени проводить вместе с Бироном в конном манеже, то он ссылался на квалифицированное мнение докторов, не предрекавших государыне столь скорого конца и не возражавших против ее поездок верхом. Ибо на суровый вопрос временщика, «отчего в урине Ея императорского величества кровь показывается, ответствовали помянутые докторы, что-де происходит от малейших жил, которые напружились… и от того не изволила иметь никакого опасения и пользовалась бы только красным порошком доктора Шталя».

Мало того, Бирон рассказывал, как он сам ежечасно самоотверженно боролся за здоровье государыни, и, как-то увидав, что императрица «лекарство с великой противностью принимает, а часто и вовсе принимать не изволит», припадал к ногам Ее императорского величества, «слезно и неусыпно просил, чтобы теми определенными от докторов лекарствами изволили пользоваться. А больше всего принужден был Ея величеству в том докучать, чтоб она клистер себе ставить допустила… к чему напоследок и склонил».[260]

Еще в вину герцогу ставилось то, что он «в церковь Божию не ходил», все дела «по своей воле и страстям отправлял», был невежлив с придворными и знатью и так на них «крикивал и так предерзостно бранивался, что и Ея величество сама от того часто ретироваться изволила». Серьезнее было прежнее обвинение в том, что он утеснял и оскорблял родителей императора, угрожал им высылкой за границу, «оставя свою природную совесть, домогался регентства», да и «к российским честным людям и ко

всей нации был весьма зол». Чтобы сделать обвинения как можно весомей, следователи туманно намекнули на государственную измену: Бирон якобы заключал «тайные секретнейшие договоры и обязательства… к повреждению государственных здешних интересов с чужими державами».

Во многом обвинения конца февраля повторяли ноябрьские, но новый импульс следствию дали показания А. П. Бестужева-Рюмина. Он был «подготовлен» суровым сидением в крепости и угрозами Миниха, о чем шла речь выше. Бестужева заранее, еще в начале декабря 1740 года, перевезли из Ивангорода сначала в Копорье, где он сидел с семьей, а потом в Петропавловскую крепость, и генерал Ушаков с 13 декабря начал его допрашивать, добиваясь самооговора и подтверждения обвинений против бывшего регента. Бестужев, замученный тюрьмой, напуганный угрозами, признался во всем, что от него требовали. Но очная ставка Бестужева с Бироном была проведена в марте или апреле 1741 года, когда Миних уже слетел с вершины власти, жил под домашним арестом и вмешиваться в следствие не мог. В итоге попытка уличить бывшего регента в преступлениях с помощью показаний Бестужева закончилась для следствия полным провалом. Мало того что Бирон отрицал возведенные на него обвинения, сам Бестужев отказался от всех обвинений в адрес бывшего регента, объясняя свои прежние показания (на которых и строилась очная ставка – «Пункты в обличение Бирона») как вынужденные угрозой пытки и смерти.[261]

Возможно, его воодушевила изменить показания реакция верхов на жесткое с ним обращение. 3 марта 1741 года Финч писал по этому поводу: «Русские люди не могут примириться с мыслью, что его выделили из толпы лиц, участвовавших в установлении регентства герцога Курляндского, и возложили на него ответственность за дело, которое – как говорят – он задумал не один, которого и один осуществить не мог, точно так же как один не мог бы ему противиться. И его, как прочих русских вельмож и сановников, причастных к делу, несло потоком власти герцога, сильного советом и поддержкой лица, готового теперь взвалить на Бестужева всю ответственность за дела, в которых оно само принимало самое деятельное участие».[262] Намек на Остермана, ушедшего от обвинений, здесь более чем прозрачный.

Кроме того, оказалось, что Бирон – человек не робкого десятка, многие его ответы были обстоятельны и хорошо аргументированы. Он отвергал самые серьезные обвинения, требовал бумагу и перо, сам писал объяснения. Но даже трогательный рассказ фаворита о клистире для государыни не убедил суровых судей. 8 апреля они пришли к единодушному

решению, записанному в «Сентенцию о казни смертию четвертованием Бирона и конфискации имущества».[263] 14 апреля, на основании заключения следователей, император Иван Антонович вынес приговор: Бирона и его братьев приговорить к «отписанию всего их движимого и недвижимого имения на Нас, в вечном заключении содержать, дабы тяжкое оное гонение и наглые обиды, которые верные наши подданные от него претерпели… без всякого взыскания не остались». Бирон удостоился чести быть сравненным в приговоре с Борисом Годуновым, которого тогда рассматривали как убийцу царевича Дмитрия («лесным коварством убити повелел») и узурпатора, возможно, отправившего на тот свет и царя Федора. Вот и Бирон, «будучи надмен гордостию и ненасытством властолюбия», поступал «так же, как и вышеупомянутый Годунов». Всем известно, говорилось в манифесте, «в каком мизерном состоянии оной Бирон с своею фамилиею и братьями прибыл и потом, будучи в России… какое неисчислимое богатство и великие, не по достоинству своему, чины получил», да к тому же «многих знатных духовных и светских чинов… не весьма за важные вины, а иных и безвинно кровь пролил, а других в отдаленных местах в заточениях гладом и жаждою и несносными человеческому естеству утеснениями даже до смерти умуча, и домы и фамилии их до основания разорил». Наконец, согласно манифесту, преступник пытался стать самовластным государем и «у нас дарованную нам от всемогущего Бога императорскую самодержавную власть вовсе отнять и наших вселюбезнейших государей родителей… от правления исключить и все то себе единому присвоить». Подготовившая приговор комиссия Чернышева изложила преступные деяния бывшего регента в 27 пунктах. Бирону припомнили все его прегрешения, начиная со злого умысла нанести ущерб здоровью Анны Иоанновны (пункт 2), обманным путем захватить власть (большая часть пунктов) и кончая покровительством братьям своим, разорявшим Россию (пункт 27).[264] В общем, за все эти преступления (как доказанные, так и недоказанные) решено было Бирона со всем его семейством, включая зятя Бисмарка, сослать в Сибирь навечно. Быстро нашли замену Бирону и в Курляндии. На его трон был предназначен младший брат Антона Ульриха, Людвиг Эрнст, который приехал в Петербург в конце июня 1741 года и вскоре был избран курляндским дворянством в герцоги Курляндии и Семигалии. Но польский король Август III, сюзерен курляндского герцога, этот выбор не утвердил, а власть правительницы к этому времени внезапно закончилась, и Людвиг Эрнст так и не стал герцогом. Может быть, и к лучшему для него…

Глава шестая
Правительница, чуть было не ставшая императрицей

Итак, после низвержения Бирона и отставки Миниха власть оказалась в руках правительницы. Теперь пора нам приглядеться к ней повнимательнее. Анна Леопольдовна казалась женщиной симпатичной – была хорошо сложена, статна, стройна, хотя рассмотреть это было довольно затруднительно, так как почти все время с 1740 по 1745 год она была беременна, родив одного за другим пятерых детей. Миних-сын писал, что Анна «волосы имела темного цвета, а лиценачертание хотя и не регулярно пригожее (то есть не отвечающее принятым тогда канонам женской красоты. – *Е. А.),* однако приятное и благородное».

«В одежде была она великолепна и с хорошим вкусом», – утверждал Э. Миних. Однако, несмотря на это утверждение, очевидно, что как раз вкуса Анне Леопольдовне явно не хватало. «В уборке волос никогда моде не следовала, – продолжал Миних, – но собственному изобретению, от чего большей частью убиралась не к лицу».[265] Между тем прическа в туалете женщины того времени имела исключительно важное значение, даже большее, чем теперь. Без дорогого и – что существенно – изобретательного куафера не обходилась ни одна дама света. Париж уже давно диктовал свою волю всем модницам и в прическах, и в одежде, и в аксессуарах. Одеваться по парижской моде было принятой при всех европейских дворах нормой, нарушать которую было просто невозможно. Величайшим искусством было достижение гармонии прически, украшений, платья с фижмами и манер. Правительница этим искусством не обладала и тем самым роняла свой престиж в глазах окружающих. Она не просто изобретала свою моду, а шла против нее. Миних-отец пишет то, что подтверждается другими источниками и даже портретами правительницы: «Она была от природы неряшлива, повязывала голову белым платком, не носила фижм и в таком виде являлась к обедне, в публике (дело немыслимое! – *Е. А.),* за обедом и после него, когда играла в карты с избранными партнерами».[266] Почти так же пишет о принцессе Манштейн: «Одетая в одной юбке и шушуне, с ночным убором на голове, сделанным из платка». Шетарди сообщает, что на торжественных приемах правительница носит костюм с чем-то вроде султана *(un corps avec une espe'ce de sultane)*.[267] Этот

странный головной убор присутствует на самом известном ее портрете, дошедшем до нас. Неудивительно, что ей так понравился какой-то особенно красивый домашний костюм из Милана, который она увидела у жены младшего Миниха и с удовольствием приняла в подарок.[268] Из описаний гардероба правительницы видно, что в нем не было бальных платьев, имелось одно «кавалерское платье Святого Апостола Андрея», а большей частью упоминаются разного рода халаты и домашние платья – «шлафоры и полушлафоры с юбочками», «самары» и среди этого большинство – неярких, скромных тонов: черное, коричневое, темно-зеленое, «по синей земле с разными травами».[269] Из нарядных платьев правительницы всем запомнилось маскарадное платье к публичному маскараду (пожалуй, единственному в ее правление) 20 октября 1741 года. Это был «грузинский костюм», обложенный собольим мехом и подбитый белой тафтой, с пунцовой юбкой и грузинским головным убором. Как известно, женский грузинский наряд не отличается ни пестротой, ни вызывающей расцветкой.[270]

Скажем прямо: принцесса Анна никогда не производила на окружающих выгодного впечатления. «Она не обладает ни красотой, ни грацией, – писала жена английского резидента леди Рондо в 1735 году, – а ее ум еще не проявил никаких блестящих качеств. Она очень серьезна, немногословна и никогда не смеется; мне это представляется весьма неестественным в такой молодой девушке, и я думаю, за ее серьезностью скорее кроется глупость, нежели рассудительность».[271]

Иначе писал об Анне Леопольдовне ее придворный Эрнст Миних. По его словам, правительницу считали холодной, надменной и якобы всех презирающей. На самом же деле ее душа была «нежной и сострадательной, великодушной и незлобивой, а холодность была лишь защитой от грубейшего ласкательства», так распространенного при дворе ее тетки. Правда, Миних писал свои мемуары много лет спустя после смерти Анны Леопольдовны, а леди Рондо – во время описываемых событий. Впрочем, одно другому не противоречит – некоторая нелюдимость, угрюмость и неприветливость принцессы бросались в глаза всем, а доброта и глупость могут легко совмещаться в одном человеке. Поводимому, девочка росла скованной и застенчивой, и это проявлялось в ее холодности и нелюдимости. Леди Рондо писала в 1733 году, что дочь герцогини Мекленбургской – «дитя, она не очень хороша собой и от природы так застенчива, что еще нельзя судить, какова станет»[272] Примечательно, что позже, в 1740 году, французский посланник в России маркиз де ла Шетарди передавал рассказ о том, как

герцогиня Екатерина, мать Анны, была «вынуждена прибегать к строгости против своей дочери, когда та была ребенком, чтобы победить в ней диковатость и заставить являться в обществе». Очевидно, что строгость, применяемая к застенчивому ребенку, могла в данной ситуации только навредить.

Манштейн писал, что у Анны Леопольдовны «был всегда грустный и унылый вид, что могло быть следствием… огорчений со стороны герцога Курляндского во время царствования императрицы Анны».[273] В подобном утверждении есть резон – действительно, как мы знаем, при Анне Иоанновне ее держали в черном теле, а Бирон видел в девице свою соперницу.

Столь невыигрышные манеры этой молодой, 22-летней женщины, пренебрегающей азбукой этикета и публичного поведения, делали ее в глазах многих людей света «дикой», недостаточно цивилизованной по понятиям того века. Думаю, что в этом она походила на свою мать, названную в Мекленбурге «дикой герцогиней». Все эти явные недостатки Анны Леопольдовны объяснимы не только отсутствием у нее врожденного вкуса, умения одеваться и владеть собой, но всем предыдущим воспитанием, данным матерью – «Катюшкой-свет» (вспомним описанные голштинцем Берхгольцем быт и развлечения царского дворца в Измайлове), а также и пребыванием при дворе Анны Иоанновны, также не отличавшемся европейской изысканностью, – чего стоят знаменитые шуты и иные весьма вульгарные развлечения этой государыни! Известно, что прибывший в Петербург в 1739 году французский посланник маркиз де ла Шетарди, требовавший соблюдения европейского церемониала при вручении верительных грамот, был вынужден объяснять обер-гофмаршалу Р. Г. Левенвольде некоторые простейшие принципы церемониала, принятые во Франции и других странах. Нужно иметь также в виду, что изначально воспитание Анны Леопольдовны не предполагало готовить из нее наследницу престола. Ей, как и ее будущему мужу, отводилась лишь роль производителей будущего наследника.

Пожалуй, в этом и заключалась драма жизни самой Анны. Она взялась играть не свою роль. По характеру, темпераменту, воспитанию и целям в жизни она совершенно не годилась для сложного «ремесла королей» – управления государством, страной, народом. Ее никогда к этому не готовили, да никто об этом и не заботился, кроме всесильного случая. У Анны Леопольдовны отсутствовало многое, что позволило бы ей если не править страной, то хотя бы царствовать – играть роль властительницы или пребывать в заблуждении, будто она властвует, и порой получать от этого удовольствие. Как писал Манштейн, «она не

имела ни одного качества, необходимого для управления столь большой империей в смутное время». Другие мемуаристы и дипломаты подтверждают это, отмечая, что у Анны Леопольдовны не было ни трудолюбия, ни честолюбия, ни тщеславия, ни энергии, ни воли, ни способности понравиться подданным, как это умела Елизавета Петровна, или, наоборот, привести их в трепет грозным видом, как это успешно делала ее тетушка императрица Анна Иоанновна. Как известно, эта государыня вела себя подобно многим российским правителям с древнейших времен до наших дней: с иностранными государями, точнее – с их посланниками – излучая дружелюбие, любезность до приторности, а со своими людьми – сурово, даже зло, насупя брови, будто собственный народ в чем-то все время виноват перед правителем. Но даже нахмурить брови, как тетушка-покойница, Анна Леопольдовна не умела. Э. Миних писал о ней, что «к домашним служителям своим была она снисходительна и благотворила им». А это, как известно, огромный недостаток – служители, по общему мнению, были поголовно лентяями и плутами, и их нужно было «поощрять» исключительно оплеухами, окриками и поркой в конюшне.

Если верить Манштейну, то правительница «была капризна, вспыльчива, не любила труда, была нерешительна в мелочах, как и в самых важных делах; она очень походила характером на своего отца, герцога Карла Леопольда Мекленбургского, с тою только разницей, что она не была расположена к жестокости. В год своего регентства она правила с большой кротостью. Она любила делать добро, не умея делать его кстати».[274] Если отбросить последнюю красивую, но мало о чем говорящую фразу, то автор кое в чем прав: кротость и гуманность принцессы очевидны. Бесспорно, что общий стиль ее правления был более милостивым, чем царствование императрицы Анны Иоанновны. При ней никого не казнили, а суровые приговоры Бирону и его сообщникам она смягчила. По указам правительницы Тайная канцелярия представила списки сосланных в ссылку за 1730-е годы и многих освободила и отпустила на жительство в свои деревни. Так, под амнистию попали опальные княжеские семьи Долгоруких и Голицыных, из сибирского монастыря была освобождена Анна Волынская – невинная жертва дела Волынского, его малолетняя дочь. По указу правительницы из Березова выехала с двумя сыновьями вдова казненного в Великом Новгороде Ивана Долгорукого Наталья Долгорукая – автор трогательных и безыскусных «Собственноручных записок». Вернулись из небытия и другие узники государева гнева. Резко уменьшилось количество следственных дел в самой Тайной

канцелярии. Эти сведения позволяют верить Эрнсту Миниху, который пишет, что правительница со слезами на глазах смотрела, как Бирона и его семью повлекли в заточение в Шлиссельбург, и при этом сказала, что «она совсем иное ему готовила, если бы он сам не понудил ее иначе с собою поступить, присовокупя к тому, что, если бы он прежде предложил ей добровольно правление, то бы она с честью и со всеми сокровищами отпустила его в Курляндию».[275] Припомним также награды и повышения князя Черкасского и ему подобных членов «хунты», заслуживающих вовсе не наград, а кнута и плахи за свою явно антигосударственную деятельность по возведению в регенты иностранца, человека, которого все признавали «худородным», «чужим», не имевшим никакого отношения к правящей династии – кроме разве того, что он много лет спал с императрицей.

В октябре 1740 года А. П. Бестужев-Рюмин, агитируя за регентство Бирона, выступал против кандидатуры Анны Леопольдовны, стращая собеседников как приездом мекленбургского герцога, так и наследственностью его дочери-принцессы: «В ней подозревают характер мстительный и в значительной мере напоминающий капризы ее отца». Эти утверждения кабинет-министра ни на чем не основаны и в конечном счете не подтвердились: сам Бестужев, который за свои темные делишки и интриги в деле возведения Бирона в регенты «удостоился» бы при другом государе тюрьмы и плахи, пострадал при правительнице незначительно – его лишь приговорили к ссылке в деревню в 500 душ, которую ему летом 1741 года пожаловала (в качестве места ссылки!) правительница. Там он мог «пользоваться полной свободой» – согласно одной из форм русской свободы: «Жить ему в деревне свободно, без выезда». Впрочем, заниматься севооборотом и покосами бывшему кабинет-министру пришлось недолго. Уже 17 октября 1741 года он вернулся в Петербург. По мнению наблюдателей, это было дело рук вице-канцлера М. Г. Головкина, который хотел использовать опального вельможу в борьбе с Остерманом. Вступившая вскоре на престол Елизавета Петровна назначила Бестужева вице-канцлером, а потом, после смерти князя Черкасского, он занял пост великого канцлера России.

Бестужев предсказывал также, что Россия при Анне Леопольдовне не сможет вести самостоятельную внешнюю политику и непременно попадет в зависимость от одного из двух германских дворов – либо от венского (что всего вероятнее, учитывая влияние на правительницу принца Антона Ульриха), либо от прусского – заметим, что в 1740 году королем Пруссии стал энергичный Фридрих П. «Подчиняться советам означенных

дворов, – продолжал Бестужев, – дело далеко не безразличное, между тем Анна Леопольдовна не может разобраться в противоположных течениях, так как не знакома ни с внутренними, ни с внешними делами России». Финч, который доносил об этом разговоре с Бестужевым в Лондон, заключал: «По всем этим соображениям она казалась Бестужеву совершенно неспособною принять на себя трудную задачу правления и справиться с нею».[276]

Если английский посол верно передал суждения Бестужева, то отметим, что часть его предсказаний (относительно деловых качеств и неопытности правительницы) сбылась, а часть так и осталась на бумаге, идет ли речь о «мекленбургском следе» или о влиянии принца Антона Ульриха на политику Анны Леопольдовны. Что касается расхожего утверждения о сходстве характера правительницы и ее отца, герцога Карла Леопольда, то возможно, что слухи об этом шли от самой принцессы. Бирон признался, как слышал от покойной императрицы Анны Иоанновны, что Анна Леопольдовна тетушке «изволила говорить: „Как-де мне каприжесной или упрямой не быть, ибо мои родители оба каприжесны“». Похоже, что Бирон это явно не придумал, так как он добавил: «…а те разговоры имел я не с какими другими людьми, но только с такими, о которых я уповал, что они то произносить не будут, и то говорил я не многократно, но разве несколько раз и не из какого злого намерения, а кому я то говорил, того упамятовать не могу».[277] Но и сама Анна Леопольдовна, и мемуаристы знали о характере герцога Мекленбургского только по слухам – ни Манштейн, ни другие авторы записок о том времени никогда не видели легендарного герцога, жившего тогда в австрийских пределах. И лишь немногие держались другого мнения относительно характера принцессы.

Так, Эрнст Миних, бывший рядом с Анной Леопольдовной все ее правление, писал, что у нее было «благородное и к милосердию склонное… сердце», что совершенно бесспорно. Далее он рисует образ почти идеальной правительницы на манер милосердного римского императора Тита: «Поступки ее были откровенны и чистосердечны, и ничто для нее не было несноснее, как столь необходимое при дворе притворство и принуждение, почему и произошло, что люди, привыкшие в прошлое правление к грубейшим ласкательствам, несправедливо почитали ее надменной и якобы всех презирающей. Под видом внешней холодности была она внутренне снисходительна и чистосердечна».

Эта характеристика весьма достоверна с точки зрения психологии. Отвращение к придворному холуйству – исконная

черта многих умных, честных и принципиальных людей. Позже отрицательное отношение к миру двора именно из-за его фальшивости, формализма, царившего там низкого угодничества стало своеобразной нормой в обществе, привело к перемещению центра общественной жизни и даже развлечений на другие площадки – в великосветские салоны, дворцы великих князей и княгинь. Маска же холодности позволяла людям искренним и ранимым избежать отвратительных проявлений придворного холуйства и лицемерной лести. Впоследствии прятаться за этой маской тоже стало модой, хотя отличить ранимость и черствость было почти невозможно (вспомним, например, о дендизме).

Психологически убедительны другие оценки Э. Миниха: «Принужденная жизнь, которую она вела от 12 лет своего возраста вплоть до кончины императрицы Анны Иоанновны (поскольку тогда кроме торжественных дней никто посторонний входить к ней не смел и за всеми ее поступками строго присматривали), породила в ней такой вкус к уединению, что она всегда с неудовольствием наряжалась, когда во время регентства надлежало ей принимать и являться в публике. Приятнейшие часы для нее были те, которые она в уединении и в избраннейшей малочисленной беседе проводила, и тут бывала она сколько вольна в обхождении, столько и весела в обращении».

Что стояло за этим? Диковатая, стеснительная девочка, предназначенная волею царственной тетки быть матерью будущего наследника престола, она оказалась лишенной общения со сверстниками и вообще с людьми, не относившимися к придворным и слугам. Каждый шаг юной принцессы был под надзором приставленных к ней воспитателей. Все это способствовало тому, что и так несмелая, наверняка считавшая себя некрасивой и уж точно мечтательная, она окончательно замкнулась в себе, ушла от внешнего мира, который всегда был ей чем-то страшен. Этот страх сохранился в ней и позже, когда нужно было выходить перед всем двором и гостями в роскошном наряде, совершать некие публичные действия под взглядами толпы, зная, что среди этой толпы на нее смотрит так мало доброжелательных и независтливых глаз. Поэтому только семья, небольшое общество приятелей позволяли ей раскрыться, чувствовать себя естественно и непринужденно. По-видимому, такой же психологический тип был у последней российской императрицы Александры Федоровны, тоже печально закончившей свою жизнь.

О романтизме, мечтательности принцессы свидетельствует и следующий отрывок из воспоминаний видевшего Анну Леопольдовну каждый день Эрнста Миниха: «До чтения книг была

она великая охотница, много читала на обоих упомянутых языках (немецком и французском. – *Е. А.)* и отменный вкус имела к драматическому стихотворству. Она мне часто говорила, что нет для нее ничего приятнее, чем те места, где описывается несчастная и пленная принцесса, говорящая с благородной гордостью». Книги «драматического стихотворства», которые к ней попадали, несомненно были произведениями Расина, Корнеля и других столпов французского классицизма, господствовавшего тогда в Европе. Написанные по строгим законам Буало и других теоретиков классицизма, эти произведения воспевали высокие, обычно жертвенные, чувства благородных, мужественных и сильных мужчин, нежных, преданных и гордых женщин. А то, что ей больше всего нравились «несчастные и пленные принцессы», кажется вполне естественным в положении Анны Леопольдовны, бывшей всю свою недолгую жизнь как бы в плену чужой воли, чуждых ее характеру условностей и обязанностей, в том числе придворных и семейных. Романтизм, возвышенность чувства и в то же время трогательная интимность видны в двух письмах Анны к ее любовнику графу Линару, причем в одном из писем она, тоскуя о возлюбленном, вспоминает слова какой-то популярной тогда песенки: «La chanson dit fort bien: je ne vois rien qui vous ressemble, et cependant de vous tout me fait souvenir» («Верно говорится в одной песне: я не вижу ничего, что о Вас напоминает, и в то же время все напоминает мне о Вас»).[278]

Словом, Анна Леопольдовна была по своей природе человеком добрым, участливым, доброжелательным – или, как тогда писали, была «милосердна и человеколюбива». И еще: ее отличала та искренность, которая в политике недопустима ни при каких обстоятельствах. Как-то раз Елизавета Петровна, вызвав правительницу на разговор об отставке Миниха, упрекнула ее в неблагодарности к фельдмаршалу. В ответ правительница рассыпалась в сожалениях и стала оправдываться тем, что она-де была против отставки фельдмаршала, но муж и Остерман настояли, не давали ей покоя. В разговоре со шведским посланником Нолькеном Елизавета об этом сказала: «Надобно иметь мало ума, чтоб высказаться так искренно, она очень дурно воспитана, не умеет жить».[279] Елизавета умела жить и вскоре сумела воспользоваться искренностью и простодушием своей племянницы.

Всему вышесказанному об Анне Леопольдовне не противоречит и другая данная Минихом оценка поведения его повелительницы: «Она умела ценить истинные достоинства и за оказанные заслуги награждала богато и доброхотно.

Великодушие ее и скромность произвели, что она вовсе не была недоверчива и много основательных требовалось доводов, пока она поверит какому-либо, впрочем, даже несомненному обвинению». Неискушенная в постижении сложной и противоречивой природы человека (в силу особенностей своей жизни и характера), она доверяла первому впечатлению («она почитала много людей с так называемым счастливым лицерасположением и судила большей частью по лицу о душевных качествах человека»), а также искренности и откровенности своего собеседника («чтобы снискать ее благоволение, нужна была больше откровенность, нежели другие совершенства»).[280] Отрывок из допроса обер-гофмаршала двора Р. Г. Левенвольде в 1742 году иллюстрирует эту оценку. Дело в том, что в конце правления Анны Леопольдовны вдруг встал вопрос о престолонаследии: по завещанию Анны Иоанновны оказалось, что в случае смерти императора Ивана наследником становится его младший брат, а о сестрах и самой правительнице в качестве наследников манифест умалчивал. Неизвестный ранее никому при дворе действительный статский советник Тимирязев – типичный прожектер, искатель наград, вдруг этим озаботился и через фрейлину Менгден попал на прием к правительнице. Та поручила ему писать проекты о наследовании и т. д. Левенвольде сообщал, что как-то раз «принцесса Анна, призвав его в большую спальню, где, сидя на постели, сказала, что был-де у ней некоторой советник, а как его зовут, того не припомнит, который ей донес, что-де в… духовной (Анны Иоанновны. – *Е. А.)* написаны для сукцессии на российский престол только одни рожденные от нее принцы, а о принцессах, також и об ней самой, в той духовной ничего не упомянуто, и *потому-де видно, что оной советник доброй и честной человек.* На что-де он, Левенвольде, ответствовал, что может-де быть, только он его не знает».[281] Если Левенвольде верно передал сказанное правительницей, то наивность и простодушие ее, действительно, очевидны. А «доброй и честной» Тимирязев, не добившись награды, от дела отстал да еще жаловался, что он рассчитывал на награду, но нет – немцы «обнесли».[282]

Впрочем, Анна Леопольдовна была достаточно умна, чтобы понять уязвимость своего положения. В письме Линару от 17 октября 1741 года она признается: «Мне высказывают столько мнений, что не знаю, что и думать об этом, иногда мне хотелось бы знать об этом поменьше, поскольку добрая половина того, что говорят, – ложь. У меня никогда в жизни не было столько друзей или так называемых друзей, как после того, как я приняла регентство. Буду счастлива, если смогу всегда отличить истинных

от ложных!».[283]

Женщины с таким типом психики, как у Анны Леопольдовны, могут быть вполне счастливы в семейной жизни, в уютном доме, закрытом от посторонних глаз, в дружной семье, среди близких, возле мужа. Но и в этом ей не повезло. Отношения Анны Леопольдовны с мужем в 1740–1741 году трудно назвать даже прохладными. Во-первых, она старалась устранить его от государственных дел, как внутренних, так и внешних, что было причиной явной, замеченной иностранными дипломатами печали принца Антона Ульриха. Во время всей «затейки» Бирона с регентством Анна Леопольдовна выступала как самостоятельная политическая величина, не как жена принца Брауншвейгского, а как племянница императрицы Анны Иоанновны. Она сама вела переговоры с Бироном, даже явилась для этого к герцогу в покои во время обеда. Да и позже, во время его краткого регентства, они делали друг другу визиты, а когда начался «детский бунт» принца, принцесса не спешила встать на сторону мужа, а держалась нейтрально, хотя удар по принцу рикошетом попал и в нее.

Историю заговора Миниха против Бирона также можно писать без упоминания принца – о намерении фельдмаршала арестовать регента Антон Ульрих узнал, как бы теперь написали, «из газет», точнее – тогда, когда дело было уже почти сделано. Эрнст Миних пишет, что когда его отец явился ночью в Зимний дворец за благословением на переворот, Юлия Менгден разбудила принцессу, однако сделать это тихо, чтобы «принц от того не пробудился», ей не удалось, «но как сей вопросил у принцессы, что ей сделалось и зачем она встает, то в ответ сказала она, что ей занемоглось и чтоб он остался в постели, а она тотчас назад будет», после чего Анна Леопольдовна вышла к фельдмаршалу и гвардейским офицерам. Думаю, что мы можем верить Миниху-младшему, который как раз в эту ночь состоял дежурным камергером при юном императоре и был пробужден правительницей, сказавшей ему: «Мой любезный Миних, знаешь ли ты, что твой отец предпринял? Он пошел арестовывать регента». К чему присовокупила еще: «Дай, Боже, чтобы сие благополучно удалось!..» «Потом принцесса вместе с фрейлиной Менгден, которая одна при ней находилась, пошла в спальню малолетнего императора, а я скорее выскочил из постели и оделся. Немного погодя пришел и принц, которому принцесса тут во всем открылась».[284] Таким образом, в ночь переворота Миниха принц-супруг мирно спал. Жена не сочла нужным даже поделиться с ним замыслом огромнейшей перемены, в частности, и в его жизни.

Теперь трудно понять, почему так сложились их отношения, почему Антон Ульрих был неприятен Анне Леопольдовне. Можно, конечно, говорить о различии натур, несходстве знаков зодиака… Это был типично династический брак, устроенный по соображениям внешней политики, без всякого учета интересов и симпатий партнеров. Таких браков (и не только в княжеских семьях) было великое множество, и удел невест и женихов в этих брачных комбинациях был один – подчиниться и как-то приспособиться к партнеру и новому образу жизни.

Но принцесса Анна с самого начала знакомства с принцем Антоном Ульрихом стала проявлять строптивость (или, по тогдашним критериям – невоспитанность), более того – она публично выражала свое несогласие идти под венец с чуждым ей человеком. Саксонский полковник Нейбауер писал в 1740 году, что как только принцессе было предложено выйти замуж за Антона Ульриха, она отвечала категорично, что «охотнее положит голову на плаху, чем пойдет за принца Бевернского». И только угроза быть выданной за «низкопородного» Петра Бирона сделала ее податливой. Но кажется, что со своим браком она не примирилась. Попавший в опалу бывший кабинет-министр А. П. Волынский на следствии в 1740 году показал, что в разговоре с ним Анна Леопольдовна сетовала как раз на принудительность своего брака: «Вы, министры проклятые, на это привели, что теперь за того иду, за кого прежде не думала, а все вы для своих интересов привели».

Остроту этим переживаниям девушки придавала, по-видимому, ее первая и сильная любовь к графу Динару. Муж же не был, как говорили в двадцатом веке, «мужчиной ее мечты», не отвечал классическим образцам, почерпнутым юной девушкой из Расина или Корнеля. Принцессе явно нравился другой тип мужчины, и это проскользнуло в источниках. Когда в той же беседе Артемий Волынский спросил Анну Леопольдовну, чем же ей не нравится принц, она отвечала кабинет-министру: «Тем, что принц тих и в поступках несмел». Действительно, в нем не было изящества и мужественности графа Динара. Миних позже писал, что провел с принцем Антоном Ульрихом две военные кампании против турок, да так и не понял: рыба он или мясо. Но тут Миниху особенно доверяться не будем. Известно, что Антон Ульрих в бою, под пулями, вел себя вполне достойно, и тот же Миних сразу после похода на Очаков прилюдно отзывался о мужестве принца с восторгом. Впрочем, в человеке, особенно военном, могут сочетаться разные и даже противоположные качества. Манштейн писал, что принц «обладает наилучшим сердцем и прекраснейшим характером в мире, соединенными с

редким мужеством и неустрашимостью в военном деле, но он чрезвычайно робок и застенчив в государственных делах».[285] Так часто бывало в истории: неустрашимые на поле боя воины на скользких дворцовых паркетах оказывались неловки, нерешительны в государственных делах и робки в семейной жизни.

Супруги часто ссорились, неделями не разговаривали друг с другом. При этом принц оказывался слабее и всегда первым шел на попятную. В этом смысле Анна Леопольдовна воспользовалась простым житейским советом, который дал ей во время той памятной беседы А. П. Волынский: сносить все терпеливо, не показывать людям своего неудовольствия, ибо «в том разум и честь Ее высочества состоит», и, кроме того, «если принц тих, то тем лучше ей, потому что он будет ей в советах и в прочем послушен и что ежели бы ее высочеству супругом был принц Петр, то бы хуже для нее».[286]

В итоге, как ни был расположен к своему господину брауншвейгский советник Гросс, он писал в Брауншвейг, что Анна «способна делать с принцем Антоном Ульрихом все, что захочет. Она выпытывает у него все его секреты, но не открывает его светлости свои».[287] Принц был человеком слабым, и его брат Людвиг Эрнст, понимая это, отмечал, что все было бы по-другому, «если бы Антон Ульрих был другим человеком, но с ним ничего не поделаешь». Позже он писал: «Антон Ульрих есть не что иное, как тень».[288] О том, что Антон Ульрих – явный подкаблучник, позже писал и Шетарди, который сообщал, что нередко случается, что Юлия Менгден не допускает его войти в апартаменты принцессы; бывает и так, что его даже прогоняют с постели.[289] О том, что Анна Леопольдовна обладала сильной волей, можно заключить по одному разговору Финча с Антоном Ульрихом. Они заговорили о попытках прусского короля подкупить окружение правительницы. За саму правительницу принц не беспокоился: он сказал, что «во взглядах своих она тверда и непреклонна» («is firm and immovable»).[290] Брат Антона Ульриха Людвиг Эрнст, часто бывавший на посиделках в покоях Юлии Менгден, также не раз замечал, что Анна Леопольдовна «верховодит во всем».[291]

В октябре 1741 года – в сущности, накануне свержения Брауншвейгской фамилии – между супругами произошло жесткое столкновение по поводу назначения четырех новых сенаторов, среди которых были небезызвестный И. А. Брылкин и другие угодные правительнице люди. Антон Ульрих, за спиной которого стоял Остерман, противился этому, но правительница настаивала на своем. Шетарди сообщает, что «происшедшее по этому поводу объяснение было чрезвычайно резким; генералиссимус ничего не

добился, дважды ссылаясь с жаром на свое звание мужа, которым, как он, без сомнения, полагает, он пользуется по отношению к правительнице; между тем опыт доказал уже ему, что довольно часто права его мало уважаются, поэтому приводимый им довод нисколько не остановил правительницу». В конечном счете правительница вручила супругу соответствующий указ о новых назначениях в Сенат. Думаю, что речь идет об указе 17 сентября 1741 года, когда Брылкин стал обер-прокурором Правительствующего сената.[292] Принцу пришлось проглотить это, как и примириться с растущим влиянием графа Линара при дворе – тот даже участвовал с ним в одном из совещаний по внутренним делам.

Даже начавшаяся Русско-шведская война не была использована генералиссимусом и президентом Военной коллегии для упрочения своего положения. О его участии в командовании боевыми действиями русских войск даже не шло речи. Самое большее, на что он мог рассчитывать, – это руководить смотром войск накануне похода и давать необходимые распоряжения по военному ведомству о подготовке армии к походу.

Брауншвейгские дипломаты сообщали, что Анна не приглашала мужа на обсуждение важнейших дел с сановниками, порой не пускала его в свою спальню и подолгу не обедала с ним за одним столом. О раздельной жизни супругов есть множество свидетельств. Фельдмаршал Миних не удержался и зачерпнул в свои мемуары немного грязцы, сообщив нам, что правительница часто виделась с графом Линаром в Третьем Летнем саду, выходившем некогда почти к Аничкову мосту. А к этому саду примыкал дом, в котором остановился Линар. Туда и отправлялась правительница всегда в сопровождении фрейлины Менгден, которую там, в особом павильоне, якобы пользовали привозными минеральными водами. Попытки же принца Антона Ульриха проникнуть в сад и попить целебной водички пресекались неприступными часовыми у ворот. О том же писал в 1741 году Шетарди, только вместо Антона Ульриха он упоминал цесаревну Елизавету Петровну, которая тоже жила неподалеку от сада и как-то решила прогуляться по его аллеям, но наткнулась в воротах на сурового «невпускалу»-гвардейца. Оказалось, что туда пропускают, кроме правительницы и фрейлины Менгден, только графа Линара.[293] А так как Шетарди часто встречался в то время с Елизаветой, сведения в его донесении могли быть из первых рук.

Приведенной выше сплетни Миниху показалось мало, и в своих мемуарах он еще добавил: «Летом она приказывала ставить

свою кровать на балкон Зимнего дворца, выходивший на реку, хотя при этом ставились и ширмы, чтобы скрыть кровать, однако со второго этажа домов, соседних ко дворцу, можно было все видеть».[294] Что же видел сосед Анны Леопольдовны (а им как раз в то время был сам Миних), мемуарист скромно умалчивает, хотя о романе правительницы с графом Линаром, польско-саксонским посланником, известно многое и из других источников.

Выше уже было сказано, что посланник в 1736 году был отозван своим королем по просьбе русского правительства, и причина гнева императрицы Анны Иоанновны заключалась в том, что графа заподозрили в связи с юной принцессой Анной Леопольдовной. Но первая любовь не была забыта. Как только Анна Леопольдовна стала правительницей, польско-саксонский двор, по просьбе русского двора, вновь отправил Линара в Петербург. Он приехал в начале 1741 года, и почти сразу же ему была дана аудиенция для вручения верительных грамот – другие посланники порой ждали этого месяцами. С тех пор он стал часто бывать в императорских покоях – по утверждению Шетарди, ежедневно. Обычно он приходил в апартаменты Юлии Менгден, и, по словам ее служанки, «принцесса Анна туда ж прихаживала».[295] Шетарди, всегда ревниво следивший за успехами своих коллег при дворе, утверждал, что на одном из таких частных свиданий правительница возложила на графа Динара орден Святого Андрея Первозванного. Для всех других дипломатов и прочих неосведомленных о тайном награждении стало полной неожиданностью, когда вскоре Динар дал обед всем кавалерам этой высшей награды России.[296]

Больше всех возвышением Динара был недоволен принц Антон Ульрих. Он помнил, с каким пренебрежением относился к нему Динар в 1735 году, когда принц безуспешно искал близости с принцессой. Более того, в бумагах арестованного Бирона обнаружились письма Динара к фавориту, в которых саксонский посланник просил регента не допустить брак Анны Леопольдовны и Антона Ульриха.[297] Попутно замечу, что документы из архива Бирона доставили немало неприятностей самым разным людям при дворе. Довольно быстро Динар приобрел при дворе правительницы такое значение, что стал играть роль фаворита. Цесаревна Елизавета жаловалась Шетарди «по этому поводу на надменные манеры, появляющиеся уже у Динара».[298] Перед своим отъездом в Дрезден (он ездил домой, чтобы уйти в отставку и, уже свободным от посольских обязанностей, вернуться к Анне Леопольдовне) в начале сентября 1741 года Динар получил от правительницы подарки исключительной

ценности. По данным Шетарди, это были в основном бриллианты, которые оценивались в сумму 150 тысяч рублей.[299]

* * *

Все мемуаристы пишут, что к правительнице «допускались одни только друзья и родственники фаворитки или иностранные министры, приглашенные составить партию в карты великой княгине» (Манштейн),[300] что «приятнейшие часы для нее были те, которые она в уединении и в избраннейшей малочисленной беседе проводила» (Эрнст Миних).[301] Миних-отец писал, что эти компании собирались за картами, до игры в которые правительница была большая охотница. Из описания мебели дворца Анны Леопольдовны часто упоминаются ломберные столики, обитые золотым позументом, которые часто подновляют и меняют. К картам Анна Леопольдовна пристрастилась еще при дворе Анны Иоанновны, при которой без карточной игры не обходился ни один свободный вечер. Известно, что Бирон был заядлый картежник и всячески поддерживал интерес к игре у императрицы, которая обычно много проигрывала. Так карточная игра как тихое вечернее развлечение перешла и к правительнице. Об этом даже написано в газете: «Санкт-Петербургские ведомости» – единственный тогда печатный орган – в номере 66 сообщал, что 13 августа 1741 года, после торжественного обручения штатс-фрейлины Юлианы Менгден с саксонским посланником Динаром, в присутствии правительницы и ее супруга, «их императорские высочества и его светлость принц Людвиг Брауншвейгский сели в карты играть».

Игра устраивалась обычно в комнатах ближайшей подруги правительницы и ее фрейлины Юлии Менгден или, как презрительно звала ее императрица Елизавета Петровна, Жулии или Жульки. Эта «пригожая собой смуглянка» никогда не расставалась с правительницей. Как было записано в дневнике принца Людвига Эрнста, Юлия «не оставляет правительницу одну ни на мгновение, даже если у нее Антон Ульрих и даже если они лежат в постели, она без смущения входит к ним».[302] Бирон, отвергая обвинения в оскорбительных высказываниях об Анне Леопольдовне, говорил на следствии, что он не утверждал, будто бы правительница беспутна: «…тому статься невозможно, а говорил я, как и прежде мною показано, что она каприжесна или упряма: Ея императорское высочество кушает одна с фрейлиною фон-Менгденовою, а пристойнее б было с супругом своим (мы знаем из мемуаров Миниха, что „пристойный“ Бирон всегда

обедал с женой Бенигной Готлиб и… с императрицей – своей любовницей, которая на обед всегда приходила в покои герцогской четы. – *Е. А.),* и оная-де фрейлина у Ея императорского высочества в великой милости состоит и она ж в делах, касающихся до правительства, мешаться будет: сие, может быть, я, таким образом, сказывал, и для того подданейше прошу прощения, а оное говорено не из злости».[303]

Вечерами подруги занимались также рукоделием: вязали, а после свержения регента спарывали золотой позумент с драгоценных камзолов Бирона и его сына, чтобы отправить его на переплавку.[304] Юлия была особой вполне посредственного ума, получила воспитание, типичное для лифляндской немки, удел которой – выйти замуж за небогатого барона и экономно вести хозяйство. Между тем степень доверия правительницы к своей подруге была высочайшей. Юлия была в курсе всех государственных дел; когда к ней пришел упомянутый выше советник Тимирязев, заметивший недостатки в законе о престолонаследии, и принес манифест, в котором он их заметил, фрейлина ему отвечала: «У нас все это есть, мы знаем, постой-ка здесь» – и ушла посоветоваться с правительницей.[305] Сохранился удивительный для XVIII века парный портрет: годовалый император Иван Антонович сидит на коленях… фрейлины Юлианы фон Менгден. Возможно, портрет писался после того, как в первый день рождения императора младенец был внесен в парадный зал именно Юлией Менгден.

Как только Анна Леопольдовна стала правительницей, баронесса Юлиана Магнусовна тотчас выписала из Лифляндии свою мать. Через час после приезда старушки к ней явилась с визитом сама правительница – событие в придворной жизни беспрецедентное.[306] Всего при дворе Анны Леопольдовны оказался, кроме самой Юлии, целый выводок прибалтийских баронов Менгден: Анна Доротея – сестра Юлии и супруга Миниха-младшего; вторая сестра Якобина (Бина), фрейлина Анны Иоанновны, а потом Анны Леопольдовны, и наконец мать Юлии. Она явилась в Россию с младшей дочерью Авророй, ставшей сразу же по приезде камер-фрейлиной правительницы, и сыном Густавом Иоганном, пожалованным в камер-юнкеры и ротмистры Конной гвардии. Одновременно Юлия получила в Лифляндии богатое поместье.

Отношения Анны Леопольдовны и Юлии были необычайно близкими, и эта близость бросалась в глаза многим. Финч, хорошо знавший всю карточную компанию, писал, что любовь Анны к Юлии «была похожа на самую пламенную любовь мужчины к женщине», что они часто спали вместе. У автора нет

желания углубляться в сомнительные предположения на сей счет: например, сам по себе этот факт может означать, что во дворце частенько бывало холодновато и женщины для тепла ложились вместе. Но точно известно, что с весны при дворе и среди дипломатов заговорили о предстоящем браке Линара и Юлии. Намерение это не было осуществлено из-за переворота, хотя в августе 1741 года нареченных успели обручить. Правительница подарила жениху бриллианты, некогда принадлежавшие Бирону, а подруге пожаловала несметное число драгоценностей (что впоследствии очень волновало и нервировало Елизавету Петровну) и полностью обставленный дом в Петербурге.[307] Прусский король, всегда чуткий к успехам чужих фаворитов и фавориток, прислал Юлии Менгден со своим посланником Мардефельдом усыпанный бриллиантами портрет королевы Прусской. Тот, кто знает о сексуальной ориентации великого короля, невольно усмехнется символике этого подарка – королева Елизавета Христина Брауншвейгская всегда жила вдали от мужа и годами не видела супруга.

Цель предстоящего брака, как считали наблюдатели, состояла в том, чтобы прикрыть им любовную связь правительницы с фаворитом. Шетарди, который выуживал все сплетни и слухи, циркулировавшие в столице, был убежден, что готовится новый вариант любовного треугольника: так некогда Бирон, оставаясь фаворитом императрицы Анны, формально состоял в фиктивном браке с баронессой Б. Г. Трейден, а оба сына Бирона – Петр и Карл – «бесспорно дети царицы Анны».[308] Последнее утверждение кажется близким к истине, особенно если вспомнить Карла, которого в 1730 году, тогда еще двухлетним малышом, курляндская герцогиня увезла с собой в Россию, куда ее позвали на царство верховники, и с которым нянчилась, как с собственным ребенком. В принципе, можно допустить возможность фиктивного брака Юлии и Динара как принятого в то время прикрытия для любовников. Такие «маскировочные» браки не раз заключались в истории правящих династий. Шетарди (и в этом с ним был согласен австрийский посланник маркиз Ботта) сомневался в успехе этой затеи, считал, что Анна Леопольдовна «не обладает опытностью, чтобы скрывать и вести тонкую интригу, она руководствуется лишь примером покойной царицы и будет держаться того же образа действий». Впрочем, перемывая косточки главным персонам русского двора, дипломаты полагали, что эта комбинация продержится недолго – Юлия слишком глупа, «чтобы захотеть находиться в таком положении, в каком была супруга Бирона».[309] Впрочем, не следует, вслед за Ботта, недооценивать правительницу, прекрасно

все понимавшую. На придворном балу в сентябре 1741 года Елизавета рассказывала Шетарди, как ей, «смеясь, сообщала недавно правительница, что здесь, наверное, скоро распустят слухи, что граф Динар и фрейлина Менгден – новые герцог и герцогиня Курляндские».[310] Летом бывший дом Бирона, стоявший на Дворцовой набережной, срочно переделывали для молодоженов. Там по указу правительницы от 5 ноября 1741 года было приказано убрать спальню малиновым штофом с золотым позументом и «двуспальную кровать из такого же штофу… таковым фасоном, какова сделана была в 1740 году для Ее императорского высочества штофная желтая». Все это было пожаловано госпоже Менгден правительницей.

Динар был в курсе государственных дел и перед своим отъездом участвовал в совете у Остермана, проходившем в присутствии Антона Ульриха. Обсуждали вопрос о заговоре Елизаветы, причем принц был с Динаром единодушен – тот предлагал, не долго думая, арестовать цесаревну.[311] В начале сентября 1741 года Динар уехал в Дрезден, чтобы вернуться в Россию и стать при Анне Леопольдовне обер-камергером. Как известно, при Анне Иоанновне этот ключевой в придворной иерархии России чин имел как раз фаворит императрицы Бирон.

Близость правительницы с Динаром не вызывает сомнений. Шетарди видел записку Динара к правительнице, перехваченную людьми Елизаветы Петровны. Тон и содержание ее не оставляли сомнений относительно истинного характера этой связи. Два сохранившихся письма правительницы к Динару не менее выразительны. Из писем отчетливо видно, что брак Динара с Юлией действительно мыслился как прикрытие, причем прикрытие прозрачное. «Я Вас поздравляю с прибытием в Лейпциг, – пишет Анна Леопольдовна 13 октября 1741 года, – но я буду удовлетворена по-настоящему, лишь узнав о том, что Вы находитесь на пути назад. Если Вы не получили писем из Петербурга, пеняйте на Пецольда (саксонский дипломат. – *Е. А.),* который их неверно адресовал. Что же до Юлии, то как Вы можете хотя б на миг допустить сомнения в ее (моей)[312] любви и в ее (моей) нежности, после всех доказательств, которые были Вам даны ею (мною). Если Вы ее (меня) любите, никогда не делайте ей (мне) подобных упреков, коль скоро ее (мое) здоровье Вам хоть немного дорого… У нас будет маскарад 19 и 20 числа сего месяца, но я не думаю, что смогу (без Вас, мой дорогой) насладиться от души этим развлечением, поскольку я предвижу, что дорогая моя Юлия, у кого и душа, и сердце в чужих краях, вовсе не сможет веселиться. Верно говорится в одной песне: «Я не вижу ничего, что о Вас напоминает, и в то же время все

напоминает мне о Вас». Сообщите мне время Вашего возвращения и будьте уверены, что я Вас преданно люблю (я Вас обнимаю)». Второе письмо, написанное самой правительницей и датированное 17 октября 1741 года, заканчивается словами: «Берегите свое здоровье и любите меня всегда, вот это все, чего бы я желала».[313]

Из этого же письма следует, что, вернувшись в Россию, граф Динар тотчас включился бы в ведение всех государственных дел: Анна сообщает ему политические новости и слухи и просит совета по поводу перехваченного шведского провокационного манифеста: «Сообщите мне Ваши мысли по поводу манифеста шведа». Но Динар не успел приехать в Петербург. По дороге ему стало известно о свержении Анны Леопольдовны, и он счел за благо для себя повернуть назад. И правильно, надо сказать, сделал – не избежать бы ему принудительного путешествия в Сибирь.

* * *

Ныне нам трудно представить себе, каким было мировоззрение правительницы. Поначалу, до четырех лет, она воспитывалась при вполне европейском Мекленбургском дворе, потом оказалась при вполне старорусском дворе своей бабки царицы Прасковьи Федоровны, а затем надолго обосновалась при дворе Анны Иоанновны, представлявшем собой смесь европейских обычаев с нравами царской комнаты в кремлевском «Верху». Принцесса немного училась у Феофана Прокоповича, а у того была своя программа и метода воспитания молодежи, но проучилась принцесса у архиепископа недолго – в 1736 году тот умер. У нее были и другие учителя. Одного из них в 1740 году пытался подкупить прусский посланник Мардефельд, «полагая, что он пользуется большим влиянием на нее. Учитель этот, однако, имел достаточно добродетели, чтобы отказаться, и достаточно честно поспешил известить о предложении министра».[314] Из этого следует, что этот бывший учитель имел доступ к правительнице и что он сохранял с ней хорошие отношения.

Известно, что Анна Леопольдовна говорила на нескольких языках, при этом в совершенстве знала немецкий язык, а также неплохо изъяснялась по-французски, свободно писала на русском, французском и немецком языках. Говорила она и по-русски, что следует из ее бесед с людьми, иностранных языков не знающими. После смерти Анны Леопольдовны ее повзрослевшие дети

учились грамоте по старому букварю, который взяла в ссылку их мать, а также по книгам Священного Писания, изданным на старославянском языке. Чувствовала ли она себя русской в окружении почти сплошь немцев (к правительнице, писал Манштейн, «допускались одни только друзья и родственники фаворитки или иностранные министры, приглашенные составить партию в карты великой княгини»), мы не знаем. Судя по компании, собиравшейся играть в карты по вечерам у Менгден, общество правительницы составляли, действительно, исключительно иностранцы: послы (английский Финч, австрийский Ботта, польско-саксонский Линар), принц Антон Ульрих, его брат, Миних-младший. Он тоже писал, что «обращение ее большею частью было с иностранцами». Естественно, что на этих вечеринках по-русски не говорили.

На следствии 1741 года Бирон признался, что утверждал, будто бы как-то раз принцесса бранила недисциплинированного камергера Апраксина «русским канальею».[315] Обычно так ругались иностранцы, видя безалаберность русских людей. Но этого недостаточно для суждений о якобы русофобских взглядах правительницы. Описание ее апартаментов свидетельствует о том, что комнаты Анны Леопольдовны и ее сына – императора были уставлены иконами, среди которых выделялся образ святых мучеников Фотия и Аникиты, празднуемых в день рождения Ивана Антоновича, причем правительница приказывала украшать иконы в своих комнатах драгоценными окладами. 21 марта 1741 года она отдала приказ живописцу Алексею Поспелову написать «образ Ангела Его императорского величества» (днем тезоименитства императора было 29 августа – день Усекновения главы Иоанна Предтечи). Для нее был сделан драгоценный складень, украшенный бриллиантами.[316] В комнатах правительницы и юного императора перед иконами были лампады, причем в расходной книге особенно часты записи отпуска деревянного масла для лампадок: значит, они постоянно теплились возле икон.

Все это, конечно, не есть безусловное свидетельство истинной веры, но православную обрядность правительница соблюдала. Имела она и своего духовника, священника Иосифа Кирилова, который часто проводил богослужения в комнатах правительницы и императора. В Великий пост в их покоях служили утрени, часы, повечерия, и, судя по заказам в Придворную контору, правительница постилась. И в ссылку ее сопровождали православные церковнослужители, а это уже свидетельствует не просто о ритуале, а о вере. Муж правительницы, живший в своих отделенных от правительницы покоях, по-прежнему держался

лютеранского вероисповедания и молился не во дворце, а в лютеранской кирхе на Невском проспекте.[317]

Теперь о деловых качествах правительницы. Фельдмаршал Миних писал, что правительница «была от природы ленива и никогда не присутствовала в Кабинете; когда я приходил по утрам с бумагами, заготовленными в Кабинете или требовавшими какого-нибудь решения с ее стороны, то она, сознавая свою неспособность, часто говорила мне: „Как бы я желала, чтобы мой сын был в таком возрасте, когда бы царствовать“». Отнесемся к словам Миниха, низвергнутого с олимпа именно этой женщиной, с большой долей скептицизма: ведь, во-первых, и императрица Анна Иоанновна, учредившая Кабинет министров в 1731 году, сама на заседаниях его никогда не бывала, а, во-вторых, если касаться деловых встреч правительницы с Минихом, то встречаться с ним ей было неприятно, как с человеком неискренним, льстивым и притом амбициозным и коварным. Естественно, что она хотела поскорее избавиться от своего премьер-министра и старалась поменьше с ним общаться. Другой мемуарист, Манштейн, писавший о лени правительницы, вероятно, со слов своего начальника Миниха, отмечал, что правительница «затягивала самые важные дела, оставалась по нескольку дней в своей комнате, принимая сколь возможно менее лиц». Однако, как показали исследования И. В. Курукина, Анна Леопольдовна (особенно в первые месяцы своего регентства) много занималась делами, и, судя по законодательному материалу, «на первых порах Анну Леопольдовну можно было упрекнуть в чем угодно, только не в лени. Неплохо сохранившиеся – благодаря стараниям Елизаветы „арестовать“ историю страны в период правления своей предшественницы – материалы Кабинета содержат сотни резолюций правительницы».[318]

Известно, что в ноябре 1740 года, то есть в самом начале регентства Анны Леопольдовны, А. И. Остерман сочинил для нее специальную записку, которую можно рассматривать как некое наставление, своего рода инструкцию по государственному управлению. В ней перечислялся ряд первоочередных задач, которые встают перед каждым новым властителем.[319] Особенно ценен был совет разослать русским дипломатам за границей циркуляр с объяснением событий 9 ноября, с тем чтобы избежать превратного толкования этого переворота за пределами России. Внутри страны следовало подтвердить все «милостивые указы» Бирона и закрепить неизменность управления империи по «прежним указам и регламентам». Все это правительница немедленно исполнила. Таким образом, благодаря советам

Остермана и трудолюбию Анны Леопольдовны довольно быстро была достигнута необходимая новому режиму стабильность. Законодательство Анны Леопольдовны показывает, что она не пренебрегала советами Остермана и умела учиться. Так, она последовала предложению вице-канцлера, который писал: чтобы сразу же войти в курс наиболее важных предметов управления, необходимо взять и изучить бумаги бывшего регента Бирона, а также какую-то знаменитую «малиновую шкатулку» покойной императрицы Анны Иоанновны, в которой та держала наиболее важные письма и бумаги, – своеобразное досье, без которого преемнику трудно разобраться в оставленных на его усмотрение делах. Судя по мемуарам Манштейна, правительница так и поступила. Именно тогда и обнаружились в архиве Бирона упоминавшиеся выше бумаги, неприятные Антону Ульриху.

Что же касается совета Остермана правительнице четыре раза в неделю заседать в Кабинете для решения важных текущих дел, находясь в присутствии министров, сенаторов, членов Синода и военных, то она ему не вняла. Возможно, осуществить этот совет было сложно практически, он противоречил «закрытому» характеру правительницы, терявшейся в большом собрании. Здесь ей, неопытной и молодой женщине, предстояло бы публично выносить решения, останавливая свой выбор на тех или иных суждениях присутствующих сановников. Подобные заседания в практике русского самодержавия были крайне редки, и, в сущности, до конца Российской империи властители предпочитали иметь дело с каждым министром отдельно, чтобы не ставить под сомнение авторитет и обоснованность своих решений, а в сущности, сакральную непогрешимость своей самодержавной воли.

Кроме того, проведение предложенных Остерманом совещаний означало фактическую реализацию задуманных ранее, еще во время болезни Анны Иоанновны, планов коллективного регентства с участием правительницы, чего ни она, ни ее окружение, конечно, не желали. Но, по правде говоря, о деловых качествах тогдашних правительниц как-то нет смысла рассуждать. Нацарапать на официальной бумаге, как ее тетка Анна Иоанновна, одно или три слова: «Апробуется» или «Быть по сему», ума у Анны Леопольдовны, как видно по делам, хватило.

И. В. Курукин заметил, что в конце правления отмечалось некое замедление деятельности правительства Анны Леопольдовны, начатые крупные мероприятия сменяются мелкими, частными распоряжениями; «по-видимому, сделанные „заявки“ оказались не по плечу правительнице».[320] Возможно, проблема заключалась в беременности и родах Анны

Леопольдовны, пришедшихся на эти месяцы. К тому же слишком невелик оказался срок, отпущенный судьбой Анне Леопольдовне как правительнице, чтобы увереннее судить о том, каким государственным деятелем она бы стала. Как известно, в системе самодержавной власти не было существенных различий между так называемыми «крупными» и «мелкими» делами, их никогда не систематизировали и не разделяли. Это разделение противоречило бы началам единой воли самодержавия: все дела, крупные и мелкие, важные и не важные, имея своим источником самодержавную верховную власть, были одинаково значительны во властной системе самодержавия. Относительны и неудачи правительницы. Так, прав И. В. Курукин, который пишет о малоэффективной работе чиновников при Анне Леопольдовне над составлением нового Уложения. Но история права XVIII века показывает нам, что с задачей унификации законодательства не справился ни один из правителей той эпохи: ни Петр Великий, ни Елизавета Петровна, ни Екатерина П.

Думаю, что Анна Леопольдовна – женщина, по словам Финча, «одаренная умом и здравым рассудком» (а это видно из ее писем к Динару), – была так же не подготовлена к бремени власти, как не были готовы править государством ни Анна Иоанновна, ни Елизавета Петровна. Между тем первая императрица благополучно правила десять, вторая – двадцать лет! Анна Иоанновна, порой годами не принимая никаких крупных государственных решений, ставила на первое место в своей, так сказать, «государственной деятельности» вызов нового шута или поимку какой-то знаменитой в Зарайске белой галки. Елизавета Петровна, в свою очередь, уделяла все свое драгоценное внимание праздникам, балам, строго регламентируя вид прически или покрой маскарадного платья для подданных. Добиться, чтобы она взяла в руки доклад или проект указа, министрам удавалось нечасто. Наверное, будь Анна Леопольдовна поудачливее, она правила бы Россией вольно до совершеннолетия Ивана Антоновича семнадцать лет. Созданная Петром Великим система самодержавного государства была в управленческом смысле очень устойчивой, запущенная некогда великим преобразователем бюрократическая машина работала по своим внутренним законам, и зачастую было не так уж важно, кто восседал на престоле: неграмотная Екатерина I, капризный мальчишка Петр II, проводивший все время на охоте, похожая на помещицу средней руки Анна Иоанновна, кокетка Елизавета Петровна и т. д.

Конечно, индивидуальность повелителя играла свою роль в управлении. При Анне Леопольдовне сановники утратили

привычный страх, привитый им при Анне Иоанновне. В следственном деле 1742 года записано, как выполнял указ Анны Леопольдовны вице-канцлер М. Г. Головкин. Ему было поручено провести совещание с Остерманом о важном государственном деле, «…однакож-де он потом чрез два или три дня у него, Остермана, не был, но между тем прислал он, Остерман, к нему, Головкину, своего секретаря Курбатова его, Головкина, к себе звать, и после-де того призыву на другой или третий день приехал он, Головкин, к нему…».[321] Можно ли представить при Петре Великом или даже при Анне Иоанновне столь халатное исполнение чиновником именного указа? Впрочем, исполнительская дисциплина никогда не была сильным качеством отечественной администрации. Словом, Анне Леопольдовне не повезло со временем, в котором она жила, и с той политической ситуацией, в которой она оказалась в начале 1740-х годов против своей воли.

* * *

Не повезло Анне Леопольдовне и с министрами, которые могли бы, как в правления ее предшественницы и ее преемницы, взять на себя решение государственных проблем. Несомненно, после свержения Бирона А. И. Остерман рассчитывал занять в правительстве Анны Леопольдовны первую позицию, для чего, собственно, и была написана им (буквально через два дня после свержения Бирона) упомянутая выше записка-наставление правительнице. Ее автор преследовал, естественно, не только бескорыстно-педагогические цели. Но при этом Остерман действовал, как всегда, расчетливо и осторожно, так сказать, почти не оставляя следов.

Примечательно, что прежняя система его взаимоотношений с повелительницей сохранилась и при Анне Леопольдовне: она посылала кого-нибудь (особенно часто Левенвольде, друга Остермана) к нему за советом, а он пересылал ей или устный, или письменный ответ (так называемое «письмецо»); в его доме проходили важные совещания сановников, и только в особых, экстренных случаях Остермана на носилках доставляли во дворец. Однажды сама правительница тайно к нему приехала по одному безотлагательному делу.

Исчезновение к весне 1741 года с политической сцены Миниха не обошлось (как уже сказано выше) без интриг Остермана. Так, упомянутый выше указ 28 января 1741 года о перераспределении (а в сущности, о возвращении) полномочий

министрам, при котором должность первого министра стала фиктивной, был очень тонким и продуманным бюрократическим действием, план которого мог родится только в изощренном мозгу Остермана.

Любопытна также история довольно странного следствия в Тайной канцелярии, начатого весной 1741 года параллельно с допросами по делу Бирона. Оказалось, что в это время была проведена работа по сбору компромата на других членов «хунты», в том числе на тех, кто вполне благополучно пребывал у власти. Из материалов следствия видно, что либо Бирон и Бестужев дали особые показания на этих людей, либо (что вероятнее) из предыдущих показаний экс-регента и его сподвижника были выбраны сведения, касающиеся преступных действий разных участников «хунты» при возведении Бирона в регенты. Эти сведения были оформлены в виде неких «экстрактов». Такие «телеги» компромата были составлены на Миниха, Черкасского, Левенвольде, Ушакова и А. Б. Куракина, Н. Ф. Головина, Н. Ю. Трубецкого, К. Л. Менгдена, К. Г. Бреверна, И. Альбрехта и других, менее важных, деятелей октября 1740 года, которые тем не менее находились у власти. Им всем 24 апреля 1741 года зачитали от имени младенца-императора указ под примечательным названием: «Объявление прощения». При этом в экстракте, составленном на Миниха, как будто были учтены жалобы Бирона на фельдмаршала, которого герцог, как уже было сказано, считал первым виновником своего несчастья. В сослагательности «Объявления прощения» звучит легкая угроза фельдмаршалу – сиди тихо, а то начнем расследовать твое участие в деле выдвижения Бирона в регенты: *«…Когда бы дошло до следствия,* то бы явно показалось, что он (Миних. – *Е. А.)* впервые ему, Бирону, предлагал и более о том побуждение чинил». Все упомянутые высокопоставленные лица обвинялись в том, что они действовали «противно должности своей и присяги, вступили в такие дела, в которые вам мешаться весьма не надлежало, и, учиняясь в начале Нам, а потом и всему отечеству первым явным предателем, присовокупились к бывшему герцогу Курляндскому Бирону… вступили в рассуждение о правительстве», способствовали определению фаворита в регенты, обманывали всех с датой подписания завещания и т. д. Наконец, в этом манифесте была нанесена звонкая оплеуха Миниху, некогда размечтавшемуся о чине генералиссимуса: «К тому ж, зная подлинно российский Воинский устав, в котором о чине генералиссимуса напечатано, что оный чин коронованным главам и великим владеющим принцам принадлежит, а наипаче тому, чье есть войско, а из вас ни один не имел такого

достоинства, сперва штаб просил, а потом онаго чина требовать дерзнул». Так Миниху мстительно припомнили его честолюбивые мечты. При этом в тексте манифеста заметно явное передергивание насчет возможных кандидатов в генералиссимусы: ведь некогда этой высочайшей воинской чести удостоился человек вовсе безродный – светлейший князь А. Д. Меншиков! Впрочем, у власти, когда она этого захочет, память оказывается очень короткой и слабой.

В конце «Объявления прощения» было сказано: «И хотя по оным явным обличениям, по силе прав государственных, надлежало о таком вредительном Нам самим и Нашим родителям… деле в конец доследовать (опять тон угрозы. – *Е. А.),* однако ж Мы…» и далее шел текст о прощении всех упомянутых персон без всяких наказаний…[322]

Какой, казалось бы, странный документ! Во имя чего он составлялся? Зачем нужно было поднимать старое дело о регентстве Бирона, в котором были замешаны все упомянутые люди, зачем нужно было унижать действующих политиков и придворных: бывшего первого министра и все еще фельдмаршала, великого канцлера и кабинет-министра, генерал-прокурора, президента Адмиралтейства, обер-шталмейстера, начальника Тайной канцелярии? Но тут обращает на себя внимание странный факт, а именно – отсутствие экстракта на А. И. Остермана, как раз одного из активнейших участников «затейки Бирона». Известно, что его роль в этом деле была больше, чем роль Трубецкого, Куракина или Ушакова. Ни под каким видом не упомянут он и в манифесте «Объявление прощения».

Причина этих странностей, думается, проста: сам Остерман и был, вероятно, инициатором псевдорасследования, проведенного исключительно для того, чтобы все попавшие в него первые лица государства помнили и не забывали, что на них есть экстракты (а значит – и дела, из которых сделана выжимка), и можно, при необходимости, изменить сослагательность документа и начать расследование о каждом из них по полной форме – ведь преступность их действий была зафиксирована манифестом «Объявление прощения». Остерман (который, как сказано выше, контролировал и направлял следствие дела Бирона в нужное русло) мог в своих интересах в любой момент организовать составление экстрактов с компрометирующими материалами. Этот прием в истории известен – пока работай, но помни, что в сейфе на тебя лежит некое незакрытое дело!

Так получилось, что к весне 1741 года российская политическая сцена вдруг расчистилась от сильных фигур, и Остерман решил, что его час пробил. Много зная о непростой

жизни Остермана, можно утверждать, что в характере, складе личности его заключена тайна. Внешне смирный, предельно осторожный, расчетливый, он порой взрывался внезапно и неожиданно для окружающих злым поступком. За его внешним хладнокровием, хитростью, разумностью скрывался вулкан честолюбия, гордости, тщеславия и даже авантюризма. И тогда этот умнейший аналитик не мог справиться со своими страстями и допускал нелепые промахи, оказывался в крайне затруднительном положении. Он возжелал стать при правительнице фактическим руководителем государства. Кроме советов об экономии расходов, взимании недоимок, содержании флота, составлении свода законов, хитроумный Андрей Иванович в своей записке дал правительнице детальные советы, как прийти «к облегчению бремени правления». Он исподволь приучал Анну к мысли о необходимости совещаться с министрами, и особенно с ним. «Поелику, – пишет вице-канцлер, – государь не может быть без министров и слуг, то справедливость того требует, чтобы доверенность между государем и рабом была взаимна и совершенна».

Но на этом пути Остермана постигла неудача. Он, привыкший всегда действовать в политических потемках, умевший загребать жар чужими руками, оказался несостоятелен как претендент на роль публичного политика, лидера, не имея к этому необходимых качеств – воли, решительности, того, что называют харизмой и что было и у Бирона, и у Миниха. Хорошо знавший Остермана английский посланник Финч писал, что Остерман – «кормчий в хорошую погоду, скрывающийся под палубу во время бури. Он всегда становится в сторону, когда правительство колеблется».

Те меры, которые он предлагал в своей, упомянутой не раз, записке-наставлении, в принципе увеличивали его личное влияние в управлении. Но, оказавшись почти на вершине власти, он действовал по старой, уже опробованной им методе. Было общеизвестно, что Остерман, превосходя многих сановников по уму, знаниям, опыту и хитрости, несомненно, первенствовал бы при выработке и принятии решений в правительстве. Механизм этого первенства был довольно прост и уже отработан Остерманом в предыдущее царствование императрицы Анны Иоанновны. Как уже сказано выше, годами не выходя из дома, Остерман не просто держал руку на пульсе управления (благодаря донесениям своих подчиненных и своему необычайному для тогдашних чиновников трудолюбию), но был действующим и одним из самых влиятельных членов правительства. Он направлял политику системой докладных и

памятных записок и мемориалов, в которых ставил вопросы и обычно, взвесив все обстоятельства дела, предлагал варианты их решения. Таких типичных проблемных записок Остермана по разным вопросам сохранилось много, и они поражают нас своей фундаментальностью, демонстрируя глубокий и даже изощренный ум этого человека. Для сановников, в большинстве своем не столь квалифицированных, информированных и трудолюбивых, как Остерман, было довольно сложно, придя на заседание и заслушав очередную записку неугомонного вице-канцлера, возражать и предлагать что-то принципиально иное. Им оставалось лишь обсуждать предложенные Остерманом варианты и принимать по ним решения.

Однако с начала самостоятельного правления Анны Леопольдовны Остерману не удалось добиться самого главного: стать основным или, тем более, единственным советником правительницы и полностью подчинить себе Кабинет министров. По-видимому, в какой-то момент он просчитался. Ему не удалось наладить хороших отношений с Анной Леопольдовной. В допросах 1742 года тема недоверия правительницы к Остерману звучала не раз. Остерман был убежден, что «его у принцессы Анны в том деле (это было дело о престолонаследии. – *Е. А.)* обнесли, яко то во многом быть случалось».[323] Неизвестный автор замечаний на записки Манштейна причину охлаждения правительницы к Остерману видит в интриге Линара, в ее «слепой доверенности к этому иноземцу». Линар якобы, поссорясь с Остерманом, злобно очернил этого министра, представил его коварным, опасным, недоброхотствующим правительнице, даже успел возбудить подозрение на принца Брауншвейгского, действовавшего, как он говорил, по внушению Остермана. Принцесса «всему легко поверила, прекратила благоволение к графу Остерману, не хотела принимать от него никаких представлений… Тщетно покушался Остерман открыть глаза правительнице, тщетно желал он предостеречь ее от угрожавшей опасности». Весь текст замечания пронизан симпатией к Остерману, который, по мнению автора, один мог бы предотвратить гибель Брауншвейгской династии.

На самом же деле – и это будет показано ниже – дело обстояло намного сложнее. Не все, предложенное Остерманом, с порога отвергалось правительницей, не был и сам Остерман в отношениях с Анной Леопольдовной честен и последователен до конца. Впрочем, возможность интриги против Остермана со стороны Линара, власть которого при дворе все усиливалась, отрицать тоже нельзя. Линар явно претендовал на роль фаворита типа Бирона – человека решительного, властного, сильного, – и

для него Остерман представлял наиболее серьезную опасность.

Ближе Остерман сошелся с принцем Антоном Ульрихом, делая на него ставку в политической игре. Остерман, вероятно, полагал, что через принца он сможет влиять на правительницу и таким образом проводить свою политику. Но здесь он не добился своего – принц, несмотря на «школу Остермана», так и не сумел стать самостоятельной политической фигурой. Дело не только в его характере и особенностях взаимоотношений с женой, о чем сказано выше. В России у принца сложилась не особенно выгодная для него политическая репутация. Над этим много «поработал» его недоброжелатель Бирон. Во время царствования Анны Иоанновны Бирон говорил секретарю саксонского посольства Пецольду, что Вена, добившись заключения брака Антона Ульриха с племянницей царицы, пытается сделать из него политика, рекомендует допустить его к делам, включить в состав Кабинета министров и Военной коллегии как человека родовитого и с большими способностями. Герцог был взбешен полученными из Вены советами: «Если же в Вене такого мнения, что у герцога Брауншвейгского прекрасные способности, то он, Бирон, готов без труда уговорить императрицу, чтобы принца совсем передать венскому двору и послать его туда, когда там настоит надобность в подобных мудрых министрах». И далее: «Каждому известен герцог Антон Ульрих как человек самого посредственного ума, и если его дали в мужья принцессе Анне, то при этом не имели и не могли иметь другого намерения, кроме того, чтобы производить на свет детей, но и на это он не настолько умен. Надобно только желать, чтобы дети, которые могут, пожалуй, от него родиться, были похожи не на него, а на мать».[324] Конечно, нужно учитывать две причины особого, пышущего ядом, гнева Бирона: первая (гипотетическая) – Анна Леопольдовна досталась не его сыну, и вторая (вполне реальная) – Бирон сам хотел управлять Россией, а не перепоручать это австрийскому кабинету в чьем бы то ни было лице. Но для нас важно суждение герцога о том, что Антона Ульриха пригласили в Россию совсем не для того, чтобы допускать к власти. Эту точку зрения вполне разделяла правительница и последовательно проводила в жизнь. При этом сам принц не раз пытался заняться политикой, не говоря уже о том, что был увлечен порученным его заботам военным управлением. Э. Финч в сообщениях за конец февраля 1741 года передает содержание беседы с принцем о внешней политике. Принц пришел к Остерману, у которого в это время как раз сидел английский посланник, и они разговорились: «Изо всей речи принца Брауншвейгского ясно, что Его высочество совершенно

убежден в полной необходимости осуществить гарантию Прагматической санкции и защитить Австрийский дом для сохранения безопасности и равновесия Европы. Слова его по этому поводу были так определенны, что не оставляют ни малейшего сомнения в их согласии со взглядами правительницы и наставника Его высочества графа Остермана. Принц говорил также о необходимости соглашения по поводу общих мероприятий, дабы каждый из союзников мог действовать своевременно…» и т. д.[325] Вся запись беседы Финча свидетельствует о том, что его собеседник был человеком неглупым, информированным, имевшим свои взгляды (явно проавстрийские) на внешнюю политику России. Итак, реализовать свой замысел – сделать принца важной политической фигурой в поисках эффективного влияния на правительницу – Остерман не сумел.

Не сложились отношения у Остермана и с пришедшим на смену в Кабинете Бестужеву-Рюмину графом Михаилом Гавриловичем Головкиным. Этот сын петровского канцлера Г. И. Головкина, довольно опытный дипломат и администратор (с 1730 года – сенатор), был человеком неярким и бесталанным. Тем не менее он пытался вести в Кабинете собственную политику, что было почти невозможно – Остерман последовательно сожрал всех более-менее ярких своих коллег по Кабинету – предшественников Головкина: П. И. Ягужинского, А. П. Волынского, А. П. Бестужева-Рюмина.

Но Головкин достиг своего успеха в другом месте. Через родню (его жена приходилась родственницей правительнице по матери) он сблизился с Анной Леопольдовной, став ее первым советником, бывал у нее регулярно по утрам и после обеда, подавал ей различные проекты. Он почти не скрывал своей неприязни к Остерману и, как сообщал брат Антона Ульриха Людвиг Эрнст, прямо обвинял Остермана в намерении совершить очередной переворот и посадить на трон Антона Ульриха.[326] Настраивали правительницу против Остермана и другие сановники. Против него был глава Синода архиепископ Амвросий (Юшкевич), который как-то говорил своему гостю советнику Тимирязеву: «Я на него (Остермана. – *Е. А.)* государыни говаривал, только к нему ничто не льнет».[327] К тому же при дворе имел влияние клан Менгденов во главе с Юлией; они, оставаясь близкими к правительнице, тем не менее не были дружны с Головкиным и боролись с вице-канцлером за влияние на Анну Леопольдовну.[328] Из-за этого противостояния придворную и правительственную жизнь постоянно лихорадило. Словом, Остерману, несмотря на его явное превосходство в

знании дел, не удалось взять верх, ибо у него была довольно слабая опора – принц никак не мог совладать со своей «каприжесной» супругой, а давление Головкина и Менгденов на правительницу имело отчетливый антиостермановский оттенок.

* * *

Пора, наконец, подойти к колыбели младенца-императора. Задача автора более чем трудная: что рассказать о мальчике, ставшем самодержцем в возрасте двух месяцев и пяти дней и свергнутом с престола, когда ему исполнился один год три месяца и тринадцать дней? Ни многословные указы, подписанные за него другими, ни военные победы, одержанные его армией, ничего не могут о нем поведать – младенец он и есть младенец: лежит в колыбельке, спит или плачет, сосет молоко и пачкает пеленки. Подданные могли лицезреть государя всего пару раз во время больших праздников. Тогда принаряженного младенца с цепью ордена Андрея Первозванного и с голубой лентой этого ордена подносили к окну второго этажа Зимнего дворца, и он мог видеть набережную, заполненную народом. Посол Финч, часто игравший в карты с правительницей, описывал 3 февраля 1741 года, как ему удалось увидеть российского государя без официальных церемоний: «Рядом с комнатой, в которой мы играли, находятся апартаменты малютки-царя. Ему случилось крикнуть, и это дало мне повод спросить о Его величестве. Великая княгиня чрезвычайно любезно отвечала, что если я желаю взглянуть на него, она сделает мне честь и вынесет его. Так она и сделала, и я имел счастье поцеловать его руку. Без лести, это один из прелестнейших младенцев („beautiful children“), когда-либо мною виденных. Особенно красива верхняя часть лица: замечательно красивые глаза, общий вид здоровый, как у фермерского ребенка».[329]

Сохранилась гравюра, на которой мы видим колыбель, окруженную аллегорическими фигурами Правосудия, Процветания и Науки. Прикрытый пышным одеялом, на нас сурово смотрит пухлощекий младенец. Вокруг его шейки обвита тяжеленная, как вериги, золотая цепь ордена Андрея Первозванного – едва родившись, наследник стал кавалером высшего ордена. Такова была судьба Ивана Антоновича: всю свою жизнь, от первого дыхания до последнего, он провел в цепях. А французский посол маркиз де ла Шетарди удостоился в августе 1741 года даже положенной по протоколу аудиенции у годовалого императора. Единственным исключением в

церемониале было то, что послу, явившемуся в указанный час во дворец, пришлось подождать полчаса, пока – редкостная ситуация в дипломатической практике – «царь проснется» *(queleCzarflitreveille)*. «Тогда я, – продолжал свой отчет Людовику XV Шетарди, – был введен в парадную опочивальню правительницы, она держала у себя на руках царя с возложенным на него орденом (как на упомянутой гравюре. – *Е. А.)*. Двери опочивальни закрылись, и при аудиенции находились лишь обер-гофмаршал и барон Миних. Вид незнакомого лица нимало не смутил спокойного настроения царя, и, когда по окончании своей речи я представил ему три письма, которые Ваше величество мне прислали, правительница протянула руку, которою она поддерживала этого государя спереди, и взяла письма». После этого посол имел встречу с самой правительницей.[330]

Но вот, пожалуй, еще один живой документ, который дает представление о подлинной жизни маленького императора Ивана. Это – систематическая опись императорских покоев 1741 года. Пройдя через множество комнат и зал, мы попадаем в спальню Ивана. Здесь всем командовала старшая мамка царя Анна Юшкова, не отходившая от младенца ни на шаг. Ночевала она в соседней комнате, рядом жила и тщательно выбранная из множества кандидаток кормилица Екатерина Иванова со своим сыном – молочным братом Ивана, а также фрейлина Бина Менгден, сестра Юлии. Младенца, как известно, сразу после рождения отобрали у роженицы и поместили в покоях, соседствовавших с царскими. И как только императрица испустила дух, Анна Леопольдовна побежала в спальню сына и воссоединилась с ним – как ей казалось, навсегда.

Согласно описи, у царя были две дубовые колыбели, оклеенные снаружи парчой, а внутри зеленой тафтой. Колыбели специально строил лучший мастер Адмиралтейства. На маленьких скамеечках лежали мягкие подушечки, покрытые алым сукном. Не менее красивы были и маленькие кресла – малиновый бархат, золотой позумент. Первый трон императора был пока на колесах – кресло с высокой спинкой и ножками. Вряд ли именно на нем младенец принимал письма Людовика XV из рук маркиза де ла Шетарди, скорее всего на этом троне он принимал кашу. Мебель, убранство комнат – все представляло собой произведения искусства, созданные выдающимися мастерами. Особенно великолепны были вышитые золотом и серебром обои. Оконные и дверные занавеси подбирались в тон обоям, которые были всех цветов радуги: зеленые, желтые, малиновые, синие. Пол также обивали красным или зеленым сукном, заглушавшим все шумы и скрипы. До чудесной опочивальни царя могли долетать лишь

нежный перезвон часов да легкое шуршание платьев служанок и фрейлин, которые сдували каждую пылинку с младенца – повелителя жизни миллионов подданных.

Возможно, императора возили посмотреть и на невиданные подарки, прибывшие из Персии, – огромных слонов и верблюдов. 10 октября 1740 года петербуржцы высыпали на улицу, чтобы поглазеть на удивительное зрелище – в столицу вступало посольство персидского шаха Надира. К этому времени Надир достиг вершины своего могущества – к его ногам пала Индия, империя Великих Моголов. Разграбив Дели, он вывез оттуда сказочно богатые трофеи и частью их решил поделиться со своим великим северным соседом, который, как и Надир, воевал с турками.

Огромный красочный караван прошел по Невскому проспекту. Посол, в расшитых золотом одеждах, гарцевал на великолепном коне, следом величественно вышагивали четырнадцать слонов – живые подарки царю Ивану. Бесконечная вереница мулов и верблюдов везла подарки и припасы посольства. Но это было не все посольство. Вступление персидского каравана в Астрахань вызвало панику в столице – шестнадцатитысячное посольство весьма напоминало армию под прикрытием пальмовой ветви мира. С трудом удалось уговорить персов сократить посольство в четыре раза, но и так оно осталось огромным. Но еще невероятнее оказались подарки – сказочные дары персидского шаха: бесценные восточные ткани, сосуды изящных форм, оружие, конская сбруя, усыпанные драгоценными камнями, редкой красоты сапфиры, алмазы, рубины.

Вероятно, правительница Анна и девица Менгден забросили свое прежнее скучное занятие – спарывание позумента с жалких камзолов Бирона и его сына и принялись перебирать камни от Надира – если это подарок, то сколько же дивных богатств в его столице Мешхеде! Посольство Надира прибыло в столицу России уже после свержения Бирона, хотя в путь отправилось наверняка еще при нем.

Любопытно, что за год до описываемых событий французский посланник Шетарди, узнав о назначении Бирона регентом, тотчас вспомнил Надир-шаха и поразился схожести судеб этих двух людей, почти одногодков. До какого-то момента их жизненные пути совпадали просто удивительно. Надир в Персии, как и Бирон в России, был чужестранцем, тюрком из племени афшаров, беглым рабом из Хорезма. Он сумел полностью подчинить своему влиянию шаха Тахмаспа II Сефевида. Затем хитростью, силой и коварством добился низложения своего повелителя и провозглашения шахом восьмимесячного сына Тахмаспа Аббаса

III, при котором стал регентом. Прошло четыре года регентства. Надир решил вступить на престол сам. Для этого были устроены грандиозные выборы, где комедия публичных отказов Надира занять престол сменялась тайными интригами и убийствами тех, кто всерьез принял отставку временщика. Наконец после долгих уговоров Надир согласился – конечно, нехотя, только ради блага и интересов государства! – занять трон. Вскоре Аббаса III и его отца Тахмаспа умертвили. Династия Сефевидов перестала существовать, а через несколько лет нож убийцы пронзил грудь и самого Надира.

Любопытно, что Надир-шах, посылая посольство в Петербург, надеялся получить согласие русских на брак с Елизаветой. До Мешхеда и Дели докатилась слава о голубоглазой красавице-цесаревне, дочери Петра Великого. Именно ее он предполагал ослепить блеском золота и сиянием бриллиантов и сапфиров. И это была не шутка. 17 октября 1741 года правительница писала в Дрезден Динару: «Персидский посол со всеми своими слонами получил аудиенцию, так же как и турок. Говорят, что одна из главных целей его миссии – сосватать принцессу Елизавету сыну Надир-шаха, и что в случае отказа он пойдет на нас войной. Терпение! Это будет всего лишь третий противник, и упаси нас Господь от четвертого. Не принимайте всерьез эту просьбу перса, я не шучу, этот секрет стал известен от фаворита посла».[331]

Но не довелось посланнику шаха увидеть прекрасных очей Елизаветы – Остерман не допустил. Из-за этого цесаревна была в гневе и велела передать Остерману, что он забывает, кто она и кто он сам – бывший писец, ставший министром благодаря милости Петра Великого, ее отца, и что Остерман может быть уверен: ничего она ему не простит! Как мы знаем, Елизавета действительно не простила Остерману обиды. Конечно, дело не в том, что цесаревна рвалась в гарем Надира. Она рвалась к власти! Ее час приближался, она уже почувствовала свою силу, и это ясно проявилось в ее гневе.

* * *

В конце октября – начале ноября 1741 года в правительственных кругах начали, как тогда говорили, «толковать о суксессии», или престолонаследии. Слухи об этом поползли по дворцу, а потом по городу. Говорили, что правительница хочет короноваться и произойдет это в декабре 1741 года. Что стояло за всем этим?

Инициатором обсуждения вопроса о престолонаследии с

участием женской части династии стал глава Синода архиепископ Амвросий, точнее, его гость – малоизвестный при дворе действительный статский советник Тимирязев. Как видно из следственного дела 1742 года, как-то в разговоре Амвросия с Тимирязевым стали обсуждать фигуру Остермана, который всегда выходит сухим из воды. В подтверждение этой мысли собеседники наперебой заговорили о том, что Остерман «регенту… все помогал и все действо его, только-де к нему ничто не льнет». И тут Тимирязев сказал, что Остерман «регента сверстал с принцессою Анною», в смысле сравнял по власти, и, в результате, правительница и великая княгиня должна править страной на том же основании, что и низкопородный Бирон. Амвросий принес манифест – известный нам Акт и попросил Тимирязева отметить то место, где это «сверстание» прописано, чтобы показать его самой правительнице как пример происков Остермана. Вот этот отрывок из манифеста 17 октября об установлении регентства Бирона: «А ежели Божеским соизволением оный любезный Наш внук, благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего и, не оставя по себе законнорожденных наследников, преставится, то в таком случае определяем и назначиваем в наследники первого по нем принца, брата его от Нашей любезнейшей племянницы Ее высочества благоверной государыни принцессы Анны и от светлейшего принца Антона Улриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского рождаемого; а в случае и его преставления других законных из того же супружества раждаемых принцов всегда первого и при оных быть регентом до возраста их семнадцати ж лет упомянутому ж государю Эрнсту Иоанну, владеющему светлейшему герцогу Курляндскому, Лифляндскому и Семигальскому и управлять всякого именования государственные дела как выше сего установлено, а в таком случае, ежели б, паче чаяния, по воле Божеской случиться могло, что вышеупомянутые наследники, как великий князь Иоанн, так и братья его преставятся, не оставя после себя законнорожденных наследников, или предвидится иногда о ненадежном наследстве, тогда должен он, регент, для предостережения постоянного благополучия Российской империи заблаговременно с кабинет-министрами и Сенатом, и генералами-фельдмаршалами и прочим генералитетом о установлении наследства крайнейшее попечение иметь, и по общему с ними согласию в Российскую империю сукцессора изобрать и утвердить, и по такому согласному определению имеет оный Российской империи сукцессор в такой силе быть, якобы по Нашей самодержавной императорской власти от Нас самих избран был».[332]

В чем же Тимирязевым и Амвросием была усмотрена интрига Остермана по «сверстанию» правительницы с регентом Бироном? Мы знаем, что не только Остерман приложил руку к этому памятному в русской истории документу. Увидеть здесь уравнение прав правительницы и регента и соответственно – рассмотреть это как сознательное принижение Остерманом статуса Анны Леопольдовны мог только весьма пристрастный к вице-канцлеру человек. Как уже сказано выше, по этому закону принцесса, как и ее супруг даже не упоминаются в качестве, которое могло бы «сверстать», уровнять их с регентом Бироном, – они неизмеримо ниже его и упомянуты лишь как субъекты, производящие будущих суксессоров императора Ивана. Но когда регент Бирон исчез и регентшей (правительницей) стала Анна Леопольдовна, то она, действительно, «сверсталась» с Бироном, заняв его место и получив права регента по временному управлению государством до совершеннолетия сына. Но Остерман тут был ни при чем и подобного обвинения он никак не ожидал. В сущности, верноподданническая мысль Тимирязева и Амвросия сводится к тому, что правительница как мать императора, особа, принадлежащая к роду Романовых, племянница покойной императрицы и внучка русского царя должна иметь теперь больше прав, чем некогда имел иностранный худородный временщик.

Через два дня друзья встретились вновь, и Амвросий рассказал: «Принцессе Анне <я> доносил о том и она-де сказала: „Я-де подлинно тем обижена, да не только-де тем, что с регентом меня сверстали и дочерей-де моих обошли“, а про Остермана-де ничего не говорит».[333] Так появляется новый сюжет: по букве закона, в случае смерти Ивана Антоновича трон переходит к следующему рожденному в браке Анны Леопольдовны и Антона Ульриха сыну, тогда как дочери в качестве возможных наследниц не упомянуты.

Сомнения Тимирязева и Амвросия, видевших во всем происки Остермана, оказались в этот момент актуальны для режима правительницы по другим причинам. Любопытно, что при расследовании дела Бирона в 1740–1741 годах вопрос о поставлении на трон, согласно завещанию Анны Иоанновны, грудного младенца не казался правительнице Анне Леопольдовне и ее окружению бесспорным. У подследственного Бестужева-Рюмина, в частности, спрашивали, «по каким видам при учреждении регентства женскаго полу линия от онаго весьма выключена, хотя с пятнадцать лет (то есть в течение последних пятнадцати, а точнее – тринадцати лет. – *Е. А.)* две императрицы (Екатерина I и Анна Иоанновна. – *Е. А.)* Российскою империею

обладали?».[334] Что мог ответить на это Бестужев – воля Анны Иоанновны была законом!

Но, став правительницей после свержения Бирона, Анна Леопольдовна поначалу не очень волновалась. Во время следствия 1742 года М. Г. Головкин показал, что он правительнице «представил, что-де сожалительно, что в некоторых, при таком учреждении наследства, пунктах не довольно изъяснено, а особливо о принцессах не упомянуто; то на сие она сказала, что сие-де не уйдет и потом-де он от ней о сем деле почти чрез целой год ничего не слыхал».[335]

Год спустя произошли некоторые важные события, заставившие правительницу изменить прежние взгляды. 15 июля 1741 года она родила второго ребенка – девочку, названную в честь покойной бабушки Екатериной, а в сентябре внезапно и тяжело заболел годовалый император Иван, о чем писал в своем дневнике брат Антона Ульриха. У мальчика открылась сильная рвота, и все окружающие страшно перепугались.[336] И хотя вскоре малыш поправился, правительница и ее окружение были весьма обеспокоены. Детская смертность в те времена была явлением обыденным. Это обстоятельство учитывалось и правительницей, и Остерманом, который, внимательно следя за обстановкой, боялся, что «ежели б впредь принцев не было, то чтоб не произошло замешательства со стороны цесаревны», то есть Елизаветы Петровны.[337] Так говорил Остерман на допросе 1742 года, но об этих его опасениях известно и по другим источникам.

Елизавета Петровна, внимательно следившая за положением при дворе, говорила Шетарди, что император «непременно умрет при первом сколько-нибудь продолжительном нездоровье», и это якобы открывает перед ней новые политические перспективы.[338] Когда она узнала о болезни императора, то в какой-то момент так растерялась, что ночью послала к Шетарди своего камергера с просьбой дать ей совет, как действовать в случае смерти императора.[339] Итак, было очевидно несовершенство законодательной базы режима правительницы: Анна Леопольдовна управляла по закону, учрежденному для регента Бирона! И тем самым была ограничена действующим законом в определении наследства.

Когда Тимирязев, по совету Амвросия, направился с манифестом к фрейлине Юлии Менгден (которая, по словам архиерея, «очень… в милости» у правительницы), то оказалось, что та уже в курсе проблемы («мы-де знаем»). Менгден ушла к правительнице, а вернувшись, посоветовала Тимирязеву сходить к М. Г. Головкину: «Скажи ему, что он по приказу принцессы Анны

написал ли, а буде написал, то б привез, да и манифест, как сверстана принцесса Анна с регентом, покажи, и что-де он тебе скажет, то пришед к ней (правительнице. – *Е. А.)* скажи». Головкин отвечал Тимирязеву: «Мы-де про то давно ведаем, я-де государыне об этом доносил обстоятельно, а что касается до написания, о том скажи ж фрейлине, что сам завтре будет во дворец». Сам Головкин показал, что он отвечал Тимирязеву иначе: «Ему (то есть Головкину. – *Е. А.)* о сем деле одному делать нечего, надобно о том с прочими кабинетными министрами подумать, и с тем-де его, Темирязева, отпустил».[340] По возвращении во дворец у Тимирязева состоялся разговор уже с самой правительницей, которая оказалась в покоях Юлии. И тут Анна Леопольдовна, не дожидаясь приезда Головкина, приказала самому Тимирязеву подготовить два варианта манифеста: «Поди ты, напиши таким маниром, как пишутся манифесты, два: один в такой силе, что буде волею Божиею государя не станет и братьев после него наследников не будет, то быть принцессам по старшинству, в другом напиши, что ежели таким же образом государя не станет, чтоб наследницею быть мне».

Позже Тимирязев показал на следствии, что этот указ привел его в смущение «для того, что он того писать не умеет». Но, как известно, инициатива всегда наказуема: «А она, увидя, что он оробел, сказала: чего-де ты боишься, ведь-де ты государю присягал, также чтоб у ней быть послушну и в том присягал? И он донес, что присягал. – А когда-де присягал, то помни присягу и поди сделай и, сделав, отдай фрейлине, только-де не пронеси (то есть не разгласи. – *Е.А.),* помни свою голову!»

Так как инициатор, видно, сам был горазд только чужие манифесты ругать, а не свои писать, то по его просьбе приятель – секретарь Иностранной коллегии Позняков сочинил два варианта манифеста. Набело же все переписал копиист Кирилов из конторы Коллегии экономии, после чего Тимирязев отвез подготовленные бумаги и передал их Юлии Менгден. Со слов Познякова, допрошенного в 1742 году, «сила», то есть суть проекта состояла в том, что император Иоанн объявлял подданным: по указам Петра Великого и императрицы Анны Иоанновны «в самодержавную власть предано наследников по себе избирать и определять, почему и мы наследником определены и узаконены, и хотя в том манифесте показано, что по нас братья наши быть имеют, однако ж случиться может, что мы тогда сего света лишимся, когда еще братьев не будет, то в таком случае определяем наследницею мать нашу или сестер».[341]

Почему такое важное дело о порядке наследования было

поручено почти постороннему человеку – некоему действительному статскому советнику, фамилию которого потом не мог вспомнить никто из первых лиц государства? И притом прожектер этот писал проекты даже не сам – за него это сделал секретарь Коллегии иностранных дел, а перебелял проект какой-то копиист! Все это говорит о том, что государственные дела были, в сущности, пущены на самотек. Но есть и другое объяснение происшедшему. В принципе, дело это было раньше поручено кабинет-министру вице-канцлеру графу М. Г. Головкину, который сам, как сказано выше, коснулся проблемы престолонаследия в разговоре с Анной Леопольдовной сразу же после свержения Бирона, но тогда правительница решила с этим не спешить. После появления Тимирязева с его инициативой дело получило продолжение, но довольно странное. Из показаний 1742 года причастных к расследованию лиц видно, что Головкин стал всячески затягивать дело. После приезда Тимирязева необходимый проект он так и не составил, и правительница за это на него обиделась. Со слов Тимирязева, Головкин «ей сурово сказал, <что> надобно-де подумать». И правительница тогда сделала вывод: «Знатно, что не хочет делать, и для того она Остерману вручила» это дело.[342]

Остерман показал, что, действительно, он был призван к правительнице, которая сказала ему, что у нее был «один из статских советников, а кто именем, не упомнит» и говорил с ней о проблеме престолонаследия, что «во учреждении о наследстве о принцессах не упомянуто, которые-де всегда в России в неимении принцев наследницами бывают, и сие-де таким образом дала знать, что будто бы от него, Остермана, было упущено (яд, влитый Амвросием, подействовал! – *Е. А.),* и приказала, что-де надобно подумать, чтоб сие исправить».[343] На следующий день Остерман написал ей записку, что «понеже то известное дело важно, то не прикажет ли о том с другими посоветовать, а именно с канцлером князем Черкасским и архиепископом Амвросием». Правительница отвечала, что согласна, но просит привлечь к обсуждению и Головкина. Это письмо дошло до наших дней (в подлиннике на немецком языке и в современном документу переводе): «Для известнаго дела я признаваю за лутчее, чтоб вам з Головкиным сношение иметь, понеже он, Головкин, то дело зачал и дабы в противном случае от того не произошло ссоры». Попутно отметим желание правительницы не обострять отношения двух «партий» и примирить их.

Головкин, узнав о том, что делом занялся не только какой-то Тимирязев, но и Остерман, заспешил: воспользовавшись визитом обер-прокурора Брылкина, который сказал, что «граф Остерман

был во дворце и о наследстве нечто разговаривал»,[344] он надиктовал Брылкину проект указа правительницы Кабинету министров о созыве в Кабинете высшего военного руководства (фельдмаршалов Миниха и Ласси, генерал-аншефов Чернышева и Левашева, адмирала Головина), а также генерал-прокурора князя Никиты Трубецкого и церковных иерархов из Священного синода – архиереев Новгородского и Псковского. Именем правительницы им должно было быть предложено «иметь по сему общее рассуждение» относительно отмеченного выше противоречия в законах, «надеяся на вашу многопоказанную к Российской империи продолжающуюся и верную службу». При этом высокому собранию не навязывалось никакого конкретного решения: «Повелеваем вам, любезноверным, о сем подумать. К чему по оной духовной по предписанному не достанет, взять в зрелейшее разсуждение о впредь случатися могущих приключениях. 1. Как пристойнее чему быть. 2. Как то в сей империи узаконить. 3. Как то в действо произвесть, о том писменно и заруча, нам представить, дабы разные нечаянные случаи предусмотрены и предупреждены были во удовольствие и во успокоение, как всему Российскому государству, так и нам».[345] Как мы видим, сановникам ставится задача, изложенная в крайне неопределенной форме. Но Брылкин, который проект указа писал под диктовку Головкина, понял его просто: «Как вздумать лучше о правлении государства, кому вручить, ежели не станет принца Иоанна, принцессам быть ли, а буде никого, кроме матери, не останется, кому быть…» То, что в документе обращается внимание на возможные «разные несчастные случаи», должно было навести советников на желаемое правительницей решение. Пакет с этим проектом был тотчас через Брылкина передан правительнице, которая, взяв его, сказала Брылкину: «Добро, я посмотрю, а я-де думала, что Головкин делать не хочет».[346]

Как мы видим, мысли и Остермана, и Головкина двигались в одном направлении – ответственность за подобное важнейшее решение необходимо разделить с первыми лицами государства, для чего оба сановника и предлагали сообща обсудить проблему престолонаследия. Правительница предписала им встретиться с этой целью, но разговора так и не получилось – Головкин заявил, что ему нужно день-другой подумать. Возможно, он заканчивал тогда свое особое «Представление». В нем Головкин высказывал обеспокоенность положением Манифеста о наследстве, изданного 5 октября 1740 года, а также духовной покойной императрицы Анны Иоанновны от 17 октября того же года. Согласно этим документам, как пишет Головкин, «принцы, раждаемые от Ея Императорского высочества государыни великой княгини и

правительницы всея России один за одним Российской империи наследники; а о принцессах умолчено». Духовная же Анны Иоанновны давала «власть бывшему регенту собрать Кабинет, Сенат и генералитет, которым обще изобрать сукцессора (наследника. – *Е. А.)* и утвердить». По мнению автора представления, эти акты создают довольно странную правовую ситуацию: если вдруг умрет император Иван Антонович, а у супругов – правительницы и принца – будут рождаться только принцессы, «то должны российские верные подданные дожидатца принца от Ея императорского высочества государыни великой княгини, а не вновь кого избирать?». Созвать же, как было предписано регенту Бирону завещанием Анны Иоанновны, избирательное собрание для выбора наследника казалось теперь «неприличным» для статуса правительницы и, кроме того, – вдруг лет через десять родится все-таки принц-наследник! И ото всего этого, «ежели Его императорского величества (Ивана Антоновича. – *Е. А.)* не станет, чего Боже сохрани (обычная обереговая фраза, когда нужно упомянуть возможность несчастья. – *Е. А.),* не пришла б Российская империя в неведомое и в болезненное состояние». Из этой, казалось бы, безвыходной ситуации выход, по мнению Головкина, достаточно прост: «Того ради слабейшее мое мнение представляю, буде паче чаяния, чего Боже сохрани, когда государя не будет, то в таком случае для спокойства и заблаговременного удовольствия всей Российской империи ныне узаконить под присягою, чтоб Ея императорское высочество государыня великая княгиня и правительница всея России тогда была императрицею. И по сему кажется, все сумнительствы, которые произойти могут, пресекутся».[347]

Итак, предполагалось, что существующие положения законов нужно дополнить нормой о том, что, в случае смерти императора при отсутствии у него младших братьев, императрицей провозглашается сама правительница. Этот проект и был расценен потом как намерение Анны Леопольдовны «объявить себя императрицею», причем в ближайшем будущем, в свой день рождения 18 декабря.[348] Но, судя по сохранившимся материалам, такая трактовка была сильным преувеличением.

До нас дошли поденные записки Остермана о совещаниях у него дома 2–4 ноября 1741 года по этому вопросу – сначала с Головкиным, а позже – с присоединившимися к ним другим министром, князем А. М. Черкасским, и архиепископом Новгородским Амвросием. Поденные записи составлялись лично Остерманом из предосторожности, так как он «весьма важную причину имел опасаться, чтоб его у принцессы Анны в том деле не обнесли (то есть не оболгали. – *Е.А.),* яко то во многом быть

случалось».[349] Из всего вышесказанного заметно, что высшие чиновники ввязываться в дело о престолонаследии не хотели, особенно после «затейки Бирона». Вместе с тем эти записи хорошо отражают скрытую, подковерную борьбу, которая шла формально по поводу слов, определений и юридических норм, но на самом деле касалась власти и влияния. На первой встрече 2 ноября Остерман и Головкин вели осторожную, учитывая их взаимную неприязнь, игру. (Если бы они, занятые своей мышиной возней, знали, что не пройдет и месяца, как они будут кормить вшей на гнилой соломе в камерах Тайной канцелярии в Петропавловской крепости!)

Головкин, который готовил (или уже подготовил) свое «Представление», поначалу сказал, со слов Остермана, что «то важное дело, о котором надобно подумать, что он ничего на то сказать не может и для того хочет поехать домой, чтоб о том деле подумать. Я ответствовал ему на то, что я с ним в том согласен, что до важности того дела касатца будет, что об оном, также и каким образом в том наилутче поступить можно, напред надлежит иметь рассуждение». Но при этом Остерман – и нужно отдать должное его уму и изворотливости – повернул всю проблему в другом, невыгодном для Головкина и правительницы, аспекте. Он сказал, что, в сущности, «оное дело само по себе ничего чрезвычайного не содержит потому, что по основательным узаконениям сего государства за неимением принцев принцессы без прекословия наследовать могут, как сие поныне и всегда содержано было. Такое наследство введено не токмо в России, но оно и в других землях как в Гишпании, в Англии, в Португалии и в Дании употребительно, також и при нынешней венгерской королеве… и самое дело не имеет никакой новости, но надлежит-де только о том рассуждать, каким бы образом в том поступить надобно было».[350]

Хитрость Остермана заключалась в том, что признание права наследства за новорожденной принцессой Екатериной, равно как и за другими будущими дочерьми правительницы, делало ненужным установление нормы, при которой правительница могла быть самодержицей. Эта позиция Остермана была вполне убедительной: зачем придумывать что-то другое (наверняка он знал, что имела в виду правительница, прося его начать обсуждение с Головкиным), нужно просто распространить право наследства на женских потомков правительницы и принца, как это принято в других странах, да бывало и в России. На следующий день, уже на новом совещании Остерман постарался укрепить свои позиции и добиться поддержки третьего члена Кабинета князя Черкасского, а также новгородского архиерея. Он

сказал: «Рождаемыя от Ея императорского высочества принцессы безбожным образом из оного (наследства) хотя и не выключены, однакож о них не упомянуто; второе – что хотя и на всемогущаго Бога имеем твердую надежду, что он не токмо нашего дражайшего императора к нашему утешению и радости сохранять имеет, но ему еще и многих братьев от Ея императорского высочества дарует, однакож для отвращения всех замешательств и смятений при будущих во власти Божеи состоящих случаях потребно наследство именно утвердить и на принцесс сестер императорских». Остерман считал, что нет необходимости устраивать общий совет, это «в России необыкновенно, что наследство надлежит без всякого прекословия и до принцесс в таком случае, когда нет принцев, что государственные законы позволяют то и партикулярным людям, кольми же паче не позволят того самим государям… и что, следовательно, нам о том только рассуждать надлежит, каким бы образом в том наилучше поступать можно было».

В такой «сестринской» редакции правку Остермана поддержали князь Черкасский и Амвросий. Головкина это не устраивало, он обратил внимание присутствующих на то, о чем он писал в своем «Представлении»: «…надобно напред самим рассудить: в духовной-де содержатся такие вещи, как например, чтоб бывшей регент обще с Сенатом и генералитетом избрал наследника и прочая», имея в виду, что подобное недопустимо для правительницы – матери императора. На это Остерман сказал, что не следует путать целей Манифеста 5 октября и целей духовной 17 октября – они разные: «Я ответствовал на то, что духовная склонялась только до бывшего регентского правления, а узаконения о наследстве до того не надлежит, но что оно еще при жизни Ея императорского величества (Анны Иоанновны. – *Е. А.)* публиковано и присягами утверждено и что в том теперь вся сила состоит, что там о принцессах не упомянуто».[351] Головкин «отвечал, что прежде надлежит все обстоятельно рассудить, а потом-де можно и опять съехаться», но точной даты не назвал, хотя при этом сказал, что он в Кабинете часто видится с Черкасским, «куда-де может также и архиерей приехать, и так-де мы наперед о сем между собою переговорить, а потом и тебе объявить можем, когда нам съехаться надобно будет». По-видимому, Головкин решил вначале переубедить Черкасского и главу Синода, которые запели с голоса Остермана, а потом уже встретиться с самим Остерманом. Но тот битву уже выиграл и поэтому был спокоен: «На сие ответствовал я, что я от них буду о том ожидать известия, чем оная конференция и кончилась».[352]

В то же время Остерман написал свое мнение и передал его

правительнице. В нем он убеждал Анну Леопольдовну применить всю силу действующего законодательства и своих прав – раз она правительница при самодержце, то обладает всеми самодержавными правами: «Узаконение зависит всегда от воли самодержавства такое определение о наследстве учинить, а она-де императорским именем с такою ж самодержавною властию. И силою государство правит, какая приличествует владеющему императору». Поэтому закон о введении в права наследства сестер императора Ивана надлежит «утвердить по здешнему обыкновению как от духовных, так и от светских чинов подписанными присягами и таким образом вдруг в совершенство привесть без продолжения времени».[353] Однако этот простой путь правительницу и Головкина не устраивал. Совещания продолжались, но к конкретным результатам министры не пришли – Остерман предлагал «сестринский план», Головкин и другие предлагали «дело принять в обстоятельнейшее и прилежное рассуждение». Причина, почему Головкин затягивал дело, с которым его послала к Остерману правительница, состояла в том, что из всей цепи логичных и простых умозаключений Остермана выпадал вариант провозглашения самой правительницы императрицей. Открыто она об этом не говорила и даже формально не приказывала приближенным разработать такой вопрос, но явно этого хотела. Между тем у Головкина не хватило ловкости (или желания) найти способ этот вопрос поставить во время обсуждения всей ситуации с престолонаследием в доме Остермана. Сам Остерман обо всем, естественно, догадывался и говорил Левенвольде, что «неизвестно куда то дело клонится и не хочет ли иногда, может быть, сама принцесса сукцессию иметь прежде дочери». Приехавшему к нему Менгдену он сказал определеннее: «Ежели-де то дело начнут добрым порядком, то-де может быть и принцесса Анна императрицею, которая-де так, как и ее дети, к тому право имеют».[354] При мысли об этом многих сановников охватывали сомнения. Вероятно, сомнения эти владели и Головкиным, почему он и проявлял поначалу такую инертность и нерасторопность. Одни (Миних-младший и Менгден) сомневались, можно ли «властию», то есть императорским указом, ввести такое положение: «Государь был младенцем, то кто б о таком деле объявить мог, ибо принцесса Анна токмо… правительница». Миних же старший, «удивляясь, сказал, на что-де сие дело начинают, ибоде от того в дальних провинциях могут рассуждать, что государь не в совершенном здравии или уже умер?».[355] Брат Антона Ульриха Людвиг Эрнст сообщал, что Остерман считал издание подобного манифеста

преждевременным.[356] В разговоре с Левенвольде Остерман, видимо, взвесив все обстоятельства, пришел к выводу: «…то дело делать или властию, то есть указом, или прошением от народа и… он о том, чтоб чрез прошение народное делать просил его, Левенвольде, внушать принцессе Анне, ибо он, Остерман, того мнения был, что сей способ имел быть лучше». А близкому к Антону Ульриху советнику Гроссу Остерман говорил, что государю, по малолетству, «таких, как выше упомянуто, указов выдавать было неприлично, в чем во всем Левенвольд, Менгден и Гросс с его рассуждением, помнится, были согласны».[357]

Возможно, именно в этом и состояла причина задержки с провозглашением правительницы императрицей: несмотря на полноту императорской власти, которой владела Анна Леопольдовна, издать от имени своего сына-младенца манифест о назначении ее самой наследницей престола правительница все же не решилась. В этом деле следовало идти предложенным Остерманом публичным путем: через коллективную челобитную, собрание «всех чинов», то есть тем путем, которым (не без жульничества и шантажа) прошел Бирон. Но можно утверждать, что общественное мнение готовилось к возможной реализации плана. Шетарди в разговоре за обедом с австрийским посланником Ботта коснулись этой темы. Они считали, что завещание Анны Иоанновны ставит царскую семью в затруднение в том случае, если у супругов не будет более сыновей, и «настоящее положение вещей имеет, следовательно, силу, лишь пока царь жив, чтобы поддержать дело в том же положении, в каком оно теперь находится, надо, стало быть, приучить вельмож и простой народ смотреть на правительницу как на монархиню, так, чтобы не казалось, что власть вовсе не ускользает из ее рук, даже если бы царя и не стало, а именно к такой предусмотрительности и такому существенному условию обладания властью я и относил почести, которые желают оказывать правительнице, и факт возведения ее на трон при аудиенции турецкого посла».[358]

Эта история наделала много шума. Дело в том, что в июле 1741 года правительница принимала турецкого посла, сидя «на троне, устроенном для этой цели в галерее дворца». Правда, в отличие от трона Анны Иоанновны, ступенек на троне Анны Леопольдовны было меньше – всего две. Шетарди обратил также внимание на то, что на этот раз Анна Леопольдовна имела на себе гораздо больше бриллиантов, чем при таком случае украшала себя покойная царица. Французский посланник, который, как известно, пекся об интересах цесаревны Елизаветы, ревниво заметил, что, «присваивая правительнице почести,

подобающие лишь коронованным особам, здесь вполне оправдывают подозрение, явившееся у меня со времен низвержения герцога Курляндского», а именно – что правительница претендует «на представительство во всех отношениях, какое принадлежало покойной царице». По мнению Ботта, правительнице «настолько понравилась церемония, происходившая в среду, что выдуманный этикет, запрещающий показывать детей царской крови прежде, чем они достигнут одного года, будет продлен на несколько лет», иначе говоря, правительница будет продолжать выполнять функции императора. К тому же во время разговора с Шетарди Остерман неожиданно назвал правительницу «Ma Souveraine» («Моя государыня»), что Шетарди не показалось оговоркой[359]… А потом наступило памятное для всех 25 ноября 1741 года, когда цесаревна Елизавета Петровна разрешила эту проблему по-своему – государыней стали называть ее.

Глава седьмая
И снова гнутся шведы!

Политическая ситуация в Европе осенью 1740 года резко переменилась из-за того, что почти одновременно не стало трех могущественных государей: в России умерла императрица Анна Иоанновна, в Берлине скончался прусский король Фридрих Вильгельм I, а в Вене – цезарь, император Священной Римской империи германской нации Карл VI. Совпадение двух последних смертей имело роковое значение для европейской истории 1740—1760-х годов. Со смертью австрийского императора пресеклась мужская линия Габсбургов и остро встал вопрос об австрийском наследстве. Император Карл VI хотел, чтобы его престол не стал предметом общегерманского спора, в который непременно ввязался бы давний враг Вены – Версаль, а тихо-мирно перешел бы к его единственной дочери Марии Терезии. Чтобы обеспечить безболезненный переход власти в империи, Карл предпринял грандиозную дипломатическую акцию – на протяжении долгих лет (с 1724 года) многие направления имперской политики определялись тем, подпишет ли партнер Прагматическую санкцию – документ с обязательством одобрить выбор Карлом VI наследника. Большинство германских и иных государей подписывали Прагматическую санкцию, становились гарантами ее исполнения, получали какие-то льготы и уступки, хотя прозорливые политики говорили, что любая бумажка станет для всех непреложным договором лишь в том случае, если она будет нанизана на штыки сильной армии.

Но уже при Карле Австрия не могла обеспечить этим универсальным средством лояльность к Прагматической санкции со стороны крупных европейских держав, особенно Франции и Пруссии, которые, разумеется, тоже являлись гарантами этого документа. Особенно опасна для Австрии была Пруссия, накопившая за долгие годы правления расчетливого короля Фридриха Вильгельма I огромные денежные и военные ресурсы. Его преемник – умный, циничный политик и гениальный полководец Фридрих II – решил расширить свои владения, как делали в разные времена властители-собиратели земель: где унаследовать, где обменять или купить, где округлить территорию при демаркации и т. д. При этом он исходил из правила: если уговорить противника добровольно отдать земли не удается, можно попытаться его обмануть, предъявить сфальсифицированные документы; можно пойти на уступки,

подписать с ним мир, а потом этот мир вероломно нарушить и взять то, о чем мечтает каждый завоеватель; можно и вообще не думать об оправданиях агрессии – победитель всегда прав! Для начала Фридрих облюбовал богатое австрийское владение – Силезию. Когда в конце 1740 года Мария Терезия отказалась продать Фридриху Нижнюю Силезию, то он попросту захватил всю область, бросив туда – без объявления войны – свою могучую армию. Напрасно Мария Терезия взывала к гарантам Прагматической санкции – никто из великих держав не пошевелил и пальцем, чтобы помочь коронованной сестре, попавшей в беду. Первая Силезская война, входившая в цепь Войн за австрийское наследство (1740–1748), была австрийцами проиграна, и в результате Мария Терезия уступила Фридриху Нижнюю Силезию уже бесплатно. Почти сразу же после подписания мира с австрийцами Фридрих вновь вероломно вторгся в австрийские пределы – началась Вторая Силезская война, стоившая Марии Терезии Верхней Силезии. После этого многие другие гаранты Прагматической санкции дружно забыли об этой бумажке и принялись заключать между собой союзы и соглашения с целью разрушить всю империю Габсбургов, или, как тогда говорили, «низложить Австрийский дом». В сущности, началась общеевропейская война, в которой сцепились два основных противника – Франция и Австрия – и их союзники. А Фридрих вел политику шакала: стоял в стороне от борьбы тигров, но в моменты их передышки бросался в бой и отхватывал куски империи – то Богемию с Прагой, то Саксонию с Дрезденом…

Россия отстояла от конфликта на тысячи верст, но считала себя членом клуба главных игроков. В принципе, она могла собрать и послать свой воинский корпус на театр военных действий, как это и предусматривали прежние соглашения с Австрией. Но после смерти Анны Иоанновны ни Бирон, ни Миних, ни Анна Леопольдовна не решились помочь Марии Терезии: Бирон не успел оценить обстановку; Миних, симпатизировавший Пруссии, не хотел помогать австрийцам и готовился заключить с Фридрихом оборонительный союз (что и произошло в январе 1741 года); после падения Миниха правительство Анны Леопольдовны, несмотря на общие проавстрийские симпатии, так и не решилось ни порвать с Пруссией, ни выступить на помощь Марии Терезии, а предпочитало тянуть время. Русские дипломаты ставили австрийцам условия: признать Россию империей и вести переписку не на латинском, а на немецком языке. И вообще, глядя на победы Фридриха, в России сомневались в целесообразности помощи Вене – тогда казалось, что Марию Терезию уже ничто не спасет. В переговорах с австрийцами в

Петербурге русские дипломаты вели себя так же, как большинство так называемых «гарантов» Прагматической санкции – то есть попросту никак, и предлагали австрийцам замириться с пруссаками: невелика беда – потерять какую-то Нижнюю Силезию! Ведь у нас своих бед хватает – и кивали в северном направлении: шведы неспокойны, там сильна партия войны (так называемые «шляпы»), и все усилия русской дипломатии поддержать их противников – «колпаков» (читай – дать им побольше денег) успеха не приносят, так что надо самим готовиться к войне.

Действительно, ситуация в Швеции непрерывно обострялась. Как бы написали в газетах XX века, над Стокгольмом подули ветры реванша. С одной стороны, в стране пришло к власти и стало влиять на общественное мнение новое поколение, которому потеря шведским королевством после поражения в Северной войне (1700–1721) Восточной Прибалтики уже не казалась безвозвратной. Заметное падение престижа России в послепетровский период воодушевляло шведское офицерство, давненько уже не нюхавшее пороха. Настроения реванша, насильственного возврата территорий в Эстляндии, Лифляндии, Ингрии и Карелии, господствовали в шведском обществе. С другой стороны, Швеция, утратив в ходе Северной войны вместе с территориями и свое великодержавие, оказывалась в фарватере политики различных великих держав: то Англии, то Франции, которые диктовали шведам линию политического поведения. Как раз в 1740 году французская дипломатия, преобладавшая в Стокгольме, пыталась столкнуть Швецию с Россией, чтобы в конечном счете не дать России оказать действенную помощь Австрии – исконному врагу французов в Европе.

Весной 1740 года русский посол в Швеции М. П. Бестужев-Рюмин, брат кабинет-министра, чувствовал себя уже как во вражеской стране: шведов, которые к нему приходили, хватали на улице; ему даже пришлось, как бывает в такой ситуации с дипломатами, жечь архивы.[360] Поистине драматичной оказалась судьба высокопоставленного чиновника шведского внешнеполитического ведомства, секретаря Канцелярии по иностранным делам барона Гильденштерна, которого в феврале 1741 года полиция схватила ночью, когда он выходил из русского посольства. Гильденштерн был известен как сторонник России и противник Франции, а оказавшись в доме Бестужева, он нарушил принятый рикстагом в 1740 году закон, запрещавший правительственным чиновникам иметь контакты с иностранными послами. Гильденштерн был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. И только после

заключения русско-шведского мира 1743 года его выдали России, где ему назначили пенсию от правительства и поселили в Курляндии под чужим именем.[361]

Но, несмотря на все трудности, Бестужеву удавалось получать информацию как о шведских приготовлениях, так и о том, что шведы рассчитывают на смуту в самой России, которая должна облегчить возврат уступленных Петру в 1721 году территорий Восточной Прибалтики. По сообщениям Бестужева, шведская интрига строилась на том, что предстоящую смуту возглавит цесаревна Елизавета Петровна, которая при поддержке шведов сможет отнять власть у слабой правительницы и вернет Швеции ею утраченное.[362] Но все это были только разговоры до тех пор, пока решение, как полагалось в Шведском королевстве, не принял парламент – рикстаг, чрезвычайная сессия которого оказалась бурной и продолжительной. Наконец постановление было вынесено, и 28 июля 1741 года Бестужеву зачитали ноту об объявлении войны. Россия обвинялась в том, что вела переговоры со Швецией высокомерным языком, нарушала заключенные ранее соглашения, вмешивалась во внутренние дела королевства, запрещала вывозить в Швецию хлеб. Это было тогда важной межгосударственной проблемой: без хлеба, который Швеция раньше вывозила из Восточной Прибалтики, страна прожить не могла. Поэтому одним из условий Ништадтского мира 1721 года было обязательство России поставлять зерно в Швецию. В конце 1730-х годов по каким-то причинам эти поставки прекратились, и Швеции грозил голод.

Наконец, в ноте было сказано, что шведская нация оскорблена убийством дипкурьера барона Синклера, и это оскорбление можно смыть только кровью.[363] Действительно, история с Синклером вышла некрасивая, и российские спецслужбы тогда довольно сильно опростоволосились. Это произошло летом 1739 года. Майор барон Синклер вез из Стамбула в Стокгольм важные дипломатические бумаги, касающиеся совместных действий Османской империи и Швеции против России. Русский посол в Стокгольме М. П. Бестужев-Рюмин не раз советовал Петербургу «анвелировать», то есть, говоря языком XX века, ликвидировать Синклера, «а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой». Петербург и Вена договорились было перехватить Синклера и изъять у него документы, но когда в начале июля 1739 года выяснилось, что при попытке их изъятия шведский дипкурьер был убит, в Вене и других европейских столицах начался скандал. Подозрение сразу пало на русских, Швеция громко возмущалась, газеты Западной Европы подняли шум – уже

в те времена злодейское убийство дипкурьера считалось делом недопустимым. Петербург сразу стал открещиваться от преступления. В письме русскому послу в Саксонии барону Кейзерлингу императрица Анна Иоанновна с показным возмущением писала: «Сие безумное богомерзкое предприятие нам подлинно толь наипаче чувствительно, понеже не токмо мы к тому никогда указу отправить не велели, но и не чаем, чтоб кто из наших определить мог. Иное было бы письма отобрать, а иное людей до смерти бить, да к тому ж еще без всякой нужды. Однако ж как бы оное ни было, то сие зело досадительное дело есть и всякие досадительные следства иметь может». Послание это, естественно, предназначалось для «разглашения в публике»: все знали, что письма перлюстрируются, да и Кейзерлинг не должен был делать секрета из полученного от государыни письма. С той же целью императрица послала рескрипт командующему русской армией фельдмаршалу Миниху на турецкий фронт: «Мы совершенно уверены находимся, что вы в сем мерзостном приключении столько ж мало участия, как Мы, имеете, и вам ничто тому подобное без нашего указу чинить никогда в мысль не придет». Отвечая государыне, Миних полностью отрицал свою причастность к убийству Синклера и клялся: «Меня никогда подвигнуть не может, чтоб нечто учинить, что честности противно, и сие еще толь наименьше, понеже я не токмо Вашего величества указами к тому не уполномочен, но и сам совершенно знаю, коль мало оное от Вашего императорского величества апробовано и вам приятно было б».

Вся эта переписка была на самом деле дымовой завесой. Императрицу обеспокоил начавшийся скандал, так как он поставил Россию на грань войны со Швецией, но поначалу она одобряла «анвелирование» Синклера. Миних же вообще был исполнителем высочайшей воли – группа офицеров под командой драгунского поручика Левицкого получила от него тайную инструкцию от 23 сентября 1738 года, в которой было сказано: «Понеже из Швеции послан в турецкую сторону с некоторою важною комиссиею и с писмами маеор Инклер, который едет не своим, но под именем называемого Гагберха, которого ради высочайших Ее императорского величества интересов всемерно потребно зело тайным образом в Польше перенять и со всеми имеющимися при нем письмами. Ежели по вопросам об нем где уведаете, то тотчас ехать в то место и искать с ним случая компанию свесть или иным каким образом ево видеть, а потом наблюдать, не можно ль ево или на пути, или в каком другом скрытном месте, где б поляков не было, постичь. Ежели такой случай найдется, то старатца его умертвить или в воде утопить, а

писма прежде без остатка отобрать». Но Синклер все не ехал и не ехал. В начале 1739 года Миних дал новую инструкцию поручику Левицкому, а также капитану Кутлеру и поручику Веселовскому уже не только насчет Синклера, но и насчет других подлежащих «анвелированию» врагов России – вождей венгров и запорожцев Ракоци и Орлика. А 1 августа 1739 года Миних докладывал государыне, что получил ее указы, «каким наилучшим и способнейшим образом как о Синклере, так и о Ракотии и Орлике комиссии исполнять и их анвелировать», и все, что от него требовалось, в отношении Синклера исполнил. Далее он описывает трудности проведенной операции, все лавры которой конечно же должны были принадлежать ему.[364] Материалы, обнаруженные у Синклера, не представляли собой никаких сверхсекретов, но отношения со Швецией были испорчены. В другое время этот инцидент не стал бы причиной войны, но тут он, даже спустя много времени, шведам пригодился.

Война Швеции против России была, по сути дела, легкомысленной авантюрой, данью воинственным настроениям дворянской молодежи, которая мечтала «отомстить за отцов». Во-первых, при всех политических неурядицах в столице русская армия к 1740 году прошла две успешные войны – Русско-польскую 1733–1735 годов и Русско-турецкую 1735–1739 годов. Несмотря на многие недостатки в ведении военных действий, комплектовании и снабжении, русская армия начала 1740-х годов была вполне боеспособна. Ее офицерский и генеральский корпус был прочным сплавом русских и иностранных профессионалов, которые хорошо знали свое дело. Наконец, Россия имела подавляющее численное превосходство в вооруженных силах: без особых усилий она могла выставить не менее 75—100 тысяч солдат против максимум 30 тысяч шведов.

Во-вторых, шведская армия обладала низкой боеготовностью. Включенные в нее полки, укомплектованные из финнов и финляндских шведов, не хотели воевать. В местах сосредоточения войск не были заранее приготовлены припасы и вооружение. Правда, в Финляндию был послан генерал Будденброк с рекогносцировочной миссией, но он, как и многие другие генералы, рвался в бой и в своем отчете не отразил возможных проблем, которые сразу возникли у шведской армии. В Стокгольме царили шапкозакидательские настроения. Сторонники войны «объявляли повсюду, будто одного шведа достаточно, чтобы обратить в бегство десятерых русских, и армии их стоит только показаться, чтобы выйти победительницей».[365]

Предупреждения Бестужева об активности шведов были учтены правительством. В столицу вызвали фельдмаршала А. П.

Ласси и начали формировать Финляндский корпус, который должен был действовать против шведской армии графа Левенгаупта. Но все-таки до самого начала военных действий в Петербурге не верили, что шведы решатся воевать, и даже когда в середине июля из Петербурга под видом срочной поездки по делам своих померанских владений отбыл шведский посланник Э. Нолькен, никто не понял истинного значения этого отъезда. Война была совершенно некстати режиму Анны Леопольдовны, который только-только установился и остро нуждался во внешней стабильности. Кстати, обращение русского правительства к новому союзнику – Фридриху Прусскому, который именно в таком случае должен был, согласно букве и духу заключенного с ним союзного трактата, оказать вооруженную помощь, ни к чему не привело – Фридрих был верен не трактатам, а себе. Не помогли и англичане, хотя по русско-английскому договору они были обязаны выслать в Балтийское море флот в помощь России. [366]

Неприятной стороной этой войны было то, что театр военных действий находился в непосредственной близости от Петербурга. Поэтому войска сосредоточили в направлениях, которые были наиболее опасны для столицы: в Кронштадте, на Красной Горке, в Эстляндии, Выборге и в самом Петербурге. Самая крупная группировка (34,5 тысячи человек) находилась на Выборгском направлении – не было секретом, что шведы двинутся из Южной Финляндии. К августу 1741 года русская армия под командой фельдмаршала Ласси (около 26 тысяч солдат) сосредоточилась под Выборгом.

Русское командование постоянно получало точную и обильную информацию о передвижениях и силах шведов от перебежчиков – преимущественно финнов, среди которых было немало противников шведского владычества и откровенных сторонников России. Зная о своем численном превосходстве над шведско-финскими войсками и о том, что главные силы шведов еще не переброшены в Финляндию, русское командование решило не ждать вторжения неприятеля через границу и двинуло десятитысячную группировку вглубь финляндской территории по направлению к крепости с труднопроизносимым для русских солдат названием Вильманстранд. Хотя, думаю, наши солдаты потом приспособились к этому названию, ведь называли же они Ревель – Левером, Шлиссельбург – Шлюшиным, а Ораниенбаум – Рамбовом. Под Вильманстрандом располагались на значительном расстоянии друг от друга корпуса шведской армии генерала Врангеля и генерал-лейтенанта Будденброка.

22 августа русские полки были уже на ближних подступах к

Вильманстранду – крепости, расположенной в очень удобном для обороны месте. Вообще, в этой, как и в других войнах в Финляндии, была своя специфика: отсутствие открытых пространств, удобных для передвижения больших масс войск, чащобы, болота, каменные гряды, речки и озера. Передвижение войск было возможно либо на мелкосидящих судах вдоль изрезанного фьордами побережья, либо по узким дорогам колоннами, движение которых затрудняли возможные засады. Вильманстранд стоял на возвышенности, на берегу широкого озера, и с этой стороны его гарнизон не опасался нападения. Остальные направления защищали мощные земляные укрепления крепости. Подход к городу был возможен только по одной дороге, что позволяло даже небольшой группировкой сдерживать наступление больших масс вражеских войск. Вокруг простирались овраги, болота, скалы и леса – местность для передвижения войск непригодная. Слабым местом обороны крепости было то, что расположенный неподалеку от крепости Мельничный холм был выше той возвышенности, на которой находилась крепость, но шведы предусмотрительно держали там сильный отряд войск.

В нескольких верстах от Вильманстранда русские войска встали на ночлег вдоль единственной большой дороги, ведшей к городу. В полках царило тревожное настроение, и в результате в наступающей темноте возникла ложная тревога, началась беспорядочная пальба, так что первые потери русская армия понесла от собственных выстрелов: были убиты офицер и 17 солдат. Несколько пуль насквозь пробили палатку, в которой невозмутимо спал фельдмаршал Петр Петрович Ласси, «хоть иноземец, но человек добрый», как говорили о нем солдаты. Две сотни испуганных выстрелами драгунских лошадей вырвались на свободу и помчались по дороге, чем, в свою очередь, возбудили тревогу шведов, подумавших, что русские начали наступление ночным ударом конницы. Еще задолго до вступления русских в неприятельские пределы шведские солдаты пугали друг друга страшными рассказами про донского атамана Краснощекова, который по описаниям иностранцев был настоящий гунн – невероятно жестокий, он тренировал руку, отсекая головы десяткам пленных, а свои раны лечил человеческим жиром и вообще с удовольствием ел человечину, запивая ее, естественно, русской водкой.[367]

Утром 23 августа началось сражение. Точная численность шведской группировки не была известна Ласси, но он знал, что у него войск все равно больше (как потом оказалось, почти в три раза: 9900 против 3500 человек). Возможно, Ласси не очень хорошо понимал обстановку, не имел определенной диспозиции

для наступления, и все же собранный накануне военный совет настоятельно рекомендовал ему начать штурм. Было решено в первую очередь сбить шведов с Мельничной горы – ключевой точки обороны Вильманстранда. Первая попытка двух русских гренадерских полков после полудня атаковать шведские позиции на склоне горы, усиленные пушками, окончилась неудачей. Как писал Манштейн, известный читателю по истории ареста Бирона (и получивший в награду за мужество, проявленное при блуждании в потемках Летнего дворца, чин полковника и должность командира Астраханского пехотного полка), «так как место было тут чрезвычайно узкое и из леса, находившегося перед русскими, нельзя было выйти иначе, как фрунтом только в две роты, приходилось спускаться по крутому оврагу и подыматься в гору в виду неприятеля и под чрезвычайно сильной его пушечной и ружейной пальбой, то эти два полка были приведены в замешательство и отступили».

Шведы устремились в погоню за отступившими русскими полками и оставили выгодные позиции на возвышении. Тогда в дело вступили два других полка (в том числе и Астраханский полк во главе со своим полковником). Их атака оказалась удачной, и шведы отступили к крепости. После этого к пяти часам вечера Мельничная гора была занята и брошенные там шведами незаклепанные пушки немедленно начали обстрел крепости. Ласси приказал послать барабанщика с предложением сдачи, но шведские солдаты его неожиданно застрелили. Это вызвало ярость русских солдат, с особенным ожесточением пошедших вечером на штурм крепости. Комендант крепости проявил нерасторопность – поднял белый флаг, когда русские полки уже форсировали ров. В этой ситуации гарнизону не бывает пощады, как и жителям города, который был отдан «на поток» – сплошное разграбление. Капитан фон Массау, участник сражения, позже говорил, что «российские-де солдаты тирански бедных женщин на штыках подымали, а младенцов, взяв за ноги, обухом били и к мертвым женским телам, ободрав, голых на груди клали».[368] Шведские потери были велики: 3300 человек убито и ранено, и соответственно – добито победителями, около полутора тысяч попали в плен, спаслось не более 500 человек, спрятавшихся по окрестным лесам и болотам.

Среди трофеев русской армии оказалось 12 знамен, четыре штандарта, 12 пушек. Взят в плен был и командующий генерал Врангель. «Солдаты, – пишет Манштейн, – собрали порядочную добычу в разграбленном городе». Русские потери были таковы: 514 солдат и унтер-офицеров, генерал, два полковника, 12 офицеров. Как это часто бывает с теми, кто прошел огонь битвы,

Манштейн писал: «Как подумаешь о выгодах позиции, занимаемой шведами и о неудобной местности, по которой русские должны были подходить к ним, то становится удивительным, что шведы были разбиты тут, и надобно сознаться, что они много способствовали этому собственной ошибкой, оставив занятую ими выгодную позицию; сопротивление, оказанное ими, было чрезвычайно упорное и послужило к увеличению их потери».[369] Но все же самой серьезной ошибкой шведов было то, что перед сражением Будденброк и Врангель не соединили свои корпуса, точнее, Врангель, не дожидаясь своего командующего, устремился к Вильманстранду и принял там столь неудачно закончившийся бой. Да и Будденброк тоже опростоволосился. В ночь после сражения в его лагерь прискакали из-под Вильманстранда несколько драгун из отряда Врангеля, но в темноте их приняли за казаков, началась паника, весь лагерь ночующего воинства вдруг разбежался, и на месте остались только Будденброк да его офицеры, которым пришлось наутро собирать по лесам своих солдат. В конечном счете после окончания войны в 1743 году Будденброку, позорно провалившему кампанию и всю войну, отрубили голову.

Но и наш Ласси не был Юлием Цезарем. Одержав такую блестящую победу, он по-прежнему не знал, что делать дальше. Вместо того чтобы двинуться к Фридрихсгаму и не дать шведам соединить разбросанные вдоль побережья силы, он оставил завоеванный Вильманстранд и вернулся к Выборгу. Потом, в Петербурге, он объяснял, что у него было мало сил, в армии кончался провиант, лошади, увезшие раненых в Выборг, вернуться не успели – словом, это был типичный генерал одной победы. В итоге прибывший-таки в Финляндию из Стокгольма маршал Карл Эмиль Левенгаупт восстановил прежнее положение и к осени беспрепятственно сосредоточил здесь 23-тысячную армию, с которой двинулся к русской границе, намереваясь предпринять зимний поход на русскую столицу. Впрочем, забегая вперед, скажем, что потом, в кампании следующего, 1742 года, этот горе-полководец потерпел поражение, подписал позорную капитуляцию, сдался Ласси, и ему, как и Будденброку, отрубили голову в Стокгольме.

Победа русской армии под Вильманстрандом была эффектной, красивой. Саксонский дипломат Зум тогда писал: «В оборонительной войне я считаю это государство непобедимым… Русский человек тотчас становится солдатом, как только его вооружают. Его с уверенностью можно вести на всякое дело, ибо его повиновение слепо и вне всякого сравнения. Он довольствуется плохой и скудной пищей. Он кажется нарочито

рожден для громадных военных предприятий». Молодой русский поэт Михаил Ломоносов написал оду на победу России. И в ней были такие слова:

Российских войск слава растет,
Дерзкие сердца страх трясет,
Младой орел уж льва терзает!

Между тем «младой орел» лежал по-прежнему в детской кроватке, а люди, управлявшие от его имени государством, делали это бездарно. Они не смогли воспользоваться блестящей победой в Финляндии для упрочения режима. Хотя победу своей армии в Петербурге встретили торжествами, салютами, молебнами, колокольным звоном, выставкой трофейных знамен, обедами с участием шведских пленных офицеров, приемом при дворе, где раздавались награды и где, как заметил Шетарди, правительнице впервые целовали руку как государыне.[370] В этом видели знак приближающейся коронации правительницы как императрицы Анны П.

Глава восьмая
Вероломная и неблагодарная тетушка

Наступление шведов на Петербург осенью 1741 года не только стало событием военным, внешнеполитическим, но и приобрело острый внутриполитический подтекст. 2 ноября 1741 года А. И. Остерман записал в упомянутых выше поденных записках о своей беседе с Головкиным, состоявшейся перед началом общего заседания Кабинета министров: «По полудни уже около пятого часа приехал ко мне Его превосходительство господин граф Головкин, (который) сказал: "Бестужев-де (имеется в виду М. П. Бестужев-Рюмин, бывший послом в Стокгольме. – *Е. А.)* пишет, что прусской король велел 30-ти тысячам маршировать в сие королевство" (то есть на помощь шведам. – *Е. А.)*. На сие предложил я, что Его превосходительство как из поданных от меня многократных письменных мнений, так и от отправленных от времени до времени инструкций к чюжестранным министрам мог усмотреть, что нынешние конъюнктуры без сомнения весьма опасны; и ежели Франция свое дело в Германии окончит, как то и скоро учиниться может для того, что ей никто в том не противится, то она так и чужими силами Швеции, может быть, в помощь придет».

Смысл высказанных Остерманом опасений состоял в том, что Франция, успешно вытеснив Габсбургов из Германии, сможет оказать своей союзнице Швеции помощь против России через германские государства, например, через упомянутую Головкиным Пруссию. Но оказывается, что угроза шведского наступления больше всего беспокоила руководителя внешней политики России. Он продолжал: «Его превосходительство может подлинно о том уверен быть, что ежели когда-нибудь надобно было в России, все особливые намерения и несогласия отложа, поступать в делах с искренностию, единодушным согласием и постоянством, то оное ныне, конечно, нужно, ибо все несогласия служат токмо неприятелю в пользу, а нам самим к вреду и разорению. Что то ему известно, какое безбожное намерение неприятель против нас имеет и что он произвести у нас старается, чего ради надобно, чтоб российский (народ) свою верность и любовь к нашему императору и к императорской фамилии публично засвидетельствовал… Граф Головкин сказал, что он о неприятельских намерениях не знает. Я ответствовал ему, что

ведь Его превосходительство видел мерзкой оной шведской манифест, после чего он спросил: „Какой манифест?“ На то я сказал: „Шведской известной манифест, которой Его превосходительство и сам читал“, что потом уже и он подтвердил и сказал: „Да, я его видел“.

«Так вы, – молвил я, – из оного могли усмотреть, сколь опасные намерения они имеют». Его превосходительство сказал мне, что он не помнит, а я ему на то: «Вы можете припамятовать, что оное мерзостное письмо касается не только до немцев, но и до самого нашего дражайшего императора и до его императорской фамилии». Господин граф Головкин ответствовал мне опять, что он того не памятует. Я сказал ему, что то очень явно в оном манифесте изображено, ежели только-де одних немцев то касалось, то можно было тотчас оное отменить и их отпустить. Граф Головкин ответствовал, что не всех, (для) некоторых дел можно и удержать («Danke schon!» – мог бы про себя сказать немец Остерман. – *Е. А.)*. Я объявил на то, что оное зависит от Ея императорского высочества и что она при том всемилостивейше заблагорассудит, тому должны немцы себя и подвергнуть, а сие клонится до самого государя и для того надлежит нам показать, что мы верные и добрые люди».[371]

Заметно, что Остерман, несмотря на показное равнодушие Головкина, пытается донести до него свое беспокойство. О своей тревоге насчет «подкидного» манифеста Остерман говорил и Левенвольде. Он сказал, со слов Левенвольде, что «сие не до одних чужестранных касается, но и до принцессы Анны и фамилии их, а потому-де ничего ныне делать, как только лучшую военную предосторожность взять» и всячески препятствовать распространению манифеста среди народа.[372] О чем же, собственно, шла речь?

Дело в том, что шведские войска, перешедшие русскую границу, стали распространять печатный манифест за подписью главнокомандующего шведов фельдмаршала Левенгаупта. В нем было сказано, что «королевская шведская армия вступила в русские пределы не для чего иного, как для получения, при помощи Всевышнего, удовлетворения шведской короны за многочисленные неправды, ей причиненные иностранными министрами, которые господствовали над Россиею в прежние годы, а также потребную для шведов безопасность на будущее время, а вместе с тем, чтобы освободить русский народ от несносного ига и жестокостей, с которыми означенные министры для собственных своих видов притесняли с давнего времени русских подданных, чрез что многие потеряли собственность или лишились жизни от уголовных наказаний или, впадши в

немилость, бедственно ссылались в заточение». Манифест провозглашал, что «намерение короля Шведского состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию, для ее же собственной безопасности, от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить свободное избрание законного и справедливого правительства, под управлением которого русская нация могла бы безопасно пользоваться жизнию и имуществом, а со шведами сохранять доброе соседство. Этого достигнуть будет невозможно до тех пор, пока чужеземцы по своему произволу и из собственных видов будут свободно и жестоко господствовать над верными русскими подданными и их соседями-союзниками».[373]

Естественно, это была демагогическая уловка, которой прикрывались истинные цели шведов – ревизия условий Ништадтского мирного договора 1721 года и возвращение Швеции утраченных земель Восточной Прибалтики. Но ничтожный по своему реальному значению документ был составлен знающими ситуацию в России людьми и бил в болезненную для режима правительницы точку. Когда Анна Леопольдовна познакомилась со шведским манифестом, она сказала Левенвольде, что «то-де правда, очень остро писан».[374] Острота эта была обусловлена тем, что при дворе правительницы, на высших правительственных постах, действительно было много иностранцев или нерусских подданных России, причем прибалтийские немцы были связаны родством – речь идет о Менгденах, Минихах, Бревернах и Левенвольде.

И. В. Курукин, фактически отрицающий «патриотический фактор» в истории свержения правительства Анны Леопольдовны, видит две главные причины переворота, приведшего к власти Елизавету Петровну. Во-первых, это «деградация самого режима Анны Леопольдовны летом-осенью 1741 года» (в другом варианте – «кризис власти») и, во-вторых, «солдатский» заговор, возникший на фоне недовольства гвардейцев попытками власти (в лице прежде всего генералиссимуса принца Антона Ульриха) навести порядок в гвардейских частях «путем муштры и повседневных наказаний».[375] Да, безусловно, кризис власти был налицо – правительство Анны Леопольдовны оказалось слабым, хотя кто может определить, в чем состоит слабость власти? В том, что она не занималась проектами крупных преобразований, а погрязла в мелких, текущих делах? Думаю, в России сила власти ассоциируется прежде всего со строгостью, жесткостью. Наверное, о регентстве Анны Леопольдовны говорили бы как о сильной власти, если бы правительница действовала подобно Екатерине Медичи, устроившей в Париже немыслимую резню, или хотя бы

как Анна Иоанновна. В этом случае правительнице надлежало не сожалеть, что Головкин устроил своеобразную «итальянскую забастовку», а таскать его, как тетушка, за парик, и не слезы проливать, когда Бирона с семейством повезли в Шлиссельбург, а потирать руки, когда бы его посадили на кол на Обжорке, да в придачу Бестужева-Рюмина и Остермана тут же рядом четвертовали бы и вокруг этого эшафота секли бы кнутом и резали языки Левенвольде, Черкасскому, Трубецкому, Куракину и прочим. Вот тогда бы, наверное, ее уважали и в солдатских казармах, и в отечественной историографии. Но, будучи девушкой, она слишком много читала Расина и Корнеля, была сентиментальна, добра, и поэтому ее власть казалась со стороны такой слабой, дряблой, немощной, деградирующей.

Безусловно и то, что распустившиеся гвардейцы были недовольны наведением порядка и дисциплины в их рядах (этим, кстати, были недовольны и семеновцы в 1820 году). Но все-таки ими двигала не просто обида на муштру, введенную занудой-генералиссимусом. Мне кажется, что здесь присутствовали такие чувства и настроения, которые не сводились только к внутриармейским интересам. Как я уже писал раньше, в гвардейских казармах Петербурга сложилась особая, отличная от других казарм и учреждений атмосфера, которую можно назвать «преторианской».[376] Есть масса свидетельств того, как несшие караул во дворце и вокруг него гвардейцы становились свидетелями крайне неприглядных сцен из царской и придворной жизни. Мимо головы часового, вслед за выскочившим императором, порой летела туфелька фаворитки, они слышали ссоры и скандалы царственных особ с родственниками, стоны и крики любовных утех государынь и их фаворитов; словом, гвардейцы, будучи свидетелями всего этого, утрачивали присущее многим людям трепетное чувство верноподданных к монархам, преклонение перед носителями верховной власти вообще. Эти чувства хорошо знакомы охране всех времен и народов – вспомним хотя бы мемуары охранника Ельцина Коржакова. На основании собственных наблюдений, суждений, сплетен и слухов у них вырабатывался свой специфический взгляд на жизнь двора, весьма критический относительно образа жизни и личных качеств тех «земных богов», которые обитали в охраняемых ими золоченых покоях дворца. Отсюда возникало преувеличенное представление царской охраны о своей роли в жизни государства и двора, возникала особая корпоративная (или стадная) уверенность в своей правоте, силе и безнаказанности. Вместе с тем, как всякая преторианская масса, гвардейцы были подвержены неустойчивым настроениям, были легко возбудимы,

склонны к коллективной истерике, авантюре, бывали порой неуправляемы, а порой легко подчинялись воле вождя, предводителя.

Но не только преторианские настроения господствовали в казармах. Было бы ошибочно в описываемой ситуации вообще игнорировать как национальный (не без ксенофобии), так и патриотический факторы в настроениях гвардейцев накануне 25 ноября 1741 года, ставшего днем вступления на престол Елизаветы Петровны. Для общественного сознания того времени (а потом и для историографии) характерно деление политических сил на «немецкую» и «русскую» партии, в борьбе которых и разворачивалась политическая интрига при русском дворе в 1740–1741 годах. Конечно, деление это было весьма условно. Во-первых, сами немцы никогда не были едины, у них не было сознания принадлежности к германской нации, общегерманского чувства. В России они остро и беспощадно боролись за власть друг с другом: вспомним, как скверно поступили с курляндцем Бироном фельдмаршал Миних – ольденбуржец по происхождению (а Ольденбург находился под властью Дании), и его подчиненный подполковник Манштейн – немец из Петербурга с богемскими и шведскими корнями.

Во-вторых, сами русские участвовали в придворной борьбе за власть, влияние, пожалования на равных с ними, выступая как против немцев, так и против русских же (вспомним дело А. П. Волынского, интриги Бестужева-Рюмина, деятельность начальника Тайной канцелярии А. И. Ушакова и др.). Все они представляли собой единую камарилью – неустойчивую группировку придворных и государственных чинов разных национальностей, которые объединялись порой во враждующие друг с другом «партии» или «хунты». У арестованных во время регентства Бирона гвардейских офицеров и солдат (Ханыкова, Аргамакова и др.), возмущавшихся, что временщик захватил власть несправедливо, «мимо» родных отца и матери императора Ивана Антоновича, было больше совести и чести, оскорбленного чувства справедливости и переживаний за свою страну, чем у вместе взятых князей Черкасского, Трубецкого, Шаховского, Куракина, графов Ушакова, Головина, Головкина и Бестужева-Рюмина, тащивших правдами и неправдами к власти Бирона. Среди этой толпы «природно-русских» клевретов Бирона теряются Остерман, Миних и Левенвольде – «иностранные» участники «хунты».

В это же самое время шел сложный процесс становления самосознания русского народа как нации Нового времени. Это приводило к осознанию национальной идентичности,

собственной национальной полноценности (творчество Ломоносова, начавшееся как раз в эти годы, – наиболее яркий и не единственный пример). Но это порождало и ксенофобию (вспомним так называемую борьбу Ломоносова против «немецкого засилья» в Петербургской академии наук), тем более что далеко не все иностранцы вели себя в России достойно. Бирон, с его спесью, нахальством, жадностью, стал неким символом тех «дармоедов», которые «насели на нашу шею».

Национальность (в форме принадлежности к «немцам», иностранцам) осознавалась людьми почти автоматически, была сама по себе характеристикой, причем порой для туземцев не самой лучшей. «Немцев», не понимающих русского языка, чужих, «кургузых», не любили в простом народе, чему есть множество свидетельств. Эти чувства порождали неуверенность, ощущение неполноценности в среде иностранцев, живших в России. В 1726 году Абрам Ганнибал, высланный из Петербурга в провинцию А. Д. Меншиковым, униженно писал в своей челобитной на имя светлейшего: «Не погуби меня до конца имени своего ради; и кого давить такому превысокому лицу? Такого гада и самая последняя креатура на земле (раздавит), которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, *иностранец,* наг, бос, алчен, жажден. Помилуй, заступник и отец!»

Деление людей на «своих» и «чужих» входило составной частью в общественную психологию, было распространено в обществе, отливалось в некое клише о зловредности «немцев» – якобы истинной причине служебных и иных неудач своих, «туземцев». Упомянутый выше прожектер Тимирязев так объяснял приятелю, почему он перестал осаждать двор Анны Леопольдовны своими «прожектами»: «Он никакой милости не видит, все награждены да пожалованы, а он-де ничем; кругом же принцессы Анны все немцы – как хотят».[377] Сразу после переворота Елизаветы эти настроения привели к попыткам расправ с «немцами», к избиениям офицеров-иностранцев – и попытки эти, кстати говоря, были жестоко подавлены.

«Немцы», стоявшие у власти при Анне Леопольдовне, знали, как относятся к ним в русской среде. Неслучайно так взволновал шведский манифест Остермана и Левенвольде. Примечателен и приведенный выше разговор Остермана с Головкиным о возможности высылки немцев. По данным С.М. Соловьева, во время провозглашения Бирона регентом «немцы» серьезно тревожились за свое будущее. Барон Менгден говорил Бестужеву: «Ежели герцог регентом не будет, то мы, немцы, все пропадем».[378] Сосуществуя с русскими вельможами в кругу придворной камарильи, иностранцы никогда не забывали, что они «не

природные русские», приезжие. К тому же среди них были люди, занимавшие ключевые посты в управлении, но не принявшие российского подданства и не перешедшие в православие (Бирон, Миних, Остерман). А ведь именно принятие православия с давних времен традиционно служило признаком восприятия русской идентичности даже независимо от того, что мы называем теперь русской национальностью. Между тем, как только возникали трудности в решении сложнейших внутриполитических проблем (в 1730-х и 1740-х годах), Остерман, например, заявлял, что он иностранец и судить о внутренних делах России не может. Выше уже сказано о столкновении на этой почве с ним Бестужева-Рюмина. Точно так же вел себя в 1727 году при обсуждении некоторых оборонных вопросов и Миних. Это не способствовало упрочению их репутации в России. Вся надежда и опора таких людей (впрочем, как и «природно-русских») состояла в государевой милости.

Теперь непосредственно о патриотических чувствах гвардейцев как стимуле к перевороту. И. В. Курукин делает мне лестный комплимент, ставя мое имя после имени великого С. М. Соловьева: «Со времен С. М. Соловьева главной причиной переворота считался патриотический подъем в сознании общества. Выше уже высказывались сомнения в наличии массовой патриотической оппозиции. Приведенные у С. М. Соловьева и Е. В. Анисимова факты относятся только к гвардии (точнее, к ее „старым“ полкам) и так же, как свидетельства Миниха-отца и Манштейна, в значительной степени извлечены из донесений иностранных дипломатов. Хотелось бы знать, какими в действительности были политические симпатии офицеров, чиновников да и просто городских обывателей, но пока такой картины у нас нет». А раз нет таких данных, заключает автор, то, «очевидно, фактором, максимально способствовавшим новому перевороту, стала деградация самого режима Анны Леопольдовны».[379]

Мне и самому было бы интересно узнать о политических симпатиях сотен офицеров и генералов, десяти тысяч солдат гвардии и гарнизона Петербурга, тысяч моряков Кронштадта, сотен чиновников центральных учреждений, десятков тысяч петербургских обывателей, миллионов крестьян. Как и И. В. Курукин, я тоже убежден в том, что никакой массовой патриотической (в смысле проелизаветинской) оппозиции действительно не было. Но в данном случае тема изучения массовых политических симпатий и антипатий не кажется мне актуальной, потому что все эти, интересные для нас, историков, достойные (или не очень) носители общественных симпатий и

настроений в памятную осеннюю ночь с 24 на 25 ноября 1741 года спали глубоким сном и проснулись утром при новом режиме, и только три сотни Преображенских солдат устремились за цесаревной, чтобы возвести ее на трон. В том, чтобы изучить – на основании сохранившихся дел Тайной канцелярии, донесений дипломатов – настроения именно этого узкого круга, корпорации, из которой вышли бравые, бесшабашные молодцы, совершившие переворот, понять мотивы, которыми руководствовались при этом гвардейцы, и состояла моя, а ранее С. М. Соловьева, скромная задача.

Массы захватывают власть только в учебниках марксизма, в жизни ее захватывают отчаянные одиночки, небольшие группы воодушевленных идеями или винными парами фанатиков при почти полной инертности всех остальных. Так ведь часто бывало в истории, в том числе и нашей. Вечером 25 октября 1917 года узкая группировка фанатиков с несколькими тысячами развращенных их антигосударственной и антивоенной пропагандой солдат и рабочих захватила власть в России, имевшей тогда правительство, многомиллионную армию, полицию. Да и в августе 1991 года историю России повернули в ином направлении всего лишь несколько тысяч человек, собравшихся возле Белого дома, в то время как у ГКЧП была могучая армия, страшные органы безопасности, симпатии миллионов людей, уставших от пустословия Горбачева и пустых прилавков. Когда добровольцы строили баррикады у Белого дома, миллионы москвичей стояли в очередях за хлебом, колбасой, сдавали молочные бутылки или лежали на диване у телевизора. Какие у них были политические симпатии – вопрос второстепенный, ибо эти симпатии и антипатии в исторический момент не проявились в действии.

Естественно, патриотические настроения гвардейцев были не такими, как представляла их впоследствии елизаветинская пропаганда 1740-х годов: будто бы «верные сыны отечества», движимые пламенной любовью к России и престолу, вослед своей предводительнице – дщери Петровой, двинулись стройными рядами на силы зла, «выпуживая селящих в гнезде Орла Российского ночных сов и нетопырей», «человекоядов птиц» – немецких временщиков.[380] Но, разумеется, не следует вовсе отрицать существование у гвардейцев подобных чувств, как и то, что чувства эти были тесно связаны с преклонением перед памятью Петра Великого, восхищением его личностью и деяниями. Общественная память коротка, и к началу 1740-х годов уже забылись жестокости царя-реформатора, насильственная европеизация, привлечение в страну во множестве иностранцев,

бритье бород, примолкли слухи о подмененности самого государя и о его детях от иностранки-портомои. Но зато в народе жила память о неповторимом, могучем и грозном царе, который был не чета пришедшим после него слабовольным правителям. (Показательно, что за весь век не появилось ни одного самозванца, выдававшего себя за Петра Великого.) На этих чувствах и сыграла Елизавета, когда ночью с 24 на 25 ноября 1741 года приехала в казармы Преображенского полка и обратилась к солдатам: «Знаете ли, ребята, кто я? И чья дочь?» Приметим, что она напомнила им о том, что она дочь Петра Великого, а не обещала освободить их от муштры или от работ, навязанных им генералиссимусом, – ради этого они бы за ней не пошли.

Иначе говоря, сколько бы мы ни говорили о земных, даже приземленных мотивах людских поступков, все же для того, чтобы рискнуть головой, участвуя в перевороте, нужна иная, более высокая мотивировка. Известно, что, воодушевляя гвардейцев в Зимнем дворце на мятеж против Бирона, фельдмаршал Миних, как показали допросы и очные ставки 1742 года, «нарочно чтоб тем более солдат к тому делу возбудить, пришед к стоящей тогда на карауле роте по вступлении в парад», говорил, что «ежели они хотят служить… (цесаревне Елизавете Петровне. – *Е. А.)* и ее племяннику государю герцогу Голштинскому, то бы шли с ним его (Бирона. – *Е. А.)* арестовывать».[381] А в Преображенской казарме в ноябре 1741 года было уже всё без обмана: сама дщерь Петрова, которую знал в лицо каждый солдат, пришла к ним за помощью. Да еще и такая красавица!

Известно, что с давних пор у Елизаветы сложились хорошие отношения с гвардией. Это пошло со времен Петра Великого, всегда окруженного гвардейцами – сподвижниками, охранниками, боевыми товарищами, порученцами, денщиками. Фельдмаршал Миних довольно точно отразил ситуацию: «Елизавета Петровна выросла, окруженная офицерами и солдатами гвардии, и во время регентства Бирона и принцессы Анны чрезвычайно осторожно обращалась со всеми лицами, принадлежащими к гвардии. Не проходило почти дня, чтобы она не крестила ребенка, рожденного в среде этих первых полков империи, и при этом не одаривала бы щедро родителей или не оказывала бы милости кому-нибудь из гвардейских солдат, которые постоянно называли ее „матушкой“. Таким образом, в гвардии составилась партия горячих приверженцев принцессы, и ей не трудно было воспользоваться их содействием для достижения престола. Гвардейцы, – продолжал Миних, – жили в построенных мною для

них казармах. У принцессы Елизаветы был подле Преображенских казарм дом, известный под именем Смольного, здесь она часто ночевала и виделась с Преображенскими офицерами и солдатами. Правительница принцесса Анна была предуведомлена об этих собраниях, но считала их пустяками, не могущими иметь последствий; при дворе говорили с насмешкой: „Принцесса Елизавета водит компанию с Преображенскими гренадерами“». [382] В конечном счете соединение, переплетение всех этих чувствований: корпоративных, преторианских, ксенофобских, патриотических с «петровской подкладкой» в сочетании с надеждами на награды, повышения, да и просто – лишнюю чарку водки и рубль – стало тем многосложным мотивом, который поднял три сотни солдат на мятеж.

* * *

Напомним, что Елизавета Петровна приходилась Анне Леопольдовне двоюродной теткой: она была дочерью Петра, а Анна – внучкой его брата Ивана. По возрасту тетку и племянницу разделяло девять лет – Елизавета родилась в 1709-м, а Анна в 1718 году. В царствование императрицы Анны Иоанновны в придворном церемониале они занимали, соответственно, второе и третье места. Они встречались на церемониях, балах, куртагах, наносили друг другу визиты. На церемонии обручения Анны Леопольдовны цесаревна Елизавета так же обливалась слезами, как невеста и императрица Анна Иоанновна. Нет никаких сведений о том, что они враждовали или спорили друг с другом. Но нельзя и сказать, что они были особенно близки друг другу. Да это и неудивительно: слишком разными были эти женщины по типу личности, устремлениям, образу мышления и жизни. Необыкновенная красавица Елизавета, помешанная на платьях, нарядах, украшениях и прическах, превращала свою жизнь в вечный праздник: она обожала общество (особенно мужское), главным смыслом ее жизни были удовольствия, кокетство, развлечения. Придворные куртаги и балы сменялись праздниками при «малом дворе» цесаревны, длительные поездки на охоту чередовались с домашними спектаклями и прогулками верхом. Сонм мужчин окружал неизменно веселую, милую цесаревну, и некоторым она не отказывала в особой близости – у нее всегда были фавориты. Одним она казалась легкомысленной и пустой, занятой только нарядами и развлечениями; другие видели ее двойное дно: за чертами капризной и не очень умной кокетки угадывалась натура скрытная, честолюбивая, хитрая, расчетливая,

злопамятная, циничная, при этом – не без честолюбия, тщеславия и воли. Читатель помнит, как в ночь на 9 ноября 1740 года Миних упрашивал правительницу пойти с ними, чтобы арестовать регента Бирона. Анна Леопольдовна категорически отказала Миниху, а почти через год, 25 ноября 1741 года, цесаревна Елизавета от такого предложения не отказалась и бежала через площадь ко дворцу вместе с солдатами, а застряв в сугробах, была подхвачена преображенцами на руки и так въехала в Зимний.

Когда Анна Леопольдовна стала правительницей, то, по мнению Манштейна, первые месяцы «прошли в величайшем согласии между нею и царевной Елизаветой, они посещали друг друга совершенно без церемоний и жили дружно. Это не продолжалось долго, недоброжелатели поселили вскоре раздор между обеими сторонами. Царевна Елизавета стала скрытной, начала посещать великую княгиню только в церемонные дни или по какому-нибудь случаю, когда ей никак нельзя было избегнуть посещения».[383] С трудом верится в то, что эти женщины «жили дружно». Самой судьбой они были поставлены в положение соперниц, и дело вряд ли заключалось только в наговорах недоброжелателей. Можно поверить Шетарди, который писал в августе 1740 года, что Елизавета «совсем недовольна рождением принца, видит себя все более и более решительно устраняемой от престола».[384]

С появлением нового императора табельный статус цесаревны значительно понизился. В мае 1741 года между Христианом Вильгельмом Минихом, обер-гофмейстером двора правительницы, и Шетарди состоялся разговор о статусе Елизаветы: «Однако вам ведь не безызвестно, присовокупил барон Миних, что этот принц (Антон Ульрих. – *Е. А.)* занимает при дворе второе место и что при погребении царицы (Анны Иоанновны. – *Е. А.)* он шел впереди принцессы Елизаветы». Шетарди возражал Миниху в том смысле, что подобное обращение с Елизаветой недопустимо и «все коронованные особы смотрят и будут смотреть на нее как на дочь Петра I, императора Всероссийского». На это Миних отвечал: «Вы согласитесь, однако, что если принцесса Елизавета – дочь Петра I, то принц Брауншвейгский – отец императора».[385] Возразить на это было трудно.

С рождением принцессы Екатерины статус Елизаветы понизился еще больше: она уступила Брауншвейгской фамилии еще одну ступеньку, и так продолжалось бы и дальше по мере рождения у супругов новых принцев и принцесс. В августе 1741 года Елизавете вновь нанесли серьезную обиду. На следствии 1742 года обер-гофмаршал Левенвольде показал (отвечая на

соответствующий вопрос), что на праздничном обеде в честь первого дня рождения императора Ивана для цесаревны «при публичном столе поставлен был стол с прочими дамами в ряд, (и) то сие учинено по приказу принцессы Анны, а не по его, Левенвольдову, рассуждению. И хотя он при том принцессе Анне и представлял, что не обидно ль будет (цесаревне), однако ж она ему именно приказала, чтоб тарелку положить так, как выше написано. А я-де как сама войду, то-де уже сделаю, что надобно». [386] А ведь раньше цесаревна всегда сидела за одним столом с императрицей Анной Иоанновной, отдельно от прочих придворных дам! Естественно, Елизавета восприняла новый порядок как оскорбление, о чем и беспокоился обер-гофмаршал. Донесение Шетарди подтверждает реакцию цесаревны. Она жаловалась французскому посланнику на то, что в день рождения императора «генералиссимус и принц Людвиг были приглашены к столу обер-гофмаршалом, между тем как к ней с этой целью был направлен лишь гофмаршал».[387] В феврале 1741 года Финч замечает, что Елизавета «посещает двор менее усердно, чем прежде».[388] Чуть ниже он пишет, что Елизавета посетила правительницу, «которая заметила, что я, вероятно, назначаю свидания принцессе, так как она была при дворе и в прошлое воскресенье, и две недели тому назад».[389] Конечно, это была шутка, но в ней можно усмотреть подтекст – за поведением и связями цесаревны при дворе пристально наблюдали.

Было и много других «обидных экспрессий» в адрес цесаревны, которая, став императрицей, всё это припомнила правительнице и ее сановникам. Так, Головкину на следствии 1742 года пришлось давать ответ по поводу спорного, решенного не в пользу Елизаветы Петровны, земельного дела о границах принадлежавшего ей села Никольского. Но больше всего припомнили таких «экспрессий» Остерману, который как-то особенно досадил цесаревне (за что потом и угодил в Березов). Так, она, как уже сказано выше, весьма болезненно восприняла отказ, исходящий от Остермана, разрешить персидскому послу аудиенцию у цесаревны. Позже Остерман оправдывался, что «ориентальные (восточные. – *Е. А.)* послы у принцесс обыкновенных аудиенций не берут»,[390] но Елизавета была страшно обижена – главным образом из-за того, что ей не было оказано уважение и мимо нее прошли те сказочные восточные дары Надир-шаха, которыми персидский посол потряс Петербург и осыпал правительницу и ее свиту.

Возможно, причиной отказа послу в аудиенции у цесаревны стало полученное в Коллегии иностранных дел донесение переводчика персидского посольства студента Чекалевского о

разговоре с посланником Мухаммед-беком. Оказалось, что «Мугамед-бек студенту Чекалевскому между протчим изъяснялся, что ежели бы Ея императорское высочество государыня цесаревна корону Российскаго государства похотела себе претендовать, то б оную по всем правам от нея отнять было нельзя, ибо Ея высочество дочь блаженныя и вечнодостойныя памяти Его величества императора Петра Великого, в рассуждении сего законною наследницею самодержавнейшаго всероссийского престола приличное Ея высочеству быть надлежало», тогда как император Иван происходит «уже не от поколения природных российских государей, но от других самовладеющих в Европе пресветлейших герцогов».

Неясно, зачем иностранному посланнику нужно было лезть в чужие дела и высказываться подобным образом. Тем самым он поставил своего переводчика в крайне неудобное положение, и тот был вынужден дать отпор происках иноземца верноподданнической речью о том, что «все таковыя учреждении, касающиеся до наследства Российскаго государства, не токмо ныне высочайшей воле блаженнейшия и вечнодостойныя памяти Ея императорского величества (имелась в виду Анна Иоанновна. – *Е. А.)* состояли, но и предки Ея величества також по своему монаршескому соизволению наследников по себе оставлять изволили, приводя ему в пример Его величество императора Петра Великого и по нем Ея величество государыню императрицу Екатерину Алексеевну, как то их величество при жизни наследство престола по высочайшему своему соизволению отдавали, и, следовательно, оное претендовать никто не может, разве только от самовладеющего государя императора объявлен будет. А что ж Его величество нынешней государь император законный наследник Всероссийского престола учинен, то никакого о том сумнения не имеется, ибо вселюбезнейшая мать Его величества… от высочайшаго поколения великих российских государей произошла».

То, что выразил персидский посланник, было у многих если не на устах (что было опасно), то в мыслях. Однако, с точки зрения тогдашних законов, у цесаревны Елизаветы Петровны в 1741 году не было *никаких прав* на русский престол. Так уж получилось, что отец Елизаветы, Петр Великий, утвердив в 1722 году Устав о престолонаследии, дающий право самодержцу назначать себе в преемники любого из своих подданных и – при необходимости – менять его другим, ярче всего выразил суть самодержавия, его незыблемого права править без права, «вольно». Неслучайно в Уставе Петр ссылается для обоснования этого права на казус Ивана III и его внука Дмитрия. Как известно,

великий московский князь Иван III, после смерти в 1490 году своего сына Ивана Молодого, объявил наследником не следующего по старшинству сына Василия Ивановича, а своего внука Дмитрия – сына Ивана Молодого. Иван не ограничился провозглашением 15-летнего Дмитрия наследником, а сделал его своим соправителем. Юношу венчали на царство по византийскому обряду шапкой Мономаха, которую ему возложил на голову сам Иван III. Но потом Иван вдруг передумал и назначил наследником Василия, а Дмитрия с его матерью Еленой Волошанкой заточил в тюрьму, где они и погибли. Когда посланник крымского хана спросил великого князя, зачем он сверг дотоле любимого внука, Иван отвечал как настоящий самодержец: «Разве не волен я, князь великий, в своих детях и в своем княжении? Кому хочу, тому дам княжение!»

Этому основополагающему закону самодержавия, который вновь подтвердил Петр Великий, следовала и императрица Анна Иоанновна. Принц Иван Антонович был провозглашен наследником согласно самодержавной воле Анны Иоанновны, выраженной в манифестах 1731 и 1740 годов, и в обоих случаях Елизавета Петровна присягала на Евангелии и кресте в соблюдении этой воли. Уже при Елизавете, во время следствия 1742 года, Остермана, Миниха и других сподвижников Анны Иоанновны и правительницы обвиняли в «незащищении блаженной памяти государыни императрицы Екатерины Алексеевны духовной». Действительно, умирая в мае 1727 года, мать Елизаветы императрица Екатерина I подписала завещание, известное в истории как Тестамент 1727 года. Назначая по своей самодержавной воле наследником престола не одну из своих двух дочерей (Анну или Елизавету), а великого князя Петра Алексеевича (будущего Петра II), императрица детально определила следующих преемников императора в случае его смерти без прямых потомков. Но на практике оказалось, что этот закон сработал лишь при переходе власти от самой Екатерины I к Петру II и уже никак не мог влиять на дальнейшую судьбу трона, ибо как только на троне оказывался новый полновластный самодержец, он был волен поступить со своим наследством по собственному, самодержавному усмотрению. Так же, в сущности, поступила и Анна Иоанновна в 1731 году, определив в преемники не стоявшего на первом месте, согласно Тестаменту Екатерины I, внука Петра Великого – голштинского принца Карла Петера Ульриха (будущего Петра III), и не дочь Петра цесаревну Елизавету Петровну (второе место по Тестаменту), а еще не родившегося сына своей племянницы Анны Леопольдовны… Этим же принципом она руководствовалась и в 1740 году, ибо в этом

выражалась безграничная воля царствующего монарха. Можно согласиться с Остерманом, который писал императрице Анне Иоанновне в записке о замужестве Елизаветы Петровны, что цесаревна и ее голштинский племянник претендовать на престол не могут и «право никакое… к тому не имеют, понеже в единой самодержавной воле и власти Ея императорского величества состоит по собственному своему соизволению и благоизобретению себе сукцессора определять и назначить». На следствии 1742 года в ответе на вопрос о причинах «незащищения» Тестамента бывший фельдмаршал Миних сказал просто и точно: «Не защищал для того, что он разумел, что *надобно поступать по указу настоящего государя, а не прежних монархов,* и понеже бывший регент Курляндский при собрании всем объявил, коим образом Ея императорского величества государыни императрицы Анны Иоанновны интенция и повеление есть, дабы внук ее был сукцессором российского престола, то он для того о духовной государыни императрицы Екатерины Алексеевны и упоминать не смел… А при учреждении последнего правительства оной же духовной для того не представлял, что понеже принц Иоанн был уже государем».[391] Между прочим, точно так же покорна воле государыни была и упомянутая в Тестаменте Елизавета Петровна.

Но если бы даже императрица Анна Иоанновна, став самодержицей, «защищала» Тестамент лифляндской портомои (да с какой стати!), то, согласно ему, в 1730 году она должна была назначить себе в преемники вовсе не Елизавету, а ее племянника принца Голштинского, трехлетнего Карла Петера Ульриха, ибо в Тестаменте было ясно сказано, что в случае смерти бездетного Петра II престол переходит вначале к старшей дочери Петра Великого цесаревне Анне Петровне «и *ее сукцессорам*» (то есть к Карлу Петеру Ульриху), а потом уже к младшей его дочери – Елизавете и к ее сукцессорам. Словом, куда ни кинь, везде клин: никаких юридических оснований для претензий на российский трон у Елизаветы Петровны не было, и, следовательно, совершив дворцовый переворот 25 октября 1741 года, она действовала как клятвопреступница и узурпаторша.

Несмотря на всё это, и правительственные круги, и общественное мнение 1730-х – начала 1740-х годов всегда держали в уме и учитывали «фактор Елизаветы»: дочь Петра Великого, каким бы «темным» ни было ее происхождение (суждение, что она «выблядок», сопровождало ее все годы ее 52-летней жизни), как бы смирно и послушно она себя ни вела, все равно оставалась крупной фигурой в политической игре, не говоря уже о ее собственных заветных желаниях и мечтах.

Остерман, кстати, это хорошо понимал. Он писал императрице Анне Иоанновне о Елизавете и ее племяннике из Голштинии, что «хотя опасения большего не видно, что с стороны голштинского принца или тетки его всесправедливейшему намерению Ея императорского величества для предбудущей сукцессии какое важное препятствие учинено быть могло, однакож, з другой стороны, и о том сомневатца невозможно, что *может быть мочи и силы у них не будет, а охоту всегда иметь будут».*

Существование Елизаветы было истинной головной болью правительства Анны Иоанновны, а потом и Анны Леопольдовны. Долгое время правительство Анны Иоанновны мечтало избавиться от этого раздражающего фактора самым простым способом – выдать цесаревну замуж. «Тему» эту основательнее других разрабатывал Остерман, составивший для Анны Иоанновны особый проект, в котором писал, что способ лишить Елизавету всякой возможности претендовать на трон видится в том, чтобы ее «за одного из отдаленного чюжестранного и особливо за такого принца замуж выдать, от которого никогда никакое опасение быть не может». Поэтому главным вопросом, по мнению Остермана, являлся выбор кандидатуры жениха. Тут-то возникли главные сомнения – кого выбрать: мелкого безвластного владетеля или принца из сильного королевского дома. С мелким владетелем могут возникнуть проблемы: «З одной стороны, убогий принц, яко Гилбург-Гоузенский, меньше жалюзий (ревности. – *Е.А.)* у чужестранных держав причинить и возбудить может, и скорее, и лехче по Ея императорского величества намерениям склонится и поступит, но, з другой стороны, такожде при каком нужном случае он без всякого подкрепления и чюжестранного вспоможения останется, и, следовательно, ему и государству от того всякие опасности приключиться могут». Остерман, как всегда, выражается туманно, но суть его сомнения, по-видимому, состоит в том, что легко согласившийся на брак «убогий принц» при неблагоприятных обстоятельствах может стать вместе со своей женой – дочерью Петра Великого, игрушкой в чужих руках, что России невыгодно. Поэтому, «по сим рассуждениям видится, что принц из королевского Пруского дому наиспособнейшим быть может отчасти для той коннекции (связи. – *Е. А.),* в которой Пруской дом с Россиею стоит и постоянно и вечно пребывать причину имеет» (под этим подразумевается заинтересованность Пруссии в совместной политике с Россией на Балтике). «Которого из пруских принцев Ея императорское величество всемилостивейше выбрать изволит, – продолжает вице-канцлер, – о том здесь ничего объявить невозможно, но без сумнения Ее величество при том на конституцию и здоровье,

такожде и на нрав, и квалитет (качества. – *Е. А.)* того выбираемого принца наиглавнейше смотреть изволит». Возможен вариант брака с принцем из Бевернского дома, но, как и в первом случае, «и сие с королем Прусским концертовано (согласовано. – *Е. А.)* и с ним о том соглашено быть имеет».

Если выбор будет остановлен на прусском принце, то, по мнению Остермана, нужно провести большую подготовительную работу: заключить соответствующий трактат с Пруссией, а главное – добиться согласия других держав, «понеже натурально сие дело у других держав немалую жалюзию (особливо против короля Прусского) причинить может». Согласовать брачное дело можно легко с цесарем Римским, сложнее будет договориться с Англией – у нее плохие отношения с Пруссией. Поддержка Дании – не вопрос, она легко к Пруссии «склонится». Что касается Франции, то она «от России отдалена и по нынешнему состоянию дел в Эвропе едва ли полезна быть может». Швеции, конечно, «сие дело не беспротивно будет», как и польскому королю. Здесь Остерману видится много дипломатической работы в содружестве с Пруссией. Вообще, по мнению Остермана, всё это дело непростое, предстоят большие усилия дипломатии, ибо «сия негоциация (переговоры. —*Е.А.)*… без сумнения наиважнейшая и со всякою дискрециею (осмотрительностью. – *Е. А.)* и деликатностворм отправлена быть имеет». Если «с королем Прусским одним оная здесь (то есть через прусского посла в России. —*Е.А.)* отправлена быть может, но для других к тому потребных держав оная в тамошних краях произведена быть имеет, и сие последнее видится путь легчайший. И понеже образ, которым сия негоцияция поведена быть имеет, никако предписана быть не может, того ради потребна к тому будет особа здешних и чюжестранных держав интересов совершенно знающая».

Приводя все эти цитаты из записки Остермана, я хочу показать, что устройство брака дочери Петра с каким-нибудь иностранным принцем могло казаться простым только людям, ничего не понимавшим в тогдашней дипломатии. Заключение брачного контракта такого уровня не уступает по сложности подписанию межгосударственного договора. Именно в этом и заключалась главная причина того, что при всем желании императрицы Анны Иоанновны избавиться от Елизаветы, последняя так и просидела в девках всё ее царствование.

Бирон, став регентом (да и раньше!), посматривал на Елизавету как на возможную супругу своего старшего сына Петра. После его свержения у правительницы оказался свой план жизнеустройства тетушки. С приездом 30 июня 1741 года в Петербург брата Антона Ульриха принца Брауншвейг-Люнебург-

Вольфенбюттельского Людвига Эрнста на него стали смотреть как на возможного жениха цесаревны. Манштейн считал, что это обстоятельство сильно способствовало елизаветинскому перевороту, ибо «двор хотел принудить ее вступить в брак с принцем Людвигом Брауншвейгским», а она этого не хотела.[392] Действительно, когда в мае 1741 года в Петербург прибыл посол Брауншвейга А. А. Крамер, Шетарди писал, что «доверенное лицо (вероятно, Лесток. – *Е. А.)* передало нам, что правительница взялась сама вести переговоры по этому делу, но принцесса высказалась категорически, ответив ей, что как она (Елизавета. — *Е.А)* ни тронута заботами, принимаемыми на себя правительницей о ее положении, она никак не в состоянии будет высказать свою признательность за это, нарушив обет, данный ею, никогда не выходить замуж».[393] В следственном деле 1742 года Э. Миних показал, что Антон Ульрих «ему говорил, не худо б-де было, ежели брат его генералиссимусов с… государыней цесаревной вступил в супружество». О том же он слышал и от Анны Леопольдовны. Левенвольде на допросе тоже вспомнил, что во время последней беременности правительницы та принимала его в спальне и «ему говорила, что ныне-де приехал сюды брат герцога генералиссимуса, желается-де мне его в брачный союз привесть» с Елизаветой, и не пошел бы он к цесаревне «с тою препозицею».[394] Точно известно, что с Елизаветой велись подобные переговоры и она была против этого брака. В разговоре на придворном балу с Шетарди она «осыпала всевозможными насмешками» как особу жениха, так и его намерение на ней жениться. Также были отвергнуты ею предложения с французской стороны от присланного из Франции агента Давена, предлагавшего ей выйти замуж за принца Конти.

Более того, в 1741 году Елизавета стала всем говорить, что дала некий обет никогда не выходить замуж, и на предложения Давена и его спутников «отвечала сначала шутя, что ее время уже миновало и что особа, достигшая 32-летнего возраста, смешна, когда думает о браке, но когда они захотели опровергнуть это мнение… то принцесса сказала им довольно сухо: „Нет, нет, это ни к чему не поведет, не будем более об этом говорить“».[395]

Если рассмотреть вариант брака Елизаветы с принцем Людвигом Эрнстом не с точки зрения цесаревны (а с ней, если бы приняли решение о браке, мало бы кто считался), а с позиций упомянутой выше записки Остермана, то он, пожалуй, мог быть предпочтительнее других брачных проектов. Во-первых, принц из Бевернского дома был не хуже принца из Прусского дома и союз этот встретил бы горячую поддержку Вены. Оказавшись женой Людвига, Елизавета была бы под контролем мужа – родственника

Антона Ульриха, и одновременно русского правительства Анны Леопольдовны. Во-вторых, к середине 1741 года международная ситуация резко изменилась, в Европе началась война и исчезла нужда устраивать сложные дипломатические комбинации, вести переговоры с разными державами из опасения, что брак Елизаветы может разрушить существующее равновесие сил. Этого равновесия уже не было: державы сгруппировались в два основных союза, и Россия в силу существовавших договоренностей и симпатий проавстрийского Брауншвейгского дома шла в фарватере Вены. Да особенно сложных переговоров и не требовалось: Людвиг Эрнст был единогласно выбран курляндским дворянством в герцоги на место Бирона, и его брак нужно было согласовать только с Августом III, польским королем, формальным сюзереном герцогов Курляндских.

Таким образом, Елизавета могла стать курляндской герцогиней, так сказать, новой Анной Иоанновной. Людвиг Эрнст свидетельствовал, что идея брака исходила от Остермана. «Аргументы, приводимые Остерманом, – писал он в Вольфенбюттель, – таковы: этим будет гарантирована безопасность правительницы и Антона Ульриха и при возможной революции государство не сможет перейти в чужие руки», имея в виду голштинского герцога или Елизавету.[396] Такие перспективы совсем не нравились Елизавете. Сам принц Людвиг был личностью сильной, не чета своему анемичному брату. Человек рациональный, решительный, с твердыми принципами, он, возможно, в другой ситуации и понравился бы Елизавете, но к его приезду летом 1741 года ее мысли были уже заняты другим, и вообще ей было не до брака и не до мужчин…

* * *

Дело в том, что к этому моменту цесаревна Елизавета, если так можно сказать, «увязла в заговоре». Начало его ориентировочно можно отнести к поздней осени 1740 года, когда в шведских политических кругах, готовивших войну с Россией, возникла идея с помощью подкупа и обещаний привлечь к борьбе против правительства Анны Леопольдовны силы оппозиции, которые должны были выступить одновременно с началом боевых операций шведской армии против России. Наиболее реальной оппозиционной силой, этакой «пятой колонной» шведов в Петербурге (если воспользоваться терминологией XX века), Стокгольм счел Елизавету и ее «партию» сторонников, на которую и сделал ставку. Сам по себе этот выбор на первый взгляд можно

назвать странным, нелогичным: как можно было подвигнуть дочь Петра Великого, гордившуюся своим отцом и его деяниями, имевшую поддержку в гвардейской среде почти исключительно благодаря этому родству, к тому, чтобы она пришла к власти с помощью вражеских штыков, а потом отдала бы Швеции некогда завоеванные ее великим отцом земли в Восточной Прибалтике? Возможно, сработал принцип «на безрыбье и рак рыба» – политический горизонт России, несмотря на события осени 1740 года, был достаточно спокойным. В стране не происходило никаких мятежей и бунтов. Делать ставку на 12-летнего внука Петра герцога Голштейн-Готторпского Карла Петера Ульриха в Швеции признали затруднительным – он жил в Киле, никаких организованных «партий» его сторонников в России не наблюдалось, так что Елизавета с кругом ее людей была приятным исключением в этой «беспартийной» пустыне.

Главным аргументом шведских стратегов в пользу Елизаветы были отчасти реальные факты, а по большей части гипотетические умозаключения о ее положении в 1740–1741 годах: шведы думали, что Елизавета, несомненно, хочет прийти к власти, что у нее есть (или предполагается) поддержка в гвардии, высшем обществе, среди всех, недовольных властью «немцев» и «иноземным правительством» Анны Леопольдовны. Нужно только подтолкнуть, придать движение этим силам с помощью испытанного в политике средства – обещаний, а главное – денег, в которых всегда нуждалась расточительная цесаревна. Что же касается указанного выше противоречия насчет того, что дочь Петра Великого отдаст Швеции завоеванные отцом территории, то пусть противоречие это после грядущей победы снимают хитроумные дипломаты, профессия которых и состоит в умении найти компромисс.

Таким дипломатом был 46-летний барон Эрик Матиас Нолькен, будущий канцлер Шведского королевства, сидевший с 1738 года полномочным послом в Петербурге и хорошо разбиравшийся в русских делах. Исходя из того, как он работал с Елизаветой и чего достиг в результате, мы не можем утверждать, что барон был виртуозом в своем деле. Нолькен действовал прямолинейно и был довольно скуп на взятки, хотя располагал крупными средствами именно для своих тайных целей.[397] Но, как говорил впоследствии Фридрих II, чтобы добиться нужного результата в России, туда нужно привести осла, нагруженного золотом. Нолькен, судя по всему, так не считал.

Тем не менее шведскому послу в деле организации переворота 25 октября 1741 года принадлежала несомненная заслуга. Нолькен вступил в контакт с Елизаветой и ее ближайшим

окружением. Его часто пользовал хирург цесаревны Лесток – пускал (или делал вид, что пускал) Нолькену кровь,[398] и получилось так, что он, может быть, первым по-настоящему пробудил в дочери Петра честолюбивые намерения и желание власти, ранее скованные страхом, подавленные безбрежным гедонизмом красавицы, годами ведшей «рассеянную жизнь» и думавшей только об удовольствиях.

Да и обстановка благоприятствовала возбуждению этих новых желаний, волнующих по-своему кровь цесаревны, – не будем забывать, что, кроме ответственности, страха и прочих неприятных эмоций, власть дает многим людям несказанное наслаждение. В жизни этой еще не старой женщины начинался новый этап. Только что закончилась страшная для нее эпоха правления Анны Иоанновны, которая, как известно, держала дочь «шведской порто мои» в черном теле и пристально следила за всем, что делалось при «малом дворе» цесаревны. Следом стремительно скрылся с глаз долой в своем шлиссельбургском заточении грозный регент Бирон, потом заболел и ушел в отставку сильный Миних. Из всех возможных гонителей цесаревны у власти остался только коварный Остерман. Правительница же не оставляла у Елизаветы впечатления особы волевой и опасной, и цесаревна довольно хорошо знала и изучила ее характер.

Эти новые желания Елизаветы стали неизмеримо сильнее с тех пор, как в дело вступил французский посол в Петербурге Иоахим Жак маркиз де ла Шетарди. Это был опытный дипломат, проведший почти десятилетие послом Франции в Пруссии и в 1739 году направленный в Россию не просто полномочным посланником, но с конкретной и тайной миссией. Дело в том, что через несколько лет после недружественных Франции действий России в Русско-польской войне 1733–1735 годов в Версале было решено активизировать французскую политику в России, принять русского полномочного посла (им был переведенный из Лондона князь Антиох Кантемир) и направить в Петербург своего полномочного посла. Им и стал Шетарди.

В общеполитическом аспекте его программа-максимум состояла в том, чтобы оторвать Россию от наметившегося тогда союза Петербурга с Веной, добиться изменения проавстрийской политической ориентации России, невыгодной для Версаля, не дать русским, обладавшим большой армией, прийти на помощь Вене в случае вероятного конфликта из-за австрийского наследства, как это уже было в 1735 году, когда корпус генерала П. П. Ласси двинулся к Рейну на подмогу воевавшему с Францией императору Карлу VI. А достичь этой цели, как отмечалось в

инструкции Шетарди, было «невозможно без прямых сношений с Россией».

Другой, не менее важной задачей Шетарди считалась разведка положения внутри страны. Во Франции были убеждены, что ситуация в России напряженная, что «иноземное правительство, чтобы утвердиться, ничем не пренебрегало для притеснения старинных русских фамилий, но, несмотря на все усилия, всё еще остаются недовольные иноземным игом – они, вероятно, прервут молчание и оставят бездействие, когда будут в возможности сделать это с безопасностью и успехом». Поэтому Шетарди предписывалось, чтобы он, «употребляя всевозможные предосторожности, узнал, как возможно вернее, о состоянии умов, о положении русских фамилий, о влиянии друзей, которых может иметь принцесса Елизавета, о сторонниках дома Голштинского, которые сохранились в России, о духе в разных корпусах войск и тех, кто ими командует, наконец, обо всем, что может дать понятие о вероятности переворота, в особенности, если царица (Анна Иоанновна. – *Е. А.)* скончается прежде, чем сделает какое-либо распоряжение о наследовании престолом». [399]

Трудно представить, что лежало в основе столь безапелляционной оценки министерством иностранных дел Франции внутренней ситуации в России. Наверняка (и это проглядывает в инструкции) это были донесения французских представителей в России, купцов и просто путешественников, иногда сообщавших о недовольстве русских влиянием на императрицу Анну Иоанновну Бирона, Миниха, Остермана и других иностранцев. Действительно, недовольных властью в России было много (а когда их не было?). Наиболее буйных и неосторожных исправно вылавливала Тайная канцелярия, но никакого движения против «иноземного правительства» ни в низах, ни вверху общества не просматривалось. Громкие дела аннинской поры, вроде дела князя Д. М. Голицына, князей Долгоруких, Артемия Волынского, не давали оснований усматривать в деятельности обвиняемых элемент «борьбы с иностранным засильем».

14 ноября 1739 года в Париж из России поступило сообщение, начинавшееся словами: «По-видимому, всё внутри здешнего государства готовится к значительным волнениям… Все эти волнения должны являться лишь предвестником установления порядка престолонаследия здешнего государства в пользу принцессы Елизаветы», которую выдадут за старшего сына Бирона, Петра. Далее в депеше говорилось, что для этого императрица Анна Иоанновна должна в начале 1740 года поехать

в Москву, объявить об этом браке и порядке престолонаследия, ибо «подобные акты для того, чтобы быть прочными и узаконенными в глазах народа, должны исходить из этой русской столицы… Герцогиня Курляндская поручила приготовить весьма роскошные одежды, предназначаемые ею для ожидаемого торжества. Принцесса Елизавета встречает с некоторых пор такую же приветливость, какую доныне встречала неприязнь. Принцесса Анна, напротив, как и ее супруг, подвергаются каждый день новым неприятностям: все делается теперь понятным».[400] Вся эта «разгадка» неизвестного нам автора не стоит и выеденного яйца. Из всего им написанного близко к правде было только то, что при дворе циркулировали глухие слухи о желании Бирона женить своего сына – вначале на Анне Леопольдовне, а когда ту выдали замуж за принца Антона Ульриха, то на цесаревне Елизавете. Всё остальное – неподтвержденные слухи и попросту вымысел.

Шетарди приехал в Петербург летом 1739 года и первое время занимался преимущественно вопросами своей аккредитации и презентации – он был первым полномочным послом Французского королевства в России, и это требовало особого внимания к соблюдению всех тонкостей протокола. При оценке положения в России он мог пока опираться только на сплетни и слухи, подобные процитированным выше. Если почитать другие «аналитические записки» из России, то можно прийти к убеждению, например, что Бирон прислушивается к Остерману только тогда, когда его совет одобрит банкир еврей Липман, «человек чрезвычайно хитрый и способный распутывать и заводить всевозможные интриги. Этот еврей – единственный хранитель тайн герцога, его господина, присутствует обыкновенно при всех совещаниях с кем бы то ни было – одним словом, можно сказать, что Липман управляет империей».[401] Позже, когда Шетарди стал мало-мальски ориентироваться в обстановке, выяснилось, что империей все-таки управляет не еврей Липман, а кто-то другой.

В своих первых сообщениях из Петербурга Шетарди демонстрирует довольно распространенный порок восприятия действительности, когда иностранец, приезжая в чужую страну, видит то, что он заранее настроился увидеть. Так, в XVII и XVIII веках немало западных путешественников, начитавшись купленного в дорогу «Эльзевира» – всемирно знаменитый голландский путеводитель, который состоял из отрывков описаний путешествий в Россию со времен Герберштейна и Олеария, упорно видели только то, что видели их предшественники. Пожалуй, самой расхожей в этом смысле была

тема русской бани – без нее не обходился ни один путешественник и мемуарист, начиная со святого Андрея Первозванного и кончая автором «Парка Горького». Так и Шетарди смело «шел по инструкции». Он сразу же увидел в России оппозиционные партии, грозящие стране волнениями. В начале марта 1740 года он прислал во Францию так называемые «Новости». Узнав откуда-то, что Анне Леопольдовне якобы «хотят приготовить корону», Шетарди (или его информатор) сообщает, что «ей придется бороться с двумя партиями: одна герцога Голштинского, другая великой княжны Елизаветы; первая из них слаба настолько, насколько прочна последняя. Большая часть армии за дочь Петра Великого, также и многие из тех, которые из надежды или опасения выказывают себя благоприятствующими герцогу…».

Тут собраны многие расхожие стереотипы о мифических «партиях», о массовой поддержке Елизаветы. Да и о самой цесаревне сообщается что-то несусветное: «Великая княжна Елизавета живет в своем дворце уединенно… Полагают, что она всегда одинаково расположена к князю Нарышкину, который, как уверяют, живет как француз под вымышленным именем, и что будто б ему княжна обещала свою руку».[402] Это был тот «исходный материал», которым располагал прибывший в Россию и ничего не знавший о ней французский посол.

В инструкции Шетарди было сказано, что единственным дипломатом в Петербурге, с которым нужно поддерживать связь и быть откровенным, является шведский посол Нолькен. В это время Франция была самым близким союзником Швеции, заключила с ней трактат о субсидиях, и, как сказано в инструкции Шетарди, король Франции (естественно, руками своих дипломатов) «употреблял все усилия, чтобы удалить из правительства в Швеции всех лиц, которые известны были своею преданностью Англии и России». Это тоже считалось в Версале средством достичь главной цели – напряженность в шведско-русских отношениях (а еще лучше – война) отвлекла бы Россию от помощи Австрии.

Вскоре Шетарди сошелся с Нолькеном, узнал о его тайных переговорах с Елизаветой и активно подключился к ним. Фактическая канва и хронология всей этой истории представляется следующим образом. Точно сказать, когда Нолькен вступил в контакт с Елизаветой и ее хирургом Лестоком, сейчас мы не можем. Предполагаю, что это произошло осенью 1741 года, после свержения Бирона и установления власти правительницы. Нолькен, судя по документам, был человек уравновешенный и педантичный. Задания руководства из

Стокгольма он выполнял строго по инструкции. Сблизившись с Елизаветой, он вел с ней (через посредников и непосредственно сам) тайные переговоры об условиях преступного, с точки зрения русских властей, сотрудничества. Елизавета, в обмен на шведские деньги и вооруженную помощь шведской армии, должна была, придя к власти, вернуть Швеции прибалтийские земли. Но Нолькен хотел не просто заручиться устным согласием цесаревны, а получить на руки письменный документ с ее личной подписью – род «обязательства для законного оправдания его действий», без чего, утверждал он, тайная комиссия рикстага не сможет объявить войну России.[403] На самом деле, вопрос о войне был уже решен в рикстаге.

Цесаревна отлично понимала, что «шляпы» – сторонники войны в Шведском королевстве, получив такую бумагу, тотчас опубликуют ее в газетах, а потому никаких письменных обязательств подписывать не желала. Но и прямо отказать Нолькену тоже не входило в ее планы. И примерно полгода (до самого отъезда шведского посланника в связи с началом Русско-шведской войны в конце июля 1741 года) шла незатейливая игра, похожая на историю получения стульев героями романа Ильфа и Петрова у рабочего сцены. Елизавета требовала денег и реальных успехов шведского наступления, после чего обещала подписать любую бумагу. Нолькен же хотел, чтобы Елизавета вначале подписала обязательства, а потом получила бы деньги и помощь.

Шетарди, который был в курсе этих переговоров, понимал трудности Елизаветы. Как он писал, ей пришлось бы лишить Россию «выгод и приобретений, составлявших предмет громадных усилий Петра I». Однако французский посол цинично считал, что в ее положении не следует быть столь щепетильной, ибо «лишь одно это средство в состоянии возвести ее на престол». Однако Елизавета подписывать себе приговор не желала, и в итоге Нолькен уехал ни с чем. Бумагу цесаревна так и не подписала, но и денег не получила. Она ждала развития событий на русско-шведском театре военных действий и еще до официального разрыва держав предупреждала Шетарди, что «если шведы будут откладывать еще дольше военные действия»,[404] то Россия успеет подготовиться к войне и ее дело будет проиграно. Так это и случилось: наступление шведов оказалось неудачным, и в августе 1741 года они потерпели поражение под Вильманстрандом. Как раз накануне сражения Елизавета через посредника передала секретарю шведского посольства, что «боязнь подвергнуть опасности себя и свою партию в случае, если дела (шведов) пойдут плохо, решительно не позволяет ей теперь подписать пока письменное ходатайство, но она будет его хранить и подпишет в

тот момент, как дела примут хороший оборот и она в состоянии будет сделать это без риска».

Что на самом деле думала о своих переговорах со шведами Елизавета, мы не знаем, но ясно, что она тянула время, ожидая возможных успехов шведов и опасаясь, что «Швеция, несмотря на первоначальные демонстрации, ничего не предпримет и вследствие этого бездействия принцесса Елизавета останется подверженной неприятным последствиям» (Шетарди). Начальник Шетарди министр Амело из Версаля это хорошо выразил в своем письме посланнику: «Я ничуть не удивлен, что принцесса Елизавета избегала предварительных объяснений о какой бы то ни было земельной уступке Швеции со своей стороны, я всегда думал, что эта принцесса не пожелает начать с условий, которые могли бы обескуражить и, пожалуй, расстроить ее партию, опозорив принцессу в глазах народа. Но как только Швеция, при первых успехах, завоюет с оружием в руках те провинции, которые она желает приобрести, это событие сделает уступку неизбежной, и принцесса Елизавета может тогда решиться на этот шаг с тем меньшим опасением, что такое решение будет вынужденным и это защитит ее от всяких упреков».[405]

Как бы то ни было, переговоры и торг с Нолькеном Елизавете и ее окружению удавалось сохранять в тайне почти до отъезда шведского посланника из Петербурга в июле 1741 года. По крайней мере, в мае 1741 года Шетарди успокаивал Амело, который ошибочно подумал, что замеченные передвижения русских войск «являются следствием открытия графом Остерманом сношений принцессы Елизаветы со шведским министром». Шетарди был тверд: «Я без всякого риска могу вас уверить, что до сих пор (тут), кажется, даже не подозревают об этих сношениях». Он был убежден, основываясь на свидетельстве министра иностранных дел Швеции графа Карла Гилленборга, в том, что об этих встречах не проведал и русский тайный шпион в шведском правительстве, ранее арестованный барон Гильденстерн.[406] И только после того, как Нолькен уехал, из Стокгольма кружным путем через Лондон стали приходить какие-то сведения об этом деле.

Интрига с участием Шетарди развивалась иначе. Пока Нолькен был в Петербурге, французский посланник координировал с ним действия и был даже и сам не прочь получить от цесаревны, одновременно с Нолькеном, «что-то в роде обещания, способного утвердить будущие надежды шведов». Еще во время пребывания Нолькена в России Шетарди считал себя двигателем всего затеянного шведом дела. Он так и писал в Версаль Амело: «Будьте вполне уверены, что признательность,

которую принцесса Елизавета будет испытывать по отношению к Швеции в случае, если Швеция поступит согласно планам Его величества (короля Франции. – *Е. А.),* отнюдь не помешает этой принцессе угадать истинный двигатель, приведший в действие весь механизм».[407] Речь шла, естественно, о нем самом.

После отъезда Нолькена, то есть с конца июля 1741 года, все нити заговора полностью оказались в руках Шетарди, и он, с одной стороны, ожидал действий шведов, а с другой – пытался добиться от Елизаветы активности действий ее «партии». Под «партией» он понимал группу сторонников цесаревны в армии, гвардии, при дворе и в высших правительственных кругах.

Что же было в реальности, какие политические силы стояли за Елизаветой и Лестоком? Ответ на этот вопрос во всей исчерпывающей полноте дан в книге И. В. Курукина, который показал, что никакой «партии Елизаветы» не существовало: у нее не было соучастников ни в высшем военном руководстве, ни среди придворных и чиновников, не было тайных членов «партии» и среди офицерства.[408] Да это и не удивительно. Для политиков типа А. М. Черкасского, Н. Ю. Трубецкого, А. П. Бестужева-Рюмина всегда была важна одна «партия» – это партия власти, придворный круг – источник благ и наград. Всё, что потом, уже при Елизавете-императрице, называлось «защитой наследия Петра», «долгом верных сынов отечества», во времена Бирона и правительницы было для людей, стоящих у власти, пустым звуком. Сподвижники Петра Великого вроде Черкасского, Трубецкого или Бестужева – все те, кто слезно уговаривал иностранца Бирона стать регентом государства, были ничем не лучше Р. Г. Левенвольде или его покойного брата Карла Густава, обер-шталмейстера двора Анны Иоанновны, умершего в 1735 году. О нем, как и о ему подобных, испанский посол в России де Лириа писал в 1730 году: «Он не пренебрегал никакими средствами и ни перед чем не останавливался в преследовании личных выгод, в жертву которым готов был принести лучшего друга и благодетеля. Задачей его жизни был личный интерес. Лживый и криводушный, он был чрезвычайно честолюбив и тщеславен, не имел религии и едва ли даже верил в Бога».[409]

Елизавета, в сущности, только вела разговоры о своей «партии», а на самом деле за ее спиной не было ни одного крупного гражданского или военного деятеля; однажды она проявила странную беспомощность, посылая срочно ночью своего камергера посоветоваться с Шетарди, что ей делать, если вдруг подтвердятся слухи о смерти младенца-императора—а такие слухи пошли в связи с болезнью Ивана Антоновича в середине октября 1741 года. «И это, – задается вопросом И. В. Курукин, –

при наличии широкого круга заговорщиков-офицеров во главе с опытными генералами и при поддержке первых лиц государства?»[410] Вот типичное для Елизаветы заверение, которое Шетарди получил от нее на придворном балу в начале сентября 1741 года: «По мере того, как недовольство растет, ее партия увеличивается, в числе своих самых ревностных приверженцев она может считать князей из рода Трубецких и принца Гессен-Гомбургского, все лифляндцы недовольны и преданы ей, но совершенно, однако, не посвящены ни в какие подробности тайны; наконец, я должен быть убежден в том, что, судя по нынешнему настроению, предприятие это будет иметь благоприятный исход».[411] Итак, ее «ревностные приверженцы» даже не посвящены в идею заговора!

Но и здесь мы не можем уверенно сказать, что произошло бы, если бы действия шведов в Финляндии оказались успешными. Допускаю, что, если бы войска Левенгаупта подошли к Петербургу, гоня перед собой разбитые русские части, «партия» Елизаветы резко бы увеличилась, точнее сказать, образовалась и даже приобрела силу. Отчасти это видно из разговора Нолькена с Елизаветой, когда он пытался выяснить, какие силы за ней стоят. Шетарди пишет: «Нолькен старался также удостовериться, действительно ли из числа офицеров трех пехотных гвардейских полков, простирающегося до ста шестидесяти человек, пятьдесят четыре офицера уже присоединились к партии принцессы. Она подтвердила то, что было сообщено по этому предмету, и не поколебалась нисколько высказать, что ее партия будет действовать так же, как и она, со всею отвагой, какая возможна, лишь только шведы дадут возможность действовать и тем и другим без риска».[412] А поскольку успехов у шведов не было, то и «партию» Елизаветы на политическом горизонте России разглядеть не удается.

Шетарди изумлялся, почему Елизавета так выспрашивает у него о ходе военных действий в Финляндии – неужели она «не имеет никого из своей партии при русской армии»? Ведь она же сама раньше рассказывала, что раздавала деньги офицерам и солдатам, идущим на войну, и якобы просила их не убивать ее племянника, герцога Голштинского, которого шведы предполагали доставить в Финляндию. Еще до этого Нолькен пытался проверить историю о семеновском капитане, будто бы одаренном Антоном Ульрихом, но оставшемся верным Елизавете (об этом мы расскажем ниже). Оказалось, что история эта зиждилась на словах цесаревны и Лестока и проверке не поддавалась.

При чтении подряд множества донесений Шетарди к Ж. Ж.

Амело, министру иностранных дел Франции, о заговоре и о его, посла, личном участии в этом деле невольно создается впечатление, что Шетарди был либо человеком недалеким, самовлюбленным и к тому же допускавшим профессиональные ошибки (зная историю его позорного изгнания из России уже во времена Елизаветы, можно так думать), либо находился во власти иллюзий, что именно он создает революционную ситуацию в России и что именно он «породил» Елизавету-императрицу. Как известно, переворот 25 ноября оказался неожиданным не только для правительницы, но и для самого Шетарди, внезапно разбуженного мятежными солдатами, ломившимися в дом посла, – они ошиблись в темноте, ибо искали дома Остермана или Головкина, чтобы их арестовать, чем страшно перепугали французов во главе с Шетарди. Но если читать итоговые донесения посла о совершенном перевороте, то окажется, что именно он направлял все действия мятежников. Более того, оказалось, что Елизавета по пути в казарму в ночь переворота получила его благословение, «была так внимательна и известила меня о том, что она стремится к славе».[413] Это сообщение Шетарди весьма сомнительно и не подтверждается другими источниками.

Возможно, Елизавета, умевшая своей «очаровательной благосклонностью» ввести в заблуждение и более умных, чем Шетарди, людей, все время водила его за нос, кормя обещаниями, выманивая деньги и якобы выжидая удобного момента для выступления. Комментатор мемуаров Миниха приводит два варианта плана действий Елизаветы: первый – ждать подхода шведов к Петербургу и с их помощью захватить власть и второй – в день Водосвятия 6 января 1742 года, когда все войска будут построены на льду Невы, «подкупить гвардию раздачей известной суммы денег».[414] Если первый вариант кажется правдоподобным – ждать, когда шведы сделают всю черную работу, то второй в изображении комментатора кажется нелепым: раздавать деньги солдатам на льду Невы (и как это может выглядеть?) еще не значит поднять мятеж. Скорее всего, Елизавета плыла по течению, исповедуя извечные принципы русской обыденной философии: «Ничего, все равно, как-нибудь».

Что-то в ее обещаниях было откровенным обманом. Так, личный врач цесаревны Лесток сообщал Шетарди в мае 1741 года, что «в нескольких провинциях» были волнения, «произведенные значительным числом ее (Елизаветы. – *Е. А.)* приверженцев», но власть не обратила на них внимания, приняв их за проявление чувств в связи со свержением Бирона. Что-то было самообманом, иллюзиями, которые у Елизаветы и ее

окружения питались проявлениями солдатской любви к дочери Петра, дружелюбными разговорами с офицерами, слухами о множестве ее ревностных сторонников повсюду. Шетарди же поддерживал свои иллюзии мифом об «антинемецкой революционной ситуации», весьма гипотетичными рассуждениями о якобы растущей «партии» Елизаветы, а также своей верой в правильность затеянного дела, на которое он поставил в ожидании дивидендов. В этом смысле роль Шетарди во всей истории переворота была чрезвычайно велика. Если Нолькен начал всё дело, то Шетарди его развил, не ослабляя своего давления на нерешительную Елизавету, поднимая своим личным участием в интриге уровень самооценки цесаревны, привыкшей ходить на вторых ролях. Он постоянно повторял, кто она есть, чья она дочь. В мае 1741 году Шетарди, как уже сказано выше, поспорил с обер-гофмейстером двора Минихом по поводу официального статуса Елизаветы. Когда Миних сказал, что цесаревна должна стоять «ниже» отца императора – Антона Ульриха, то Шетарди, показавший себя таким педантом, когда дело касалось его официальной презентации в роли французского полномочного посла, воскликнул: «Вы можете обходиться с этой принцессой как вам угодно, что мне до этого дело, но скажу вам только, что все коронованные особы смотрят и будут смотреть на нее как на дочь Петра I, императора России; меняйте при этом ранги, коли хотите, с утра до вечера, это в вашей власти, но вне ваших владений полагают, что ранг, принадлежащий по праву рождения, не может быть подвергаем перемене».[415] Даже если Шетарди и не говорил всех этих слов обер-гофмейстеру, круг его мыслей виден четко – их-то он как раз и внушал Елизавете. Кажется, что прав автор замечаний на записки Манштейна: «Шетарди внушил Елизавете Петровне мысль ко вступлению на престол, всевозможно возбуждал и поощрял ее к этому; приводя в пример смелое предприятие Миниха, успехом увенчанное, доказывал, что и она может подобным путем овладеть державою».[416]

Первым, кто хотя и поздно, но все же смекнул, в чем тут дело, был шеф Шетарди министр Амело. В послании из Версаля от 6 ноября 1741 года он писал Шетарди: «Я сильно сомневаюсь, милостивый государь, чтобы так называемая партия принцессы Елизаветы не оказалась порождением фантазии (ил *etrederaison);* именно теперь или никогда она должна бы проявиться, если ей необходимо присутствие шведов в Петербурге, чтобы осмелиться выступить, то от нее нечего ждать большой помощи».[417] Даже не читая еще письма своего умного шефа, Шетарди за день до переворота тоже начал понимать, где зарыта собака. 24 ноября,

когда к нему приехал Лесток и стал просить денег для Елизаветы, Шетарди в ответ на уверения посланника цесаревны в силе ее «партии» заметил, что, скорее всего, «основою партии служат народ и солдаты и что лишь после того, как они начнут дело – и чтоб не сказать окончат его, – лишь тогда лица с известным положением и офицеры, преданные принцессе, в состоянии будут открыто выразить свои чувства. Я ничуть не скрыл от доверенного лица того неудобства, что нет, по крайней мере, хоть нескольких лиц для руководства толпою».[418] Нельзя не признать остроумным высказывание Фридриха II по поводу елизаветинского переворота: «Один хирург, происхождением француз, один музыкант, один камер-юнкер и сто Преображенских солдат, подкупленных французским золотом, переселили Елизавету в императорский дворец».[419] Король, пожалуй, ошибся только в числе солдат (на самом деле их было триста) – а в остальном всё верно – им перечислена почти вся «партия Елизаветы»! Впрочем, я, пожалуй, ошибся! Во дворце цесаревны еще оставались братья Шуваловы и Алексей Разумовский – любовник Елизаветы.

В итоге, если что-то действительно было предпринято для подготовки переворота, так это усилия приближенных Елизаветы (камер-юнкера М. И. Воронцова, музыканта Шмидта и хирурга Лестока), которые сумели завязать отношения в Преображенском полку и снабдить деньгами три десятка гренадер, среди которых верховодил некто Грюнштейн, разорившийся саксонский купец, завербовавшийся в русскую гвардию. Это и была ударная сила «партии Елизаветы». Она в конечном счете и победила.

* * *

Немного об окружении Елизаветы, сильно влиявшем на нее. Неожиданно открывшиеся в конце 1740 года – с появлением инициативы Нолькена (а потом и с присоединением к этой компании Шетарди) – политические перспективы воодушевляли Елизавету, а особенно ее окружение. Перед этими людьми распахнулись поистине ошеломляющие горизонты. Окружение цесаревны составляли люди по тем временам малозначительные, ничтожные в политическом отношении и во многом случайные. Как известно, двор Елизаветы во времена царствования Анны Иоанновны был «захудалым», второстепенным. Все сколько-нибудь уважающие себя карьеристы стремились к «большому двору» императрицы Анны Иоанновны. Там, поближе к государыне, а особенно к ее «возлюбленному камергеру», можно было сделать карьеру, получить награды, пожалования. А водиться с Елизаветой было не только не выгодно, но и довольно опасно – правящая государыня лишь терпела цесаревну, ожидая, когда же хитроумный Остерман все-таки выдаст ее замуж с выгодой для России и династии. Поэтому ближний круг цесаревны составляли люди незнатные и бедные. Только потом, с приходом Елизаветы Петровны к власти и благодаря ее милостям, их имена, уснащенные графскими титулами, загремели на весь мир: братья Петр и Александр Шуваловы, братья Михаил и Роман Воронцовы, Скавронские, Гендриковы.

При дворе цесаревны состояли еще камер-юнгфера Мавра Шепелева, ее ровесница и ближайшая подруга, фаворит из малороссийских простолюдинов Олеша Розум, врач Жан Арман Лесток, музыкант Шмидт. Все это были люди в большинстве своем молодые (Шуваловым было в 1740 году соответственно 30 и 31 год, Михаилу Воронцову – 27 лет, двоюродной сестре Елизаветы Анне Скавронской – 20 лет и т. д.). Все они мечтали о богатстве, славе, почестях и толкали свою госпожу к решительным действиям. Больше всех в этом усердствовал ее личный врач и, естественно, обладатель ее самых сокровенных тайн Ж. А. Лесток, человек, по общему мнению, веселый, легкомысленный и болтливый. Он и стал главным связующим звеном между Елизаветой и иностранными дипломатами.

Много раз и сама цесаревна встречалась с Шетарди: судя по его донесениям, в последние месяцы перед переворотом – почти каждую неделю. Маркиз был настоящим версальским вельможей – истинный француз, элегантный, высокий, красивый,

утонченный, галантный, красноречивый, не чета тем случайным искателям приключений из Франции, которые наводняли Европу (в том числе и Россию) в поисках спасения от кредиторов, тюрьмы, с желанием заработать денег или испытать увлекательные приключения в «стране медведей». Правда, герцогиня Луиза Доротея, знавшая Шетарди по Берлину, отдавая должное его уму и красоте, остроумно писала: «Но вместе с тем он показался мне похожим на хороший старый рейнвейн: вино это никогда не теряет усвоенного им от почвы вкуса и в то же время, по отзывам пьющего его в некотором количестве, отягчает голову и потом надоедает. То же самое с нашим маркизом: у него бездна приятных и прекрасных качеств, но чем далее, тем больше чувствуешь, что к ним примешана частица этой врожденной заносчивости, которая никогда не покидает француза, какого бы ни был он звания и возраста».[420]

Шетарди прославился в Петербурге щедрым гостеприимством. Он привез с собой не только двенадцать изящных кавалеров и пятьдесят пажей, камердинеров и лакеев, но целый погреб славных французских вин (100 тысяч бутылок!). Именно он, как считают виноделы, завел в России моду на шампанское (которого он захватил с собой в Россию 16 800 бутылок). Шетарди щедро угощал многочисленных посетителей, на которых смотрел не столько как на приятных гостей, сколько как на своих вольных или невольных информаторов. Уже в первые месяцы жизни в Петербурге он познакомился со всем столичным светом, тщательно следил, чтобы все без исключения ценные для него придворные, чиновники, военные и, конечно, дамы отведали произведения привезенных им шести парижских поваров во главе с несравненным шеф-поваром Барридо.

Посол сразу понравился Елизавете, прекрасно говорившей по-французски, знавшей толк во французской культуре, особенно – в моде. Как писал Шетарди, она проявляла к нему такую «очаровательную благосклонность, что просто нельзя от нее уйти, раз к ней явишься».[421] Шетарди стал ее приятелем, а позже – когда она взошла на престол – и ее любовником.

Несомненно, что маркиз давал цесаревне деньги, в которых она нуждалась, но сколько – теперь сказать трудно. Одни считают, что это был пустяк – всего лишь пара тысяч рублей (или дукатов).[422] Точно известно, что деньги (2 тысячи дукатов) под видом займа от короля были переданы в сентябре 1741 года, и Елизавета рассыпалась в благодарностях его величеству Людовику XV. При этом в донесении Амело Шетарди подчеркивал, что за свою дипломатическую карьеру не совершил больших трат королевских денег.[423] Из другого донесения

Шетарди буквально накануне переворота следует, что Лесток «заговорил об истощении денежных запасов принцессы, которое дошло до того, что у нее не остается и трехсот рублей, поэтому она просит меня принести некоторую жертву в ее пользу».[424]

Известный мемуарист и собиратель придворных слухов Г. Гельбиг был убежден, что сумма, полученная Елизаветой, была значительно больше – в течение нескольких дней Шетарди якобы передал ей сначала 9 тысяч золотых дукатов, а потом еще 40 тысяч, данных как бы в долг королем Франции будущей государыне России. И половину этих денег Россия будто бы впоследствии вернула Франции.[425] Манштейн также считал, что Шетарди «снабдил ее таким количеством денег, какого она пожелала».[426] Как бы то ни было, хотя Шетарди переворот почти проспал, награды ему – уже после воцарения Елизаветы – достались невероятно щедрые: новая императрица сторицей отблагодарила французского посланника. Вернувшись во Францию, Шетарди, по просьбе короля, даже устроил в Версале выставку даров, полученных от Елизаветы Петровны в благодарность за его помощь и поддержку. Сомневаюсь, что эта поддержка была только моральной – уж очень значительны были суммы подарков (по некоторым данным – около 1,5 миллиона ливров).

Конечно, преуменьшать сумму, переданную иностранным посланником цесаревне, мемуаристов и историков призывало горячее патриотическое чувство – ведь революция, совершенная дочерью Петра Великого во имя освобождения России от гнета иностранцев, не могла быть сделана на иностранные деньги! Но почти все согласны: эти деньги (или их часть) пошли в гвардейские казармы и стали авансом за участие гвардейцев в перевороте 25 ноября 1741 года. Можно сомневаться в рассказах Елизаветы о том, как она раздавала деньги офицерам и солдатам, которые отправлялись в Финляндию, на театр военных действий,[427] но что Лесток, Шмидт и Воронцов давали деньги Грюнштейну и его товарищам – несомненно.

* * *

Информация об интригах Шетарди стала довольно быстро просачиваться наружу и попадать к властям. Поток сведений с разных сторон все усиливался, и постепенно, к середине 1741 года, так называемый «заговор Елизаветы и Шетарди» стал секретом Полишинеля. Этому способствовало множество обстоятельств. «Заговорщики» оказались столь неумелыми, что их

действия были видны невооруженным глазом. Обычно указывают на Лестока как на главного виновника разглашения заговора. Манштейн писал: «Лесток, самый ветреный человек в мире и наименее способный сохранить что-либо в тайне, говорил часто в гостиницах при многих лицах, что в Петербурге случатся в скором времени большие перемены».[428]

О Лестоке сохранилось довольно много сведений, в том числе его следственное пыточное дело 1748–1750 годов – чаша сия не миновала в конечном счете и его самого. Гельбиг, который в своих записках «Русские избранники» мало кого жаловал из своих современников, писал о Лестоке как о человеке исключительных способностей и дарований. Он вообще считал, что «Лесток был гениальный человек. Он обладал проницательным умом, необыкновенным присутствием духа, верным суждением и добрым сердцем, которое, однако, к сожалению, очень часто приводило к заблуждениям благодаря его легкомыслию». Суждению Гельбига о том, что Лесток был «тонким и верным знатоком человеческого сердца», можно поверить – жить десятилетия бок о бок с капризной и подозрительной Елизаветой было непросто.

Вместе с тем Лесток всю жизнь отличался весьма эксцентричным поведением, был неунывающим, веселым человеком. Сохранились рассказы о его находчивости и остроумии. Так, во время заключения в Петропавловской крепости он нашел оригинальный способ переписки со своей женой, сидевшей в другом каземате, – Лесток посылал ей записки в каше, которую он заботливо передавал через охрану. Во время 12-летней ссылки в Углич и Великий Устюг он, лишенный всех своих богатств, в отличие от других ссыльных, не бедствовал, а жил на то, что обыгрывал в карты подружившегося с ним воеводу. После того как Лестока в 1762 году освободил из ссылки Петр III, он вернулся в Петербург и поселился в своем некогда богатом доме (до советских времен в городе был Лештуков переулок). Попытки официально вернуть конфискованное и разворованное его врагами добро ни к чему не привели. И тогда, заручившись разрешением императора, он стал без приглашения наведываться в дома своих давних врагов, и «так как они не ожидали его посещения, то не принимали необходимых предосторожностей. Находя в этих домах что-либо из своих картин, серебряных вещей или драгоценностей, он без всяких разговоров уносил их, уверяя, что эти вещи его и что он действует по приказанию императора. Жаловаться на него не решались, и он таким образом собрал часть своих вещей».[429]

Возможно, конспиратор из лекаря цесаревны был

действительно неважный, но сказать, что он был человеком ветреным и болтливым, мы не можем – нужно все-таки иметь в виду, что Лесток два десятилетия был личным хирургом Елизаветы, а до нас не дошло почти ничего о ее личной жизни, точнее о том, что мог бы Лесток, согласно данной ему характеристике, разболтать встречным и поперечным. По крайней мере, секреты интимной жизни государыни он унес с собой в могилу. Да и во время встреч и переговоров в 1740–1741 годах он вел себя осторожно и был далек от легкомыслия. Как сообщал в мае 1741 года Шетарди, Лесток, придя к Нолькену на переговоры, очень волновался; «при малейшем шуме, который он слышал на улице, он быстро подходил к окну и считал себя уже погибшим», опасаясь, как бы по выходе от шведского посланника его не арестовали.

Примечательно и то, что свидания Лестока с Шетарди и Нолькеном часто откладывались, переносились из страха доверенного цесаревны перед разоблачением и арестом. Отчасти это объяснимо тактикой Елизаветы, тянувшей с подписанием неудобных ей бумаг, но отчасти она и ее люди действительно были осторожны, боялись предательства и знали цену обещаниям дипломатов. Так, в конце мая 1741 года они, испуганные частыми поездками Шетарди к Остерману, подумали, что Россия и Швеция решили примириться и что Шетарди выступает как посредник в русско-шведской распре, а их дело раскрыто и все они пропали.[430] Повторю, что суть переговоров Лестока и самой Елизаветы с Нолькеном так и осталась неизвестной правительству Анны Леопольдовны до конца. Поэтому думаю, что дело не в болтливости Лестока, а в том, что с отъездом Нолькена заговором стал заниматься сам Шетарди, который вел себя неосторожно и самонадеянно. Это видно по его донесениям в Версаль: «Множество шпионов, которыми я, весьма вероятно, действительно окружен, нисколько меня не пугает, они нимало не помешали мне отыскать верное средство, при помощи которого доверенное лицо является ко мне ночью, как только есть что-нибудь спешное». Неизвестно, какое это было «верное средство», но о ночных встречах Шетарди с Лестоком и самой Елизаветой знали многие.

Места встреч «заговорщиков» избирались самые разные и порой весьма экзотические. Мать Екатерины II княгиня Ангальт-Цербстская Иоганна Елизавета писала, что эти свидания «происходили в темные ночи, во время гроз, ливней, снежных метелей, в местах, куда кидали падаль».[431] В августе 1741 года человек Шетарди должен был встретиться с доверенным лицом Елизаветы «завтра в кадетском саду и под видом как бы

случайности, которая может всегда произойти на гулянье до некоторой степени публичном».[432] В другой раз, по словам Шетарди, Елизавета «для того, чтобы устроить свидание, трижды проезжала в гондоле вдоль насыпи, находящейся на даче, занимаемой мною и расположенной на берегу реки; кроме того, она приказывала трубить при этом в охотничий рог, чтобы скорее обратить на себя внимание, но ни разу не случалось, чтобы я не находился в этот день в городе». Рассказавший все эти «конспиративные хитрости» дворянин Елизаветы, пишет Шетарди, «намекнул мне, что принцесса была бы весьма приятно удивлена, если бы по возвращении теперь в Петербург к восьми часам ей представился случай встретить меня в пути». В итоге маркиз два часа торчал на дороге в Петергоф, а цесаревна так тут и не проехала.[433] В августе 1741 года Шетарди предложил цесаревне «одно средство, представляющее с виду случайность, к тому, чтобы переговорить с ней о каком-нибудь спешном и важном предмете. Средство это состоит в следующем: пользуясь тем, что третьего дня я был приглашен к обеду графом Динаром и мне приходилось пройти перед ее дворцом, я просил ее находиться в половине первого со своими дамами на крыльце, устроенном перед входом в ее дворец в случае, если погода позволит это, и подождать, пока воспользуюсь этим случаем, чтобы под предлогом почтения, какое я обязан ей оказывать, я вышел бы из кареты и подошел к ней».[434] Ни дать ни взять Дюма-отец!

Как писал Г. Гельбиг, «если им нужно было переписываться, они клали записочки в табакерки (вспомним кашу Лестока в Петропавловской крепости! – *Е. А.)* и таким образом вели корреспонденцию».[435] Заговорщики действовали при большом скоплении людей, полагая, что их условные знаки, слова, взгляды никому не понятны. Какова была эта конспирация, видно из донесения Шетарди от 2 сентября 1741 года. Он сообщал, что во время придворного бала они разговаривали с цесаревной о сватовстве к ней брата Антона Ульриха, о происках Динара, о том, что она придумала, как ловко передавать маленькие записочки и потом возвращать их.[436] Ухитрялся Шетарди сообщать что-то секретное цесаревне даже во время аудиенции у нее. В мае 1741 года, собираясь на ближайшую официальную встречу с цесаревной, он писал Амело, как он будет действовать. Дело в том, что накануне Нолькен виделся с Лестоком и хирург сообщил ему, что Елизавета не может встретиться со шведским послом и считает нужным проявлять крайную предосторожность, так как опасается покушения. Шетарди находил, что Лесток сильно преувеличивает опасность, грозящую цесаревне, и что на

самом деле Елизавета боится скомпрометировать себя. И далее: «Я в состоянии буду судить о том с большей достоверностью, когда снова буду иметь возможность видеть эту принцессу. Я уже собирался, чтобы никого не удивить, сказать ей вслух после приветствия при аудиенции, которую буду иметь у нее, что чем дольше я был лишен удовольствия свидетельствовать ей свое почтение, тем сильнее надеюсь вознаградить себя теперь (и, надеюсь, она позволит мне сделать это), выполнив долг, который я обязан выполнять по отношению к ней». Вот что такое настоящая версальская галантность! А смысл тирады простой: надо бы нам встретиться.

Всё это происходило на глазах множества людей. Описывая конспиративную беседу с цесаревной на придворном балу, Шетарди сообщает: «Так как мы с принцессой заметили, что большинство лиц, находившихся на балу, обращают внимание на наш разговор, то мы сочли уместным не продолжать его более, чтобы не возбуждать подозрений».[437] Тщетная предосторожность!

Естественно, что о тайных поездках Шетарди к Елизавете, о встречах его с Лестоком знали при дворе, как и о «случайных» встречах посланника с цесаревной. Их встречи и разговоры давали обильный материал для сплетен, слухов, заставляли задумываться об истинных целях всех этих контактов. Уже с начала 1741 года по указанию правительницы была организована слежка за всеми передвижениями вокруг дворца Елизаветы, в соседнем здании устроили квартиру наблюдения («безызвестный караул»), из которой специально назначенным солдатам было предписано смотреть, «какие персоны мужеска и женска полу приезжают, тако же и Ее высочество благоверная государыня цесаревна Елисавет Петровна куда изволит съезжать и как изволит возвращаться», и об этом каждое утро подавать рапорты.[438]

Долгое время слухи о содержании визитов Шетарди к цесаревне и о его встречах с Лестоком оставались весьма туманны, хотя догадаться о предметах тайных разговоров было можно. Обычно именно так передавались секретные сведения, плелись интриги против конкретных вельмож, устраивались заговоры против существующего режима. В те времена на дипломатов смотрели как на легальных шпионов и провокаторов, обязанностью которых был не только сбор нужных сведений, но и почти неприкрытое вмешательство в дела стран аккредитации с помощью интриг, а особенно – посредством подкупа и взяток. Воспользуемся уже упоминавшейся остротой Фридриха II: ослов, нагруженных золотом для подкупа, дипломаты вводили во все

столицы тогдашнего мира. Так делали и русские послы, изводившие сотни тысяч червонцев на шпионов и информаторов разных мастей, на подкуп министров короля и депутатов Речи Посполитой, членов рикстага и чиновников Швеции, визирей, евнухов и родственников султана в Стамбуле, газетчиков Лондона и Гамбурга. Так делали иностранные дипломаты и в России. Выше уже рассказывалось, как в феврале 1741 года выяснилось, что прусский посол обещал огромные деньги бывшему учителю правительницы, «полагая, что он пользуется большим влиянием на нее».[439]

К лету 1741 года информация о зреющем антиправительственном заговоре стала поступать в Россию и из-за границы. Очень многое было известно в Стокгольме, куда регулярно писал Нолькен. Между тем там подвизалось немало платных и бесплатных друзей России и Англии, которые сообщали какие-то отрывочные сведения о заговоре в Лондон. Вскоре и сам Финч получил соответствующее извещение от своего министерства иностранных дел и передал его Остерману. В отличие от прежних отрывочных, приблизительных данных, получаемых с разных сторон, английская нота представляла собой квинтэссенцию всей собранной информации. Читая послание статс-секретаря лорда В. Гаррингтона русскому правительству, удивляешься точности информации, в нем содержащейся, ясности и недвусмысленности каждой фразы текста. Такие бумаги готовят только профессионалы высочайшего уровня: «В секретной комиссии шведского сейма решено немедленно стянуть войска, расположенные в Финляндии, усилить их из Швеции… Франция для поддержки этих замыслов обязалась выплатить два миллиона крон. На эти предприятия комиссия ободрена и подвигнута известием, полученным от шведского посла в Санкт-Петербурге Нолькена, будто в России образовалась большая партия, готовая взяться за оружие для возведения на престол великой княжны Елизаветы Петровны… Нолькен также пишет, что весь этот план задуман и окончательно улажен между ним и агентами великой княжны и при помощи французского посла маркиза де ла Шетарди, что все переговоры между ними и великой княжной велись через француза-хирурга (Лестока. – *Е. А.),* состоящего при ней с самого детства».

Английский посол Финч вручил послание правительства Его величества короля Георга II Остерману и Антону Ульриху. А что же правительница и ее министры? Как пишет Манштейн, когда Остерман, получивший сведения от своих шпионов, сообщил правительнице, что цесаревна Елизавета что-то замышляет против регентства, та в ответ «посмеялась над ним и не поверила

ничему тому, что он говорил по этому предмету».[440] Этот же мотив проходит и в мемуарах Миниха, правда, по поводу частых встреч Елизаветы с гвардейцами в летней даче у Смольного: «Правительница принцесса Анна была предуведомлена об этих собраниях, но считала их пустяками, не могущими иметь последствий; при дворе говорили с насмешкой: „Принцесса Елизавета водит компанию с Преображенскими солдатами“».[441] Смех правительницы можно объяснить только одним: она представить себе не могла, что Елизавета – эта изнеженная, капризная красавица, прожигательница жизни – способна на такое мужское, опасное, в стиле Миниха, дело – государственный переворот. Уж Анна Леопольдовна по истории 9 ноября 1740 года хорошо знала, сколь нервное и непростое это предприятие. Да и какими силами смогла бы совершить переворот Елизавета? Все знали, что она водит компанию с гренадерами, что они величают ее кумой, но солдаты – орудие, масса, и кто же поведет их на захват дворца? Действительно, ни один офицер или генерал не был замешан в заговоре. Правительнице и людям, бывшим тогда у власти, повторение предыдущего (9 ноября 1740 года) переворота казалось единственно возможным вариантом. Нужно, чтобы фельдмаршал (генерал, на худой конец – полковник) повел солдат под командой верных офицеров ко дворцу. Неудивительно, что власти особенно внимательно начали присматривать за фельдмаршалом Минихом.

Пожалуй, больше других нервничал из-за Елизаветы принц Антон Ульрих. В декабре 1740 года он поручил М. Г. Головкину расследование дела какой-то бабы, которая где-то брякнула, что «фельдмаршал Миних, приехав к (цесаревне), стоял на коленях и объявлял свою службу в таком намерении, чтоб (ей) быть на всероссийском престоле». Баба категорически отрицала навет и призналась в том, что действительно говорила о посещении Минихом цесаревны, но не более того, зато вспомнила какого-то знакомого ей кузнеца, о сне которого они разговаривали. Сон же был политически актуальным: труженику молота снилось, что Елизавета Петровна – императрица Всероссийская.[442]

Другой случай был связан тоже со снами кузнеца (возможно, того же) и относился к началу марта 1741 года, то есть сразу же после отставки Миниха. Тогда подпоручик Нотгофт донес на литаврщика Грубера, который ему рассказывал, что Сара Каландерша, жена кузнеца Каландера, «сказывала ему, чтоб бывший-де фельдмаршал Миних был один раз в доме у… Елизавет Петровны и, припадши к ногам Ея величества, просил, что ежели Ея величество ему повелит, то он все исполнить готов». А далее следует довольно неординарный ответ цесаревны: «…на

что-де Ея величество изволила ему сказать: Ты ли-де, который корону дает, кому хочет, я-де оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу».

По показаниям литаврщика Грубера, Каландерша рассказывала всю историю иначе: Миних стоял на коленях, требовал от Елизаветы повеления, а она ему сказала, «что он-де, Миних, ведает, что Ея высочеству надобно и к чему она право имеет, и потом-де… онаго фельдмаршала очень милостиво принять и до крыльца провожать изволила». Каландерша всё это слышала от музыкантовой жены Строуши. Обе эти женщины – вероятно, немки или чухонки – оказывается, служили при дворе цесаревны. Поэтому генералиссимус, который опять вместе с Головкиным вел расследование, не решился арестовать их во избежание огласки и скандала.

Но при этом Антон Ульрих завербовал Нотгофта, чтобы тот смотрел, когда цесаревна «на Смольный двор приедет и тогда кто из генералитету или прочих чинов ее туда провожает, по которому оному генералиссимусу повелению он, Нотгофт, о том и репортовал потому, что он близ того Смольного двора квартиру имеет». По приказу принца Нотгофт привел к нему кузнеца Каландера и литаврщика Грубера. Кузнеца, который работал на дворе Елизаветы, принц спрашивал, отчего в доме Елизаветы «ворота никогда не запираются и по какой причине… по ночам в одном покое всегда свеча горит?».

Кузнец отвечал уклончиво (ответ нам известен в редакции 1742 года, когда уже правила Елизавета), что, мол, свеча, бывает, горит не только у знатных, но и «у подлых людей», а ворота запереть нельзя, так как снега много нанесло и подмерзло. Антон Ульрих обещал Каландеру «великое награждение… ежели он, проведывая прилежно, что у Ея императорского величества в доме сделается», станет докладывать ему. По словам жены кузнеца, принц обещал ее мужу место в Конной гвардии и 600-рублевый оклад (сам же Каландер признавался, что ему обещали только место полкового кузнеца).

Головкин, в свою очередь, расспрашивал Каландершу, «не слыхала ли она от оной Строуши или от кого другого, что (цесаревна) к восприятию российского престола какое-либо намерение имеет?». Поскольку дело рассматривалось в 1742 году, то и муж и жена отвечали, что они с презрением заявили Головкину и принцу, что «к таким проведываниям, конечно, ни за какие деньги не склонятся», отвергли деньги иностранных временщиков и категорически отказались стучать на «счастливо царствующую ныне всемилостивейшую государыню императрицу Елизавету Петровну». Вот как были смелы и неподкупны

истинные патриоты – сторонники дщери Петровой, согласно их показаниям, данным уже во времена счастливо царствующей государыни Елизаветы Петровны.

На следствии 1742 года Левенвольде добавил, что, по словам генералиссимуса, «один пуговишник видел во сне, что в марте месяце имеет быть великая перемена и что будто фельдмаршал Миних был или ходил к (Елизавете)». Из допроса Левенвольде прямо вытекало, что о вещем сне пуговишника и визите Миниха ему говорила и сама правительница, которая подозревала Миниха «по причине того, что будто он к (цесаревне) приходил», после чего он был «из службы уволен». Визит Миниха к Елизавете Петровне действительно имел место как раз накануне отставки и, возможно, ее и вызвал.

Чем же так встревожил политическую верхушку Российской империи сон пуговишника? Раньше такие дела разбирали в Тайной канцелярии рядовые служащие, даже без ее начальника, генерала и кавалера Ушакова, а теперь этим делом заинтересовался сам генералиссимус. А дело, видно, было типичным для тех времен, хотя и отражало больше народные представления и молву, чем реальные происшествия. Из дела видно, как сплетни, передаваемые из уст в уста, обрастают фантастическими подробностями и становятся зловещими. Ко всему рассказанному выше еще примешивались слухи о каких-то привидениях в Петропавловском соборе, то ли у гроба Анны Иоанновны, то ли у гроба самого Петра, которые трактовались так: «Его императорское величество и в гробе своем от того покоя не имеет, что дочь его от законного наследства российского престола беззаконно выключена». Подобные слухи могли ходить и раньше, тревожа народное сознание и «прибавляя очки» Елизавете.

Столкнувшись с этими слухами, Антон Ульрих да и правительница встревожились: как бы действительно сон пуговишника не сбылся – пожар там или бунт ему приснился, но не устроил бы в начале марта фельдмаршал Миних очередной переворот, на этот раз в пользу Елизаветы Петровны – благо он с ней встречался и у них была какая-то беседа.

Почти сразу же после отставки Миниха по приказу Антона Ульриха нескольким гренадерам, переодетым в гражданское платье, было поручено по ночам «смотреть, что ежели оный фельдмаршал граф Миних поедет из двора своего инкогнито, не в своем платье, то б его поймать и привесть во дворец, буде же он поедет к (цесаревне), то б его дожидаться, как оттуда из дома возвратится, и взять бы его и привесть во дворец и о том доложить». Было установлено несколько смен дежурных филеров.

Заодно предписывалось смотреть, не ездит ли кто по ночам к «цесаревне, також ко оному фельдмаршалу и князь Алексею Михайловичу Черкасскому».[443]

Миниха подозревали больше других – отставной первый министр, естественно, был обижен на существующую власть и должен был мечтать о реванше. Шпионам предписывалось, если во дворец прибудет Миних, то рапортовать устно «того часу» майору Альбрехту или самому генералиссимусу. «Потом, – показал в 1742 году аудитор Барановский, сидевшей в тайном „безызвестном карауле“, – еще приказ воспоследовал: французский посол когда-де приезжать будет во дворец Ее высочества благоверной государыни цесаревны, то б-де и об оном рапортовать с прочими в подаваемых записках». Заметна разница в срочности подачи рапортов: если Миних – то срочно, а если посол – то в общем порядке. Это значит, что власти опасались, как бы Миних не повторил попытки переворота, а в приездах посла непосредственной угрозы не усматривалось.

Миних зачастил к цесаревне еще до своей отставки. 14 февраля 1741 года Финч доносил в Лондон: «Фельдмаршал повадился за последнее время делать продолжительные визиты к принцессе Елизавете, что, конечно, не по сердцу правительницы и не содействует ее расположению к нему».[444] Правительница и ее приближенные помнили пророчество отправленного в Сибирь Бирона: «То же честолюбие, которое увлекло его на измену герцогу, может не сегодня-завтра увлечь на измену Ее высочеству».[445]

Весна и лето прошли спокойно – оказавшись в отставке, Миних в своем доме на Васильевском острове сидел тихо. В августе 1741 года поползли слухи о том, что Миних болен, что арестован его сподвижник генерал Геннин, а также близкие фельдмаршалу генералы Девиц и Штоффельн, находившиеся при войсках на Украине.[446] Судя по этим слухам, люди, стоявшие у власти, стремились «стреножить» азартного и непредсказуемого фельдмаршала. Одновременно, из описанного выше дела видно, что власти страдали от недостатка информации из самого дворца Елизаветы и пытались как-то этот недостаток восполнить, вербуя служителей цесаревны и их жен. Но здесь их ждала неудача, как неудачной оказалась и попытка наладить неформальные отношения с гвардейцами.

Весной 1741 года, по сообщению Шетарди, генералиссимус вдруг заинтересовался настроениями в гвардии и как-то раз обратил внимание на семеновского капитана, стоявшего на посту во дворце с весьма мрачным лицом. Узнав, что задумчивость офицера объясняется размышлениями, как прокормить свою

многочисленную семью, генералиссимус сказал: «Я хочу, чтобы вы все были счастливы и сделались моими друзьями», – и подарил офицеру кошелек с золотом. Шетарди, сообщавший в Версаль об этой истории, не без юмора отмечает, что золото так воодушевило семеновского капитана, что он, «все время соглашаясь с его мнениями, сыграл свою роль с такой находчивостью, как будто он был к ней подготовлен», хотя был, на самом деле, ревностным сторонником Елизаветы.[447]

Естественно, пользы от этой жалкой пиар-кампании было мало. Состязаться с Елизаветой в завоевании симпатий гвардейцев принц не мог. Елизавета, с ее необыкновенной красотой, обаянием, простотой и сердечностью, трогательной незащищенностью, воодушевляла, даже возбуждала мужчин встать на ее защиту. Дочь Петра была для солдат своя, и вообще, для многих простых людей «она и по внешнему ее виду от Бога (была) давно избрана».[448]

Правительница тоже не знала, о чем ведут разговоры Шетарди и Елизавета и что они замыслили. На допросе 1742 года Левенвольде показал, что правительница посылала его к Остерману «с тем, что понеже-де некоторой чужестранной министр часто бывает у (цесаревны), то нет ли в том интриг, как-де здесь о том известие имеется, и для того б его, Остермана, спросить, что о том делать». По-видимому, несмотря на весь свой скептицизм относительно возможностей Елизаветы устроить переворот, правительницей порой овладевал страх перед неизведанным будущим. Этот страх мучил ее эмоциональную натуру, и она не находила себе места. Елизавета в одну из встреч с Нолькеном рассказала ему, что правительница «приходила ночью к графу Остерману, и ей известно через горничную, которая служила у него и приходилась сестрой женщине, состоящей в ее, цесаревны, штате, что принцесса сказала сразу при входе, что она заклинает графа Остермана телом и кровью Господа позаботиться о ней, так как она погибла. Та же женщина слышала, что министр спрашивал у правительницы, какой помощи может она ждать от него, когда он так удручен старостью и болезнями и не в состоянии двинуться из своего кресла; далее он отвечал, что князь Черкасский и граф Головкин способны лучше его принять необходимые меры. Принцесса Елизавета добавила, что эта женщина не смогла сообщить ей остальной части разговора, так как ее заметили в соседней комнате и приказали удалиться».[449]

Но уже из того, что слышала служанка, ясно, что Анна Леопольдовна терзалась страхом, а Остерман, по своему обыкновению, норовил уйти в сторону. Тут вспоминаются слова

Финча о нем как об уверенном кормчем в хорошую погоду, который во время бури исчезает с мостика и «всегда становится в сторону, когда правительство колеблется». Возможно, это высказывание английского посланника как-то связано с очередной его попыткой предупредить русское правительство относительно интриг шведского и французского дипломатов. Остерман, принявший Финча, сделал вид, что ему ничего о них неизвестно, зато принц Антон Ульрих был откровеннее. Он сказал послу, что подозревает Шетарди и Нолькена, которые «замышляют что-то», что существует тесная связь Шетарди с Лестоком, что «французский посланник часто ездит по ночам к Елизавете, и так как нет никаких признаков, чтобы тут примешивались любезности *(galanterie),* то надо думать, что у них дело идет о политике». Но о чем конкретно там говорят, принц не сказал, а может быть, и не знал. Прозвучала в его речах и угроза Елизавете, которую, по словам принца, за все эти дела ждет монастырь.[450]

Чуть позже Э. Финч сообщал, что Остерман вдруг стал с ним советоваться, не арестовать ли Лестока, на что Финч отвечал, что нужно иметь достаточно обличительных показаний, иначе это спугнет Елизавету. Тогда Остерман вдруг предложил Финчу пригласить Лестока к обеду – француз любит хорошее вино и может проговориться. Финч промолчал, заметив в донесении: «Я такого мнения, что если посланников считают за шпионов своих государей, то все-таки они не обязаны нести этой должности для других».[451]

В самом конце лета у Остермана состоялось особое совещание с участием Антона Ульриха и Линара. Как рассказывала Шетарди Елизавета, речь на совете шла о ней, и Антон Ульрих «по возвращении оттуда к правительнице, чтобы сообщить ей о том, что говорилось на совете, начал прежде всего глубоко вздыхать, а затем громко воскликнул, что никто не последовал мнению графа Линара (редкий случай единения мужа и любовника! – *Е.А.);* мнение же это состояло в том, что со мной следует во всяком случае обращаться как с особой, имеющей тайные сношения со Швецией, подвергнуть меня предварительному допросу по этому предмету, и если бы, испуганная таким обращением со мной, я призналась бы в малейшем обстоятельстве, то меня следовало бы обвинить в преступлении оскорбления величества». А если бы она стала запираться, то ее бы заставили подписать отречение от престола. Но всё, согласно рассказу Елизаветы, испортила правительница: «К чему, вздыхая в свою очередь, возразила она генералиссимусу, это послужит? Разве там нет „чертушки“ (ил *petitdiable)* – так она

выразилась о герцоге Голштинском, – который всегда будет смущать наш покой?»[452]

* * *

Переломным моментом, после которого вся ситуация двинулась к развязке, стало получение Остерманом письма из Бреславля от некоего агента Совплана, в котором пересказывались слова одного шведского офицера, поступившего на голландскую службу. Офицер этот сказал, что «шведы войну против России только в одной надежде начали, что в России великая партия к ним склонных имеется». Так передал содержание письма Совплана на допросе 1742 года обер-гофмейстер Миних. Из допросов Остермана следует, что в том письме было упомянуто имя Лестока, надо полагать, как связного между Шетарди и Елизаветой. Шетарди писал, что в письме Совплана упоминалось о заговоре и «о необходимости арестовать тотчас Лестока».[453] Одновременно о заговоре в пользу Елизаветы по своим источникам сообщал из Гааги русский посланник в Голландии и брат кабинет-министра А. Г. Головкин. Письмо Совплана Остерман передал через Левенвольде правительнице.

Предупреждения из-за границы, собственные наблюдения и умозаключения властей по поводу встреч Елизаветы и Шетарди дополнились к этому времени вышеупомянутым шведским манифестом. Картина готовящегося заговора Елизаветы с помощью иностранных государств к осени 1741 года вырисовывалась все яснее и яснее. Ко всем этим предупреждениям (в отличие от весенней ноты английского правительства) в Зимнем дворце отнеслись уже внимательнее. Остерман в своих показаниях 1742 года утверждал, что когда пришли «предостороги» (предупреждения) из-за границы, то «было в рассуждении, что делать и какие меры по таким предосторогам взять. И были такие рассуждения, как от принцессы Анны, так и от герцога и от него, в бытность его во дворце, что ежели б то правда была, то надобно предосторожности взять, яко то дело весьма важное и до государственного покоя касающееся, и при тех рассуждениях говорено от него, что можно Лештока взять и спрашивать для того, что в том письме его, Лештока, имя упомянуто». Но сразу сделать это не решились – может быть, вспомнился совет Финча о недостаточности улик.

Одновременно Остерман посоветовал правительнице самой

обо всем переговорить с Елизаветой – как сказано в его допросе 1742 года, «для показания своей к (Елизавете) конфиденции» – доверия, расположения, с тем чтобы выведать у цесаревны ее истинные намерения. Скорее всего – по аналогии с предложением Финчу выпить вина с Лестоком и в застолье выведать у него что-нибудь о заговоре. Эта встреча должна была, по мысли Остермана, прояснить картину, дать дополнительную информацию о намерениях заговорщиков. Если правительница такой встречи не хочет, предлагал Остерман, то можно устроить ей некий публичный допрос «в присутствии господ кабинетных министров», подобно тому, на котором Бирон «укрощал» принца Антона Ульриха.[454]

Правительница согласилась поговорить с Елизаветой. Увы, идея «разведывательной беседы» оказалась явно неудачной. Сама «разведчица» была наивна и простодушна, а «объект разработки» оказался хитер и нагл. Как происходила эта знаменитая беседа в понедельник 23 октября 1741 года, мы знаем из нескольких источников. Манштейн пишет, что одной из причин, побудивших Елизавету ускорить переворот, стала «неосторожность принцессы Анны, которая говорила царевне о тайных совещаниях сей последней с де ла Шетарди… В приемный день при дворе великая княгиня отвела царевну Елизавету в сторону и сказала ей, что она получила много сведений о ее поведении, что хирург ее имел частые тайные совещания с французским министром, и оба они замышляли опасный заговор против царствующего дома, что великая княгиня не хотела еще верить этому, но что если подобные слухи будут продолжаться, то Лестока арестуют, чтобы заставить его сказать правду. Царевна прекрасно выдержала этот разговор, она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в мыслях предпринять что-либо против нее или ее сына, что она слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей присягу, что все эти известия сообщены ее врагами, желавшими сделать ее несчастной, что нога Лестока никогда не бывала в доме маркиза де ла Шетарди (это было совершенно верно, так как оба они избирали всегда особое место для своих свиданий), но что тем не менее великая княгиня вольна арестовать Лестока: этим невинность царевны может еще более обнаружиться». При этом, как замечает Манштейн, Елизавета смогла подействовать на тонкие струны души Анны: «Елизавета много плакала во время этого свидания и так сумела убедить в своей невиновности великую княгиню (которая тоже проливала слезы), что последняя поверила, что царевна ни в чем не виновата».[455]

Эту знаменательную беседу, точнее – ее начало и конец, видели приглашенные в тот вечер во дворец дипломаты. Шетарди

писал: «По обыкновению, при дворе был прием в этот понедельник, я увидел, что после многочисленных колебаний правительница, прошедшая во внутренние покои, велела позвать туда принцессу Елизавету, и лицо последней, по возвращении, казалось расстроенным вследствие только что происшедшего между ними разговора. Моей первой заботой по возвращении как можно раньше домой было предупредить доверенное лицо (вероятно, Лестока. – *Е. А.),* чтобы оно явилось ко мне ночью, но эта особа могла прийти только на следующий день и даже довольно поздно. Она сообщила мне, что разговор между двумя принцессами всецело касался меня. Правительница, обрисовав меня в самых мрачных красках, приписала мне множество поступков, для совершения которых мои силы чересчур незначительны… она заявила также, что решилась требовать от короля моего отзыва с поста, но боится в то же время, чтобы кардинал (Флери. – *Е. А.)*… не потребовал предварительно, чтобы его убедили в тех обвинениях, которые возводились на меня, а это затруднило бы тем сильнее, что здесь не в состоянии представить ни малейшего доказательства против меня». Кроме того, правительница якобы требовала, чтобы Елизавета не принимала Шетарди у себя, но цесаревна ей возражала, требуя официально запретить Шетарди посещать ее дворец. Дамы заспорили, «правительница, оскорбленная таким сопротивлением, приняла тогда высокомерный тон, и принцесса, в свою очередь, повысила до некоторой степени свой голос, но настолько, насколько ей подобало это сделать, на этом они и расстались обе раздраженные до того, что и я это заметил».[456]

Как видно из этого текста, Шетарди был интересен только он сам и разговор вокруг его персоны. Впрочем, может быть, что посланец цесаревны умышленно утаил другие подробности разговора: о письме Совплана, идее ареста Лестока и т. д. Позже, в донесениях уже после переворота, Шетарди сообщал то, что мы встречаем у Манштейна: во время этого разговора правительница сказала о письме из Бреславля с предупреждением о замыслах Елизаветы, «а главное, – продолжала Анна Леопольдовна, – она должна немедленно арестовать хирурга Лестока, правда, она нисколько не верит этому письму, но надеется, что в случае, если помянутый Лесток будет найден виновным, принцесса Елизавета ничего не будет иметь против того, что он будет лишен свободы. Принцесса Елизавета отвечала на эту речь с довольно спокойным и твердым видом заявлениями о верности и возвратилась к прерванной карточной игре. Однако сильное волнение, замеченное на лицах этих двух особ, дало повод подозревать, что беседа должна была касаться обстоятельств крайне важных».[457]

Манштейн довольно точно отразил суть знаменательной беседы. Оценивая ее результаты с точки зрения интересов Анны Леопольдовны, надо отметить, что правительница допустила две ошибки. Во-первых, она выдала Елизавете намерение власти арестовать попавшего под «супсон» (подозрение) Лестока, и, во-вторых, она поверила слезам цесаревны и решила, что вернула тетушку на путь истинный. Это подтвердил на допросе 1742 года Остерман, сказавший, что после встречи и разговора правительницы с цесаревной Анна Леопольдовна «прислала о том ему, помнится, чрез графа Левенвольде, сказать, что (цесаревна) изволила объявить, что (она) о том деле ничего не изволит ведать». Как сообщает Манштейн, «в вечер, предшествовавший революции, супруг ее сказал ей, что он получил новые сведения о поведении царевны Елизаветы, что он тотчас же прикажет расставить на улицах караулы и арестовать Лестока. Великая княгиня не дала ему исполнить этого, ответив, что она считала царевну невинной, что, когда она говорила с нею об ее совещаниях с де ла Шетарди, последняя не смутилась, очень много плакала и убедила ее» в своей невиновности.[458] Доверчивость и та самая искренность, проявления которой Елизавета считала недостатком воспитания правительницы и неумением жить, дорого обошлись Анне… Сама же цесаревна, в отличие от правительницы, жить умела: лгала, притворно плакала, изображала из себя очерненную врагами невинность – и своей цели достигла.

Описание того, что происходило в следующие два дня, у разных авторов расходится в деталях. Манштейн пишет, что, вернувшись к себе, Елизавета рассказала о разговоре с правительницей Лестоку. Тот хотел было собрать всех участников заговора, но было уже поздно и поэтому «дело было отложено до следующей ночи». Утром 24 октября Лесток, явившись к цесаревне, подал ей рисунок. На одной стороне он, как умел, нарисовал Елизавету с венцом на голове, а на другой – ее же в монашеском облачении. Рядом красовались изображения колеса и виселицы. При этом он сказал: «Ваше императорское высочество должны избрать: быть ли вам императрицею или отправиться на заточение в монастырь и видеть, как ваши слуги погибают в казнях».[459] Он убеждал ее долее не медлить, после чего было принято решение действовать на следующую ночь, то есть с 24 на 25 октября. К тому же «Лесток не забыл уведомить об этом всех принадлежавших к их партии».

Сопоставление этого эпизода с записанным аббатом Шарпом рассказом Лестока, которого французский путешественник встретил в ссылке, свидетельствует, что источником эпизода в

записках Манштейна является тоже информация, полученная от Лестока, только опальный хирург уточнил, что он вынул из кармана и показал цесаревне «две картинки, нарисованные на скорую руку на игральных картах». Весь рассказ Лестока проникнут самовосхвалением и убеждением, что без него Елизавета не вступила бы на престол,[460] но тем не менее эпизод с картами вполне правдоподобен, в стиле Лестока. Было бы меньше похоже на правду, если бы он сказал, что принес цесаревне Евангелие.

То, что Лесток сыграл во всей этой истории очень важную роль, сомнений не вызывает: у него попросту не было иного выхода. Хирургу – связнику и носителю информации о переговорах с французским посланником – в случае провала заговора грозила наибольшая опасность: Елизавету бы никто не пытал, Шетарди выслали бы за границу, а на дыбу в Петропавловской крепости попал бы именно Лесток, да еще Воронцов. Оказаться в лапах генерала Ушакова для лекаря цесаревны означало смерть. Неслучайно во время встречи Нолькена с Лестоком в конце мая 1741 года хирург признался, что «чувствует, что наказание кнутом заставило бы его во всем признаться»,[461] что он, кстати, и подтвердил через семь лет, когда попал-таки в застенок и после нескольких ударов кнута сразу же выложил всё, что от него требовали. Поэтому Лесток действительно должен был прилагать максимальные усилия для организации переворота.

Но Елизавета пока еще не приняла окончательного решения и испытывала понятные колебания. Это видно из рассказанного Манштейном, да и комментатор мемуаров Миниха писал: «Принцесса была в страхе и нерешимости, и Лестоку стоило немало труда вдохнуть в нее мужество».[462] То, что Елизавета страшно нервничала, явствует и из донесений Шетарди. Отразилось это и в содержании циркуляра для русских дипломатов, разосланного Коллегией иностранных дел сразу же после переворота. В нем сказано, что на совещании со своими сподвижниками, которые предлагали захватить дворец силами гренадерской роты, Елизавета «изволила с воздыханием сердца молвить»: «Я сама знаю, что без такова порядку ничто благополучно нам успеет не токмо ротою, но целым полком храбрейших воинов, но еще надлежит и сие тонком умом рассудить, как ужасно и трепетно со обеих сторон сие, понеже и там гауптвахта не мала, в чем я опасна, чтоб сим случаем римские гистории обновлены и протчих государств неблагополучия в таковых претензиях». Иначе говоря, судя по циркуляру, гуманная Елизавета опасалась большого

кровопролития, напоминающего ужасные перевороты времен Древнего Рима. Но тут ее сподвижник М. И. Воронцов якобы воззвал к ее отваге, «которой не сыскать ни в ком, кроме крови Петра Великого».[463] Это будто бы и решило дело.

На самом же деле цесаревна колебалась, думая в первую очередь о себе, и опасалась неизбежного в этой ситуации риска. С одной стороны, логика происходящего требовала от нее немедленных, решительных действий, а с другой – так удачно убедив правительницу во время памятной беседы в своей невиновности, она тем самым получила индульгенцию и могла жить спокойно. А решиться на переворот – это не каждому дано. Это как прыгать ночью в омут – то ли выплывешь, то ли утонешь!

Но Лесток и вся крошечная «партия цесаревны» событиями 23 ноября (беседой цесаревны с правительницей) была поставлена в безвыходное положение – можно было ожидать арестов, а значит, следовало немедленно выступать. Для них заговор прошел «точку невозврата», когда назад уже не отыграешь. К тому же, как известно, среди мятежников не было ни одного офицера, и в этом состояла острота момента: захват власти по необходимости должна была возглавить сама цесаревна, дочь Петра Великого, – ведь за хирургом или камер-юнкером солдаты не пойдут. Ее личного участия в перевороте нужно было добиться любой ценой.

Люди, замыслившие преступление, невольно становятся заложниками друг друга – об этом ярко свидетельствует история елизаветинского переворота. В «Кратком донесении» Шетарди пишет, что Елизавета выехала из своего дворца в сопровождении Воронцова, Лестока, Шварца «и семи избранных гренадер». Что это за гренадеры и как они тут появились? 25 ноября, за три дня до «Краткого донесения», Шетарди описывает событие, не попавшее ни в его «Краткое донесение», ни в его же «Реляцию о перевороте, происшедшем в России 6 декабря 1741 года», предназначенную для публикации в газетах. Этот эпизод как-то ускользал от внимания исследователей, возможно, из-за легкой неточности или многозначности перевода.

Итак, 25 ноября, то есть в день победы Елизаветы, Шетарди писал, что «гренадеры Преображенского полка не были бы поставлены в необходимость *торопить* принцессу… если бы не было дано приказа во вторник, после полудня, всем гвардейским полкам быть наготове к выступлению в Финляндию». И далее: «Семеро из этих гренадер явились во вторник (то есть 24 ноября. – *Е. А.)* между одиннадцатью часами и полуночью к принцессе. Они объяснили ей, что они накануне своего выступления, что не будут более в состоянии служить ей, и она останется полностью во власти своих врагов и поэтому нельзя

терять ни минуты, и что они поведут ее, если она сама не послушается их доводов». Смысл последней фразы («…et gu'ils allaient l'amener,[464] si elle ne se rendait pas d'elle-meme a leurs representations») не предполагает, что у цесаревны был выбор, и гренадеры, в сущности, угрожали Елизавете насильно взять ее с собой.

Если Шетарди не придумал эту историю, то мы можем понять, что значит связаться с преторианской солдатней, затевать солдатский бунт. Участники его, понимая, что отступать им некуда, готовы были силой тащить цесаревну во дворец как знамя будущего успеха или как заложницу на случай провала всей авантюры, чтобы свалить всю вину на нее. После этой угрозы цесаревна спросила у солдат, может ли она на них положиться (это похоже на вопрос испуганной заложницы: ребята, а вы меня не выдадите?). Уверившись в их надежности, продолжает Шетарди, «она более не колебалась, села в сани своего камер-юнкера» и, сопровождаемая Воронцовым, Лестоком и Шмидтом, отправилась в казармы преображенцев.[465] В «Кратком донесении» Шетарди об этом же эпизоде сказано так: полученный указ о выступлении гвардии «решил момент наступления переворота потому, что все средства и всякая надежда были бы потеряны для принцессы Елизаветы, если бы она не решилась действовать в ту же ночь, именно это и было *без труда разъяснено* ей незначительным числом верных лиц, находившихся близ нее в эту критическую минуту». В «Реляции» же французского посла для парижской полиции и прессы эта мысль выражена еще короче: сторонники цесаревны *«добились* того, что она решилась выполнить свой замысел…» и в сопровождении известной троицы «и семи гренадеров села в сани в час пополуночи». В донесении же Шетарди от 30 ноября мы читаем: «Тогда семь гренадеров Преображенского полка пришли уведомить о том (отправке гвардии на войну. – *Е. А.)* ночью принцессу, *умоляя* ее немедленно воспользоваться их услугами».[466]

Наконец, еще в одном донесении Шетарди, полученном в Версале 17 декабря, говорилось: «В ночь с 5 на 6 декабря (с 24 на 25 ноября старого стиля. – *Е. А.)* одиннадцать солдат лейб-гвардии Преображенского полка явились к принцессе Елизавете и сказали ей, что пора приводить в исполнение заговор, составившийся несколько времени тому назад в ее пользу, что полк, на который она рассчитывала, получил приказ отправляться в Финляндию, и если он повинуется, то принцесса очутится во власти своих врагов, а если откажется идти, то рискует этим выдать ее тайну». После этого «тотчас же принцесса Елизавета приняла решение».[467]

Есть и еще один любопытный эпизод, до конца не выясненный в литературе. Сразу же после разговора правительницы и Елизаветы вечером 23 ноября Шетарди дал знать «доверенному лицу» цесаревны (то есть Лестоку), чтобы тот явился ночью, но он не пришел и появился только на следующий день, то есть во вторник 24 ноября, «и даже довольно поздно». Лесток рассказал о содержании беседы правительницы и цесаревны во дворце, после чего посланник высказал ему те соображения, которые пришли ему в голову совсем незадолго до этого и о чем уже сказано выше: «Основой партии служат народ и солдаты, и лишь после того, как они начнут дело, если не сказать, что окончат его, лишь тогда лица с известным положением и офицеры, преданные принцессе, в состоянии будут выразить свои чувства». По мнению Шетарди, самое печальное заключалось в том, что у Елизаветы явно «нет, по крайней мере, хоть нескольких лиц для руководства толпой».

Несмотря на возражения Лестока (вероятно, опять о том, что «партия» цесаревны велика и могущественна), посол решил добиться определенности пусть даже с солдатским бунтом – назначить дату выступления и скоординировать ее с действиями шведов («чтобы помочь, по крайней мере, этим храбрым гренадерам, а также ради славы принцессы назначим момент для начала действий, чтобы Швеция, на основании заявления из Стокгольма, которое будет сделано от имени короля, стала действовать со своей стороны»). Лесток после этого отправился к Елизавете и довольно быстро вернулся к Шетарди. Но он принес не тот ответ, которого ожидал посланник: вместо разговора о дате выступления Лесток стал просить для цесаревны в долг денег, которые, оказывается, истощились до того, что у нее не было и трех сотен рублей.[468]

Почему Лесток скрыл от Шетарди намерение «партии Елизаветы» выступить этой же ночью и зачем так срочно ей понадобились деньги? На первую часть вопроса нет определенного ответа: либо у заговорщиков еще ничего не было решено, либо от «верного друга» решили из осторожности все-таки скрыть истинную дату выступления. Может быть, в этом проявились характерные для будущей императрицы скрытность и пугливость, равно как и ее известная нерешительность. И отсюда вытекает ответ на вторую часть вопроса: деньги срочно были нужны на подкуп солдат – участников будущего переворота. Другой вопрос: получило ли «доверенное лицо» от посла деньги? Мы еще к этому вернемся. Думаю, что комментатор мемуаров Миниха пишет как раз об этом случае: «В одиннадцать вечера (вспомним из донесения Шетарди: на следующий день, то есть 24

ноября, „и даже довольно поздно“. – *Е. А.)* он (Лесток. – *Е. А.)* отправился к маркизу де ла Шетарди, чтобы взять у него денег, но при этом не открыл ему своих настоящих намерений».[469]

В «Кратком донесении» о перевороте в Версаль, написанном по горячим следам совершившегося (точнее – 28 ноября), Шетарди неточно передает всю эту историю, смещая события по времени. По его версии, после разговора Елизаветы с правительницей, «в тот же вечер», то есть 23 ноября, гвардейцы получили приказ в двадцать четыре часа выступить к Выборгу, навстречу неприятелю. Это-де означало провал всего плана, и «незначительное число верных ей людей» поспешили разъяснить это Елизавете. «Итак, было решено, что проект будет выполнен в ту же ночь» (получается, что в ночь с 23 на 24 ноября. – *Е. А.)*. Лесток и Шварц отправились в казармы преображенцев, вызвали наиболее преданных (надо полагать, и подкупленных. – *Е. А.)* двадцать гренадер, «чтобы те внимательно следили за всем происходящим, в то время как сами, пользуясь темнотою ночи, подготовляли все к моменту решительных действий. Принцесса Елизавета, надев кирасу под обыкновенное платье, заперлась в своей молельне и молилась, в то время как Лесток и Шварц вернулись известить ее, что всё готово, но усердие, с которым она молилась, помешало ей отвечать на первый их зов. Минуту спустя Лесток вошел и повторил ей, что мгновения дороги, тогда она встала и, глядя на своих ревностных слуг с ясным и доверчивым видом, говорившем о ее мужестве, сказала: „Едем!“ – и села в свои сани в сопровождении Воронцова, Лестока, Шварца и семи избранных гренадер».

Итак, Шетарди ошибочно приурочил мятеж к ночи с 23 на 24 ноября, когда на самом деле всё произошло на следующую ночь, с 24 на 25 ноября. Непонятно, как он мог бы объяснить Амело расхождение сведений своего «Краткого донесения» 28 ноября с данными своего же донесения 26 ноября о том, что на следующий день после куртага (то есть 24 ноября) к нему приходило от Елизаветы «доверенное лицо» и просило для своей повелительницы денег? Однако, несмотря на все неточности, я привожу рассказ о перевороте в редакции Шетарди, исходя из того, что посланник был человеком не посторонним в этом деле и, вероятно, описывал всё со слов непосредственных участников переворота, радостно повествовавших о событии своему «верному другу» за бокалом вина из дворцового винного погреба, к которому они теперь получили неограниченный доступ. После таких возлияний перепутать дни, сместить события немудрено. Но в этом рассказе есть живые детали (чего стоят только суета и нетерпение Лестока), лирика (ясный и доверчивый взгляд

Елизаветы) и немного вранья: с трудом можно вообразить, как довольно упитанная дама надевает пудовую кавалерийскую кирасу «под обыкновенное платье» того времени, после чего еще долго молится.

Кстати, из этого рассказа «растут ноги» и знаменитой легенды о том, как Елизавета, горячо молясь Богу в ту ночь, дала обет «никогда не подписывать смертных приговоров».[470] Так это или нет, мы не знаем, но то, что императрица Елизавета Петровна за всё свое 20-летнее царствование не утвердила ни одного смертного приговора, – непреложный факт.

* * *

Итак, повторим основные этапы происшедшего. 23 ноября после окончания куртага Елизавета вернулась домой и рассказала о происшедшем Лестоку; тот попытался собрать людей, но все они уже находились по своим квартирам, и тогда выступление решили перенести на следующую ночь, то есть с 24 на 25 ноября. Но поздним вечером или ночью 23 ноября заговорщики все-таки связались с гвардейцами. Это известно из «Краткой реляции» – циркулярной записки русским послам с описанием переворота. Там сказано, что 23 ноября Елизавета послала за участвовавшими в заговоре гренадерами, которые заверили ее в готовности выступить.

На следующий день, 24 ноября, Лесток стал уговаривать колебавшуюся цесаревну решиться на переворот (эпизод с рисунками на картах), а полученные в тот день сведения о приказе вывести гвардию из Петербурга окончательно подстегнули заговорщиков и Елизавету. Тогда было решено действовать ближайшей ночью. Лесток и Шварц отправились в Преображенские казармы предупредить об этом своих единомышленников во главе с Грюнштейном. По данным И. В. Курукина, один из гренадер, Петр Сурин, в тот же день ходил во дворец договариваться с семеновцами, дежурившими эту неделю в карауле. Он сообщил солдату Степану Карцеву, что «в сию нощь будет во дворце государыня цесаревна».[471] Вообще-то, в обращении заговорщиков к семеновцам был большой риск – их командиром был популярный в полку генералиссимус Антон Ульрих; к тому же мы помним, что Миних спешил арестовать Бирона в ночь на 9 ноября 1740 года именно потому, что «его» преображенцы несли караул во дворце последний день и их должен был сменить другой гвардейский полк. Возможно, заговорщики решили пренебречь ожиданием своей смены потому,

что не 23-го (как у Шетарди), а именно 24 ноября гвардия получила приказ выступать на войну.[472] Заговорщики наблюдали и за тем, что происходило во дворце: комментатор труда Миниха писал, что Лесток в полночь 24 ноября «узнал через своих шпионов, что во дворце все успокоилось и что там находится только обыкновенный караул».[473]

Успокоились обитатели Зимнего дворца, скорее всего, к полуночи. 24 ноября в доме Головкина был бал по случаю дня рождения супруги кабинет-министра графини Екатерины Ивановны Головкиной, урожденной Салтыковой. Наверняка на празднике была правительница, которой графиня приходилась двоюродной теткой (рождена от сестры царицы Прасковьи Федоровны). Возможно, на празднике присутствовала и Елизавета – ее отсутствие после исторического куртага 23 ноября показалось бы странным, да и присмотреть за правительницей было нелишне – а вдруг Анна Леопольдовна вернулась бы во дворец позже и удар заговорщиков пришелся бы в пустоту… Но это лишь предположения.

А что же с деньгами для заговорщиков? Это остается неясным по вине путаника Шетарди! И. В. Курукин, ссылаясь на донесение Шетарди от 26 ноября (7 декабря по новому стилю) 1741 года, пишет, что вечером 24 ноября Лесток встретился в доме знакомого купца с посланцем Шетарди и получил от него 2 тысячи рублей для раздачи солдатам.[474] Однако из донесения Шетарди за это число следует, что пришедшее к нему 24 ноября «доверенное лицо» Елизаветы денег не получило. Заканчивая описание того эпизода, в котором Лесток просил у него денег для поиздержавшейся цесаревны, Шетарди рассказывает, что пообещал вручить эту сумму «завтра, при наступлении сумерек (то есть вечером 25 ноября. – *Е. А.),* в обычном месте, где мы передавали друг другу наши записки». Далее же Шетарди сообщает, что «эта предосторожность стала излишней, и мне не пришлось даже подвергаться необходимости одалживать эти деньги. Я мог тем более избегнуть этой необходимости, что принцесса Елизавета, проходя перед моим домом в половине первого пополуночи, по пути в казармы, была так внимательна и известила меня о том, что она стремится к славе»,[475] – то есть этой ночью с 24 на 25 ноября Елизавета вступила на российский престол. Если бы Шетарди передал Лестоку деньги через кавалера своей свиты в доме купца или «в обычном месте», то наверняка написал бы об этом в донесении. Так что, скорее всего, заговорщикам пришлось действовать без французских денег.

И вот (возможно – вернувшись с бала у Головкиных поздно вечером) Елизавета собралась выступить: прилежно помолилась

(причем ее поторапливал Лесток), села в сани и поехала… Согласно Манштейну, перед выходом Елизавета надела кирасу, но комментатор Миниха дает более правдоподобную версию: «Наконец, она воодушевилась, надела на себя, по убеждению Лестока, орден Святой Екатерины и, принеся перед образом Богородицы горячую молитву и обеты, села в сани»[476] и отправилась в «путь своей славы».

Вернемся к тому моменту в описании переворота, когда Елизавета, помолясь Богу за успех предстоящего неправедного дела, вышла к своим гнусным сообщникам (или, учитывая конечный результат акции, – к своим славным сподвижникам) и села в сани. Манштейн пишет, что в полночь Елизавета, в сопровождении Воронцова и Лестока, отправилась в казармы Преображенского полка, 30 человек солдат которого были с ней в заговоре. Они собрали до трехсот солдат и унтер-офицеров, и «царевна объявила им в немногих словах свое намерение и требовала их помощи; все согласились жертвовать собой для нее». По сведениям Шетарди (в его «Кратком донесении»), помимо кирасы, Елизавета держала в прекрасных своих руках эспантон.[477] Солдаты арестовали дежурного офицера Гревса, присягнули царевне на подданство, «она приняла над ними начальство (это-то для солдат было важнее всего. – *Е. А.)* и пошла прямо к Зимнему дворцу».[478]

Миних, как и Манштейн, не видавший происшедшего собственными глазами, в описании мятежа был более краток: «В ночь с 24 на 25 ноября эта великая принцесса приехала в казармы Преображенского полка и, собрав своих приверженцев, сказала им: „Ребята, вы знаете, чья я дочь, идите за мной!“ Всё было условлено, и офицеры и солдаты, узнав, чего от них требуют, отвечали: „Матушка, мы готовы, мы их всех убьем“. Принцесса великодушно возразила: „Если вы хотите поступать таким образом, я не пойду с вами“. Она повела этот отряд прямо в Зимний дворец».

Комментатор Миниха «забывает» подсадить на запятки саней цесаревны музыканта Шварца, но зато сообщает, что пока Елизавета ехала в казармы, подкупленные Преображенские солдаты пришли в канцелярию (наверное – полковой двор) полка, «чтобы склонить находившихся там караульных в пользу принцессы и объявить о ее прибытии». По-видимому, это прошло успешно – «когда она приехала, то все солдаты присягнули ей и затем в числе 200 или 300 человек последовали за ней к императорскому дворцу».[479]

Шетарди в донесении 25 ноября дополняет эти сведения важными подробностями. Прибыв в казармы гренадер, где ее

ждали, и «собрав некоторое число их в большой комнате, Елизавета воскликнула: „Вы знаете, кто я, хотите следовать за мной?!“ Все отвечали ей, что она может им приказывать и они исполнят свой долг как храбрые солдаты. „Не как солдаты, – начала она снова, – хочу я, чтоб вы мне служили, вы мои дети, все дело в том, чтобы знать, готовы ли вы умереть со мной, если понадобится“. Они поклялись в этом все с полной готовностью. Тогда ее первой заботой было пробить дно у барабанов, сложенных в одном месте, чтобы никак нельзя было произвести тревогу. Когда ее уведомили, что это сделано, она взяла крест и стала на колени, ее примеру последовали все, и она сказала им: „Я клянусь этим крестом умереть за вас, клянетесь ли вы сделать то же самое за меня?“ Клятва была единодушной. „Так в путь! – сказала она. – И будем думать о том, чтобы какой бы то ни было ценой сделать наше отечество счастливым!“ Гренадеры не только последовали за ней, но обещали хранить полное молчание и пронзить своим штыком всякого, кто будет иметь низость отступить хоть на шаг. По мере того как они проходили перед некоторыми домами в казармах, они стучали в двери и вызывали тех, кто там жил. Таким способом была весьма быстро собрана целая рота гренадер этого полка числом в триста человек, причем каждый был снабжен шестью зарядами и тремя гранатами».

После этого заговорщики двинулись от Преображенских казарм на Московской стороне (вокруг Преображенского собора) по Невскому проспекту к Адмиралтейскому саду (точнее, эспланаде) и подошли к Зимнему дворцу. По-видимому, Елизавета ехала в своих санях, а солдаты шли пешком рядом. По описанию Шетарди, перед дворцом Елизавета, по воле гренадер, во избежание лишнего шума, вылезла из саней и двинулась пешком, «но едва она прошла несколько шагов, кто-то сказал ей: „Матушка наша! Так не довольно скоро, надо поспешить“. Елизавета ускорила шаги, но, без привычки ходить скоро, никак не могла поспеть за гренадерами. Тогда они взяли ее на руки и донесли до двора Зимнего дворца».[480] Так символично началось 20-летнее царствование дочери Петра.

Достигнув дворца, Елизавета – по версии Манштейна – «вошла, без малейшего сопротивления, с частью сопровождавших ее лиц в комнаты, занятые караулом, и объявила офицерам причину своего прихода, они не оказали никакого сопротивления и допустили ее действовать. У всех дверей и у всех выходов были поставлены часовые. Лесток и Воронцов вошли с отрядом гренадер в покои великой княгини и арестовали ее с ее супругом, детьми и фавориткой, жившей рядом». Шетарди дает более подробную версию происшедшего: вошедшая в кордегардию

Елизавета обратилась с речью к проснувшимся солдатам-семеновцам: «"Проснитесь, дети мои, и слушайте меня! Хотите ли вы следовать за дочерью Петра I? Вы знаете, что престол мне принадлежит, несправедливость, причиненная мне, отзывается на всем нашем бедном народе, и он изнывает под игом немцев. Освободимся от наших гонителей!" Офицеры, у которых она спросила затем, что они об этом думают, затруднились высказаться откровенно. „Арестуйте мне этих людей, – присовокупила она, – я вам повелеваю, повинуйтесь же“». Офицеры были взяты под караул, и их чуть было не покололи штыками пришедшие с Елизаветой гренадеры.

Далее Елизавета действовала весьма грамотно: она распределила солдат, перекрыла постами все лестницы и свободные выходы, оставив при себе сорок гренадер (еще в одном донесении от 28 ноября, повторявшем «Краткое донесение», сказано, что Елизавета велела пробить барабаны в дворцовой кордегардии). Часть солдат, которым Елизавета строго запретила проливать кровь, «отправилась затем в апартаменты царя, принцессы, сестры его, правительницы и принца Брауншвейгского, караульные которого им не препятствовали, потому что караул внутри дворца состоял из гренадер, они не оказали даже ни малейшего сопротивления, как только увидали своих товарищей».[481] Сцена ареста правительницы в донесении опущена. В «Реляции о перевороте» Шетарди сказано больше: арестованы были четыре офицера, которых сразу же заперли в отдельной комнате, «а принцесса, пройдя в покой великой княгини-правительницы, не встретила никакого сопротивления со стороны прочих гвардейцев, за исключением одного унтер-офицера, который сопротивлялся этому, но был тотчас же арестован. Найдя великую княгиню-правительницу еще в постели, а фрейлину Менгден почивающую рядом с ней, принцесса объявила первой об аресте».[482] В донесении того же Шетарди от 30 ноября картина дана иная: гренадеры нашли Анну Леопольдовну вместе с супругом, «лежавшими вместе на постели».[483]

Из данных придворного ведомства мы знаем, что кровать правительницы, сделанная французским кроватным мастером Антоном Рожбартом и украшенная росписями живописца Каравакка, была «большая, богатая, с балдахином французским маниром, желтого штофу с серебряным позументом». По-видимому, желтый, золотистый цвет был любимым цветом правительницы: стены спальни были обиты желтыми штофными обоями, на кровати было желтое тафтяное покрывало.[484] Вот в это-то столь заботливо созданное Анной Леопольдовной

золотистое гнездо и ворвались грубые солдаты…

В «Кратком донесении» от 28 ноября Шетарди приведены слова, с которыми Елизавета обратилась к проснувшейся правительнице: «Сударыня, вы моя пленница!» *(Madame, vousetesma prisonniere!)*[485] Миних дает иной вариант: Елизавета «вошла в комнату великой княгини, которая была в постели, и сказала ей: „Сестрица, пора вставать!“».[486]

Позже, во времена Екатерины II, вспыхнул спор: сама ли цесаревна арестовала правительницу или за нее это сделали другие – Лесток и М. Воронцов? Аббат Шарп, со слов Лестока, пишет, что Елизавета лично арестовала правительницу. Екатерина Великая, возражая французскому путешественнику, утверждала, что цесаревна сама в опочивальню правительницы даже не входила.

У Шетарди в разных донесениях даются оба варианта: в одном случае он описывает разговор вошедшей в спальню цесаревны с проснувшейся правительницей, в котором Елизавета обещает не трогать ни ее, ни ее родственников и не разлучать правительницу с фрейлиной Менгден, а в донесении 28 ноября сказано, что «правительница лишь только увидела гренадер, воскликнула: „Ах, мы пропали!“ В санях она не говорила ничего другого, кроме (слов): „Увижу ли я принцессу?“ До сих пор она не добилась исполнения своей просьбы. Однако императрица повелела оказывать ей всяческое почтение и разрешила иметь при себе свою фаворитку».[487]

Секретарь принца Людвига Эрнста Хенихен, также не присутствовавший при сцене ареста правительницы, был уверен, что Елизавета не виделась с Анной Леопольдовной, а послала наверх команду гренадер, которая и арестовала правительницу и всю ее семью. При этом Хенихен сообщает, что сама Елизавета «тем временем стояла в маске с эспантоном в руке впереди своей вооруженной команды».[488] Если эспантон нам уже попадался в описаниях, то маска является для нас новостью и довольно странной – Елизавета как раз была заинтересована в том, чтобы все видели и узнавали ее – дочь Петра Великого. В немецкой анонимной книге «Замечательная история Ее величества Елизаветы I» (1759) есть гравюра, изображающая сцену ареста Елизаветой Брауншвейгской фамилии. Елизавета стоит в Преображенском платье с фижмами (обычно такие полковые платья шили для императриц – полковниц всех гвардейских полков), в треуголке, с лентой ордена Святой Екатерины через правое плечо, держащей в правой руке эспантон. Анна Леопольдовна изображена в постели, в неглиже, с повязанным на голове платком, она молит о пощаде Елизавету и смотрящих из-за

ее плеча гренадер со зверскими лицами. На переднем плане гравюры изображен весьма не похожий на оригинал Антон Ульрих, который стоит на коленях одетый по полной форме и в сапогах. Документом гравюра служить, естественно, не может, но кое-что из реальной истории передает.

Вопрос о том, сама ли Елизавета арестовывала правительницу или послала кого-то, так и остается нерешенным. Я присоединяюсь к выводам Екатерины Великой и считаю, что Елизавете не было необходимости самой арестовывать правительницу, она оставалась в «штабе» мятежников – в кордегардии и контролировала всю ситуацию. Кроме всего прочего, клятвопреступницу и узурпаторшу должна была все-таки мучить совесть – ведь совсем недавно Елизавета плакала и клялась Анне Леопольдовне в своей невиновности и та ей поверила. Обычно в таких случаях люди предпочитают не смотреть в глаза своим обманутым жертвам…

Подведем некоторые итоги. Если сравнивать два переворота: 9 ноября 1740 года и 25 ноября 1741 года, то можно сказать, что у Елизаветы была задача потруднее, чем у Миниха. Все-таки она, женщина, была далека от военного дела, не имела под своим началом ни одного офицера, но действовала быстро, толково, безошибочно. Чего стоит хотя бы клятва сообщников, которую она (за отсутствием священника) сама взяла с гренадер, морально связав их. Конечно, наверняка в этом деле ей давали советы,[489] и идея пробивать везде, куда приходили заговорщики, барабаны, которыми можно было поднять весь Петербург, наверняка пришла в голову не ей, а профессионалу. Даже если захват Зимнего дворца был заранее приготовлен предательством семеновцев, все равно операция эта была проведена отрядом под командой цесаревны молниеносно и очень грамотно: внезапное появление с вооруженными преображенцами перед спящими семеновцами в кордегардии (оружие у них, естественно, стояло в пирамидах), короткая и энергичная речь, обращенная к солдатам, предоставление свободы выбора отягченным присягой офицерам, арест сомневающихся, перекрытие выходов и лестниц дворца, одновременная посылка отрядов солдат в апартаменты правительницы и ее мужа для их ареста. При этом сама Елизавета с большим отрядом гренадер осталась в кордегардии, контролируя обстановку. И всё это без единой капли пролитой крови! Вот так кокетка!

Нужно согласиться с новгородским архиепископом Амвросием (тем самым, который с пресловутым Тимирязевым так беспокоился о несовершенстве завещания Анны Иоанновны от 5 октября 1740 года), который позже, при коронации Елизаветы,

воспел ее мужество. Человек с юмором оценит по достоинству начертанную искусством церковного витии героическую картину: «И кое ж большее может быть великодушие (в смысле величие души. – *Е. А.),* как сие: забыть деликатного своего полу, пойти в малой компании на очевидное здравия своего опасение, не жалеть за целость веры и отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги (вспомним, как цесаревна пересекала Дворцовую площадь. – *Е. А.),* идти грудью (и какой! – *Е. А.)* против неприятеля и сидящих в гнезде орла российского нощных сов и нетопырей, мыслящих злое государству, прочь выпужать, коварных разорителей отечества связать и наследие Петра Великого из рук чужих вырвать и сынов российских из неволи высвободить и до первого привесть благополучия – несть ли убо сие свету удивительно?»[490]

Глава девятая
«Ах, мы пропали!»

Итак, ночью 25 ноября 1741 года Анна Леопольдовна проснулась от шума и грохота солдатских сапог. За ней и ее семьей пришли враги. В «Кратком донесении» Шетарди повествуется, что при виде Елизаветы и солдат «правительница, охваченная ужасом, подчинилась ее повелениям, умоляя не давать приказа совершать насилие над ней и над ее семьей, а также над фрейлиной Менгден, которую она желала сохранить при себе. Императрица обещала ей всё, что она просила», и даже заставила гренадер присягнуть на кресте, что они не прольют ни капли крови. В другом донесении от 28 ноября сказано, что правительницу сразу отделили от детей и мужа и всех их повезли в разных санях во дворец Елизаветы. «Говорят, – продолжал Шетарди, – что императрица, по прибытии в свой прежний дворец, взяла на руки принца (в смысле свергнутого императора. – *Е. А.)* и сказала, целуя его несколько раз: «Бедное дитя, ты невинно, но родители твои виноваты»».[491] По всем источникам видно, что никакого сопротивления насилию правительница не оказала, она оделась и безропотно позволила увезти себя из Зимнего дворца.

Как известно, древние всегда следили за знамениями, приметами, теми подчас еле заметными знаками судьбы, которые могут что-то сказать человеку о его будущем. Потом века рационализма, прагматизма, атеизма, головокружительных успехов техники сделали для нас эти привычки смешными, несерьезными. В этом невежественном состоянии мы пребываем и до сих пор, лишь иногда удивляясь проницательности стариков или тайному голосу собственного предчувствия. Был дан знак судьбы и Анне Леопольдовне. Накануне переворота с ней произошел досадный случай: подходя к цесаревне, правительница споткнулась о ковер и внезапно, на глазах всего двора, упала в ноги стоявшей перед ней Елизавете. Это было дурным предзнаменованием.

Принцу Антону Ульриху одеться не позволили и полуголого снесли в простыне (по другим источникам, то ли в одеяле, то ли в шубе) к саням.[492] Сделали это умышленно: так брали Бирона и его брата-генерала, так брали многих высокопоставленных жертв других переворотов (вспоминается, что у арестованного прямо в Кремле Лаврентия Берии тотчас обрезали все пуговицы со штанов и отняли ремень). Расчет здесь прост – без мундира и штанов не

очень-то покомандуешь, будь ты хоть генералиссимус! При «аресте» годовалого императора произошла заминка. По версии М. А. Корфа, солдатам был дан строгий приказ не поднимать шума и взять ребенка только тогда, когда он проснется. Так около часа они и простояли молча у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не заплакал от страха при виде свирепых физиономий гренадер.[493] Кроме того, в суматохе сборов в спальне уронили на пол четырехмесячную сестру императора, принцессу Екатерину. Как выяснилось потом, из-за этого она потеряла слух. Но тогда на это никто не обратил внимания – маленькая Екатерина оказалась единственной жертвой бескровной революции Елизаветы.

Хотя Елизавета захватила власть, положение ее поначалу было крайне неустойчиво: она не имела поддержки среди знати, существовали сомнения в верности армии и гвардии (ведь за ней пошло всего триста солдат и ни одного офицера). Неясно было, что же делать с императором и его родителями. Переворот получился бескровным, дворец не пришлось брать штурмом, так что члены Брауншвейгской фамилии не могли погибнуть якобы случайно.

Все понимали, что Елизавета свергла законного властелина Российской империи – родственника многих коронованных особ, в том числе Фридриха II и датского короля Христиана VI. Раздумья новой императрицы были недолги – радость быстрой и легкой победы кружила голову, и она решила попросту выслать Брауншвейгскую семью в Германию, с глаз долой. Может быть, угрызения совести заставили новую императрицу проявить великодушие победителя. Четыре дня арестованную семью продержали во дворце Елизаветы, а потом посадили в закрытые возки и повезли по Рижской дороге.

За это время Елизавета и ее окружение решали главную задачу – как идеологически обосновать переворот и свержение законного правительства. В манифесте 25 ноября объяснялось, что в предыдущее правление якобы происходили «как внешние, так и внутрь государства беспокойства и непорядки, и, следовательно, немалое ж разорение всему государству последовало б». Однако верноподданные, «а особливо лейб-гвардии нашей полки, всеподданнейше и единогласно нас просили, дабы мы для пресечения всех тех происшедших и впредь опасаемых беспокойств не порядков, яко по крови ближняя, отеческий наш престол всемилостивейшее восприять соизволили… и по тому нашему законному праву по близости крови» к самому Петру Великому и императрице Екатерине I. Итак, выдвигались две причины свержения прежней власти:

просьба подданных и «близость крови». В манифесте 28 ноября 1741 года было сказано, что согласно завещанию Екатерины I Елизавета является единственной законной наследницей после смерти Петра II, но «коварными происками Остермана» духовная матери Елизаветы была скрыта и на престол вступила Анна Иоанновна, которая в 1740 году, «будучи уже в крайней слабости», передала престол Брауншвейгской фамилии. Все эти в принципе законные действия (о чем уже шла речь выше) изображались в манифесте как интриги и нарушения прав дочери Петра. При этом Анна Леопольдовна «не устыдилась назвать себя великою княгинею всероссийскою, отчего не только большие беспорядки, крайние утеснения и обиды начались». Что здесь имелось в виду, остается тайной, как и то, почему о регентстве Бирона не было сказано ни слова. Но далее в манифесте присутствует откровенная ложь: «…но даже отваживались утвердить принцессу Анну императрицею всероссийской еще при жизни сына ее».

Этим манифестом правительница и ее сын император сразу же «понижались» в статусе и отныне назывались в официальных бумагах, соответственно, «принцессой» и «принцем». Более того, позже правительницу (но не ее мужа-иностранца) заставили подписать присяжный лист, обычный для рядовых подданных Российской империи. Тем самым Анна Леопольдовна признавалась подданной российской императрицы Елизаветы Петровны и женой иностранного принца («принцессой Анной Брауншвейг-Люнебургской»), с которым она следует за границу. В конце манифеста был вынесен в сущности приговор: «И хотя она, принцесса Анна, и сын ее, принц Иоанн, и их дочь, принцесса Екатерина, ни малейшей претензии и права к наследию Всероссийского престола ни к чему не имеют, но, однако, в рассуждении их, принцессы и его, принца Ульриха Брауншвейгского, к императору Петру II по матерям свойств (матери императора и принца были родными сестрами. – *Е. А.)* и из особливой нашей природной к ним императорской милости, не хотя им причинить огорчений, с надлежащею ими честью и с достойным удовольствованием, предав все их вышеписанные к нам разные предосудительные поступки крайнему забвению, всех их в их отечество всемилостивейшее отправить велели». В этом и состояла вся «законодательная база» для высылки за границу.

Почти сразу же началась общегосударственная кампания по искоренению памяти о годе правления императора Иоанна III. Имя его и титул, равно как и имя и титул правительницы, было запрещено упоминать где бы то ни было (подобное расценивалось как государственное преступление), а при необходимости в

документах использовали эвфемизм: «…бывшее правление известных персон». 31 декабря 1741 года последовал приказ изъять все монеты, отчеканенные при Иване. С тех пор «ивановский рубль» стал опасной находкой в полученной человеком сдаче, а столетие спустя – желанной добычей немногих нумизматов. Все указы, манифесты, официальные бумаги, вся печатная продукция с упоминанием императора и правительницы изымались из делопроизводства, а присяжные подписные листы были публично уничтожены.

Начальником конвоя при высылаемой Брауншвейгской фамилии был назначен генерал-аншеф В. Ф. Салтыков, ставший при Елизавете генерал-полицмейстером. 28–29 ноября он получил одну за другой три инструкции. Согласно первой экс-императора надлежало везти как можно быстрее через Нарву, Дерпт, Ригу до Митавы, оказывая «их светлостям должное почтение, респект (уважение. – *Е. А.)* и учтивость» и обеспечивая всем необходимым в дороге. За пределами России, в Митаве, и предполагалось оставить Брауншвейгское семейство на произвол судьбы. По второй, «секретной» инструкции, подписанной 29 ноября, Салтыков должен был со всевозможной быстротой везти пленников до Митавы, объезжая крупные города или проезжая их ночью, ни на минуту не останавливаясь в них. Конвою строго-настрого надлежало «наблюдать и недреманно смотреть», чтобы не допустить каких-либо встреч и разговоров членов Брауншвейгской фамилии с окружающими или попыток завязать переписку. В тот же день Салтыков получил третью, «секретнейшую» инструкцию, также подписанную императрицей, но имевшую прямо противоположный смысл. В ней было сказано, что секретная инструкция о быстрой езде отменяется «ради некоторых обстоятельств», что арестантов следует везти как можно медленнее, с длительными остановками, причем в Нарве пробыть не меньше восьми – десяти дней, а в Риге остановиться в крепости и там ждать особого указа о движении в Митаву. Забегая вперед, скажем, что этого особого указа Салтыков так и не дождался. Выехав из Петербурга 30 ноября, эскорт прибыл в Нарву 4 декабря, в Дерпт – 19 декабря, откуда, наконец, проследовал в Ригу.

В чем же состояли «некоторые обстоятельства», заставившие Елизавету сразу после «секретной» инструкции подписать новую, «секретнейшую»? Маркиз Шетарди, который после ошеломляющего происшествия 25 ноября 1741 года стал своим человеком при новом дворе, сообщал, что императрица решила задержать Брауншвейгское семейство в Риге, пока в Россию не прибудет срочно вызванный из Киля герцог Голштейн-

Готторпский Карл Петер Ульрих, родной племянник Елизаветы. Дело заключалось не только в страстном желании императрицы познакомиться со своим единственным родственником, 13-летним сыном покойной сестры Анны Петровны. Это был тот самый «чертушка», о котором как о конкуренте Ивана Антоновича никогда не забывали при дворах Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны. У многих чесались руки использовать мальчика-сироту (его мать умерла в 1728 году, а отец – в 1739 году) в политических играх вокруг России. Дело в том, что этого мальчика, ставшего уже после смерти Елизаветы Петровны императором Петром III, судьба одарила необыкновенным сочетанием царственной крови. Он был внуком одновременно Петра Великого и его извечного противника, короля-викинга Карла XII, что отразилось в его имени. В начале Русско-шведской войны ходили упорные слухи, что шведы призовут герцога к себе и он будет находиться в наступавшей на Петербург армии Левенгаупта, тем самым как бы «воодушевляя» русских на капитуляцию перед шведами. Шетарди писал, что цесаревна Елизавета Петровна, провожая своих сообщников-гвардейцев на войну, якобы просила их случайно не подстрелить ее племянника. Всему этому, читая донесения Шетарди, удивлялся Амело в Версале: как это может быть – ведь герцог Карл Петер Ульрих – первейший конкурент Елизаветы Петровны в борьбе за трон. Действительно, по Тестаменту 1727 года, с которым Елизавета так носилась при обосновании своих прав, племянник в очереди к трону имел перед ней несомненное преимущество.

Став императрицей, Елизавета, наряду с делом правительницы и ее семейства, занялась и проблемой «чертушки». Не забудем, что в это время шла шведская война, и, несмотря на то, что Шетарди по просьбе Елизаветы в первые же часы ее царствования призвал Левенгаупта приостановить военные действия, шведы не собирались идти на мировую. Несмотря на заявленные задачи войны – «освобождение»

России от «иностранного режима», главная и истинная ее цель – возвращение территорий, отнятых у Швеции в 1721 году Петром Великим, по-прежнему была далека от достижения: войска Левенгаупта подходили только к Выборгу. Известно, что военная машина Швеции не прекратила своей работы и после прихода к власти Елизаветы.

Неудивительно, что в этой обстановке императрица стала опасаться, как бы не осуществилось то, что ранее она сама приветствовала, и ее племянник не оказался бы в Швеции – если не в качестве главнокомандующего, то в роли наследника шведского престола, на который он имел неоспоримые права, как

и на престол Российской империи. А из этого врагам России можно было получить немало «польз» и политических дивидендов. Поэтому герцога срочно вызвали в Россию, послав за ним баронов Н. А. и И. Л. Корфов, а в Петербурге для него, если так можно сказать, «чистили золотую клетку»: готовились перекрестить его в Петра Федоровича и провозгласить наследником российского престола, чтобы эта мысль не пришла никому другому и чтобы «кровь Петрова» была под недреманным присмотром в Петербурге. Впоследствии действительно шведы попросили отпустить Петра Федоровича на шведский престол и Елизавета с удовольствием им отказала. Она могла быть довольна своей первой и такой расчетливой международной акцией: птичка сидела в клетке, была в безопасности и изоляции и клевала с рук.

Но в конце ноября 1741 года, когда барон генерал Н. А. Корф только что выехал в Киль, чтобы забрать юношу, а другому барону, И. Л. Корфу, тогдашнему русскому посланнику в Копенгагене, было отправлено срочное приказание ехать в Киль на помощь своему дальнему родственнику, Елизавета занервничала. Для этого были, как тогда казалось, серьезные основания. Путь из Киля (а он по тому времени года мог быть только сухопутным) пролегал через множество немецких государств, и первым предстояло пересечь Мекленбургское герцогство, которым правил брат пресловутого Карла Леопольда – деда свергнутого императора Ивана, родной дядя Анны Леопольдовны. Затем графу Дюккеру (под таким именем ехал Карл Петер Ульрих) предстояло пересекать Брауншвейг, герцогом которого был брат принца Антона Ульриха.

Возможно, сразу же после подписания «секретной» инструкции, согласно которой Салтыков должен был мчаться с пленниками в Митаву как можно быстрее, и возникли опасения, как бы в это время племянника императрицы не задержали в этих, ставших за одну ночь недружественными, государствах. Поэтому и было решено придержать Брауншвейгское семейство в Риге в качестве заложников, с тем чтобы отпустить их, как только герцог Голштинский пересечет русско-курляндскую границу. Именно так и объяснял происходящее Шетарди: «…для безопасности особы герцога в пути задержать в Риге принца и принцессу Брауншвейгских с детьми до тех пор, пока тот не достигнет русских пределов». Более того, он сам посоветовал замедлить движение поезда к Риге за счет увеличения конвоя пленников со ста до четырехсот человек. В итоге сменных лошадей не хватало и приходилось их долго ждать на всех попутных станциях. Это и стало удобным формальным объяснением («под протекстом несобрания подвод и прочих неисправностей») для намеренно

медленного движения конвоя с пленниками. Автор книги о судьбе Брауншвейгского семейства М. А. Корф, не доверявший Шетарди исключительно из-за «легкомысленной самоуверенности, отличающей его нацию»,[494] больше полагался на сведения саксонского посланника Пецольда, который сообщал в Дрезден, что в марте или апреле 1742 года Лесток говорил ему: обещание отпустить Брауншвейгское семейство за границу «произошло единственно от того, что сначала не довольно основательно обсудили этот предмет, теперь же, конечно, никто, желающий царице добра, не посоветует ей этого, да и никогда тому не бывать, пока он, Лесток, жив и что-нибудь значит. Россия есть Россия, а так как не в первый раз случается на свете, что публично объявленное не исполняется потом, то императрице будет решительно все равно, что подумает об этом публика». Прав Гельбиг: Лесток был чрезвычайно умным и циничным, как каждый политик, человеком. Он и составил «программу» для Брауншвейгского семейства на тридцать лет вперед. Но заметим, что говорил он это Пецольду (согласно донесению посла) не в конце ноября 1741 года и даже не в конце января, а в феврале – марте 1742 года. А к этому времени уже утекло много воды, и взгляды людей, оказавшихся у власти и задержавших Анну Леопольдовну с семьей в Риге на время до приезда в Россию племянника императрицы, стали постепенно меняться, хотя еще до конца мая было неясно, что делать с пленниками. Долгое время всё было, как тогда говорили, «на балансе», то есть колебалось то в одну, то в другую сторону. Это отражалось в письмах сидевшего в рижском замке принца Антона Ульриха, тайно славшего послания в Брауншвейг. То он сообщал родственникам, что их судьба решена – их сошлют в Казань, то писал, что их отпустят и они вскоре отправятся дальше, в Мемель.[495] Пецольд сообщал в Дрезден, что новый вице-канцлер А. П. Бестужев-Рюмин рассказал ему, как на совете елизаветинских сановников разгорелся спор о судьбе пленников. Большинство членов совещания высказались за высылку брауншвейгцев из России, хотя некоторые считали, что нужно завести следственное дело о замыслах правительницы и допросить фрейлину Юлию Менгден «как знавшую все тайные замыслы великой княгини».[496]

Имя любимицы Анны Леопольдовны всплыло в это время не случайно. С начала декабря 1741 года начинается «бриллиантовое дело» Брауншвейгской семьи, которое не могло не повлиять на сроки отправки арестантов за границу. По-видимому, получив доступ ко всем драгоценностям правительницы, унаследовавшей их от покойной тетушки и

регента Бирона, Елизавета Петровна вдруг обнаружила пропажу многих вещей. Это ее страшно огорчило – как известно, в делах моды, одежды и украшений Елизавета, в целом гуманная и добрая, становилась подлинным тираном, деспотом, не знавшим пощады. Здесь же это оскорбленное чувство модницы, не обнаружившей желанные колье, перстни и «трясилы» (вероятно, так назывались серьги) в шкатулках правительницы, слилось с давней ненавистью к «Жульке», а также с вполне уже охватившим ее чувством хозяйки государства, требовавшем, чтобы всё было на своем месте. Начались допросы по поводу исчезнувших драгоценностей.

Вряд ли правительница, ее фрейлина или Антон Ульрих могли увезти их с собой – описанные обстоятельства их ареста подобное исключали. Можно допустить, что в суматохе что-то из бриллиантов утащили слуги или гвардейцы (такие случаи бывали), что-то из старых и поломанных украшений было отдано в переделку придворному ювелиру. Но более всего Елизавету раздражало то, что много бриллиантов мог получить граф Динар, уехавший из России и теперь для нее недосягаемый. Из Петербурга начали приходить допросные пункты, на которые должны были отвечать бывшая правительница и особенно Юлия Менгден. Именно последнюю Елизавета больше других подозревала в сокрытии драгоценностей. При этом в тоне и содержании задаваемых фрейлине вопросов видна сама императрица: ее завистливый и всё запоминавший глаз видел эти бриллианты на правительнице, а раньше на императрице Анне Иоанновне и на Биронше – супруге регента: «Известно есть, что при арестовании бывшаго герцога Курляндского… императрицы Анны Иоанновны все алмазные вещи взяты принцессою

Анной Брауншвейг-Люнебургскою. А ныне многие из них, яко то: жемчужный гарнитур на платье бывшей герцогини Курляндской и купленный у Рондовой жены алмаз, тако ж бывшей герцогини курляндской золотой сервиз и многих присланных с персидским послом алмазных и золотых вещей не находится и прочего. Но как ты всегда была при ней и для того о всем тебе о том не ведать нельзя, того ради имеешь объявить самую истинную правду, не утаивая ни для чего, куда что из того девалось. Кому как чрез тебя, так и чрез кого других что брано, тайно и явно?»[497]

Вопросам императрицы, вдруг вспоминавшей что-то из пропавших украшений, не было конца; допрашивали также слуг и служанок правительницы и ее фрейлин, не только поехавших с ними в ссылку, но и тех, кто оставался в Петербурге. Списки драгоценностей, переданных на переделку ювелиру, тщательно

сопоставлялись с показаниями Анны Леопольдовны и других пленников. Даже у Бирона, бывшего тогда в ссылке, запрашивали сведения о принадлежавших ему драгоценностях. Более всего царица убивалась из-за каких-то двух золотых коробочек, не найденных среди вещей правительницы, и какого-то «опахала с красными каменьями и бриллиантами», о котором Елизавета вдруг вспомнила в декабре 1742 года и которое правительница и ее фрейлина уж никак не могли увезти с собой.

Весной и летом 1742 года, когда, после длительного перерыва, объяснимого подготовкой и проведением коронации Елизаветы, власти решили вновь заняться судьбой Брауншвейгской фамилии, к «бриллиантовому делу» стали подшивать дела вполне политические. Собственно, и раньше за поведением и высказываниями пленников следили (об ограничении их контактов сказано уже в секретной инструкции 28 ноября 1741 года), пытались увязать расследование показаний Юлии Менгден с работой Комиссии по делу Остермана и других.

Как известно, во время дворцового переворота 25 ноября 1741 года были арестованы (по составленному накануне списку) несколько крупных сановников правительницы: А. И. Остерман, Б. Х. Миних, Р. Г. Левенвольде, М. Г. Головкин, К. Л. Менгден, Эрнст Миних. Аукнулась давняя инициатива и небезызвестному Тимирязеву, обеспокоившемуся некогда «неправильностью» завещания Анны Иоанновны и явившемуся со своей идеей к правительнице. Его, как и другого борца за правду, Яковлева, также взяли под караул. Остальные сановники вышли и из этой передряги почти сухими. Как описание дежавю воспринимаются страницы мемуаров князя Я. П. Шаховского, который так красочно обрисовал утро после свержения Бирона. Почти теми же словами он передал свои ощущения и утром 25 ноября 1741 года, когда его поднял с постели сенатский экзекутор, который «громко кричал, чтоб я как наискорее ехал в цесаревнин дворец, ибо-де она изволила принять престол российского правления». Опять Шаховской поспешно оделся и поехал в том направлении, куда бежали толпы проснувшихся петербуржцев. Опять ему пришлось вылезти из кареты и идти пешком, «сквозь множество людей с учтивым молчанием продираясь и не столько ласковых, сколько грубых слов слыша». Снова он увидел забитые спешащими сановниками лестницы и залы, опять ему попался только один знакомый сенатор – это был А. Д. Голицын, с которым они, «содвинувшись поближе, спросили тихо друг друга, как это сделалось, но ни он, так же как и я, ничего не знал». В третьем зале он, наконец, наткнулся на П. И. Шувалова, ближайшего сподвижника Елизаветы, который – тут-то и решилась судьба

помертвевшего от страха Шаховского – не нахмурил брови и не отвернулся (знак беды!), а «веселообразно поцеловал нас», объявя об аресте Миниха, Остермана и других (значит, не нас!). Были в этой наэлектризованной толпе чиновников и неприятные Шаховскому встречи, но ему уже становилось ясно, что и на этот раз беда его миновала. Суждение это стало уверенностью, когда вышла новая императрица и допустила Шаховского к руке,[498] – как помнит читатель, в прошлый раз, при вступлении во власть правительницы, Шаховской этой милости не удостоился и в страхе притулился в каком-то уголке, ожидая несчастья.

Допросы арестантов, содержавшихся в Петропавловской крепости, вели во дворце бессменный следователь всех режимов А. И. Ушаков, генерал Левашов, а также совершенно непотопляемый генерал-прокурор князь Н. Ю. Трубецкой. По некоторым данным, при допросах присутствовала сама императрица, которая располагалась за специально поставленной в комнате ширмой, хотя ни для кого не было тайной, кто там скрывался. Печальнее всех была судьба Остермана. С давних пор Елизавета была на него особенно сердита. Она знала, что Остерман больше других интриговал против нее, был сторонником ее высылки из страны посредством брака с иноземным принцем, что от него исходит наибольшая опасность разоблачения ее заговора. Поэтому уже из первого манифеста 25 ноября 1741 года стало известно, кто назначен козлом отпущения. Главное обвинение, которое предъявлялось Остерману, Миниху и другим, состояло в

«нехранении», или несоблюдении ими Тестамента Екатерины I 1727 года, что якобы и не позволило цесаревне вступить на престол еще в январе 1730 года, когда умер император Петр П. Оправдательного ответа на это обвинение не существовало, и все обвиняемые в основном каялись, хотя было понятно, что обвинение против них голословное, юридически неточное и навеяно исключительно обидой и местью новой императрицы. Вкупе с другими, подлинными и приписанными ему преступлениями, Остерман не мог рассчитывать на пощаду, тем более что в новом правительстве оказался его давний враг Бестужев-Рюмин, который ни за что не дал бы опальному вице-канцлеру выплыть на поверхность.

Следственная комиссия закончила работу довольно быстро, и уже 17 января 1742 года был оглашен указ о казни преступников, которую заменили ссылкой в Сибирь, куда их всех вскоре и отправили. Привлечь к этому делу Юлию Менгден или саму правительницу Елизавета в тот момент не решилась – уж слишком это было бы грубо и противоречило официальному

прощению, объявленному во всеуслышание в манифесте 28 ноября 1741 года. Но людей, которые проявляли на словах симпатию к опальным, исправно везли в Тайную канцелярию. Салтыков, сопровождавший Брауншвейгскую семью, извещал Петербург о малейших происшествиях, в которых можно было усмотреть дело по «первым пунктам», связанным с самым распространенным в стране обвинением в «оскорблении величества». В декабре 1742 года началось дело состоявшей при Анне Леопольдовне служанки Натальи Абакумовой, кричавшей в бреду: «Слово и дело!» – и потом сказавшей, что она слышала «от фрейлин Жулии и Бины… в порицании высокой чести Ея императорского величества». И хотя вызванный доктор показал, что девка находится «в беспамятстве и великой горячке», из Петербурга было приказано – по выздоровлении отправить ее для допросов в Тайную канцелярию. Каждое подозрительное слово, произнесенное арестантами, в том числе и детьми, записывали и сообщали в Петербург. В октябре 1742 года там получили известие о том, что Иван Антонович играет с собачкой, бьет ее в лоб, и «когда его спросят: „Кому-де, батюшка, голову отсечешь?“, то ответствовал, что Василию Федоровичу (Салтыкову. – *Е. А.)*». [499] Сообщение об этом было послано кем-то из окружения Салтыкова, и императрица сделала выговор главному тюремщику, приписав собственноручно: «Понеже коли то подлинно, то я другие меры возьму, как с ними поступать, а вам надлежит о том смотреть, дабы они вас в почтении имели и боялися вас, а не так бы смело поступали».[500] Как видим, в резолюции императрицы слышны легкие раскаты царственного гнева на своих жертв.

Экстракты дел, расследуемых в Тайной канцелярии, императрица получала от А. И. Ушакова регулярно, и постепенно перед ней стала вырисовываться общая картина народных настроений. Никаких серьезных угроз для нового режима в среде народа не назревало – он оставался, как почти всегда, равнодушен к происходящему на вершине власти. Лишь потом, постепенно, учитывая известную инерционность народных настроений и чувствований, появились упорные слухи о несчастной судьбе царя Ивана и его родни, извечные суждения о том, что «как была принцесса Анна на царстве, то в России порядки лучше нынешних были, а ныне (в 1754 году. – *Е. А.)* всё не так стало, как при ней было, слышно, что сын принцессы Анны, принц Иоанн, в Российском государстве будет по-прежнему государем». Но в начале 1742 года об этом не было и речи. Зато беспокойство и даже страх у Елизаветы Петровны вызвал обнаруженный летом того же года заговор Преображенского

прапорщика Петра Ивашкина с камер-лакеем Александром Турчаниновым. Ивашкин якобы собрал партию гвардейцев (500 человек), которая, пройдя ночью во дворец, должна была разделиться на две группы: одной предстояло арестовать лейб-компанцев – ту привилегированную гвардейскую часть, которая была составлена из гренадер, возведших на престол Елизавету, а другой следовало войти в спальню Елизаветы и там ее убить. Для этого и нужен был знавший расположение комнат Турчанинов, который к тому же предлагал взорвать спальню царицы бочонком с порохом. Пусть эти разговоры и не переросли в настоящий заговор, но в них тем не менее проглядывал вполне определенный план действий, для реализации которого даже не нужно было стольких участников. Кроме того, Ивашкин и Турчанинов ставили перед собой вполне конкретную цель – вернуть на трон Брауншвейгское семейство.

Как показало следствие, Турчанинов говорил гвардейскому каптенармусу Парскому: «Принц-де Иоанн был настоящий наследник, а государыня-де императрица Елизавета Петровна не наследница, а сделали-де ее наследницею лейб-компания за винную чарку… Смотрите-де, братцы, как у нас в России благополучие состоит непостоянное и весьма плохое и непорядочно, а не так, как при третьем Иоанне было, и оный-де Иоанн законный наследник и по наследству царя Иоанна Алексеевича, также первого императора, подлежит быть ему императору, и его-де назначила короноваться императрица Анна Иоанновна еще при животе своем, а лейб-де компания сделала императрицею незаконную наследницу, что-де как царевна Анна Петровна, так и государыня императрица Елизавета Петровна первым императором прижиты с государынею императрицею Екатериною Алексеевною до венца, и для того-де никак не надлежит быть у нас императрицею, а надлежит-де быть третьему императору Иоанну».[501] Высказывания Турчанинова примечательны тем, что множество других людей того времени наверняка думали о нелегитимности власти Елизаветы то же самое. Они, не зная статей Тестамента, приводили другие, по их мнению, вполне убедительные аргументы в пользу своей точки зрения: старшинство корня царя Ивана Алексеевича, завещание императрицы Анны Иоанновны и, наконец, незаконнорожденность Елизаветы.

Все эти обстоятельства понимала и Елизавета. Она, испуганная возможностью повторения переворотов 9 ноября 1740 и 25 ноября 1741 года, раз и навсегда для себя решила: никогда не ночевать в одном месте, а лучше ночью вообще не спать.

Происшедшее самым печальным образом отразилось на

судьбе Анны Леопольдовны и ее семьи. Возможно, именно тогда Елизавета осознала, что Брауншвейгская фамилия – не просто семья высланного за границу иностранного принца, а знамя всех недовольных ее режимом. Дело Ивашкина и Турчанинова открыло целую вереницу реальных и мнимых заговоров, с использованием имен Анны Леопольдовны и Ивана Антоновича. Как только Елизавета осознала опасность, грозившую ей с этой стороны, судьба Анны Леопольдовны и ее семьи была окончательно решена: из России не выпускать, держать в тюрьме без определения срока, вечно. В день казни Ивашкина и его сообщников 19 декабря 1742 года в Ригу пришел указ Елизаветы о переводе Анны Леопольдовны с семейством в крепость Динамюнде, расположенную ниже Риги по течению Даугавы, у самого ее устья. Крепость эта напоминала Шлиссельбург, была окружена водой, и пленники оказались в полной изоляции. Переезд произошел 2 января 1743 года, и с этого времени принцу Антону Ульриху уже стало невозможно передавать на волю письма. Его тайная переписка с родными прервалась,[502] режим содержания по сравнению с Ригой ужесточился. Стало ясно, что клетка за несчастными захлопнулась навсегда.

В Динамюнде, в доме коменданта, узники провели более года. Там 1 января 1744 года принцесса родила девочку, принцессу Елизавету. До этого, по сообщению Салтыкова, ночью 15 октября 1742 году у Анны был выкидыш, со слов докторов Эмзеле и Графа, – «месяцев трех, мужеска полу». Как только Анна Леопольдовна оправилась от родов и смогла двигаться, семью и прислугу вывезли из Динамюнде в неизвестном направлении. Решение императрицы, внимательно следившей за судьбой Брауншвейгской фамилии, отправить узников подальше от границ, вглубь империи, стало, скорее всего, результатом громкого дела Лопухиных, начатого и законченного летом 1743 года. В нем были замешаны уже не просто камер-лакей или прапорщик, а люди света: статс-дама двора Елизаветы Наталья Лопухина, ее муж генерал Степан Лопухин, сын Иван, близкая подруга Анна Бестужева, придворная дама Софья Лилиенфельд и другие. И хотя по материалам дела видно, что никакого заговора с целью свержения Елизаветы не было, следователи под непосредственным контролем императрицы «шили» дело о заговоре в пользу Ивана Антоновича и правительницы, о которых действительно весьма сочувственно отзывались в салоне Лопухиной. В основе дела лежал донос на сына Лопухиной, Ивана, от его товарища поручика Кирасирского полка Ивана Бергера. Как-то в начале июля 1743 года Лопухин, сидя с Бергером в кабаке, точнее – в так называемом «вольном доме»

некоего Берляра – месте развлечений гвардейских офицеров, разоткровенничался: стал жаловаться на жизнь, негодовал, что его «выключили» из камер-юнкеров, перевели в армию в чине всего-то подполковника, а у матери забрали подаренную ранее деревню. Да и вообще, утверждал Иван Лопухин, Елизавета Петровна – ненастоящая государыня, да и ведет она себя, как простолюдинка, – всюду мотается, пиво пьет. О ней-де рассказывали, что после смерти Петра II в 1730 году верховники хотели было ее на престол посадить, да вдруг выяснилось, что она беременна неведомо от кого! И далее Лопухин стал расхваливать времена правительницы Анны Леопольдовны – милостивая, ласковая, тихая была государыня! А нынешнюю государыню Елизавету-де «наша знать вообще не любит», не любят ее и в армии. Ведомо, что Елизавета посадила Анну Леопольдовну под строгий караул в Риге, а не знает того, что рижский караул «очень склонен» к ней и к бывшему императору Ивану. Наступят, мол, скоро иные времена – вернется правительница, да и Австрия нам поможет, австрийский посланник Ботта об этом хлопочет, он часто бывает в доме Лопухиных.

Бергер все это выслушал и донес на Ивана Лопухина. Его арестовали, начались допросы, пытки. Иван оговорил мать, отца, других людей. Было известно, что императрица недолюбливала гордую Наталью Лопухину, которая изящно одевалась и вела себя независимо. Неслучайно на всем деле Лопухиной лежит отчетливый отпечаток личной мести императрицы. Из сохранившихся материалов дела видно, что Наталья Федоровна была действительно женщиной волевой и гордой. Она поначалу вела себя достойно, обвинение в заговоре отрицала, прощения не просила и мужа своего выгораживала: утверждала, что с приходившим к ней в гости послом Ботта она разговаривала по-немецки, в основном о погоде, а муж-де языка этого не знает. Позже, когда на нее «надавили», она призналась, что сочувственный разговор с маркизом де Ботта об Иване Антоновиче и Анне Леопольдовне у нее был, хотя о заговоре в их пользу не было сказано ни слова.

Присутствие в деле австрийского посланника де Ботта особенно насторожило Елизавету – известно, что Австрия всегда была заодно с правительницей, находившейся в родстве с императорской семьей из Вены. В существование «нитей заговора», тянувшихся за рубеж, Елизавета свято верила – ведь она сама совсем недавно, в 1741 году, пришла к власти, пользуясь поддержкой и деньгами шведского и французского посланников. С 29 июля по воле государыни начались пытки: подвесили на

дыбе Ивана, потом пытали беременную Софью Лилиенфельд, Степана Лопухина, снова Ивана. Записка Елизаветы в Тайную канцелярию о пытках Лилиенфельд и других пышет гневом и злобой: пытать, несмотря на беременность, «понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плутоф и наипаче жалеть не для чего, луче чтоб и век их не слыхать…». Пытки беременных женщин – крайняя мера, к ней прибегал только Петр Великий: во время сыска по делу царевны Софьи одна из пытаемых приближенных царевны родила на дыбе. А потом пришел черед висеть на дыбе Анне Бестужевой и Наталье Лопухиной. Пытки перемежались очными ставками, когда истерзанных на дыбе людей ставили друг против друга и допрашивали. Эта процедура называлась «ставить с очей на очи» – отсюда и само слово «очная ставка». Иногда очная ставка сочеталась с дыбой – в этом случае пытаемые висели на дыбах и оговаривали друг друга. Наталья Лопухина вину свою в вольных разговорах признавала, но новых сведений о заговоре – а именно этого добивались следователи – не давала.

В расследованиях подобных политических дел всегда есть некая мера. Если продолжать раскручивать надуманные, подчас бредовые обвинения, построенные исключительно на личных признаниях обвиняемых под пыткой, то вскоре вранье неудержимо полезет из-под гладких строчек обвинения и всем станет видно, что дело липовое, а обвинения несостоятельны. Тут для следователей важно вовремя закрыть расследование и передать дело в скорый и обычно неправедный суд. Не прошло и двух месяцев после начала расследования, как назначенный 18 августа 1743 года суд, составленный из высших сановников и генералов, прозаседав меньше часа, вынес свой приговор: Наталью, ее мужа и сына, Бестужеву и еще четверых приговорить к смертной казни, причем за «непристойные слова» у Натальи, Степана, Ивана и Бестужевой урезать языки, а затем их колесовать и «тела на колеса положить». Однако государыня «по природному своему великодушию» смертную казнь «заговорщикам» отменила, предписала всех сечь кнутом, а Наталье и Анне Бестужевой «урезать языки» и всех сослать в Сибирь…

Дело Лопухиных свидетельствовало, по мнению Елизаветы и ее окружения, о существовании «партии Брауншвейгской фамилии», состоящей из скрытых и явных сторонников реставрации режима правительницы. И хотя эта «партия» существовала только на бумаге, исписанной следователями Тайной канцелярии, императрица усмотрела в этом прямую угрозу для себя и ужесточила режим заключения Брауншвейгской

фамилии. Пограничные Рига и Динамюнде теперь не казались ей надежными узилищами. Как уже сказано, в деле Лопухиных промелькнула особенно встревожившая Елизавету информация о том, что среди охраны арестантов якобы есть их скрытые сторонники. С целью разоблачения связей охраны с Петербургом был арестован офицер Камынин, состоявший при Салтыкове и написавший в перехваченном властями письме нечто непонятное следователям о своем «дурном житье» в Риге. И хотя подозрения не подтвердились, Елизавета постановила решить проблему кардинально – 9 января 1744 года Салтыков получил указ срочно отправить своих подопечных подальше от границы – в центр России, в город Раненбург Воронежской губернии. По мнению многих исследователей, совет этот поступил в Петербург… из Берлина, от короля Фридриха II, который через русского посла П. Г. Чернышева передал для Елизаветы: отправьте Брауншвейгское семейство «в такие места, чтобы никто не мог узнать, где оно находится, и чтобы в Европе все о нем забыли». Он был убежден, что никто из государей за них не вступится. Неизвестно, зачем это понадобилось прусскому королю, уже тогда не слывшему другом России. Возможно, он хотел таким образом наладить отношения с не любившей его, гея и нарушителя европейского мира, русской императрицей; возможно, он давал этот совет без особой осмысленной цели, просто так, со зла, потехи ради. Так он поступал в своей жизни не раз, портя отношения с людьми и даже целыми государствами.

Вернемся к нашим ссыльным. Указ 9 января предписывал Салтыкову вывозить семейство бывшей правительницы ночью, не заезжая в Ригу, «чрез озера на Псковскую дорогу». Обеспечением конвоя транспортом ведал капитан-поручик М. Д. Вындомский. В первых своих донесениях он обозначал конечный пункт назначения как «Оренбурх» или «Аренбурх». В Петербурге испугались, как бы этот «знаток» российской географии (как известно, география – наука не дворянская!) не повез своих пленников в Оренбург. Поэтому ему прислали из Кабинета Ея императорского величества специальное «просветильское» письмо, в котором было сказано: «Ежели вы разумеете Оренбург тот, что на Яике, построенный бывшим статским советником Кириловым, в том ошибаетесь, ибо сей, до которого вы отправлены, Ораниенбурх, отстоящий от Скопина в 60 или 70-ти верстах, как и в именном Ея императорского величества указе, данном вам при отправлении, именован Ораниенбурхом, а не Оренбурхом».[503] Разумеется, всё мероприятие держалось в глубочайшей тайне, хотя, как это часто бывало, о переезде несчастного семейства иностранные дипломаты в Петербурге

получали почти исчерпывающие сведения и они были однозначны: Анна Леопольдовна и ее семья не будут выпущены из России.

Поезд двинулся из Лифляндии 31 января 1744 года, в лютую стужу. В возках везли еще не оправившуюся от родов Анну Леопольдовну и грудного младенца Елизавету. Как позднее, став уже взрослой, рассказывала со слов своего отца принцесса Елизавета, коляски, представленные Салтыковым, были холодными, не приспособленными к езде зимой, у шестинедельной девочки замерзали пеленки, и ее кормилица, прикрывая своим телом ребенка, «себе заморозя спину, избавила от смерти».[504] Вряд ли Елизавета сознательно хотела, чтобы пленники испытывали эти мучения. Скорее всего, в ход пошла холодная и бездушная к людям российская государственная машина, для которой не только элементарное милосердие, минимальные удобства, но и сама жизнь человека – пустой звук.

Ораниенбург (Раненбург) – город-крепость, построенный в 1702 году для обороны от турок района Воронежских верфей, – некогда принадлежал А. Д. Меншикову. Позже, в 1727 году, он, низвергнутый с вершин власти, был привезен сюда вместе с семьей. Здесь его допрашивали следователи, присланные верховниками, а потом, обобрав до нитки, под конвоем отправили в Сибирь, в Березов. И вот, уже в новую эпоху, ворота крепости вновь распахнулись для узников. Здесь вступили в силу новые инструкции, данные Салтыкову из Петербурга еще перед отъездом конвоя из Лифляндии.

Ему было предписано везти бывшего императора отдельно от родителей, не допуская даже их свиданий. Неизвестно, кому в голову пришла идея разлучить мать с четырехлетним сыном, но Елизавета это людоедское распоряжение одобрила, а вот Салтыков его понял не сразу. 15 января он просил уточнить: «Когда отправляться будем в путь, а принцесса Анна принца Иоанна паче чаяния давать с рук своих по разным воскам не будет, что поведено будет чинить?» 19 января он получил ответ, в котором отчетливо проглядывает злая воля самой императрицы: «На ваш репорт вам повелеваем, ежели принцесса при отправлении в путь принца с рук своих давать не будет, то, несмотря ни на что, поступать вам по прежнему нашему указу, ибо она не может по своей воле делать что хочет…» Последние слова будто написаны самой Елизаветой. Примечательно, что, дав столь жестокий указ о высылке Анны с семьей вглубь России, императрица требовала от Салтыкова, чтобы при отправке арестантов он сообщил ей: отъезжая на новое место ссылки, Анна Леопольдовна и ее муж «печальны ли или сердиты, или

довольны». Трудно понять, зачем нужно было императрице знать такие нюансы. Это лишний раз доказывает, что за всеми испытаниями, выпавшими на долю несчастной семьи, стояла императрица. Она из своего золоченого далека как будто не спускала глаз со своих жертв, смакуя их страдания. Чуть ниже я скажу о мотивах, которыми руководствовалась Елизавета в этом деле.

В ответ на запрос государыни Салтыков отвечал, что, когда члены семьи увидели, что их при выезде намереваются рассадить по разным кибиткам, они «с четверть часа поплакали», так как подумали, что их хотят разлучить. «А потом, вышед, с учтивостью они ему сказали, что в воле Вашего императорского величества состоит…(и) больше ничего не говорили, и виду сердитого в них не признал».[505] Отметим, что угроза разлуки друг с другом теперь повисла над ними как дамоклов меч, и вообще, с тех пор жизнь их проходила в ожидании худших поворотов. Вскоре худшие времена наступили. Идея везти ребенка отдельно от матери и не давать им видеться стала началом их насильственного разлучения навсегда. «Когда вы прибудете в Ораниенбурх, – записано было в указе-инструкции, – то принцу Иоанну с его мамками определите палаты у Козловских ворот, по правую сторону оных… а принцессе с мужем и с детьми и служителями—палаты (у) Московских ворот… И принца Иоанна к отцу и матери носить, тако ж и им к нему ходить не допускать». Одновременно было приказано резко уменьшить штат сопровождавших пленников слуг, «понеже в свите у принцессы много лишних есть». В крепости все члены семьи и свита жили под строгим караулом, насчитывавшим 264 человека. Солдаты дежурили как внутри зданий, так и снаружи. Из Ораниенбурга Салтыков выпросился в Москву, а на его место заступил майор И. В. Гурьев.

Брауншвейгская семья прожила здесь до конца августа 1744 года, когда внезапно прибыл личный посланник Елизаветы майор гвардии барон Николай Корф. Уже до этого барон выполнил два ответственнейших задания: доставил в Россию из Голштинии племянника императрицы Карла Петера Ульриха, а потом привез из Цербста невесту наследника престола принцессу Софию Августу Фредерику, ставшую позже императрицей Екатериной Великой. Теперь ему поручалась тайная, похожая на военную, операция. Он привез с собой новый секретный указ императрицы Елизаветы от 27 июля 1744 года. Это был жестокий, бесчеловечный указ. Корф был обязан ночью взять экс-императора Ивана, вывезти его из крепости и передать мальчика капитану Миллеру, который ждал его в трех верстах от города.

Миллер должен был везти четырехлетнего малыша в закрытой коляске на север, ни под каким видом никому не показывая мальчика и ни разу не выпустив его из возка. Особо примечательно, что с этого момента Миллер был обязан называть Ивана новым именем – Григорий. Может быть, имя такое было выбрано случайно, а может быть, и нет – в династической истории России имя Григорий имеет негативный «след» – так звали самозванца Отрепьева, захватившего в России власть в 1605 году и своим авантюризмом обрекшего страну на невиданные страдания и тяжелое разорение. Этим Елизавета как бы низводила бывшего императора до уровня такого же самозванца. Конечный пункт поездки – Соловецкий монастырь. Через день после вывоза «Григория» надлежало так же тайно, ночью, отправить под охраной в том же направлении бывшую правительницу, ее мужа и детей с необходимым минимумом прислуги. Остальных придворных, состоявших при Анне и Антоне Ульрихе, велели оставить в

Раненбурге под охраной майора Г. А. Корфа, брата Н. А. Корфа. Двигаться предстояло быстро, чтобы «к Архангельску поспеть по крайней мере в половине сентября, чтобы доехать морем до указанного места». Всюду нужно было соблюдать полнейшую тайну, всё делать под прикрытием темноты – ехать ночами, не давать пленникам выходить, не позволять им ни с кем видеться, не отвечать на вопросы посторонних: «…арестантов весть туда и разместить ночью», «…посадить (на судно) младенца ночью, чтобы никто не видел», «…ночью же, закрыв, принести в приготовленные… покои», даже для рапортов к начальству «приходить по ночам, чтобы его, Миллера, никто не знал».

В историческом сознании русского народа есть много географических точек, воспоминание о которых вызывает целую гамму разноречивых чувств. К этому ряду относятся и Соловки, куда должны были доставить узников Ораниенбурга. Огромный монастырь, построенный в начале XV века святыми монахами-отшельниками Зосимой и Савватием на каменистом острове в Белом море, до сих пор кажется суровым и неприступным. Здесь, вдали от суетного мира, в тяжелом труде и молитве можно было возвыситься духом и подавить плоть. Устав монастыря был суров, он запрещал останавливаться в монастыре женщинам, принимать безбородых монахов и послушников и даже держать на острове скотину женского пола. Но так случилось, что значительную часть своей истории Соловецкий монастырь, как и некоторые другие монастыри России, служил местом заточения простых и знаменитых узников. В этом проявлялась воля светского государства, которое мало считалось со святостью,

монастырскими уставами, а видело в монастырях только тюрьмы. В нашем случае архимандриту Соловецкого монастыря даже не было известно, что за узники будут содержаться в стенах его обители: «некоторые люди, определенные от Ее величества», и всё!

Соловки считались самой страшной монастырской тюрьмой. Узнав, что их влекут на Соловки, несчастные исповедовались и причащались, как перед смертью, – жизнь в узких, где не разогнуться, камерах-щелях, в глубоких ямах, в холоде, темноте и безмолвии не была долгой, да она не являлась уже и жизнью. Позже в своей челобитной один из заключенных Соловков Михаил Пархомов просил, чтобы «вместо сей ссылки в каторжную работу меня (б) отдали, с радостию моей души готов на каторгу, нежели в сем крайсветном, заморском, темном и студеном, прегорьком и прескорбном месте быти». Неслучайно, что именно с Соловецкого лагеря в 1920-х годах началась система ГУЛАГа, сожравшая жизни миллионов наших людей.

Но, ссылая Брауншвейгское семейство на Соловки, Елизавета все равно беспокоилась, как бы они не сбежали. Специально посланному вперед конвоя эмиссару, полковнику Чертову, ехавшему будто бы молиться в Соловецком монастыре, было приказано посмотреть, нет ли в монастыре других ворот или какого тайного хода, тотчас такие ворота и ходы заделать, снять план монастыря и для дальнейшего совершенствования его режима прислать в Кабинет.

Корф, судя по его письмам, не был тупым служакой-исполнителем. У него было доброе сердце, он понимал, что его руками делается неправедное дело. Поэтому, будучи еще в Москве, они вместе с обер-секретарем императрицы Черкасовым запросил государыню, нельзя ли с майором Миллером отправить из Ораниенбурга приставленных к мальчику сиделицу и кормилицу, чтобы он, оказавшись между незнакомыми людьми, не плакал и не кричал. Иначе трудно будет сохранить предписанную указом тайну доставки узника Григория. Бумага была послана вице-канцлеру М. И. Воронцову, сопровождавшему государыню в поездке на Украину. Из Орла Воронцов прислал ответ: императрица, прочтя присланный документ, «изодрать его изволила, объявя, чтоб господин Корф по силе прежнего Ее величества соизволения, которое неотменно пребывать имеет, поступал».[506]

Приехав в Ораниенбург, Корф оказался в трудном положении. Возможно, уже в дороге он получил дополнительную инструкцию, в которой было определено, кого из сопровождавших принца и принцесс придворных ему следует взять с собой на

север. Среди названных в инструкции лиц не оказалось фрейлины Юлии Менгден. Была упомянута только ее сестра Бина, которая, как известно, отказалась принять предложение Елизаветы и войти в штат фрейлин новой государыни, чем обрекла себя на общую с правительницей судьбу. Как видим, Елизавета нарушила данное принцессе в ночь переворота обещание не разлучать ее с Юлией.

Ознакомившись с обстановкой в Ораниенбурге, увидав лежавшую в постели опять беременную Анну Леопольдовну и рядом с ней верную Юлию, Корф вновь заколебался. Его приезд смутил всех узников, решивших было, что, наконец, их скитания кончились и что жизнь на новом месте будет налаживаться – комендант Гурьев деятельно занялся ремонтом помещений и благоустройством крепости, давно уже потерявшей оборонное назначение и заброшенной. Появление столь важной персоны от государыни (Корф был женат на двоюродной сестре императрицы, графине Скавронской) несло арестантам новые неприятности и испытания, и они это чувствовали. В первый день Корф даже не решился сказать узникам о цели своего приезда, а в рапорте запросил императрицу, что ему делать, если болезнь принцессы усилится, и заодно заметил в отчете, что известие о разлучении Анны Леопольдовны с Юлией станет для принцессы страшным ударом, – Корф, конечно, знал об их отношениях и обещании императрицы. О переезде в новое место (не уточняя, куда именно, – а Брауншвейгская семья отчаянно страшилась ссылки в Сибирь) Корф поручил им сообщить менее тонкокожему Гурьеву. В ответ раздались всеобщий плач, рыдания и заверения, что все они покоряются своей судьбе, но скорбят об очередной немилости государыни. Корф так и не решился объявить Анне Леопольдовне о том, что ее разлучат с Юлией, а прибег к обману. Он сказал только, что из-за недостатка лошадей Менгден двинется за ними позже. Бывшая правительница почти догадалась, что имел в виду Корф, и, думая не о себе, а о своей подруге, отвечала: «Я просто не знаю, что с нею будет, когда она узнает об окончательной разлуке».[507] По дороге, увидав, что повозка с Менгден так их и не нагнала, Анна Леопольдовна впала в такое отчаяние, что пришлось останавливаться и пускать ей кровь – тогда это считалось самым радикальным лечением от всех болезней. По раскисшим от грязи дорогам, в непогоду и холод, а потом – и под снегом арестантов медленно повезли на север.

Задумаемся над происшедшим. Обращают на себя внимание как поразительная покорность этой женщины, так и издевательская, мстительная жестокость императрицы, которая была продиктована совсем не государственной необходимостью или опасностью, исходившей от этих безобидных женщин, детей

и генералиссимуса, не одержавшего ни одной победы, а ненавистью и… завистью государыни. В этой истории отчетливо видны пристрастия Елизаветы. В марте 1745 года, когда Юлию и Анну уже разделяли сотни верст, Елизавета взялась за старую тему и написала Корфу: «У принцессы спросить о алмазных вещах, кои от нее отданы, понеже многих не является, и что объявит, то, записав, по прибытии сюда нам донесть». И ниже собственноручная приписка государыни, пышущая ненавистью: «А ежели она запираться станет, что не отдавала никому никаких алмазов, то скажи, что я принуждена буду Жулию розыскивать (то есть пытать. – *Е.А.),* то ежели ей ее жаль, то б она ее до такого мучения не допустила». Это было не первое письмо такого рода, полученное Салтыковым и Корфом от Елизаветы. В октябре 1742 года она писала Салтыкову в Динамюнде, чтобы тот сообщил, как и почему бранит его Анна Леопольдовна, – до императрицы дошел об этом слух. Салтыков отвечал, что это навет, и «у принцессы я каждый день поутру бываю, только кроме ее учтивства никаких противностей как персонально, так и чрез бессменных караульных обер-офицеров ничего не слыхал, и, когда ей что потребно, о том с почтением меня просит, а принц Иоанн почти ничего не говорит, а ежели б что от оной принцессы или от других какие противности происходили, тогда б того оставить не мог, чтоб Вашему императорскому величеству не донесть, и оное все донесено Вашему императорскому величеству неправильно».[508] Салтыков писал правду – такое поведение было характерно для Анны Леопольдовны. Она была кроткой и безобидной женщиной – странная, тихая гостья в этой стране, на этой земле. Но ответ Салтыкова наверняка императрице не понравился – ее ревнивой злобе к этой женщине не было предела.

Чем можно объяснить ненависть Елизаветы к Анне Леопольдовне, не представлявшей для нее никакой угрозы? Исходя из знания характера и привычек императрицы, можно представить, что Елизавете было невыносимо слышать и знать, что где-то живет эта женщина, окруженная, в отличие от нее, императрицы, детьми и семьей, у которой есть близкая подруга, верная в радости и в горе, что есть люди, разлукой с которыми вчерашняя правительница Российской империи печалится больше, чем расставанием с властью, что ей вообще не нужна власть. Примечательно, что Анна Леопольдовна сразу же приняла навязанную ей скромную роль принцессы, супруги иностранного принца, и никогда не упоминала, что она великая княгиня и правительница. Что бы она ни думала об этом на самом деле, во всех письмах и обращениях через охрану Анна Леопольдовна безусловно признавала себя подданной Елизаветы, выдерживая

принятые формулы обращения покорной рабыни к великой государыне, как это было сказано в присяге, которую Анна подписала: «Хочу и должен Ея императорскому величеству верным, добрым и послушным рабом и подданным быть».

Даже если это не соответствовало ее внутренним ощущениям, можно безусловно сказать, что, окруженная десятками потенциальных доносчиков по присяге и призванию, Анна Леопольдовна вела себя в политическом смысле безупречно, и это тоже, вероятно, раздражало Елизавету, недавно насладившуюся кровавой расправой с Натальей Лопухиной. Лишенная, казалось бы, всего: свободы, нормальных условий жизни, потом старшего сына, близкой подруги – эта женщина не билась, как ожидала Елизавета, в злобной истерике, не бросалась на стражу, не наговаривала дерзостей на полноценный донос по «Слову и делу», а лишь покорно принимала всё, что приносил ей начинающийся день, еще более печальный, чем день вчерашний. И это бесило Елизавету, не способную понять такой характер, такую личность. В принципе, мучения императрицы проистекали из ее слабости, непростительной для узурпатора, – она все-таки никак не могла приказать тайно убить Брауншвейгское семейство. Елизавета была искренне верующей, переступить принцип «Не убий» было выше ее сил. Учитывала она и международный резонанс, который в случае такого злодеяния мог быть убийственным для репутации России. Даже в более суровые времена Наполеона расстрел герцога Энгиенского вызвал целую бурю в недружной, но чувствовавшей свое родство семье королей и герцогов Европы. Это чувство было присуще и самой Елизавете, так рьяно напустившейся на прусского короля Фридриха, поступившего, как разбойник, с одним из членов этой семьи – королевой Венгерской Марией Терезией. Да и свое родство с Анной она тоже порой ощущала, и тогда арестанты бывали несказанно обрадованы внезапной посылкой от государыни: бочонком венгерского вина, гданьской водкой или кофе, без которого не мог жить Антон Ульрих.

Вместе с тем и смириться с существованием Анны Леопольдовны и ее семейства Елизавета не могла, втайне рассчитывая, что судьба и природа освободят ее от Анны или бывшего императора. В начале 1745 года, уже из Холмогор, куда с большими трудностями добралась эта несчастная экспедиция, Анне приспело время рожать. Корф, обеспокоенный ее состоянием, просил государыню разрешить допустить к роженице повивальную бабку и кормилицу, прислать необходимые медицинские инструменты. Заодно он спрашивал, как ему поступать в случае смерти Анны Леопольдовны или ее младшей

дочери Елизаветы, тяжело заболевшей в пути. В ответ никаких распоряжений ни об инструментах, ни о повивальной бабке и кормилице от государыни не последовало. Забегая вперед, скажем, что так же было и в 1746 году, когда в Холмогорах Анна Леопольдовна рожала принца Алексея, зато в указе 29 марта 1745 года была дана детальная инструкция на случай смерти бывшей правительницы и бывшего императора: «Ежели по воле Божией случится иногда из известных персон смерть, особливо принцессе Анне или принцу Иоанну, то, учиняя над умершим телом анатомию и положа в спирт, тотчас то мертвое тело к нам прислать с нарочным офицером, а с прочими чинить по тому ж, токмо сюда не присылать, а доносить нам и ожидать указу». Вот в таком виде – выпотрошенными и в спирту – хотела бы видеть императрица этих людей. Видно, эта тема ее очень занимала. Летом 1745 года Гурьеву, в дополнение к вышеписанному, было велено: «В случае смерти принца Иоанна (ежели ему прежде отца и матери случится) повелеваем вам тотчас его мертвого показать отцу и матери, чтоб они его видели и о том, что умер, знали, и потом (как уже показан будет отцу и матери) учинить с умершим телом по силе указа», данного Корфу.[509] По-видимому, это делалось для того, чтобы у родителей, разлученных с сыном, не было никаких надежд на благополучное разрешение его, а вместе с ним и их судьбы. В конечном счете все эти противоречия в душе Елизаветы лишь усугубляли мучения узников, то заставляя их дрожать при мысли, что с ними могут поступить еще хуже, то маня их призраком надежды на освобождение или высылку из России.

Между тем роды приблизились, и гуманный Корф, не дождавшись указа, разрешил допустить к роженице повивальную бабку и кормилицу. Думая, что это разрешение дала Елизавета, Анна Леопольдовна после родов (она родила сына Петра 19 марта 1745 года) от себя и мужа написала императрице письмо со словами благодарности «к нам, бедным Вашего императорского величества показанныи матернии милосердии рабски благодарствуем о допущении в крайней моей болезни ко мне бабки и о пожаловании для воспитания младенца кармилицы, чрез что мы всеподданнейшие Вашего императорского величества рабы видим высочайшую к нам матернюю милость».[510]

Глава десятая
Неведомые полевые цветы, или Несчастнейшая из человеческих жизней

Более двух месяцев – с конца августа до 9 ноября – Корф вез Брауншвейгскую семью к Белому морю. Но весь их путь проходил по бездорожью, и Корф не успел до окончания навигации довезти пленников до пристани, чтобы переправить на Соловки. Море замерзло. Он упросил Елизавету хотя бы на время прекратить это измотавшее всех – узников, охрану, самого Корфа – путешествие, временно поселить арестантов в Холмогорах – большом промысловом и торговом селе на Северной Двине, расположенном выше Архангельска. Местом для размещения арестантов и охраны был выбран обширный, пустовавший дом местного архиерея. Первоначально назначенное для их поселения место – Никольский Корельский монастырь под Архангельском, согласно донесению посланного туда Вындомского, совершенно для жизни не годился: строения были ветхие и места на всех не хватало. Указом 5 декабря императрица разрешила оставить пленников в Холмогорах до весны, до открытия навигации. Никто даже не предполагал, что дом холмогорского архиерея станет их тюрьмой на долгие тридцать четыре года!

Нет сомнений, что важную роль в том, что Брауншвейгское семейство осталось в Холмогорах, а не было вывезено на Соловки, сыграл Корф, стремившийся во всем облегчить участь узников. Еще до своего отъезда из Холмогор в июне 1745 года он все-таки сумел убедить императрицу и ее окружение, что везти женщин и детей на Соловки не стоит: неудобный путь, невозможность прокормить на острове столько людей, долгий перерыв между навигациями (семь месяцев), что сделает невозможными регулярные рапорты о содержании узников. А тюрьма в Холмогорах имеет множество преимуществ: удобна и вместительна, снабжение пленников провиантом и всем необходимым не представляет никаких затруднений. Корф с радостью покидал Холмогоры – поручение, данное ему императрицей, было тяжелейшее. Один из подчиненных Корфа, майор Гурьев, впал в такую депрессию, что его даже собирались отозвать. Словом, в указе Елизаветы от 29 марта 1745 года было приказано содержать арестантов в Холмогорах до нового указа.

Итак, подневольное многолетнее путешествие

Брауншвейгской семьи по России закончилось, началось многолетнее заточение. В первые месяцы пребывания в Холмогорах начальство во главе с Корфом и Гурьевым деятельно взялось приспосабливать комплекс архиерейской резиденции (два каменных здания) под тюрьму, точнее – под два отделенных друг от друга узилища. В одном – это был сам двухэтажный дом архиерея – поселили Антона Ульриха, Анну Леопольдовну и принцесс Екатерину и Елизавету. Во втором, также двухэтажном здании, из окон которого не был виден архиерейский дом, был поселен младенец «Григорий» с майором Миллером. Охрана (почти сто человек!) разместилась в деревянных пристройках к каменным зданиям и в домах, расположенных по периметру обнесенного забором двора архиерейской резиденции. Соборная церковь на берегу Двины, входившая в комплекс архиерейского двора, для молящихся закрыта не была, но ее отделили от собственно тюрьмы забором. Все помещения и проходы со двора тщательно охранялись, но, в отличие от Ораниенбурга, узникам разрешалось гулять, хотя и не в том дворе, куда выходило здание с узилищем Ивана Антоновича, а с другой стороны главного здания – там, при монахах, был разведен огород и имелся узкий, но длинный пруд с мостиком.

Анне Леопольдовне было суждено прожить на новом месте меньше двух лет. 27 февраля 1746 года она родила мальчика – принца Алексея. Это был последний, пятый ребенок супругов. Рождение всех этих детей лишь обостряло ненависть Елизаветы к Анне. Ведь согласно указу, подписанному Анной Иоанновной перед смертью, в случае, если Иван «прежде возраста своего и, не оставя по себе законнорожденных наследников, преставится», престол должен был перейти к «первому по нем принцу, брату его от нашей любезной племянницы… Анны и от светлейшего принца Антона Ульриха, а в случае и его преставления» – к другим законным, «из того же супружества рождаемым принцам». Эти дети были принцами и принцессами и, согласно завещанию императрицы Анны Иоанновны, имели прав на престол больше, чем Елизавета. Рождение детей у Анны Леопольдовны и Антона Ульриха тщательно скрывалось от общества и коменданту тюрьмы категорически запрещалось в переписке даже упоминать о детях Анны Леопольдовны, их числе и поле. И хотя правом императрицы Елизаветы Петровны была сила, тем не менее сообщения о рождении очередного потенциального соперника так раздражали императрицу, что, получив из Холмогор известие о появлении на свет принца Алексея, Елизавета, согласно рапорту курьера, бумагу «изволила, прочитав, разодрать».[511]

По-видимому, женское здоровье 28-летней Анны

Леопольдовны было расшатано болезнями и частыми родами. Двое последних родов проходили с большими трудностями – недаром Корф просил прислать в Холмогоры хирургические инструменты. Роды сына Алексея Анна Леопольдовна уже не выдержала: 5 марта, как сообщал в Петербург Гурьев, «принцесса Анна занемогла великою горячкою». Скорее всего, у нее начались послеродовое воспаление и заражение организма, и 7 марта она умерла.

Узнав из донесения Гурьева о смерти Анны Леопольдовны, императрица потребовала от коменданта: «Скажи принцу, чтоб он только писал, какою болезнью умерла, и не упоминал бы о рождении принца». При этом было приложено довольно любезное письмо самой государыни к Антону Ульриху, в котором она требовала «обстоятельного о том известия, какою болезнью принцесса, супруга ваша скончалась». Можно согласиться с мнением М. А. Корфа: собственноручное письмо принца с описанием смерти его супруги было важно для Елизаветы Петровны как «доказательство, что принцесса умерла не насильственно, а своей смертию».[512] Но при этом Гурьев должен был добиться от принца, чтобы тот, описывая смерть жены, не упоминал, что она умерла после родов. С тех пор в официальных документах то, что Анна умерла после родов, скрывалось, а причиной смерти бывшей правительницы выставлялась «огнивица», горячка, некое общее воспаление организма. Впрочем, как часто бывало в России, о принцах и принцессах можно было всё узнать уже на холмогорском базаре, о чем свидетельствуют многочисленные документы из Тайной канцелярии.

Гурьев действовал по инструкции, которую получил еще задолго до смерти Анны. Тело бывшей правительницы было анатомировано доктором Манзе, который составил рапорт «о болезнях оной принцессы после родов осмотренных им при анатомии».[513] 10 марта подпоручик Лев Писарев повез тело в Санкт-Петербург, прямо в Александро-Невский монастырь, где срочно готовили место для погребения Анны Леопольдовны. По прибытии в столицу тело вновь было осмотрено докторами, что было сделано с той же целью – устранить возможные слухи о насильственной смерти бывшей правительницы. После этого гроб поставили в церкви, монахи начали читать над ним, а генерал-прокурору Трубецкому было предписано известить публику о смерти Анны Леопольдовны от «огневицы» и о том, что все желающие могут «приходить для прощания к телу принцессы Анны».[514] В официальном извещении о смерти Анны Леопольдовны она была названа «Анной, благоверной

принцессою Брауншвейг-Люнебургской». Ни титула правительницы России, ни титула великой княгини за ней не признавалось, равно как и титула императора за ее сыном. В служебных документах чаще всего они упоминались нейтрально: «известные персоны». И вот теперь, после смерти, Анна Леопольдовна для всех стала вновь, как в юности, принцессой.

Хоронили ее не в Петропавловском соборе, а в Александро-Невском монастыре как второстепенного члена семьи Романовых. Панихида и погребение были назначены на восемь часов утра 21 марта 1746 года. В Александро-Невский монастырь съехались все знатнейшие чины государства и их жены – всем хотелось взглянуть на эту женщину, о драматической судьбе которой ходило так много слухов и легенд. Возле гроба Анны стояла императрица Елизавета, а также жена наследника престола Петра Федоровича Екатерина Алексеевна. Императрица плакала – возможно, искренне. Анну Леопольдовну предали земле в Благовещенской церкви. Там уже давно вечным сном спали две другие женщины – вдовствующая царица Прасковья Федоровна и мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна. Так 21 марта 1746 года три женщины, связанные родством и любовью – бабушка, мать и внучка, – соединились навек в одной могиле.

Но история Брауншвейгского семейства на этом не заканчивается, ибо на земле еще оставались жить и страдать дети Анны и ее муж.

* * *

Нам неизвестно, знала ли Анна, умирая в архиерейском доме в Холмогорах, что ее первенец уже целый год живет с ней рядом, в другом, тщательно охраняемом здании. Думаю, что это для нее секретом не было – охранники и слуги были болтливы и наверняка рассказывали ей о сыне. До сих пор непонятен смысл этого распоряжения императрицы – держать раздельно Ивана и его родных. Возможно, Елизавета думала, что таким образом она не позволит родителям воспитать в мальчике, если так можно сказать, «императора в изгнании». По крайней мере, переименование его в Григория, строгие правила изоляции ребенка, завеса тайны вокруг него – всё это говорило о том, что царица хотела, чтобы мальчик никогда не узнал, кто он такой. Но, забегая вперед, скажем, что она опоздала, – четырехлетний ребенок уже знал о своем происхождении и титуле. Мы не знаем, как капитан Миллер вез мальчика и что он отвечал ребенку, отнятому у родителей, у ставших ему близкими и родными

кормилицы и няньки все эти долгие недели, которые они, мальчик и охранник, провели в одном возке, но известно, что Ивана привезли в Холмогоры раньше родителей. Комната-камера Ивана была устроена так, что никто, кроме Миллера и его слуги, пройти к императору не мог. Содержали бывшего императора строго. Когда Миллер запросил Петербург: «Когда жена к нему (Миллеру. – *Е. А.)* приедет, допускать ли <ее> младенца видеть?» – ему в этом отказали. Ивану, по-видимому, так и было суждено за всю оставшуюся жизнь не увидеть ни одной женщины, кроме двух императриц – Елизаветы Петровны и Екатерины П.

Многие факты говорят о том, что разлученный с родителями в четырехлетнем возрасте Иван был нормальным, резвым мальчиком. Из указа Елизаветы охранявшему арестантов в Динамюнде В. Ф. Салтыкову от 11 ноября 1742 года мы узнаем, что двухлетний Иван уже говорил, и высказанное им во время игры с собачкой намерение отсечь голову главному тюремщику семьи, Салтыкову, свидетельствует о многом – прежде всего о несомненно нормальном, даже, может быть, чересчур раннем развитии ребенка. Полковник Чертов, готовивший на Соловках узилище для мальчика, получил инструкцию наблюдать за Иваном, чтобы «в двери не ушел или от резвости в окошко не выскочил». Позже, уже в 1759 году, то есть когда Иван сидел в Шлиссельбурге, офицер Овцын рапортовал, что узник называл себя императором и говорил: «Никого не слушаюсь, разве сама императрица прикажет». Рассказывают также о многочасовой беседе Ивана с Петром III в 1762 году. Когда император спросил экс-императора: «Кто ты таков?», – тот отвечал: «Император Иоанн». «Кто внушил тебе эти мысли?» – продолжал Петр. «Мои родители и солдаты», – отвечал узник, который помнил мать и отца. Он рассказал об офицере Корфе, который был с ним добр и даже разрешал ходить на прогулку. Действительно, мы уже знаем, что Корф был весьма либерален к узникам и всячески им потворствовал.

Всё это означает, что Иван вовсе не был дебилом, идиотом, как его порой изображают. Следовательно, его детство, отрочество, юность, проведенные в холмогорском заточении, были подлинной пыткой, страшным мучением. Вероятно, сидя в темнице, он слышал лишь шумы за стенами своей комнаты, видел только лица своих тюремщиков – начальника охраны и его служителя, которые почему-то называли его Григорием, не отвечали ни на один вопрос, наверняка обращались с ним грубо и бесцеремонно. Сохранилось упоминание о деле по поводу «учиненных человеком его (то есть Миллера. – *Е. А.)* младенцу продерзостях». Речь шла о пьяном слуге Миллера, который

грозился избить тогда уже девятилетнего мальчика и даже приставил к его горлу нож. Вындомский, сменивший уже совсем заскорбевшего Гурьева, был на ножах с подполковником Миллером, охранявшим бывшего императора, и писал на него доносы в Петербург. И одна из повторяемых тем этих доносов – «слабое хранение» младенца-императора Миллером. Солдат охраны докладывал Вындомскому, что, когда он полол на огороде внутри двора капусту, из палаты, в открытое окно из-за спины солдата Семена Зарина, «выглядывая, кричал младенец в то окошко: „Полить-де капусту!“». Позже Вындомский сообщал, что капрал Леонтий Неверов донес ему: когда он рвал в огороде горох, «в окно кричал младенец оному Неверову, называя его: „Не тронь, Неверов, гороху, застрелю!“».[515]

Ясно, что поддерживать полную изоляцию мальчика согласно строгим указам и инструкциям в течение многих лет охрана не могла. Это были простые солдаты, малообразованные офицеры; годами томясь и скучая в Холмогорах, они постепенно забывали строгие указы, не стояли, как предписывал устав, на постах, нарушали дисциплину, пьянствовали. По-видимому, они, вопреки запретам, разговаривали с мальчиком, и от них он многое узнавал о своей жизни. Никто не занимался воспитанием и нравственным совершенствованием Ивана. Общение с солдатами охраны заменяло ему правильное образование, которое в эти годы дети получали у профессионалов, и наверняка это общение не могло восполнить школы и семьи.

Конечно, императрица Елизавета была бы рада узнать, что тело ее юного соперника привезут в Петербург вослед за телом бывшей правительницы. Врач императрицы Лесток авторитетно говорил в феврале 1742 года французскому посланнику Шетарди, что Иван мал не по возрасту и что он «должен неминуемо умереть при первом серьезном нездоровье». Так считали многие. Но природа оказалась гуманнее царицы – она дала младенцу возможность выжить. В 1748 году у восьмилетнего мальчика начались оспа и корь. Комендант, видя всю тяжесть его состояния, запросил Петербург: можно ли допустить к ребенку врача, а если будет умирать, то и священника? Ответ был недвусмысленный: допустить можно, но только монаха и только в последний час для приобщения Святых Тайн. Иначе говоря – не лечить, пусть умирает!

Один из иностранцев передавал рассказ видевшего Ивана Н. И. Панина. Тогда Ивану было больше двадцати лет, он был «очень белокур, даже рыж, роста среднего, очень бел лицом, с орлиным носом, имел большие глаза и заикался. Разум его был поврежден, он говорил, что Иоанн умер, а он же сам – Святой Дух. Он

возбуждал к себе сострадание, одет был худо».

О «повреждении разума» скажем чуть ниже особо, а сейчас отметим, что Иван прожил в Холмогорах до начала 1756 года, когда неожиданно, глухой ночью, его – тогда 15-летнего юношу – увезли в Шлиссельбург, а в Холмогорах солдатам и офицерам приказали усилить надзор за Антоном Ульрихом и его детьми: «Смотреть наикрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки».

Обстоятельства, сопровождавшие поспешный перевод секретного узника в Шлиссельбург, до сих пор остаются таинственными. Есть все основания связать их с событиями, которые произошли незадолго до этого, летом 1755 года, на русско-польской границе. Там был пойман некто Иван Зубарев, тобольский посадский человек, беглый преступник. Он дал такие показания, что его делом стали заниматься первейшие чины империи. Зубарев рассказал, что он, бежав из-под стражи за границу (он проходил по делу о ложном доносе), оказался в Кёнигсберге. Здесь его пытались завербовать в прусскую армию, а затем он попал в руки известного нам Манштейна, который к этому времени уехал из России и стал генерал-адъютантом короля Фридриха П. Манштейн повез Зубарева в Берлин, а потом в Потсдам. По дороге его познакомили с принцем Фердинандом, братом Антона Ульриха, видным полководцем Фридриха П. Этот принц уговорил его пробраться в Холмогоры и известить Антона Ульриха о том, что весной 1756 года к Архангельску придут «под видом купечества» военные корабли и попытаются «скрасть Ивана Антоновича и отца его». Зубарева якобы познакомили и с капитаном – начальником предстоящей экспедиции.

Зубарев мог многое знать о месте заключения и жизни опальной семьи. Хотя имя Ивана Антоновича было категорически запрещено даже упоминать, о его существовании знали, наверное, все, кому не лень. Холмогоры было место оживленное, торговое. Охрана и служители часто бывали там, покупали припасы, сиживали с приятелями и знакомыми в кабаке. Из самих Холмогор в тюрьму тоже приглашали разных людей – от врачей и священников до портомоек и сапожников. Узникам, их свите, множеству солдат и офицеров требовались разные услуги, и люди, там побывавшие, несмотря на строгие предупреждения, конечно, давали волю языку, рассказывая о жизни арестантов. Было немало любопытных, которые правдами и неправдами пытались удостовериться в правоте слухов и хоть на секунду заглянуть внутрь острога. Известно, что во время прогулок принцев и принцесс в огороде подле пруда с внешней стороны ставилась особая охрана, чтобы гонять от щелей в заборе праздную публику. Не приходится сомневаться, что об узниках

Холмогор узнавали иностранцы, во множестве стекавшиеся в Архангельск по торговым делам.

Идея напасть на архиерейский дом в Холмогорах приходила в голову не только Манштейну или Зубареву. В 1746 году гарнизонный прапорщик М. Гончаров донес на сослуживцев, которые якобы задумали похищение и вывоз за море Брауншвейгской фамилии («можно-де с Холмогор гостей свести на корабль и за море, а караул скрасть»[516]). Тогда же намерение выкрасть Ивана Антоновича и его семью высказал в письме в Брауншвейг некий К. Д. Роперс, который даже изложил план похищения с помощью знакомого англичанина, жившего в Архангельске и убежденного, что деньги помогут похитить узников и нейтрализовать охрану архиерейского дома. Известны и другие проекты освобождения Брауншвейгской фамилии.[517]

Так уж получилось, что власти, пытаясь спрятать как можно дальше секретных узников, таскали их по стране, а потом вывезли к одной из оживленных границ России и поселили на столбовой (и единственной) дороге из Москвы в Архангельск с его обширным международным портом. В Архангельск приходили десятки иностранных кораблей, Северная Двина до самых Холмогор была судоходна, архиерейский дом стоял на самом берегу, заборы с годами обветшали, охрана разленилась, погрязла в сварах и пьянстве, томилась от безделья. Словом, подобная операция была вполне осуществима. Думаю, когда в Петербурге осознали этот факт, то схватились за голову.

По замыслу пруссаков Зубарев должен был возбудить к возмущению раскольников, прельщая их именем царя Ивана. Как рассказывал Зубарев, Манштейн говорил ему: «А как-де мы Ивана Антоновича скрадем, то уж тогда чрез… старцев сделаем бунт, чтобы возвести Ивана Антоновича на престол, ибо-де Иван Антонович старую веру любит». Это также был один из распространенных в обществе того времени мифов, которыми обросла жизнь Брауншвейгской семьи в России.

Через два дня этому тобольскому посадскому дал аудиенцию во дворце Сан-Суси сам Фридрих II, якобы наградивший его деньгами и патентом на чин полковника. После этого Манштейн снабдил Зубарева золотом и специальными медалями, которые мог узнать Антон Ульрих, и отправил его в Россию через польскую границу. В Варшаве Зубарев посетил прусского посланника и, заручившись его поддержкой, двинулся через русскую границу, при переходе которой и был схвачен по доносу. Дело в том, что по дороге он остановился в Ветке – пограничном с Россией польском местечке, в котором жили бежавшие из России старообрядцы. Здесь Зубарев и расхвастался о своей секретной

миссии. Любопытно, что на вопрос: «Как же-де вы Ивана Антоновича посадите на царство?» – Зубарев дал ответ в стиле Шетарди и Лестока: «Так-та де посадим, как государыня села – нахабом (нахрапом. – *Е.* А)».[518]

История, рассказанная в Тайной канцелярии Зубаревым, отчаянным авантюристом и проходимцем, загадочна. Наряду с совершенно фантастическими подробностями своего пребывания в Пруссии, он приводит сведения абсолютно достоверные, говорящие о том, что, возможно, сибирский посадский человек побывал-таки в королевском дворце Сан-Суси.

К тому же примечательно, что постоянным героем его рассказов, организатором всей авантюры выступает Манштейн. Это чрезвычайно важно. Как только Елизавета взошла на престол, Манштейн уехал в Пруссию и поступил на королевскую службу. Дело это по тем временам было обычным. Но на этот раз русское правительство настойчиво требовало возвращения Манштейна, а потом суд заочно приговорил его к смертной казни за дезертирство. Между тем бывший адъютант Миниха сделал карьеру у Фридриха, стал его главным советником по русским делам. В 1998 году в брауншвейгском архиве была найдена записка Манштейна 1755 года о допросе некоего русского «сотника», который, по мнению Л. И. Левина, был весьма похож на Зубарева. Во время этой встречи Манштейн пытался споить, точнее задурманить голову русскому авантюристу, угощая его вином, смешанным с водкой, и в разговоре узнать, кто же на самом деле был этот «сотник», и при этом поймать гостя на противоречиях, но тот твердо стоял на своем. Чем кончилось это дело – неизвестно.[519] Есть несомненная перекличка содержания записки Манштейна с допросом Зубарева в Тайной канцелярии. Зубарев показал: «И как он, Зубарев, в тот покой взошел, то оный офицер говорил ему, Зубареву, знаешь ли-де ты этого господина (который, как выше он показал, приехал с ним)? И он, Зубарев, сказал, что этого господина не знает. И оный же офицер говорил: этот-де господин принц дядюшка родной Ивану Антоновичу, который у вас был императором и вы-де присягали, да изменили. Вы-де изменники… И оный же офицер говорил: я-де и сам у вас в службе был при фон-Минихе адъютантом. Я чаю-де слыхал про Манштейна? Я-де Манштейн и служу ныне у его королевского величества генерал-адъютантом. Как-де тебе и про меня не знать? Вить-де ты был в гвардии, вы-то-де и свели Ивана Антоновича и его под арест взяли; а ты-де теперь купцом называешься ложно! Пожалуй-де скажи правду: ты-де конечно был в лейб-компании, а буде не скажешь правду, так тебя здесь будут так мучить, что и в России ты таких мук не видал».[520]

Примечательно, что Зубарев рассказал и о встрече с фельдмаршалом Кейтом, который, как и Манштейн, долго служил в России, а потом тоже перешел на службу к Фридриху. Отбрасывая явные домыслы Зубарева об Иване Антоновиче – «царе старообрядцев», в которых отразились слухи, ходившие в народе о заточенном в темницу императоре, пострадавшем «за старую веру», мы можем предположить, что с помощью Зубарева Фридрих II действительно рассчитывал освободить своих родственников из заточения.

Возможно, что весь этот план был предложен пруссакам самим авантюристом Зубаревым. Один из свидетелей по делу показал, что Зубарев, приехав с товарищами в Кёнигсберг, спросил у прусских солдат, где находится ратуша, а потом сказал: «Прощайте, братцы, запишусь я в жолнеры (солдаты. – *Е. А.)* и буду просить, чтоб меня повели к самому прусскому королю: мне до него, короля, есть нужда!» Думаю, эта-то нужда и привела Зубарева на аудиенцию в Сан-Суси. Возможно, Манштейн, а за ним и Фридрих II решили рискнуть деньгами – вдруг замысел освободить Брауншвейгскую фамилию и насолить Елизавете осуществится?

Следственные материалы о Зубареве резко обрываются, и нет никаких сведений о приговоре и наказании авантюриста. По одной версии Зубарев умер в 1757 году, по другой (это стало известно уже в наше время) после всех описанных событий в Тобольске всплыл некий дворянин Зубарев и зажил своим домком.

Но можно предположить, что вся эта история была хорошо устроенной провокацией русской разведки. Слухи о симпатиях дворянства к Ивану Антоновичу («Иванушке») достигали ушей Елизаветы, и нельзя исключать, что в ее окружении было решено спровоцировать заграничных родственников опального царя на какие-то действия. А это могло, по мысли властей, заставить проявить себя и сторонников Ивана внутри России. В бумагах Тайной канцелярии сохранилось дело некоего Зимнинского. На допросе он признался, что говорил: «Дай-де Бог страдальцам нашим счастья, и для того многие партии его (Ивана. – *Е. А.)* держат… а особливо старое дворянство все головою». Известно также, что в Берлин посылали из России какого-то «надежного человека». Всё это наводит на мысль, что Зубарев действовал по заданию властей и потом в награду получил дворянство, которого прежде тщетно добивался.

Из черновика протокола Тайной канцелярии по делу Зубарева следует, что императрица, несмотря на то, что ей был послан доклад о деле Зубарева, никакой резолюции не положила, «что с

оным Зубаревым чинить». По мнению Тайной канцелярии, всё сообщенное Зубаревым о его похождениях в Пруссии малодостоверно («за вероятное почесть, а паче в том ему весьма поверить сумнительно»), и «необходимо надлежало бы его, Зубарева, яко изменника, наикрепчайшим образом чрез розыски то его показание утвердить и домогаться того, что не слыхал ли он здесь в России о пребывании означенной Брауншвейгской фамилии в Холмогорах от кого или же паче и не послан ли он отсюда от кого-либо в Пруссию, и не делано ль ему было какого здесь наставления». Но так как императрица молчала, то к пыткам приступить было невозможно, и решили обойтись облегченным вариантом: «Расспросить с пристрастием, под битьем плетьми».[521] Результаты этого расспроса неизвестны, но, как мы видим, разнообразные сомнения относительно миссии Зубарева посещали и следователей Тайной канцелярии, которые наверняка не были в курсе тайных целей этой, возможно, провокационной миссии. Молчание Елизаветы тоже непонятно: либо она, по своей давней привычке, отложила дело в долгий ящик или вообще его не читала, либо располагала какой-то информацией, недоступной Тайной канцелярии.

Новые сведения о Зубареве стали нам известны из дела Тайной канцелярии за 1761 год. Оказывается, Зубарев, сидя в Петропавловской крепости под строгой охраной, сумел так распропагандировать охранявших его часовых, что один из солдат согласился подать челобитную от него в руки самого наследника престола великого князя Петра Федоровича, что и сделал, встретив того у театра.[522] После этого началось расследование и строгое наказание солдат охраны.

Как бы то ни было, последний записанный допрос Зубарева состоялся 22 января, а 26 января 1756 года Вындомский получил указ о немедленном и тайном вывозе «арестанта Ивана» – как потом выяснилось – в Шлиссельбург, причем предписывалось «оставших арестантов содержать по прежнему еще и строже с прибавкою караула, чтобы не подать вида о вывозе арестанта, о чем наикрепчае подтвердите команде вашей, кто о том знать будет, что оной арестант вывезен, никому не сказывал». У дверей опустевших покоев Ивана должны были, как и прежде, стоять часовые, а Вындомскому приказали рапортовать, как и раньше, о состоянии арестанта.

Зная по документам нравы холмогорской тюрьмы, трудно представить, чтобы весть о вывозе бывшего императора осталась тайной и не стала на следующий день достоянием холмогорского базара. Уже через две недели в Холмогоры приехала для заготовки провианта для императорского двора поставщица

Авдотья Кирова, которая в разговоре с Вындомским сказала ему то, чего он и сам не знал: «Вывезли принца и они в Шлюссельбурхе». Вындомский испугался – не совершил ли он какой-нибудь ошибки. Поэтому, сообщая о беседе с Кировой, он писал в Тайную канцелярию: «Оный вывоз, по силе высочайшего Ея императорского величества повеления, учинен ночью и, сколько по вернорабской нашей должности, силы и возможности, был весьма скрытен, и куда оный вывоз воспоследовал – мы не знали и от присланных не слыхали». Позже в голове Вындомского, регулярно рапортовавшего еще целых десять лет (!) о состоянии отсутствующего (а потом уже и убитого) арестанта, порой все путалось, и тогда он сообщал нечто несусветное: «Известные персоны и известный же арестант (которого здесь с 756 года нет, но высочайше поведено было о нем в рапортах упоминать так, как будто он здесь) по сие число обстоят благополучно».[523]

То, что перевод главного заключенного России был непосредственно связан с делом Зубарева и серьезными опасениями Елизаветы, видно из последней фразы указа, подписанного императрицей: «А за Антоном Ульрихом и за детьми его смотреть наикрепчае, чтоб не учинили утечки». Одновременно власти пытались вести игру с пруссаками: от имени Зубарева в Берлин было послано письмо о том, что он якобы приехал в Архангельск и ждет прибытия прусского корабля со знакомым шкипером. Местом встречи была назначена биржа. Но пруссаки в ответ промолчали.

* * *

Шлиссельбургская крепость (ранее русский Орешек, потом шведский Нотебург) была завоевана Петром Великим в 1702 году, а после окончания Северной войны в 1721 году постепенно утратила свое оборонное значение и превратилась в тюрьму, где держали самых разных преступников – и безвестных, и знаменитых. Длинен их ряд: бывшая царица Евдокия, жена Петра Великого, семейство Долгоруких, казненных в 1739 году, глава Верховного тайного совета князь Д. М. Голицын, регент Бирон с семейством и многие другие. Крепость, расположенная на острове в том месте, где Нева вытекает из Ладожского озера, представляла собой идеальное место для содержания тайных узников: она занимала весь остров, оставляя под высокими каменными стенами узкую полоску земли, и имела единственные ворота, к которым можно было подъехать только по воде, причем

к ним нужно было долго плыть от левого берега Невы, огибая остров на виду у размещенных на стенах часовых. Трудности с охраной возникали зимой, когда Ладога и Нева замерзали и изоляция острова-крепости прекращалась, но и тогда проникнуть в крепость было непросто.

Внутри, на обширном дворе, стояло несколько зданий, одно из которых, одноэтажное, отдельно стоящее, и было использовано для содержания секретного узника. Усилиями графа А. И. Шувалова, начальника Тайной канцелярии, в крепости была создана внутренняя тюрьма. Штат охранников казармы Ивана Антоновича (25 солдат, а также унтер-офицеры) не подчинялся коменданту крепости, а получал все распоряжения непосредственно от Шувалова – преемника казавшегося бессменным А. И. Ушакова, все-таки умершего в 1747 году. Охране запрещалось покидать крепость и выезжать с острова в город, а также вести переписку, чтобы предотвратить возможные преступные контакты с посторонними. В этом смысле охранники мало отличались от своего арестанта, и с годами у них развивались «меленколия» и стрессы. В многочисленных инструкциях начальнику этой тюрьмы режим изоляции совершенствовался и уточнялся. Перед старшими офицерами, охранявшими тюрьму, стояло две главные задачи: «Принятых арестантов содержать под крепким караулом, чтоб не могли уйтить или кем вывезены быть». Достигалось это по возможности полной изоляцией узников. Примечательно, что арестант был в наличии один, но в инструкции написано так, будто бы их несколько человек. Либо власти собирались перевести в Шлиссельбург и других членов семьи брауншвейгского принца, либо (учитывая небольшие размеры казармы) это делалось из соображений конспирации – вспомним, как десять лет старался Вындомский, сообщая о здоровье и благополучии несуществующего арестанта. Режим изоляции узника был действительно весьма строгий, не в пример холмогорскому. Ивану были запрещены не только прогулки на свежем воздухе, его не выпускали даже в коридор.

В инструкциях особенно детально описываются случаи, когда необходимо было допустить в крепость или саму тюрьму посторонних людей. В инструкции предписывалось «арестанта из казармы не выпускать, когда ж для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтоб его видеть не могли».[524] Охране Ивана Антоновича было запрещено не то что водить компанию с солдатами и офицерами гарнизона, но даже разговаривать с ними. Им также запрещалось говорить посторонним, «как арестант: стар или молод, русский

или иностранный», сразу арестовывать всех, кто будет интересоваться арестантом. Угроза похищения узника, которая после истории Зубарева как дамоклов меч висела над авторами инструкций, заставила опасаться поддельных приказов, не предусмотренных Шуваловым визитов: «В инструкции вашей упоминается, чтоб в крепость, хотя б генерал приехал, не впускать, еще вам присовокупляется – хотя б и фельдмаршал и подобный им, никого не впущать и объявить, что без указа Тайной канцелярии не велено». Отдельно было сказано (в память истории Зубарева), чтоб «особливо чужестранных никогда не пускать, да и в работных, когда пусканы будут, смотреть вам самим, чтоб какой-либо подозрительный человек между работными пройти не мог».[525] Более того, 5 октября 1756 года охранявшему арестанта Григория капитану Шубникову был дан именной указ, не имеющий аналогов в истории тогдашней России: охранники предупреждались, что если они получат специальный указ о вывозе арестанта из крепости, подписанный императрицей, то его должен представить только сам начальник Тайной канцелярии генерал, граф и кавалер Александр Иванович Шувалов, и никто другой.[526]

«Положение Ивана было ужасно, – писал современник. – Небольшие окна его каземата были закрыты, дневной свет не проникал сквозь них, свечи горели непрестанно, с наружной стороны темницы находился караул. Не имея при себе часов, арестант не знал время дня и ночи. Он не умел ни читать, ни писать, одиночество сделало его задумчивым, мысли его не всегда были в порядке». Утверждение о неграмотности арестанта Григория ложно. Из донесений начальника охраны видно, что он прекрасно владел Священным Писанием, в разговоре приводил примеры из священных книг. По инструкции офицерам охраны следовало «писем писать арестанту не давать, чего ради чернил, бумаги и всего того, чем можно способ сыскать писать, отнюдь бы при нем не было».[527] Вряд ли этот пункт инструкции мог относиться к неграмотному человеку. К тому же капитан Преображенского полка Овцын – начальник тайной тюрьмы, сообщал, что пытался пресекать попытки арестанта писать на отломанных от стены кусках известки.

Иван Антонович прожил в Шлиссельбурге в особой казарме под присмотром своих тюремщиков восемь лет. Когда арестант был устроен, все инструкции даны начальством и вызубрены охраной, режим налажен, потянулись мрачные будни. Общаться с арестантом имели право только два офицера: прапорщик Власьев и сержант Лука Чекин. Они фактически жили с арестантом в одном помещении, вместе с ним обедали за одним столом.

Инструкции не запрещали охранникам разговаривать с Григорием, но им нельзя было открывать ему, «в котором месте арестант содержится и далеко ль от Петербурга или от Москвы… чтоб он не знал». Из донесений капитана Овцына, бывшего несколько лет начальником тайной тюрьмы, видно, что Власьев и Чекин были люди невежественные, грубые, даже немилосердные в отношении к узнику. Мало того что Ивана Антоновича не выпускали на прогулки, ему и в тюрьме были созданы тяжелейшие условия жизни, которые вредили его здоровью, как физическому, так и умственному.

Можно не сомневаться, что его существование вызывало постоянную головную боль у трех сменивших друг друга властителей России. Свергнув малыша-императора в 1741 году, Елизавета взяла на свою душу этот грех. Но, умирая, она передала его Петру III, а тот – своей жене-злодейке Екатерине П. И что делать с этим человеком, не знал никто.

Слухи о жизни Ивана Антоновича в темнице, о его мученичестве «за истинную веру» не исчезали в народе и вызывали серьезное беспокойство властей. Да и царственных особ личность бывшего императора жгуче интересовала. Известно, что однажды, в 1756 году, Ивана Антоновича привезли в Петербург, в дом Петра Шувалова (по другой версии – в Зимний дворец). Императрица Елизавета раз или два, переодетая мужчиной, в сопровождении Ивана Шувалова, ходила к Ивану Антоновичу и даже разговаривала с ним. Она увидела его впервые за пятнадцать лет с тех пор, как сразу после переворота несколько минут подержала на руках. В марте 1762 года Петр III, как уже сказано выше, сам ездил в Шлиссельбург и под видом офицера-инспектора разговаривал с узником. Вскоре после своего вступления на престол, в августе 1762 года, виделась с Иваном Антоновичем и императрица Екатерина II, что непосредственно вытекает из ее указа после его гибели в 1764 году.

Этому визиту предшествовала довольно любопытная история. 29 июня 1762 года, на следующий день после свержения Петра III, Екатерина распорядилась вывезти Ивана Антоновича, названного в указе «безымянным колодником», в Кексгольм, а в Шлиссельбурге срочно «очистить самые лучшие покои и прибрать по известной мере по лучшей опрятности». Нетрудно догадаться, что у Екатерины было намерение поместить в Шлиссельбурге нового узника, очередного экс-императора Петра III. Майор Савин в начале июля вывез «безымянного колодника» в Кексгольм на судне, но бурная Ладога, как всегда внезапно, проявила свой нрав – в 30 верстах от Шлиссельбурга судно разбилось, узника, которому завязали голову тряпкой, на руках вынесли на берег, и

всей экспедиции пришлось ждать помощи из Шлиссельбурга. В Кексгольме бывший император прожил месяц. Тут как раз произошло убийство в Ропше другого свергнутого императора, Петра III, надобность везти которого в Шлиссельбург отпала: его путь теперь пролегал в Александро-Невскую лавру – усыпальницу для опальных и второстепенных членов царской семьи.

Нет сомнения, что молодой человек с тонкой белой кожей (его никогда не выводили на свежий воздух и солнце), с длинной рыжей бородой, придававшей ему, по словам очевидца, «дикий и грубый вид», производил неожиданно тяжелое впечатление на своих высоких визитеров. Их, вероятно, поражало разительное противоречие между абстрактным представлением об экс-императоре Всероссийском Иоанне III Антоновиче, которое они имели в своем сознании, и тем человеком, которого они видели в убогой камере одетым в какое-то рубище простолюдина. При этом визитеры замечали, что он был, хотя и бедно одет, но чистоплотен, аккуратен, заботился о чистоте своей постели и белья и требовал от охраны замены обветшавших и худых вещей.

Лишенный всякого воспитания, Иван вырос нервным, легковозбудимым человеком, быстро переходившим на крик и ругань «с великим сердцем», особенно когда ему не верили или оспаривали его мнение. «Он весьма сердитого, горячего и свирепого нрава был и никакого противоречия не сносил», – рассказывали на следствии Власьев и Чекин. К тому же узник страшно заикался, и, как писали охранники, «косноязычество, которое, однако, так чрезвычайно действительно было, что не токмо произношение слов с крайнею трудностию и столь невразумительно производил, что посторонним почти вовсе, а нам, яко безотлучно при нем находившимся, весьма трудно слов его понять можно было, но еще для сего крайно невразумительного слов производства подбородок свой рукою поддерживать и кверху привздымать, потому принужденным находили, что без того и произносимых слов хоть мало понятными произвесть был не в состоянии».

Характерна и его типичная для одиночных арестантов манера быстро бегать по камере и, углубившись в свои мысли, что-то непрерывно бормотать себе под нос. Как писали Власьев и Чекин, «во время расхаживаньев часто без всякой причины вдруг, рассмеиваясь, хохотал и, словом, всякие безумия изъявлял». Они же сообщали далее: «Невзирая на чрезвычайное косноязычество и крайнейшее его трудности произношение, такую страсть к содержанию разговоров имел, что беспрестанно и, не имев ни малейшего повода, сам вопросы себя чиня и ответствуя, говорил такие коловратные слова, что всякому человеку себе вообразить

весьма трудно было».

Сведения о сумасшествии Ивана идут преимущественно от офицеров охраны и их начальников. Вот образчик «диагноза» упомянутого Овцына и его методы «лечения» арестанта: «Арестант, кроме безумств, здоров, только часто беспокойствовал, а особливо с прапорщиком, однако ж всякими угрозами и способами я его от того унял: не давал ему несколько дней чаю пить, также не давал ему чулок крепких, а носил он совсем изорванные, почему ноне стал быть совсем смирен».[528] А вот окончательный «диагноз» убийц Ивана Антоновича: «В таком бессчастном лишении разума, понятия, памяти и настоящего с различиванием чувств состоянии находился он с самого нашего к нему определения даже по день кончины, так что ни одного часа, ниже дня, не помним, чтоб от него хоть малейший признак бесповрежденного разума приметить можно было».[529] Всё это несомненная ложь, которую легко разоблачить, читая донесения начальника охраны секретного узника Овцына своему начальнику А. И. Шувалову.

Охранники были не большими специалистами в психиатрии, чем сановники, распространявшие слухи об узнике. Представление о сумасшествии или слабоумии Ивана Антоновича широко внедрялось среди иностранных дипломатов. Английский посланник писал в 1764 году о секретной беседе с графом Паниным, который не раз виделся с арестантом и только для посланника (и соответственно – для английского правительства) «раскрыл тайну» бывшего императора: «Ему случалось в разные времена видеть принца… он всегда находил его рассудок совершенно расстроенным, а мысли его вполне спутанными и без малейших определенных представлений. Это совпадает с общим мнением о нем, но сильно расходится с отзывом, слышанным мною насчет подобного свидания его с покойным императором Петром III. Государь этот… заметил, что разговор его был не только рассудителен, но даже оживлен». В самом деле, разговор Ивана с Петром III, изложенный выше, да и другие сведения не свидетельствуют в пользу версии об узнике-безумце.

Понятно, что представить Ивана сумасшедшим было выгодно власти. С одной стороны, это оправдывало суровость его содержания – ведь тогда психически больных за людей не признавали, держали в тесных «чуланах» в цепях или в дальних монастырях, где заставляли делать «черную работу». С другой стороны, это в какой-то степени оправдывало его возможное самоубийство или убийство: психически больной себя не контролирует, способен наложить на себя руки и может легко стать игрушкой в руках авантюристов.

После убийства Ивана Антоновича Екатерина II писала в своем манифесте, что она приехала на встречу с арестантом, чтобы увидеть принца и, «узнав его душевные свойства, и жизнь ему по природным его качествам и воспитанию определить спокойную». Но ее якобы постигла полная неудача, ибо «с чувствительностью нашею увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, лишение разума и смысла человеческого». Он «рассудка не имел доброе отличить от худого, так как и не мог чтением книг жизнь свою пробавлять». Поэтому, сочла государыня, никакой помощи несчастному оказать невозможно, и «не оставалося сему несчастнорожденному, а несчастнейше еще взросшему, иной помощи учинить, как оставить его в том же жилище».

Вывод императрицы о безумии Иванушки делался не по заключениям врачей, а по донесениям охраны и на основании собственного впечатления. Известно, что профессиональный врач к Ивану Антоновичу был допущен только один раз, но его заключение о здоровье арестанта осталось неизвестным. Конечно, сомневаясь в компетентности и объективности тюремщиков, Никиты Панина, императрицы Екатерины, мы должны помнить, что 20-летнее заключение не могло способствовать развитию личности несчастного узника. Человек не котенок, который даже в полной изоляции вырастет котом. Для личности Ивана жизнь в одиночке под постоянным надзором и то, что врачи называют «педагогической запущенностью», оказались губительны. Он не был ни идиотом, ни сумасшедшим, каким представляет его официальная версия властей, но его жизненный опыт был деформированным и дефектным из-за тех ограничений, которые на него накладывали тюремщики, из-за той жизни в четырех стенах, которую он вел два с половиной десятилетия.

В доказательство безумия Ивана тюремщики писали о его неадекватной, по их мнению, реакции на действия охраны: «В июне <1759 года> припадки приняли буйный характер: больной кричал на караульных, бранился с ними, покушался драться, кривлял рот, замахивался на офицеров». Между тем известно из других источников, что офицеры охраны наказывали арестанта – лишали чая, теплых вещей, наверно, и бивали втихомолку за строптивость и уж наверняка дразнили, как собаку. Об этом есть сообщение Овцына, писавшего в апреле 1760 года: «Арестант здоров и временем беспокоен, а до того его доводят офицеры (Власьев и Чекин. – *Е. А.),* всегда его дразнят».[530] Для Ивана охранники были мучителями, которых он ненавидел, и его брань была естественной реакцией психически нормального человека. Проявления «безумия», вообще неадекватного поведения у Ивана

Антоновича объяснимы почти исключительно теми скверными отношениями, которые у него сложились с Власьевым и Чекиным. Как уже сказано выше, они находились при нем неотлучно, поочередно и вместе ночевали в камере арестанта, при этом всячески его унижали и высмеивали. Овцын писал 25 сентября 1759 года, что «они его дразнят и, как я из казармы выйду, то они чем-нибудь ему тем, чего он по безумию своему не любит, досаждают», иначе говоря, дразнили его «императором» или «принцем». Для конфликта этих ненавидевших друг друга людей было достаточно какой-то мелочи: «А сего месяца 1-го числа с прапорщиком была ссора: арестант, сидя, кашлянул, а прапорщик ему сказал, для чего кашляет. На что арестант его выбранил, потом взяли один против другого скамейку и стул».[531]

Овцын писал 9 июля 1759 года: «Арестант, видимо, в уме, действительно, помешался. В лице перед прежним стал быть хуже и бледнее, а когда я спрошу, здоров ли, то с великим сердцем ответствует, что здоров, а в поступках так, как прежде… доносил от времени беспокойнее. Из нас каждому, заходя, в глаза дует и фыркает и другие многие проказы делает, а во время обеда на всех взмахивает ложкою и руками, кривляет ртом, глаза косит, так что от страху во весь стол усидеть невозможно, и он, увидя, что я робею, более всякие шалости делает».

Как известно, сильное заикание во время затрудненной речи приводит к особенной мимике, которую можно воспринимать как неприятную гримасу, кривлянье. Помимо этого, в поведении арестанта можно увидеть следы инфантильности, а более всего – оскорбленную гордость и даже спесь. В конфликтах с офицерами охраны он, как правило, заводил речь о своем истинном высоком происхождении, прежнем высочайшем статусе, считал, что люди, которые его окружают, спят в его комнате, делят с ним стол, оскорбляют его, недостойны его мизинца, причем к этой теме возвращался часто: «Много раз старается о себе, кто он сказывать, только я запрещаю ему, выхожу вновь».

Во время одной из ссор арестанта с Чекиным Овцын успокоил его «с превеликою нуждою», а арестант, «крича, говорил мне: „Смеет ли он на меня кричать! Ему за то надлежит голову отсечь! Он и все вы знаете, какой я человек!“». В этом месте вспоминается описанная выше сцена игры двухлетнего малыша с собачкой в Динамюнде. 20 июля 1759 года Овцын писал, что, когда арестанту подали воду для чая, он требовал, «чтоб ему в чашку наливали, а когда в чашку воду наливать не стали, то он закричал: „Пошлите мне скверного своего командира!“ Когда ж я к нему вошел и спросил, кого он спрашивал, то он стал меня бранить всяческими сквернословиями, я закричал, чтоб он не

беспокойствовал, на что он закричал: „Смеешь ли ты на меня кричать? Я здешней империи принц и государь ваш!“». В следующем доношении: «И 22-го числа заставливал меня воду на чай наливать, потом врал о себе, как и прежде». Можно себе представить, откуда происходит эта, по определению Овцына, «шалость»: Иван Антонович помнил то время, когда он был мальчиком, а его родители пили кофе по утрам и за столом им прислуживал лакей.

Получив одно из таких донесений Овцына, Шувалов поручил ему важное задание: войти одному в камеру к арестанту и спросить его, кто он. Овцын рапортовал: «Арестанта кто он, спрашивал, на что прежде сказал, что он человек великий и один подлый офицер то от него отнял и имя переменил (не Миллер ли? – *Е. А.),* потом назвал себя принцем. Я ему сказал, чтоб он о себе такой пустоты не думал и впредь того не врал бы, на что, весьма осердясь на меня, закричал, для чего я смею ему так говорить и запрещать такому великому человеку».[532]

Из еще одного донесения Овцына видно, что арестант даже знал, кто правит в этот момент государством, и представлял себе свое возможное место в иерархии. Когда Овцын пригрозил, «что ежели он пустоты своей врать не отстанет», то его ограничат в пище и одежде… на что он меня спросил: «Кто так велел сказать?» Когда я сказал, что (это) тот, кто всем нам командир, он мне сказал, что то все вранье и никого не слушает, разве сама императрица ему прикажет».[533] То, что арестант знал, кто он такой, подтверждает и описанный в «Истории Ивана III» Бюшингом эпизод посещения Петром III камеры шлиссельбургского узника. Император с сопровождающими лицами, среди которых был и известный читателю барон Н. Корф (он и рассказал это Бюшингу), вошел в камеру, обставленную убогой мебелью, и увидел молодого, бедно, но чисто одетого человека. Бюшинг пишет, что, по мнению его информатора, «он был совершенно невежественен и говорил бессвязно». Но, в противоречие вышесказанному, информатор передает слова, сказанные узником императору, как вполне связные и понятные собеседнику: «После первого вопроса: „Кто он такой?“ – принц отвечал: „Император Иван“, а потом на вопросы, как это ему пришло в голову, что он принц или император, и откуда он про то узнал, отвечал, что знает от своих родителей и от солдат. Продолжали расспрашивать, что он знает про своих родителей. Он уверял, что помнит их, но сильно жаловался на то, что императрица Елизавета постоянно очень худо содержала и их, и его, и рассказывал, что в бытность его еще при родителях последние около двух лет состояли под присмотром и на

попечении одного офицера, единственного, который был с ними добр и любил их. Тут крепко забилось сердце у генерала Корфа, и на вопрос, помнит ли еще принц этого офицера – „Нет, – отвечал он, – я больше его не помню, потому что этому прошло много лет, и я тогда был еще ребенок, но знаю его имя, его звали – Корф“. Генерал прослезился. Принц слышал также про великого князя (Петра Федоровича. – *Е. А.)* и его супругу и когда стал уверять, что надеется снова попасть на престол, то его спросили, что он тогда сделает с великим князем и великою княгинею. Он отвечал, что велит их казнить».[534] Это императору не понравилось. Многое из этого рассказа совпадает с источниками, не известными Бюшингу. Позже, в апреле, барон Унгерн, сопровождавший императора, привез для узника в подарок от императора шлафрок, рубашки, колпаки, туфли и платки – видно, что бедная одежда узника произвела на императора надлежащее впечатление.

Проведенное же вскоре после визита императора в Шлиссельбург срочное расследование Тайной канцелярии установило, что действительно в Холмогорах солдаты охраны говорили арестанту, что он бывший император, сын принца Антона Ульриха и принцессы Анны, что Россией правит его тетушка Елизавета Петровна и у нее есть племянник Петр Федорович, что, наконец, все ему, Ивану, присягали при его вступлении на трон.

Как мы видим, арестант достаточно много знал о своем прошлом, чтобы требовать к себе более почтительного отношения и комфортабельных условий жизни. В сознании узника возникало явное противоречие, которое терзало его: Иван знал о себе многое, но никто официально не говорил ему, кто он такой и за что он сидит в тюрьме. Вместе с тем он видел, что его содержали как важную особу отдельно от других узников, но это отдельное содержание не соответствовало, по его мнению, тому высокому статусу, который был у него от рождения. Воспоминания далекого детства о том, как его семья в довольно приемлемых условиях жила в Динамюнде и Ранненбурге, делали его переживания особенно острыми. Поэтому Иван гневался, возмущался, а его, как простого заключенного, наказывали, лишая еды, одежды, даже били, связывали на несколько часов. (По инструкции 1762 года охране вообще разрешалось сажать арестанта на цепь и бить палками и плетью.) Это вызывало новый приступ гнева и возмущения узника.

Неудивительно, что все беды и обиды, обрушившиеся на голову арестанта, олицетворяли для него двое главных тюремщиков – Чекин и Власьев. Ивана Антоновича раздражали

сам вид его охранников, каждое их движение и слово. Отношения эти порой настолько обострялись, что арестант с полуслова бросался в драку. Овцын пишет: «Я, сидя на галерее, услышал в казарме крик и, вошед, увидел, что арестант держит против прапорщика стул и кричит, что убьет (его) до смерти. Я спрашивал тому причину, он сказывает, будто бы прапорщик глядел на него непорядочно и он ему в том стал запрещать, на что будто б прапорщик кричал, что ему, арестанту, зубы выбьет, и таким образом один против другого стулья взяли».[535]

Иван Антонович был убежден, что ненавистные ему охранники наводят на него порчу, что они «еретики». Он находил порчу в том, что офицеры «будто бы они бранят его по (матерному) и раз по 20-ти и более, не переставая, плюют, в чем он считает колдовство», а также в «шептании» («ходя, шепчут и тем портят»). А когда Овцын пытался его разубедить, что шептанием навредить человеку невозможно, арестант начинал опровергать офицера: «…доказывает Евангелием, Апостолом, Минеею, Прологом, Маргаритом и прочими книгами, рассказывает, в котором месте и в житии которого святого (писано). Когда я говорю ж ему, что напрасно сердится, чем прогневает Бога и много себе хуже дела сделает, на что говорит, ежели б он жил с монахами в монастыре, то б и не сердился. Там еретиков нет, и часто смеется, только весьма скрытно».

В последние годы своей жизни арестант пытался сам найти выход из того замкнутого круга противоречий, в который он был поставлен судьбой и окружающими. Под влиянием чтения Священного Писания и собственных, проникнутых мистикой, размышлений он самостоятельно выработал некую защитную концепцию перерождения, переселения духа, довольно распространенную в среде религиозных фанатиков с древнейших времен и до наших дней. Тем самым он решал для себя мучительную антитезу «Иван – Григорий». Как писали Власьев и Чекин, Иван Антонович говорил им, что «тело и плоть ево есть принца Иоанна, назначенного пред сим императором Российским, который уже издавна от мира отшел, а самым делом он есть небесный дух, а именно святой Григорий, который на себя принял образ и тело Иоанна, почему, презирая нас и всех видимых им человек, неоднократно нас и протчих самомерзейшими тварьми почитал, сказывая, что он часто в небе бывает и о тамошних жителях, строениях, садах и протчем чудные, ни малейшего складу имеющие и такие описания чинил, что самым истиннейшим доказательством помешенного разума почитаться имелись».[536]

В остальном, судя по докладным запискам Овцына, арестант

вел себя как обычный человек, был вполне адекватен. Вот запись беседы Овцына с Иваном по поводу его болезни: «О арестанте доношу, что так же мало ест, как и прежде, а болезни никакой не имеет, только немного нос залегает. Я спрашивал, от того ли болит голова? Он сказывает: „Никакой тягости нет“».

Екатерина II об Иване Антоновиче не забывала. Этому мешала упорная народная молва, отражавшаяся в экстрактах Тайной экспедиции, пришедшей на смену Тайной канцелярии елизаветинских времен. Внезапный захват престола Екатериной II в июне 1762 года, свержение и смерть «от геморроидальных колик» законного наследника Елизаветы Петровны императора Петра III потрясли тогдашнее общество, породили волну дискредитирующих императрицу слухов, что впоследствии и привело к появлению феномена Пугачева. Но еще задолго до Пугачева общество на все лады активно обсуждало проблему экс-императора Ивана Антоновича. Как уже говорилось, скрыть его существование и даже место его заключения властям не удалось. В первые два года правления Екатерины, еще не имевшей того авторитета, которым она пользовалась позже, были раскрыты два заговора в столичной среде, цель которых клонилась к восстановлению на престоле императора Ивана. Наиболее серьезным властям показался заговор братьев Хрущевых и братьев Гурьевых осенью 1762 года. Заговор был на стадии разговоров и вербовки сторонников, в том числе и среди солдат, но он напугал Екатерину. Весной 1763 года, когда пошли слухи о намерении фаворита Екатерины Григория Орлова жениться на императрице, образовался заговор во главе с камер-юнкером Хитрово, который собирался устранить Орлова и его влиятельных братьев, а императрицу выдать замуж за «Иванушку».[537] Этот брак казался многим идеальным – обе ветви Романовых, после десятилетий противостояния, соединились бы в общую семью.

Разумеется, Екатерина так не думала, общий ход ее мыслей был иным. Она хотела перевести экс-императора в монастырь и постричь его там. Глухих же и укромных монастырей на Русском Севере было много. Это позволяло и изменить его непонятный, возбуждающий любопытство статус, и обеспечить его безопасность. Императрица писала своему тогдашнему ближайшему советнику графу Никите Ивановичу Панину: «Главное, чтоб из рук не выпускать, дабы всегда в охранении от зла остался, только постричь ныне и (отправить) в не весьма близкой и не в весьма отдаленный монастырь, особенно где богомолья нет, и содержать под таким присмотром, как и ныне». Речь шла о выборе монастыря в Муромских лесах, в Новгородской епархии или в Коле, то есть на Кольском полуострове.

Охране было дано указание готовить арестанта к мысли о постриге. В инструкции от 3 августа 1762 года (в явном противоречии с утверждением Екатерины и других о безумии узника) было сказано, что с Григорием нужно вести разговоры такие, «чтоб в нем возбуждать склонность к духовному чину, то есть к монашеству… толкуя ему, что житие его Богом уже определено к иночеству и что вся его жизнь так происходила, что ему поспешать надобно себе испрашивать пострижение». Вряд ли с сумасшедшим, «лишенным разума и смысла человеческого», можно вести такие высокие разговоры о пострижении в монахи. И вчерашние мучители Ивана Антоновича принялись его убеждать в пользе монашества, молитвы вообще, причем делали они это так же грубо, как раньше глумились над его верой. Неизвестно, сколько бы тянулась эта несчастнейшая из несчастных жизней, если бы на острове не произошла трагедия.

* * *

Ночью 4 июля 1764 года жители Шлиссельбурга вдруг услышали в крепости ожесточенную стрельбу. Там была совершена неожиданная попытка освободить секретного узника Григория. Предприятием руководил подпоручик Смоленского полка Василий Мирович. Солдаты и офицеры этого полка несли посменно службу в Шлиссельбургской крепости в качестве гарнизонной команды. Осенью 1763 года Мирович, перебравшийся из Лифляндии на новое место службы под Петербург, узнал историю императора-узника. Жизненные неудачи и зависть мучили этого 23-летнего офицера. Кроме того, он был картежником и мотом. В своих графоманских стихах Мирович вопиял: «О, проклятое мотовство, до чего ты меня доводило, / Чрез что еще и поныне природное счастие мое меня талантом не одарило».

Это точно! Он хотел благополучия, но на две его челобитные о возвращении некогда отписанных у его деда – сподвижника Мазепы – имений последовали отказы. Он хотел известности, но его (как он потом рассказывал) даже не пускали во дворец как унтер-офицера и выгнали из придворного театра, когда в него вошла окруженная блестящей свитой Екатерина П. Позже графу Панину на вопрос о причинах столь отчаянного поступка он прямо сказал: «Для того чтобы быть тем, кем ты стал!» Когда он обратился по поводу украинских имений деда за помощью к своему влиятельному земляку, гетману Кириллу Разумовскому, то получил от него не деньги, а совет – сам прокладывай себе

дорогу, подражай другим, старайся схватить фортуну за чуб и станешь таким же паном, как и другие! После этого Мирович якобы и решил освободить Ивана Антоновича, отвезти его в Петербург, поднять мятеж и провозгласить императором.

Мысль эта не была тогда нова. Во время расследования дела Мировича Н. И. Панин писал генералу Веймарну, ведшему дело, что только с весны 1764 года «более 12-ти раз по той же материи разное вранье открывалось», что на тему освобождения и воцарения Ивана бывало немало разговоров в народе. Нашлись и подметные письма. В одном из них утверждалось, что нужно покончить с иностранным правлением, казнить Захара Чернышева, Алексея Разумовского и Григория Орлова, «государыню выслать в свою землю, а надлежит царским престолом утвердить непорочного царя и неповинного Иоанна Антоновича, и вся наша Россия с великим усердием и верою желают присягать». И подпись: «Сие письмо писал мужик с похмелья, одно ухо оленья, а другое тюленья. Сама правда, что написано в сей бумаге».[538] Корыстная цель задуманных Мировичем действий сомнений не вызывает. Сообщника он нашел за карточным столом – поручика Аполлона Ушакова, известного гуляку, которому сразу сказал, ради чего он всё это задумал: «Хочет ли он такое дело сделать, какое и Орловы сделали?» Имелся в виду переворот конца июня 1762 года, во время которого Орловы возглавили заговор и возвели на престол Екатерину П.

Вместе с Ушаковым Мирович разработал план операции: заступив начальником караула в крепости, Мирович вскоре получит из рук прибывшего нарочного офицера (под видом которого прибудет переодетый Ушаков) «указ» об освобождении Ивана, захватит и отвезет бывшего императора на шлюпке в столицу. Там он поднимет заранее составленными от имени Ивана манифестами, присягой и другими указами народ и солдат, займет Петропавловскую крепость, приведет к присяге полки и государственные учреждения. Кроме того, он заготовил «манифест» от имени императора Иоанна о возвращении его на престол. Мирович предполагал сразу привести сбежавшийся народ к присяге новому-старому государю.

Но сообщника Мировича послали в командировку, во время которой он погиб при странных обстоятельствах, переправляясь через реку Шелонь недалеко от Порхова. Тогда, как показывал Мирович, он начал действовать в одиночку.

Почти сразу же после вступления в командование караулом крепости в ночь с 4 на 5 июля 1764 года он поднял солдат в ружье по тревоге, приказал закрыть ворота, арестовал коменданта и

двинул свое войско на казарму, в которой сидел Иван Антонович. На окрик охраны подпоручик вместо пароля ответил: «Иду к государю!» Завязалась перестрелка, Мирович приказал притащить с одного из бастионов пушку, вскрыть пороховой погреб, что и было тотчас исполнено. Это решило дело: охрана секретной казармы, увидев эти приготовления, сложила оружие. Далее, как писал в своем рапорте Власьев, «мы со всею нашею возможностию стояли и оборонялись, и оные неприятели, видя нашу неослабность, взяв пушку и заряда, к нам подступали, и мы, видя оное, что уже их весьма против нас превосходная сила, имеющегося у нас под содержанием арестанта обще с поручиком (Чекиным. – *Е. А.)* умертвили».

Действовали Власьев и Чекин строго по данной им инструкции, которая предусматривала и такой вариант развития событий. Вообще, долгое время пункта об убийстве арестанта при попытке его освобождения в инструкциях охране не было. Этот пункт появился только с января 1762 года, с приходом к власти Петра III и назначением начальником охраны арестанта вместо майора Овцына капитана Преображенского полка князя Чюрмантеева: «Буде ж сверх нашего чаяния, кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать».[539] Потом данный пункт был повторен в упомянутой инструкции за август 1762 года, подписанной Н. И. Паниным.

Иностранные дипломаты сообщали по слухам, что сцена убийства экс-императора была ужасной. Ворвавшимся в казарму Власьеву и Чекину не удалось сразу убить Ивана Антоновича. Они «напали с обнаженными шпагами на несчастного принца, который к этому времени проснулся от шума и вскочил из постели. Он защищался от их ударов и хотя был ранен в руку, но сломал одному из них шпагу; тогда, не имея никакого оружия и почти совершенно нагой, он продолжал сильно сопротивляться, пока, наконец, они его не одолели и не изранили во многих местах. Тут, наконец, он был окончательно умерщвлен одним из офицеров, который проколол его насквозь сзади». Думаю, что охранники исполняли свой долг с особым рвением – узника они ненавидели, считали его существование причиной своей неудачной жизни, непрерывные скандалы и драки делали и их жизнь в секретной казарме настоящей мукой.

Вбежавший в казарму Мирович увидел тело Ивана Антоновича, приказал положить его на кровать и на ней вынести его во двор. Плача, он поцеловал покойному руку и ногу и сдался коменданту. Арестованы были и все другие участники неудачного бунта.

После этого началось расследование, и через два месяца был вынесен смертный приговор Мировичу, а также суровые наказания рядовым участникам штурма секретной казармы в Шлиссельбурге. Приговоренный к отсечению головы преступник был спокоен, когда его вывели на эшафот, построенный на Обжорке – грязной площади у нынешнего Сытного рынка в Петербурге. Собравшиеся на казнь несметные толпы народа были убеждены, что преступника помилуют – ведь уже больше двадцати лет людей в России не казнили. Палач поднял топор, толпа замерла… Обычно в этот момент секретарь на эшафоте останавливал экзекуцию и оглашал указ о помиловании, жалуя, как говорили в XVII веке, «в место смерти живот». Но этого не произошло, секретарь молчал, топор обрушился на шею Мировича, и голова его тотчас была поднята палачом за волосы… (Сообщу в дополнение, что казнь должна была непременно состояться. Из документов политического сыска известно: накануне палачи долго тренировались на бойне – вострили навык на баранах и телятах.) Народ же, как писал Г. Р. Державин – очевидец казни, «ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились». Люди попадали в кронверский крепостной ров. Вечером тело преступника сожгли вместе с эшафотом. Примкнувших к бунту солдат прогнали сквозь строй.

* * *

Во всем деле Мировича есть какая-то странность, недоговоренность. Известие о попытке Мировича обрадовало императрицу, которая была в это время в поездке по Лифляндии. Между ней и Паниным началась оживленная деловая, но тревожно-приподнятая переписка. «Дело, – рапортовал ей Никита Панин, – было произведено отчаянною ухваткою, которое несказано похвальною резолюциею капитана Власьева и поручика Чекина пресечено». Самим офицерам Панин написал ободряющее письмо, обещал, что императрица, «конечно, высочайше признать соизволит сию вашу важную услугу, и потому вы без особливого монаршего награждения не останетесь». В ответ на сообщение Панина о событиях в крепости Екатерина писала: «Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все дивы, происшедшия в Шлиссельбурге: руководство Божие чудное и неиспытанное есть!» Получается, что государыня была довольна результатом случившегося. Ни она, ни Панин не выразили слов сожаления о

судьбе погибшего несчастного человека. Зная по источникам Екатерину как человека гуманного и либерального, даже соглашаясь с тем, что она случайно уехала из Петербурга накануне событий, что она непосредственно не была причастна к драме на острове, все-таки признаем: объективно смерть Ивана была выгодна императрице – в политике действовал старый принцип «нет человека – нет проблемы!». И как раз то, что исчезла серьезнейшая проблема, и вызвало радость государыни. Ведь совсем недавно, в конце июня 1762 года, в Петербурге передавали друг другу шутку фельдмаршала Миниха, сказавшего, что он никогда не жил при трех государях одновременно: один сидит в Шлиссельбурге, другой – в Ропше, а третья – в Зимнем. Теперь, после смерти Петра III «от геморроидальных колик» в Ропше и гибели «Иванушки» в Шлиссельбурге, шутить об этом уже никто бы не стал, да и составлять заговоры с нелепой целью поженить императрицу с бородатым арестантом тоже уже не было нужды. Поэтому, как бы хорошо мы ни относились к великой императрице, подозрение в том, что она каким-то образом причастна к убийству Ивана Антоновича, не исчезает. Нечто подобное мы видим и в истории гибели бывшего императора Петра III. Императрица, получая из Ропши письма от пьяного Алексея Орлова о якобы тяжелом состоянии бывшего государя, который вот-вот умрет, не предприняла ничего, чтобы предотвратить неизбежную трагедию, когда в одну клетку посадили жертву переворота и активнейших его участников.

Обращает на себя внимание серьезное отличие последней инструкции охране, подписанной Паниным в августе 1762 года, от прежних подобных документов. В инструкции начала 1762 года о возможности похищения арестанта сказано обобщенно: «Буде ж сверх нашего чаяния, кто б отважился арестанта у вас отнять…» и далее. В августовской инструкции как будто воспроизводится сценарий попытки Мировича: «4) Ежели, паче чаяния, случится, чтоб кто пришел с командою или один, хотя бы офицер… и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать… Буде же оная сильна будет рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать». Возможно, что и здесь мы имеем дело со случайным совпадением мыслей Панина и действий Мировича. Но совершенно необъяснимо, почему назначенному Верховному уголовному суду не было ничего сказано о существовании инструкции, согласно которой действовали офицеры охраны. Из экстракта дела, представленного генералом Веймарном, вытекало, как отмечает М. Корф, что, «убивая Ивана Антоновича, Власьев и Чекин поступили сами собою по присяжной лишь

должности».[540]

По некоторым данным, из-за этого среди судей разгорелся спор: как могли офицеры охраны поднять руку на царственного узника, пролить царскую кровь? 11 сентября 1764 года английский посланник Бэкингем писал: «В продолжение этого процесса произошло много вещей, очень неприятных императрице, особенно же ревность некоторых судей, желавших непременно добраться: была ли обоим офицерам действительно та крайность умертвить принца, как они рассказывали». Спрашивается: зачем властям нужно было утаивать эту инструкцию от членов суда?

Примечательно и то, что Власьев и Чекин многократно просили об отставке, умоляли освободить их от невыносимого бремени охранной службы. В ответ на просьбу от 29 ноября 1763 года Панин обнадеживал их «скорым разрешением и освобождением от сих ваших долговременных трудов. Я же, с моей стороны, – писал он, – уповаю, что оное ваше разрешение не дале, как до первых летних месяцев продлиться может», при этом каждому прислали по тысяче рублей – немыслимо щедрая награда для офицеров такого ранга.[541] Возможно, что речь шла о вывозе Григория в какой-нибудь северный монастырь, ибо с этого момента миссия Власьева и Чекина заканчивалась бы. Но возможен и другой вариант – во что бы то ни стало удержать проверенных охранников на месте до ожидаемого «часа Х», дабы они, не колеблясь, исполнили пункт 4 инструкции.

Обращает на себя внимание, что расследование по делу Мировича было недолгим, поверхностным и даже по тем временам непрофессиональным. Его поручили почему-то не специалистам Тайной экспедиции, а обыкновенному военному, генерал-поручику Веймарну, командиру дивизии, в которую входил Смоленский пехотный полк. Сделано это было умышленно. Императрица писала Панину об этом назначении: «Он, Веймарн, человек умный *и дальше не пойдет, как ему повелено будет.* Вы ему сообщите те бумаги, которые для его известия надобны, а прочие у себя храните до моего прибытия».[542] Трудно не увидеть в этом сознательного ограничения расследования.

Ко всему прочему, оно оказалось не только поспешным, но необыкновенно гуманным, что для дел подобного рода в те времена кажется довольно странным. Даже разумный и управляемый Веймарн, столкнувшись с Мировичем на допросах, обратил внимание на необыкновенное спокойствие и уверенность преступника, который, по мнению генерала, проявлял даже «некоторую окаменелость, человечество превосходящую». Что

имел в виду генерал, можно заключить из записок Гельбига, который, опираясь на воспоминания очевидцев, сообщал: «Во время следствия Мирович постоянно смеялся над допросами, будучи убежден, что не только не подвергнется наказанию, но еще получит щедрую награду. Чтобы он никого не предал, его палачи с сатанинской рассчитанностью не разубеждали его. Мирович продолжал смеяться и тогда, когда вели его на место казни и читали ему приговор, смеялся даже в ту минуту, когда над его головою уже был занесен топор».[543] Видя такую «окаменелость» подследственного, который должен бы раскаяться, страдать от совершенного преступления, Веймарн предложил подвергнуть Мировича пытке, чтобы «к признанию истины истязанием провести», но Панин отклонил это предложение. Екатерина не только запретила пытать Мировича, но и не позволила допросить многих его знакомых и даже родных дядьев арестанта, отделавшись шуткой: «Брат мой, а ум свой». А ведь обычно на следствии в политической полиции родственники становились первыми подозреваемыми в пособничестве преступнику. История дела Емельяна Пугачева показывает, что императрицу, следившую за расследованием, более подробностей преступлений самозванца интересовали вопросы: кто из тогдашней политической элиты стоит за спиной «анператора», с кем преступник мог быть связан из круга недовольных правлением Екатерины?

В деле Мировича эти вопросы даже не ставились. Вообще, заметно, что следствие и суд на всех этапах жестко направлялись сверху, подчиняясь заранее поставленной цели. Поэтому Веймарн и судьи особенно не углублялись в изучение дела, сразу же приняли версию преступника-одиночки и не старались изучить другие возможные версии. Мирович так держался на допросах, что складывалось впечатление, будто он получил какие-то заверения относительно своей безопасности. Позже в литературе возникла версия, что он шел совсем не освобождать экс-императора, а лишь спровоцировать охрану казармы на убийство узника. Именно тем, что он исполнил данное ему поручение, можно было объяснить его спокойствие и поразившую боевого генерала «окаменелость» или, попросту говоря, черствость.

По сообщению Бюшинга, сенатор Неплюев, облеченный властью на время отсутствия в столице государыни, пытался параллельно Веймарну провести собственное расследование и для этого наметил арестовать около сорока человек, причастных к делу Мировича, но Никита Панин решительно воспрепятствовал этому. На необходимости пытки преступника безуспешно настаивали и некоторые члены суда, конкретно – духовные особы,

назначенные в суд из Синода. На заседании суда 2 сентября, когда утверждалась «сентенция» – по сути дела приговор, член суда барон Черкасов подал свое особое мнение, в котором писал: «Мне невероятно, чтоб Мирович не имел сообщников в своем злом умысле, кроме Аполлона Ушакова, тем наипаче, что он его один оговаривает, знав, еще прежде 4 июля, что Ушаков утонул и тем надежнее на мертвого говорить». Черкасов писал также, что как только ему стало известно, что духовные члены суда настаивают на пытке Мировича, он «тотчас подумал, что они хотят то делать, дабы тем способом, ежели возможно, выведать из него, не имел ли он еще других сообщников, или опасаясь их оскорбить, или надеясь от утаения их спасения себе в бедственном своем состоянии. Я не успел с господином Соймоновым вступить о том в разговор, как князь Вяземский повелительным образом запретил господину Соймонову продолжать зачатую со мною о мнении духовенства речь, а от меня требовалось, чтоб я дал немедленно свое мнение на вышеписанный вопрос». Заметим, что князь А. А. Вяземский, вскоре ставший генерал-прокурором, был одним из ближайших сподвижников Екатерины и пользовался даже большим доверием императрицы, чем Никита Панин. Есть множество свидетельств того, как он в течение тридцати лет рьяно исполнял порой неведомую прочим смертным волю императрицы, которая при вступлении Вяземского на высокий пост генерал-прокурора написала ему: «Надейтесь на Бога и на меня, а я вас не выдам». То, что Вяземский резко оборвал разговор Соймонова и Черкасова о возможной пытке Мировича, не кажется случайным – такова наверняка была установка императрицы. Черкасов в своем особом мнении писал, что, предлагая пытать Мировича, он не стремится «умножить его мучения за его злодейство, но единственно для принуждения его открыть своих сообщников, единомышленников или наустителей, ежели таких имеет».

Мнение Черкасова вызвало не просто споры в собрании, а целую бурю возмущения, причем некоторые члены суда предлагали отдать самого Черкасова под суд, требовали от него извинений, а сенатор Петр Панин – брат Никиты, даже представил записку о том, «какие меры надо против барона Черкасова принять». Он писал, что Мировича нет никакого смысла пытать, так как из дела видно, что у него не было сообщников, кроме Ушакова, и что ни о каких внушителях не может быть и речи, ибо об этом нет ни слова во многих записках преступника.

Реакция судей, ополчившихся против своего коллеги, была явно неадекватна «преступлению» Черкасова. Члены суда вели

себя как вегетарианцы на обеде в тот момент, когда вдруг вместо «морковного зайца» официанты внесли им шкворчащую свиную отбивную. Они так возмущались предложением Черкасова, будто сами не жили в эпоху Тайной канцелярии и Тайной экспедиции, когда пытка считалась верным и часто единственным способом достижения истины. Непривычно гуманна была и аргументация генерала П. И. Панина, человека крутого, жесткого, прославившегося позже, во время подавления пугачевского бунта, свирепым палачеством и всегда считавшего (как и многие другие современники), что пытка как раз и доказывает невиновность подследственного, «очищает» его, подтверждает точность сказанного честным человеком без пытки. Известно, что Петр Иванович во всем слушался своего старшего брата, считая его необыкновенно умным и опытным политиком и придворным – и совершенно справедливо. Но из-за того, что Петр Панин был прямолинейнее и проще брата Никиты, его аргументация в записке приоткрывает нам некоторые истинные намерения Панина и, возможно, самой императрицы. Так в заключение Панин писал, что, «рассуждая штатски и политически, кажется, отнюдь не настоит нужды пыток производить, но истинный долг верности и усердия требуют единственно окончательную над злодеем экзекуцию, которая и отвратит как недоброжелателей России производить какие-либо о смерти реченного принца толкования, так и в последующие времена случай клятвопреступникам представлять, по прежним несчастливым в России примерам, подставных принцев Иоаннов» и т. д.[544] Проще говоря, Панин утверждает, что необходимо не выяснение истины по делу, а нужна лишь примерная казнь преступника, чтобы не дать возможность недругам России превратно толковать историю смерти Ивана Антоновича как подстроенную; одновременно казнь будет служить поучительным примером для возможных в будущем злодеев и самозванцев. В принципе, искусством умело прятать концы в воду Петр Панин не обладал, но из написанного им ясно, что во что бы то ни стало эти концы будут спрятаны. Поэтому Мирович не мог избежать смерти. Между тем из мемуаров княгини Е. Р. Дашковой известно, что после убийства Ивана Антоновича Екатерина II, бывшая в это время в Риге, получила письмо Алексея Орлова, в котором брат фаворита и враг Паниных писал, что ранее Мировича часто видели приходившим по утрам в дом П. И. Панина. Статс-секретарь императрицы Елагин выяснил у Панина, как пишет Дашкова, что «Мирович действительно часто бывал у него, но по своему делу, производившемуся в Сенате».

Наконец, само судебное разбирательство было быстрым и

формальным. Судьи даже не получили тех сведений по делу, которыми располагал Веймарн (а он, как выше сказано, располагал далеко не всеми материалами). У судей был только экстракт, составленным Веймарном. По нему они и должны были утвердить сентенцию, заранее представленную Вяземским. Зато не оставили они и демарш Черкасова. Их возмущение бароном было вызвано не столько его особым пристрастием к пыткам, сколько показанным им демонстративным желанием остаться чистым, в то время как другие смердели. Неслучайно в заключении суда по поводу особого мнения Черкасова сказано, что он в своей записке «прописал яко бы сие опасение, чтоб не имели причины почесть нас машинами, от постороннего вдохновения движущимися или и комедиянтами, чем нанес всему уполномоченному от Ея императорского величества собранию наивящее порицание».[545]

Впрочем, в бескорыстное мужество барона Черкасова верить тоже не стоит. В своей смелой борьбе с коллегами он преследовал не столько свой интерес, сколько интерес братьев Орловых, клевретом которых он являлся. В то время было широко известно, что «партия» фаворита борется за власть и влияние с «партией» Паниных и с их клевретами вроде Теплова. Значит, пытка Мировича, за которую ратовал Черкасов, должна была открыть имена тех «наустителей», по указке или наводке которых он и его возможные сообщники действовали. Расследование должно было вывести на след Паниных, которые как раз всячески сопротивлялись расширению следствия и применению пытки.

Между тем осталось несколько нерасследованных сюжетов, которые могли бы, возможно, вывести на разгадку тайны заговора Мировича. Так, не был подробно исследован рассказанный Мировичем эпизод о визите в Шлиссельбург сенатского регистратора Бессонова, состоявшего в канцелярии Григория Теплова – в то время влиятельного екатерининского деятеля, человека умного и беспринципного, склонного к интриге и – что важно для нас – тесно связанного с Никитой Паниным. Бессонов был знаком с Мировичем, так как через него шло сенатское дело Мировича о возвращении украинского имения. Он явился в крепость в воскресенье, буквально накануне мятежа 4 июля в компании двух офицеров и купца (как стало известно позже, специально им приглашенных в эту поездку). Все они приехали в Шлиссельбург, как утверждал Мирович, «ни для чего иного, как чтоб в церкви Богу помолиться», что вызывает сомнения, – гарнизонная церковь на острове никакой особой святостью не славилась. Один из приехавших офицеров – князь Чефаридзев, расспрашивал Мировича о секретном узнике, причем – по словам

допрошенного Чефаридзева – речь у них шла о возможном освобождении Ивана Антоновича. В это время Бессонов долго беседовал о чем-то с комендантом Бередниковым, устроившим незваным гостям обед. После обеда Бессонов «вызвал Чефаридзева, как бы для испражения, за крепость» и расспрашивал князя о его разговоре с Мировичем, а узнав о теме их беседы, страшно осерчал, требовал, чтобы Чефаридзев об этом более не говорил.[546]

Бессонов при расследовании к допросам почему-то вообще не привлекался, не была изучена и история смерти Аполлона Ушакова под Порховом. Известно, что когда его тело вытащили из реки, то у него оказалась рана на виске, хотя всюду в деле он упоминается как утонувший. При этом все вещи и деньги его остались в целости и сохранности, что говорило о том, что на Ушакова напали не разбойники.

Было много и других темных мест в деле, которые следователи того времени при нормальном ходе вещей тщательно бы изучили, но им явно не дали это сделать. Так, неясно, почему, захватив крепость, Мирович дал солдатам приказ никого с острова не выпускать, но пропустить тех, кто приедет на лодках. Мирович неубедительно объяснял такой приказ тем, что не ожидал прибытия кого-либо конкретно, но рассчитывал, что принудит вновь прибывших действовать с ним заодно. Это противоречит логике совершения террористического захвата объекта: первый закон здесь прост – никого не впускать и никого не выпускать. Впускать можно, в крайнем случае, только своих сообщников. Заметим, что всё действие происходило ночью и ожидать приезда туристов, вроде Бессонова и Чефаридзева, мятежникам было нелепо. Но следователи удовлетворились ответом, который дал им Мирович.

Словом, в деле Мировича так много темных и кем-то умышленно затемненных мест, что невольно возникает подозрение, что акция Мировича и смерть Ивана Антоновича были кем-то срежиссированы. Все нити углубленного следствия в конечном счете могли бы сойтись к фигурам Никиты Панина и его клеврета Григория Теплова. А что же государыня? Она во всё это не вмешивалась. Для Екатерины, как и в ропшинской истории, был важен конечный результат, а как он достигнут – пусть это лежит на совести других. В тогдашнем русском обществе среди недовольных Екатериной, а также за границей прямо обвиняли императрицу в убийстве Ивана Антоновича с помощью сложной интриги, в которой от ее участия не осталось никаких следов. Княгиня Е. Р. Дашкова писала в своих «Записках»: «Вообще думали и писали в Европе, что все это дело

не больше, не меньше, как ужасная интрига Екатерины, которая будто бы подкупила Мировича на это злодеяние и потом пожертвовала им».

Как бы то ни было, история убийства Ивана Антоновича вновь ставит извечную проблему соотношения морали и политики. Две правды – божеская и государственная – сталкиваются тут в неразрешимом, страшном конфликте. Получается так, что смертный грех убийства невинного человека может быть оправдан, если это предусматривает инструкция, «присяжная должность», если грех этот совершается во благо государства. Противоречие неразрешимое. Но, справедливости ради, мы не можем игнорировать и слова екатерининского манифеста, гласившего, что Власьев и Чекин, как верные присяге офицеры, сумели «пресечь пресечением жизни одного, к несчастью рожденного», неизбежные бесчисленные жертвы, которые несомненно воспоследовали бы в случае удачи мятежа Мировича, если таковой им действительно планировался. Страшно себе представить, какие реки крови потекли бы по улицам Петербурга, если бы Мирович привез Ивана Антоновича (как он собирался) в артиллерийскую часть на Выборгскую сторону или в Литейную слободу и захватил бы там пушки. В планах Мировича было «произвесть» в центре огромного, густонаселенного города «пушечную пальбу, хотя б и не в большом числе выстрелов, но, по крайней мере, продолжительную, дабы тем только подать знак к собранию народа и приведению оного в страх», а также поднять на мятеж солдат, мастеровых… Настроения солдат, которых поднял за собой Мирович, не могли не насторожить власти. Возможно, известие о приходе царя Ивана Антоновича могло бы вызвать брожение и в гвардии. Поэтому та радость, которая испытывала Екатерина, получив известие о развязке дела в Шлиссельбурге, была омрачена беспокойством. Как писал об императрице английский посланник лорд Бэкингем, «замечают в ней большой упадок духа, почему и соображают, что она смотрит теперь на несчастное шлиссельбургское событие гораздо серьезнее, чем при получении первого известия».[547] Что же имел в виду английский дипломат? Скорее всего, императрица опасалась, как бы дурной пример Мировича не получил продолжения – уж слишком легко солдаты пошли за преступником. Как выяснилось на следствии, в ответ на призывы подпоручика следовать за ним, стрелять по своим товарищам, освобождать какого-то секретного узника, одним словом, нарушать присягу, караульные отвечали: «Ежели солдатство будет согласно, то и мы согласны». «Солдатство» оказалось «согласно», и кровь в Шлиссельбурге пролилась.

Неслучайно Екатерина писала Н. И. Панину: «Весьма кажется нужно смотреть, в какой дисциплине находится Смоленский полк», в котором служил Мирович. По сообщениям иностранных дипломатов, властям пришлось привести в боевое состояние полевые полки в Петербурге как необходимый противовес неспокойной гвардии. А как бы повело себя «солдатство», если бы вдруг экс-император Иван Антонович вместе с Мировичем прибыл в Петербург, не знает никто. Может быть, авантюра Мировича удалась бы не менее успешно, чем авантюра «Петра III» – Емельяна Пугачева.

Сразу же после трагических событий в Шлиссельбурге власть стала создавать вокруг них дымовую завесу из полуправды, недомолвок и лжи. Никакого сожаления по поводу гибели невинного человека нигде не было выражено. 17 августа был опубликован манифест Екатерины II, который уже упомянут выше. В нем последовательно проводилась мысль, что в Шлиссельбурге сидел человек, который, во-первых, «незаконно во младенчестве определен к Всероссийскому престолу императором и… советом Божиим (вот как со временем стали называть советы Елизавете Петровне Лестока и Шетарди! – *Е. А.)* низложен навеки». Во-вторых, этот человек – безумный, сумасшедший, «лишенный разума и смысла человеческого». Ему, оказывается, даже было невозможно оказать помощь как разумному человеку. Наконец, в-третьих, он был убит верными и честными офицерами охраны, выполнившими свою присяжную должность при попытке некоего злодея захватить безумного арестанта. Теперь этого злодея ждет праведный суд, составленный из высших персон государства.

В том же ключе и, возможно, в продолжение манифеста был подготовлен своеобразный отчет о заключенном за подписью его убийц Чекина и Власьева. Этот отчет был написан так гладко, логично и выразительно, что авторство Власьева и Чекина вызывает большие сомнения. Как минимум у них были грамотные помощники. В отчете проводилась та же мысль: все восемь лет они охраняли сумасшедшего человека, который во всех своих проявлениях был безумен.

Спустя несколько дней после драматических событий в Шлиссельбурге дипломатическим представителям России за границей было направлено циркулярное письмо графа Н. И. Панина о происшедшем. Что же узнали из него посланники и резиденты? Их ставили в известность о том, что «содержался от некоторого времени в той крепости один арестант по имени Безымянного, который в причине своего ареста соединял со штатским резоном резон и совершенного юродства в своем уме

(опять знакомая тема. – *Е. А.),* и потому был поручен особливому хранению двух состарившихся в службе обер-офицеров, при которых под их командою был малый от гарнизона пикет».

Далее кратко рассказывалось о попытке тоже безымянного караульного подпоручика освободить узника, «но, получа такое супротивление своему изменическому предприятию, какого только от верных и заслуженных офицеров ожидать было должно, наконец <он> взят и арестован тою собственною командою». Посланников заверяли, что попытка освобождения арестанта Безымянного – это не следствие «знатного заговора», а безумная авантюра «от отчаяния молодого промотавшегося и оттого в фанатизм впавшего» одиночки. Письмо завершалось предписанием: «Сообщая вам сие, прошу я вас делать из онаго такое употребление, какое разсудите вы за полезное для службы Ея императорского величества и уничтожения всяких ложных разглашений, в коих, конечно, не будет недостатков».

Можно представить себе задумчивость, которая охватила русских дипломатов при чтении этого не просто туманного, но дивного по содержанию правительственного документа. Кто такой «Безымянный», что за «штатский резон» и для чего неизвестному, где-то промотавшемуся подпоручику, впавшему в фанатизм, нужно было освобождать загадочного узника по фамилии Безымянный? Ну хотя бы сказали правду собственным дипломатам – но нет, вот придут местные газеты, и посланники России узнают из них, что подпоручик Мирович в ночь с 4 на 5 июля сего года пытался освободить находившегося в заточении экс-императора Ивана Антоновича и при этом офицеры охраны убили узника, а Мирович и солдаты, пошедшие за ним, были арестованы. После этого дипломатам станет ясно, что нужно смело врать тогдашней мировой общественности, что ничего подобного никогда не было. Да им не привыкать – не в первый и не в последний раз!

Власьев и Чекин, как и обещал им Панин, были щедро вознаграждены. Власьева произвели в премьер-майоры, Чекина в секунд-майоры, и обоих уволили в отставку с премией по семи тысяч рублей. Примечательно, что премию им передал через Веймарна сам Панин. Конечно, с них взяли подписку «все то хранить и содержать в такой тайности и секрете, как доныне нами во все время бытия нашего при вверенной нам комиссии содержано было».[548] Полученных денег отставникам показалось мало, и в 1766 году они вновь обратились к Панину с челобитной о повышении им содержания. В своей просьбе они были удовольствованы, но их заставили подписать новую расписку, в которой они обещали «под лишением в противном случае чести и

живота, что от нынешнего времени более к содержанию нашему ничем утруждать Ея императорское величество по смерть нашу не будем».[549] В общем, мавр сделал свое дело…

После захвата Мировича Панин распорядился о захоронении убитого узника. Он хладнокровно и деловито писал коменданту крепости Бередникову: «Мертвое тело безумного арестанта, по поводу которого произошло возмущение, имеете вы сего же числа в ночь с городским священником в крепости вашей предать земле, в церкви или в каком другом месте, где б не было солнечного зноя и теплоты (по-видимому, это делалось для большего сохранения тела или для предъявления кому-либо, или для перевозки. – *Е. А.)*. Нести же его в самой тишине несколькими из тех солдат, которые были у него на карауле, дабы как оставляемое пред глазами простых и в движение приведенных людей тело, так и с излишними обрядами пред ним оного не могло их вновь встревожить и подвергнуть каким-либо злоключениям».[550] Тело Ивана Антоновича тайно захоронили в неизвестном ныне «особенном месте» в самой крепости – возможно, возле когда-то стоявшей посреди двора церкви. Так он и лежит где-то под нашими ногами, когда мы гуляем по двору Шлиссельбургской крепости, несчастнейший из людей, истинный невинный мученик, который жил и умер, так и не узнав, во имя чего Бог дал ему эту убогую жизнь и страшную смерть в 23 года…

Глава одиннадцатая
Холмогорские узники

Конечно, «проблема Ивана Антоновича» была решена, но не вся: «Известная комиссия в Холмогорах» – так назывались в официальных документах узники архиерейского дома – продолжала «работать». Семья принца Антона Ульриха (он сам, две дочери и два сына) по-прежнему жила там. Дом стоял на берегу Двины, которая чуть-чуть виднелась из одного окна, был обнесен высоким забором, замыкавшим большой двор с прудом, огородом, баней и каретным сараем. В нем три десятилетия стояли без движения кареты и возки, на которых некогда привезли Анну Леопольдовну и ее семейство. На взгляд свежего человека, жили арестанты в тесных, грязных комнатах, заставленных ветхой, убогой мебелью, с дымящими, разваливающимися печами.[551] Когда в 1765 году к ним приехал архангельский губернатор Е. А. Головцын, то арестанты жаловались, что у них совсем развалилась баня и они три года не мылись. Они во всем нуждались – в новой одежде, белье, пряжках для башмаков.[552] Мужчины жили в одной комнате, а женщины – в другой, и «из покоя в покой – одни двери, покои старинные, малые и тесные». Другие помещения в доме и строения во дворе были заполнены солдатами, многочисленной прислугой принца и его детей.

Живя годами, десятилетиями вместе, под одной крышей (караул не менялся двенадцать лет), эти люди ссорились, мирились, влюблялись, доносили друг на друга. Скандалы следовали один за другим: то Антон Ульрих поссорился с Биной (Якобиной Менгден – сестрой Юлии, которой, в отличие от последней, разрешили ехать в Холмогоры), то солдат поймали на воровстве, а офицеров – на амурах с кормилицами. Комендант и его подчиненные безбожно пьянствовали и нещадно обворовывали Антона Ульриха и его близких, а вечно пьяный повар готовил им какое-то несъедобное варево. С годами охранники забывали о дисциплине, ходили в расхристанном виде. Постепенно, вместе с Антоном Ульрихом, они становились дряхлыми стариками, каждый со своими причудами.

Несколько лет тянулись скандальные истории, связанные с эксцентричной фрейлиной Анны Леопольдовны Биной Менгден. Выяснилось, что у нее появился любовник – приезжавший из Холмогор доктор, и в сентябре 1749 года она родила от него ребенка «мужеска пола», за что ее заперли в отдельной комнате,

где она буянила, ругалась и дралась с приходившими к ней офицерами. Принц, как и всегда, был тих и кроток. С годами он растолстел, обрюзг, его стали одолевать болезни. После смерти жены он стал жить со служанками, и считалось, что в Холмогорах было немало его незаконных детей, которые, подрастая, становились прислугой Брауншвейгской семьи. Изредка принц писал императрице Елизавете письма: благодарил за присланные бутылки венгерского или еще за какую-нибудь милостыню-передачу. Особенно он бедствовал без кофе, который был ему необходим ежедневно. В своих письмах императрице Елизавете Петровне, а потом Петру III, Екатерине II он проявлял подчеркнутую, даже подобострастную верноподданность, называл себя «коленопреклоненным ничтожеством», «ничтожной пылью и прахом», «несчастным червем», обращавшимся с «униженными и несчастными строками» просьбы к царственной особе. Ни разу он не просил об освобождении, вероятно, понимая, что это нереально. Осенью 1761 года Антон Ульрих написал письмо императрице Елизавете, просил ее «дозволить моим детям учиться читать и писать для того, чтоб им самим быть в состоянии коленопреклоненно обращаться к Вашему императорскому величеству и вместе с со мной до конца нашей жизни молить Бога за здравие и благополучие Вашего величества и вашего семейства».[553] Императрица в ответ, как всегда, безмолствовала. После вступления на трон Екатерины II Антон Ульрих с той же нижайшей просьбой обратился и к ней. Новая государыня в августе 1762 года благосклонно ответила на письмо принца, выразила ему свое участие, но освободить не обещала, дипломатично написав: «Избавление ваше соединено с некоторыми трудностями, которые вашему благоразумию понятны быть могут». Не обещала она помочь и в обучении принцев и принцесс. Вскоре Екатерина II послала в Холмогоры генерала А. И. Бибикова, которому поручалось составить доклад об обстановке в узилище и дать характеристики его обитателям. Бибиков от имени императрицы предложил принцу покинуть Россию для возвращения его в Германию. Но тот отказался от великодушного предложения государыни.

Датский дипломат писал, что принц, «привыкший к своему заточению, больной и упавший духом, отказался от предложенной ему свободы». Это неточно – принц не хотел свободы для себя одного, он хотел уехать вместе с детьми. Но эти условия не устраивали уже Екатерину. В инструкции Бибикову было сказано, что «мы его намерены теперь освободить и выпустить в его отечество с благопристойностию», а детей его «для тех же государственных резонов, которые он по

благоразумию своему понимать сам может, до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию нашей империи новое положение теперь приняли». Из этого текста видны причины милосердия и одновременно жестокости государыни. Принц Антон Ульрих не представлял собой никакой угрозы для ее власти, в отличие от его детей, особенно принцев. Пока императрица не укрепилась у власти, они формально – в силу завещания императрицы Анны Иоанновны – оставались претендентами на трон, следуя в династическом порядке за своим старшим братом Иваном. Естественно, сами по себе они и не смогли бы воспользоваться своим весьма эфемерным правом, но императрица не могла не считаться с мнением общества, которое не забывало «Иванушку» и его братьев. Чуть позже агентами и доносчиками были записаны суждения самых разных людей, считавших, что существовавший наверху династический «непорядок» можно легко устранить, выдав императрицу замуж или за Ивана Антоновича, или за одного из «Иванушкиных братьев» – все же царская кровь, не чета низкопородному Григорию Орлову, как известно, мечтавшему о законном браке с императрицей. Вообще, всё, что было связано с «холмогорской комиссией», вызывало болезненную реакцию императрицы как старая, незажившая рана. Ситуация казалась ей безвыходной: и держать невинных людей в заточении ей было жалко, и отпустить, учитывая политические нюансы их статуса, невозможно. Императрица без энтузиазма восприняла доклад Бибикова о его поездке в Холмогоры, в котором он с симпатией и сочувствием писал о принцах и принцессах, которые, оказывается, за долгие годы неволи не утратили человеческого облика, были воспитанны, добросердечны и дружны. И хотя императрица так и не дала разрешения на обучение принцев и принцесс (это не входило в планы государыни и, кроме того, означало бы, что в Холмогоры придется посылать учителей), они были грамотны. В 1773 году принцесса Елизавета собственноручно написала императрице хорошим стилем и почерком, хотя и с ошибками, три письма, в которых умоляла государыню дать им «хотя малое освобождение из заключения (так!), в коем кроме отца рожденные содержимся».[554] Поднялась тревога: оказывается, дети принца, несмотря на отсутствие учителей, грамотны. Панин, занимавшийся этим делом, сразу же испугался – как бы они не завели переписку с кем-нибудь другим. У арестантов отобрали письменные принадлежности и провели расследование. Выяснилось, что детей писать и читать обучил отец по старой азбуке, которая осталась им от умершей матери, а также по ее

священным книгам, которые дети и читали.[555] Примечательно, что делами «Холмогорской комиссии», как и делом Мировича, занимались Н. И. Панин и его помощник Г. Н. Теплов. Как во времена Елизаветы, новые власти больше всего опасались, как бы принцев и принцесс не похитили какие-нибудь авантюристы вроде Зубарева, и предупреждали архангельского губернатора о возможном появлении в тех местах иностранного шпиона.

И все же императрица, человек гуманный и умный, не стала уподобляться своей мстительной предшественнице и в 1763 году освободила из ссылки бывшую фрейлину правительницы Юлию Менгден и адъютанта принца Антона Ульриха полковника Августа Адольфа фон Гаймбурга. Как уже сказано выше, после отъезда Брауншвейгской фамилии в Холмогоры они были оставлены под арестом в Ораниенбурге под охраной более чем сотни солдат и офицеров и там забыты почти на двадцать лет. Впрочем, иногда о них вспоминали в Петербурге. В 1747 году к ним подселили арестованного асессора Семенова, у которого нашли не уничтоженный вовремя указ с титулом императора Ивана Антоновича. Эти «страшные» государственные преступники вызывали сочувствие охраны, ее начальники делали им разные послабления, хотя не упускали случая обогатиться за счет отпущенных на них денег. Завистники коменданта, как это принято в России, «стучали» в Петербург, наряжалось следствие, которое тянулось годами, и на какое-то время «слабая команда» подтягивалась, становилась «сильной», но потом, в соответствии с особенностями нашего народа, вновь превращалась в «слабую». Первый комендант капитан Ракусовский, который, «будучи при оной крепости при арестантах на карауле главным командиром, слабо содержал и имел с ними, яко с неподозрительными людьми, дружеское обхождение». Кроме того, арестанты эти были крестной матерью и отцом его новорожденного сына. За эту вину капитана приговорили к смерти, но позже приговор заменили разжалованием и ссылкой в дальний гарнизон. Не удержал «строгой команды» и его преемник капитан Ахматов. Просьба Гаймбурга к императрице Елизавете отправить больную Юлию к родственникам, а его в Лифляндию, естественно, осталась без ответа.

Мы не знаем, как пережила Юлия разлуку с Анной Леопольдовной и когда она узнала о смерти своей подруги – может быть, только после освобождения. Ссыльные нищенствовали, голодали и даже питались яйцами галок, которые устраивали гнезда на крыше дома, в котором они вместе жили в одной комнате. Потолок протекал, зимой над ними висели сосульки, но узники вели достойную жизнь, не

опускались. Согласно легенде, когда Юлию вместе со всеми повезли в ссылку в Ораниенбург, рижский мясник, увидав поезд несчастных ссыльных, бросился домой, вынес из дома Библию и бросил ее в сани, в которых ехала Юлия Менгден. Она читала ее сотни раз и знала почти всю наизусть.[556] В Ораниенбурге Юлия и Гаймбург проводили все время в труде. Юлия распускала свои старые шелковые юбки и делала из них кокошники – мечту сельских модниц окрестных деревень. Привязавшийся к ссыльным солдат-охранник и его жена выменивали эти кокошники на лен и шерсть. Старый полковник чесал и мотал шерсть и лен, Юлия пряла, ткала и вязала, а солдат с женой продавали эти поделки. Жили они дружно, позволяли себе иногда пропустить по рюмочке вина и чашке кофе, и на этот пир приглашали своих благодетелей – солдата и его жену. Когда Гаймбург уже не мог работать, он сидел с ребенком солдата, пока тот с женой ходил по деревням с поделками Юлии. После освобождения Юлии императрица Екатерина II, восхищенная ее несгибаемым мужеством и терпением, встретилась с ней, и та показала государыне вытканную ею в ссылке юбку и даже похвасталась, что таким же образом обшивала и своего товарища по несчастью полковника Гаймбурга. Выпущена из Холмогор была и ее несчастная сестра Бина Менгден, уже совсем утратившая разум.

По-видимому, появление А. И. Бибикова, человека гуманного и доброго, как и необыкновенно любезные письма новой государыни возбудили в Брауншвейгской семье какие-то смутные надежды если не на свободу, то хотя бы на облегчение тюремного режима. Поэтому в сентябре 1763 года принц осмелился просить у императрицы «чуть более свободы»: разрешить детям посещать службу в стоявшей рядом с тюрьмой церкви. Екатерина ответила отказом, как и на его просьбу дать детям «чуть более свежего воздуха» (их большую часть года держали в здании).[557]

Так и не дождался Антон Ульрих ни немного свободы, ни немного свежего воздуха, ни того, чтобы дела императрицы Екатерины приняли благоприятное для него положение. К шестидесяти годам он одряхлел, стал слепнуть и, просидев в заточении 34 года, скончался 4 мая 1776 года. Умирая, он просил дать его детям «хотя бы малое освобождение».[558] Ночью гроб с его телом охранники тайно вынесли во двор и похоронили там возле церкви, без священника, без обряда, как самоубийцу, бродягу или утопленника. Провожали ли его в последний путь дети? Даже этого мы не знаем. Скорее всего, это разрешено не было – им запрещали выходить из дома. Но известно, что они крайне тяжело перенесли смерть отца и жестоко страдали от печали. В следующем, 1777 году семью ждала другая тяжелая

потеря – умерли одна за другой две старушки – кормилицы и няньки принцев Анна Иванова и Анна Ильина. Они давно стали близкими членами семьи, родными людьми.

Принцы и принцессы после смерти отца прожили в заточении еще четыре года. К 1780 году они уже давно были взрослыми: глухой Екатерине шел 39-й год, Елизавете было 37, Петру – 35 и Алексею – 34 года. Все они были слабыми, с явными физическими недостатками, много и подолгу болели. О старшем сыне, Петре, очевидец писал, что «он сложения больного и чахоточного, несколько кривоплеч и кривоног. Меньшой сын Алексей – сложения плотноватого и здорового… имеет припадки». Дочь принца Екатерина «сложения больного и почти чахоточного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно и одержима всегда разными болезненными припадками, нрава очень тихого».

Но, несмотря на жизнь в неволе, все они выросли разумными, добрыми и симпатичными людьми. Все визитеры, приезжавшие к арестантам, вслед за Бибиковым отмечали, что их встречали доброжелательно, что семья принца на редкость дружная. Как писал Головцын, «при первом своем приезде из разговоров я приметить мог, что отец детей своих любит, а дети к нему почтительны и несогласия между ними никакого не видно». Как и Бибиков, Головцын отмечал особую смышленость принцессы Елизаветы, которая, заплакав, сказала, что «единственная их вина – появление на свет» и что она надеется, что, может быть, императрица их освободит и возьмет ко двору.[559]

Побывавший у них уже после смерти Антона Ульриха генерал-губернатор Вологодского наместничества А. П. Мельгунов писал о принцессе Екатерине Антоновне, что, несмотря на ее глухоту, «из обхождения ее видно, что она робка, уклонна, вежлива и стыдлива, нрава тихого и веселого; увидя других в разговорах смеющихся, хотя и не знает причины, но делает им компанию…». С принцессой Елизаветой Мельгунов разговаривал свободно – она была умна и обстоятельна. Когда принцесса заговорила с Мельгуновым о том, что семья посылала раньше просьбы императрице, «я, – писал Мельгунов, – вознамерясь испытать разум ее и расположение мыслей, почел сей случай удобным к тому и для того спросил ее, в чем бы то их прошение состояло? Она мне отвечала, что первая их просьба, когда еще отец был здоров, а они очень молоды, состояла в том, чтоб дана им была вольность, но когда сего не получили и отец их ослеп, а они из молодых своих лет вышли, то сие их желание переменилось на другое, то есть просили уж наконец, чтоб позволено им было проезжаться, но на то ответа не получили». Сказанное принцессой и записанное Мельгуновым точно отражает

ситуацию 1760—1770-х годов, когда Екатерина повела себя, в общем, так же как и Елизавета Петровна: на все просьбы – молчание. Все просьбы о свободе или хотя бы об облегчении режима отвергались ею. Екатерина считала, что всё это «хлопот наделать может». А зачем они были ей нужны? Эти люди как бы перестали для нее существовать. Государыня никогда им не писала и даже не посочувствовала, когда они потеряли своего отца. Как и прежде, их строго охраняли и в доме, и во время прогулок на огороде. Но их стали лучше кормить, меньше обворовывать и довольно часто из Петербурга привозили новые красивые вещи. Елизавета говорила Мельгунову, что с началом царствования Екатерины они будто воскресли – «до того времени нуждались во всем, даже и башмаков не имели».

Видно, мечта о свободе не оставляла принцессу Елизавету, и она вновь с горечью говорила Мельгунову об их несбывшемся желании «жить в большом свете», научиться светскому обращению. «Но в теперешнем положении, – продолжала Елизавета Антоновна, – не остается нам ничего больше желать, как только того, чтобы жить здесь в уединении, в Холмогорах. Мы всем довольны, мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и застарели, так для нас большой свет не только не нужен, но и тягостен, для того, что мы не знаем, как с людьми обходиться, а научиться уже поздно».

«Касательно же до братьев, – продолжал Мельгунов свой отчет императрице, – то оба они, по примечанию моему, не имеют, кажется, ни малейшей в себе природной остроты, а больше видна их робость, простота, застенчивость, молчаливость и приемы, одним малым ребятам приличные. Однако ж меньшой из них, Алексей, кажется, что посвязнее, посмелее и осторожнее большего своего брата Петра. Но что лежит до большего, то из поступков его видно, что обитает в нем сущая простота и нраву слишком веселого потому, что смеется и хохочет тогда, когда совсем нет ничего смешного… Живут же между собою дружелюбно, и притом… незлобивы и человеколюбивы, и братья повинуются и слушают во всем Елисаветы. Упражнение их состоит в том, что летом работают в саду, ходят за курами и утками и кормят их, а зимою бегаются взапуски на деревянных лошадях по пруду, в саду их имеющемуся, читают церковные книги и играют в карты и шашки, девицы же, сверх того, занимаются иногда шитьем белья».[560]

У Елизаветы было несколько просьб, от которых у Алексея Петровича Мельгунова, человека тонкого, гуманного и сердечного, вероятно, всё перевернулось в душе: «Просим исходатайствовать нам у Ея императорского величества ту одну

милость, чтоб 1) позволено нам было выезжать из дому на луга для прогулки, мы-де слыхали, что есть там цветы, каких в нашем саду нет»; второе – чтобы пускали к ним дружить жен офицеров охраны – «а то-де нам одним бывает скучно!». Третья просьба: «По милости-де Ея императорского величества присылают к нам из Петербурга корнеты, чепчики и токи, но мы их не употребляем для того, что ни мы, ни девки наши не знают, как их надевать и носить. Так сделайте милость… пришлите такого человека, который бы мог нас в них наряжать». Еще принцесса попросила, чтобы баню перенесли подальше от дома и повысили жалованье их служителям и разрешили им выходить из дому. В конце этого разговора с Мельгуновым Елизавета сказала, что если выполнят эти просьбы, «то мы весьма будем довольны и ни о чем более утруждать не будем и ничего не желаем и рады остаться в таком положении навек».

Мельгунов не сказал принцам и принцессам, что его приезд к ним – не просто инспекционная поездка. Дело в том, что Екатерина все-таки решилась выслать Брауншвейгскую фамилию за границу – сделать то, чего не сделала Елизавета Петровна почти за сорок лет до этого. Императрица завязала переписку с датской королевой Юлией Маргаритой, сестрой Антона Ульриха и теткой холмогорских пленников, и предложила поселить их в Норвегии, тогдашней провинции Дании. Королева ответила, что может разместить их даже в самой Дании. Мельгунов был направлен в Холмогоры, чтобы составить доклад, на основе которого императрица могла бы вынести решение. Прочитав доклад Мельгунова, Екатерина II дала указ готовить детей Анны Леопольдовны и Антона Ульриха к отъезду. Начались сборы. Неожиданно в скромных палатах архиерейского дома засверкали золото, серебро, бриллианты – это везли и везли подарки императрицы: гигантский серебряный сервиз, бриллиантовые перстни мужчинам и серьги женщинам, невиданные чудесные пудры, помады, туфли, платья.

Семь немецких и пятьдесят русских портных в Ярославле поспешно готовили платье для четверых узников. Чего стоят одни «шубы золотого глазета на собольем меху» для принцесс Екатерины Антоновны и Елизаветы Антоновны! И хотя императрица была чистокровной немкой, поступила она по-российски – знай наших! Пусть датские родственники видят, как содержат у нас арестантов царской крови.

26 июня 1780 года Мельгунов объявил Брауншвейгской фамилии указ императрицы об отправке их в Данию, к тетушке. Они были потрясены. «Я не могу, – писал Екатерине Мельгунов, – здесь представить, коликим страхом, смешанным купно с

удивлением и радостию, поражены они были от сих слов. Ни один из них не мог выговорить ни слова, но потоки слез, из глаз их лиющиеся, частое коленопреклонение и радость, на лицах их разливавшаяся, обнаруживала ясно чистосердечную их благодарность». Они благодарили за вольность, но только просили поселить их в маленьком городке, подальше от людей. Любопытно, что все они говорили на холмогорском, «северном наречии», что поначалу столичным визитерам, знавшим, что они едут к людям, в которых течет не только кровь Романовых, но и кровь древних мекленбургских и брауншвейгских герцогов, казалось странным, непривычным.

Ночью 27 июня принцев и принцесс вывели из дома. Впервые в жизни они вышли за пределы тюрьмы, сели на яхту и поплыли вниз по широкой, красивой Двине, кусочек которой они всю свою жизнь видели из окна. Когда в сумраке белой архангельской ночи появились угрюмые укрепления Новодвинской крепости, братья и сестры стали рыдать и прощаться – они подумали, что их обманули и что на самом деле их ждут одиночки крепостных казематов. Но их успокоили, показав на стоявший на рейде фрегат «Полярная звезда», готовившийся к отплытию.

До самого конца Антоновичей строго охраняли, и специально назначенный для руководства операцией полковник Циглер получил строгий указ не давать арестантам писать и отправлять письма, никого к ним не допускать. «Но если бы кто, – отмечалось в инструкции, – сверх ожидания, отважился войти на фрегат силою и тем вознамерился бы отнять из рук Циглера принцев и принцесс, в таковом случае велено ему отражать силу силою и обороняться до последней капли крови». К счастью, пункта об убийстве пленников в инструкции не было – видно, к 1780 году дела Екатерины приняли «надлежащее положение».

Ночью 1 июля капитан фрегата М. Арсеньев отдал приказ поднять якоря. Дети Анны Леопольдовны навсегда покидали свою родину. Они плакали, целуя руки провожавшего их Мельгунова. Плавание выдалось на редкость тяжелым. Долгих девять недель непрерывные штормы, туманы, встречные ветры мешали «Полярной звезде» дойти до берегов Норвегии. Мы не знаем, о чем думали и говорили ее пассажиры. Наверно, сидели, тесно прижавшись друг к другу, молились по-русски русскому Богу, мечтая лишь об одном – умереть вместе.

Но судьба благоволила к ним. 30 августа 1780 года показался Берген. Здесь Антоновичей пересадили на датский корабль. Они по-прежнему не были свободны, и их насильно разлучили со слугами – побочными братьями и сестрами, которых, как положено по тупым бюрократическим законам (ведь на слуг нет

бумаги!), оставили на российской территории – на палубе «Полярной звезды».

Вырванные из привычной им обстановки, окруженные незнакомыми людьми, говорящими на чужом языке, принцы и принцессы были несчастны и лепились друг к другу. Тетка-королева поселила их в маленьком городке Горсенсе в Ютландии; она писала Екатерине: «Постараюсь озолотить им цепи», чтобы ввести их в образ жизни датского двора. Но всё это были только слова, королева ни разу не пожелала повидаться с племянниками. А они, как старые птицы, выпущенные на свободу, были к ней не приспособлены и стали один за другим умирать. Первой в октябре 1782 года умерла их предводительница – принцесса Елизавета. В 1787 году умер принц Алексей, в 1798-м – принц Петр. Дольше всех, целых 66 лет, прожила старшая, принцесса Екатерина, та самая, которую уронили в суете ночного переворота 25 ноября 1741 года.

В августе 1803 года император Александр I получил письмо как будто из другой, давно ушедшей эпохи. Принцесса Екатерина Антоновна просила царя, чтобы ее забрали домой, в Россию, в монастырь, жаловалась, что, пользуясь ее болезнями и неведением, датские придворные и слуги грабят ее и «все употребляй денга для своей пользы, и что они были прежде совсем бедны и ничего не имели, а теперича они оттого зделались богаты, потому что всегда лукавы были… Я всякий день плачу и не знаю, за что меня сюда Бог послал и почему я так долго живу на свете, и я всякий день поминаю Холмогор, потому что мне там был рай, а тут – ад». Государь молчал. И, не дождавшись ответа, последняя дочь несчастной брауншвейгской четы умерла 9 апреля 1807 года.

Заключение

Император молчал, потому что Россия, искалечив судьбы и жизни этих несчастных людей, виновных только в том, что они появились на свет, сразу же после высылки отказалась от них. Когда в декабре 1780 года русский посланник в Копенгагене барон Сакен передал императрице Екатерине II вопрос датского правительства: будут ли в России публиковать сообщение о высылке Брауншвейгской фамилии за границу, то государыня отвечала: «Мы желаем, чтоб вы, при случае повторения такового вопроса, отзывались от себя собственно, что все сии принцы *почитаются от наших верноподданных чужды(ми) России,* что родились, опричь старшей, в такое время, когда родители их были удалены и о месте пребывания их никто не ведал тридцать девять лет, следственно и не думаете вы, чтоб о людях неизвестных и *здешней империи совершенно посторонних* могло у нас публиковано быть, да и во всяком случае старайтесь показать, что *нас и государство наше ни мало интересовать не могут особы принцев и принцесс Брауншвейгских,* выгодами жизни своей настоящей обязанных единственно нашему человеколюбию».[561]

Ни вины, ни жалости, ни раскаяния за содеянное с невинными людьми нет в этих холодных словах великой императрицы. А наверное, должно было быть – государственные деятели ответственны не только за свои деяния, но и за дела и грехи своих предшественников, за историю своей страны. Вспоминается царь Алексей Михайлович, который в 1652 году послал в Соловецкий монастырь Никона, чтобы доставить в Москву прах митрополита Филиппа Колычева, задушенного в тверском Отроче монастыре по приказу Ивана Грозного Малютой Скуратовым за слова правды и упрека, брошенные царю-убийце при всем народе. Алексей Михайлович передал Никону специальное покаянное письмо, которое тот зачитал прямо перед гробницей мученика. В своем письме русский царь слезно просил Филиппа простить «согрешение прадеда нашего царя и великого князя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно завистью и неудержанием ярости».

Екатерина, как человек нового века Просвещения, безверия и прагматизма, думала иначе, чем царь Алексей Михайлович, и не была в этом исключением в длинном ряду правителей России, которым никогда не стыдно и никого не жалко. Императрица приказала российскому посланнику всячески избегать встреч с принцами и принцессами, а российским путешественникам и морякам, на всякий случай, заказала, «опасаясь гнева нашего»,

заезжать в Горсенс. Но все-таки, тоже на всякий случай, посланник должен был регулярно доносить о происходящем вокруг обломков Брауншвейгской фамилии – а вдруг враги России, которые, как известно, никогда не дремлют, используют какого-нибудь из этих немощных и больных стариков для своих гнусных целей подрыва могущества и безопасности Российской империи.

25 Дело… С. 45. Отвлекая на минуту внимание читателя, отмечу, что ответ Бирона следователям на это обвинение должен был бы вызвать у нас слезу умиления, равно как и похвалу уму и изворотливости бывшего регента. Он сказал, что когда государыня «в слезы приведена была, и то не от его противных поступков, но сожалея по тогдашним тяжким военным обращениям о состоянии и нужде подданных своих, от которой печали он Ея императорское величество не без великого труда иногда унимал» (Материалы… С. 174). Действительно, кто теперь наверняка может сказать, от чего порой могла всплакнуть покойная государыня – от хамства своего любовника или от сочувствия к бедному своему народу, несшему тяготы военного времени! Но все-таки никого из русских государственных деятелей, кроме Бирона (да, пожалуй, может быть, еще только Ивана Грозного), нельзя было упрекнуть в таких неслыханных для политика поступках: «Других коронованных глав и высоких Всероссийской империи союзников, даже до самого цесаря Римского и их министерство часто в присутствии многих непристойными словами поносил и бранивал, и, яко здесь пребывающие чужестранные министры не оставили ко дворам своим доносить, и то от того интересам здешним не малые повреждения и затруднения приключены» (Дело… С. 46). И здесь Бирон оправдывался, причем умело: да, хамил, но все ради блага России. Так, с австрийским посланником поругался исключительно «для российской славы», и шведскому посланнику «равным же образом учинено» (Материалы… С. 176).

Приложения

1
Манифест, сочиненный графом Остерманом о назначении императрицею Анною принца Иоанна наследником русского престола

Божиею милостию мы, Анна, императрица и самодержица всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем нашим верным подданным.

Какое Мы истинное матернее попечение имели от самого вступления нашего на наследный самодержавный Всероссийский императорский престол об империи нашей и обо всех верных наших подданных, и какое наше неусыпное непрестанное радение и усердное старание было. В начале об утверждении и вящем распространении православной нашей веры греческого исповедания, об установлении истинного правосудия на охранение обидимых о поправлении, и о порядочном основательном учреждении государственных сил на защищение от всякого нападения, об учреждении училищ, на воспитание молодых людей в страхе Божии, и для обучения оных во всяких государству полезных науках, об умножении фабрик и мануфактур, и купечества к государственной пользе, и об учреждении многих иных государству и подданным нашим полезных порядков, и генерально обо всем том, что к прямому благополучию верных наших подданных, и к приведению любезного нашего Отечества с часу на часу в вящее цветущее состояние служить могло, о том мы здесь не распространяем, понеже всем нашим верным подданным о том известно, и столь многие от нас учиненные новые уставы, регламенты и учреждении и публикованные манифесты явно засвидетельствуют. Мы же должны всемогущему Богу, от которого всякое благо происходит, от искреннего Нашего сердца благодарение воздать, что Он по щедротам своим все наши дела благословил, в бывших трудных войнах, которые для обороны и защищения верных наших подданных вести принуждены были, нашим заступником и защитою был, и все наши усердные труды и старание такими счастливыми происхождениями милостиво венчал, что безопасность империи нашей с великим оной умножением и приращением славы и почтения у всего света совершенно утверждена, и все наши верные подданные плодами оных в покое пользуются и пользоваться могут.

При таких его божеских благословениях мы себя должны признаваем матернее наше попечение продолжать; и паче всего труды распространять, дабы империя наша и все верные подданные в таком благополучном состоянии на все пребудущие времена, и в руце Божией состоящиеся случаи, постоянно и неотменно содержаны были. И в таком Богу угодном намерении рассудили мы за потребно заблаговременно о наследстве сей нашей Всероссийской империи по дарованной нам от Бога самодержавной власти по довольном и зрелом рассуждении собственного совершенного нашего соизволения, с призыванием Его Божеской милости и благословения нижеследующее законное определение учинить, а именно: назначиваем и определяем после нас в законные наследники нашего Всероссийского императорского престола и империи, нашего любезнейшего внука благоверного принца Иоанна, рожденного от родной нашей племянницы ее высочества благоверной государыни принцессы Анны в супружестве с светлейшим принцем Антоном Улрихом, герцогом Брауншвейг-Люнебургским, которому нашему любезному внуку мы титул великого князя всея России всемилостивейшее от сего времени пожаловали. А ежели Божеским соизволением оный любезный наш внук благоверный великий князь Иоанн прежде возраста своего и не оставя по себе законно рожденных наследников преставится, то в таком случае определяем и назначиваем в наследники первого по нем принца брата его от вышеозначенной нашей любезнейшей племянницы, ее высочества благоверной государыни принцессы Анны, и от светлейшего принца Антона Улриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского рождаемого, а в случае и его преставления других законных из того же супружества рождаемых принцев всегда первого таким порядком, как выше сего установлено. И понеже о учиненном в 1722 году февраля 5 дня и от всех чинов и верных подданных Всероссийского государства торжественною присягою утвержденному о наследстве уставу всегда в высокой воле и соизволении правительствующих государей Всероссийского самодержавного престола состоит: кого похотят по себе учинить наследником, в чем и все чины верные наши подданные в 1731-м году нам торжественно же присягали.

Того ради мы о сем нашем всемилостивейшем соизволении и определении всенародно объявляем с всемилостивейшим именным повелением, дабы все наши верные подданные как духовного, так и мирского военного и гражданского чина и всякого звания, в должном повиновении и послушании сего нашего устава и определения, как верным подданным надлежит, торжественную присягу учинили по приложенной при сем форме,

прося при том всемогущего Бога о продолжении нашего века и дражайшего здравия, и о щедротном его благословении сего нашего едино к пользе государства и верных подданных наших касающегося матернего верного намерения. И для того мы сие наше о наследстве учиненное определение собственноручно подписали, и указали оное и формуляр присяги напечатав всенародно публиковать, и во все наше государство для исполнения по оному разослать.

Подлинный за подписанием Ея императорского величества собственной руки, октября 5 дня 1740 года.

Печатан при Сенате октября 6 дня 1740 года.

(Печатается по: *Пекарский П. П.* Маркиз де ла Шетарди в России 1740–1742 гг. СПб., 1862. С. 619–622)

2
Клятвенное обещание

Хотя я уже всепресветлейшей, державнейшей великой государыне Анне Иоанновне, императрице и самодержице Всероссийской, яко моей истинной и самодержавной государыне, в верном подданстве в 1730 и 1731 годех присяги чинил, однако ж в подтверждение всенижайшей и всеподданнейшей моей верности чрез сие аз, нижеименованный, обещаюсь и кленуся Всемогущим Богом пред святым его Евангелием в том, что хощу и должен с настоящими и будущими наследниками моими не токмо Ея величеству, но и по ней Ея величества высоким наследником любезнейшему Ея императорского величества внуку, благоверному великому князю Иоанну, рожденному от родной Ея величества племянницы, Ея высочества государыни принцессы Анны в супружестве со светлейшим принцом Антоном-Улрихом, герцогом Брауншвейг-Люнебургским, а ежели Божеским соизволением оный, любезный Ея величества внук, благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего и не оставя по себе законнорожденных наследников, преставится, то в таком случае определенным и назначенным от Ея величества в наследники первому по нем принцу, брату ево от вышеозначенной Ея величества любезной племянницы, Ея высочества благоверной государыни принцессы Анны и от светлейшаго принца Антона-Улриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского раждаемого, а в случае и его преставления, другим законным из того же супружества раждаемым принцом, всегда по них первому таким порядком, как выше сего означено, которые по соизволению и самодержавной ее от Бога данной императорской власти определены и к восприятию самодержавного Всероссийского престола удостоены, верным, добрым и послушным рабом и подданным быть и все к высокому Ея величеству и оных определенных от нея наследников самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконные и впредь узаконяемые по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять, и в том во всем живота своего в потребном случае не щадить и при том по крайней мере старатись споспешествовать во всем неотменно, что к Ея величества и оного определенного от Ея величества наследника, благовернаго великаго князя Иоанна или по нем других наследников-принцов, братей его, как выше сего означено, верной службе и пользе государственной во всяких случаях касатися

может, так как я пред Богом и судом его Страшным в том ответ дать могу, как суще мне Еосподь Бог душевно и телесно да поможет. В заключении же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.

(Печатается по: Брауншвейгские князья в России в первой половине XVIII века. Gottingen, 1993. С. 136–137)

3
Манифест и копия с завещания императрицы Анны о восшествии на престол Иоанна III и регентстве Бирона

Манифест или объявление

Божиею милостию мы, Иоанн Третий, император и самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем во всенародное известие.

Понеже по воле всемогущего Бога всепресветлейшая державнейшая великая государыня Анна Иоанновна, императрица и самодержица Всероссийская, наша любезнейшая государыня бабка от сего временного в вечное блаженство сего месяца 17 числа в 9 часу пополудни отъиде, а о наследствии престола Всероссийского, по выданному от Ее императорского величества манифесту от 5 сего октября, нам яко наследному государю и по нас рождаемым впредь родным нашим братьям принцам всегда первому из них принцу, все чины Российского государства в верной своей службе присягами утвердили, а 6 числа сего ж месяца оная наша любезная государыня бабка Ее императорское величество блаженной вечнодостойной памяти Анна Иоанновна самодержица Всероссийская о управлении всяких государственных дел до семнадцати лет возраста нашего по регламентам и уставам и прочим определениям и учреждениям от прадеда нашего блаженной и вечнодостойной памяти государя императора Петра Великого, и по нем Ее императорского величества блаженной же и вечнодостойной памяти и благополучного государствования учиненным без всяких отмен особый устав определение и всемилостивейший указ всем нашим верным подданным учинить, и оный всемилостивейшее собственною своею рукою укрепить и подписать соизволила, с которого для всенародного известия при сем сообщается печатная копия. И понеже по оному учиненному от вышеупомянутой любезнейшей государыни бабки нашей и в народе публикованному манифесту 5 сего месяца и подтвержденным от всех чинов присягам императорский Всероссийский престол восприяли мы, наследный великий государь Иоанн Третий, император и самодержец Всероссийский, того ради во всенародное известие сим манифестом объявить повелели: дабы

все наши верные подданные как духовного, так воинского и гражданского всякого чина и достоинства люди о том ведали, и нам яко истинному и природному своему государю императору верно служили, и пока мы достигнем в семнадцать лет возраста нашего, о управлении государственных как духовных, военных, так политических и гражданских дел вышеупомянутый учиненный от любезнейшей нашей государыни бабки блаженной и вечнодостойной памяти государыни Анны Иоанновны, императрицы и самодержицы Всероссийской устав определение и всемилостивейший указ без изъятия по всеподданнической своей вернорабской должности, свято и ненарушимо содержали и по оному поступали без всяких отмен и в том вновь присягами утвердили.

Подлинный за подписанием всего министерства и генералитета. Октября 17 дня 1740 года.

Божиею милостию мы Анна императрица и самодержица Всероссийская и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем нашим верным подданным.

Понеже мы по матерней нашей к государству и к верным подданным нашим любви имея попечение о предбудущем оных твердом благополучии и безопасности за благо и потребно рассудили о наследии императорского нашего престола благовременное определение учинить, и по даровании нам от всевышнего Бога самодержавной императорской власти любезнейшего внука нашего благоверного государя великого князя Иоанна наследником нашим чрез публикованный о том от пятого числа сего месяца всемилостивейший наш указ объявить. А при том не меньше же и о том стараться имеем, чтобы намерение наше о неотменном после нас содержании и сохранении счастливо установленной в империи нашей формы правительства по желанию нашему исполнено было. А по воле Божеской случиться может, что помянутый внук наш в сие ему определенное наследство вступить имеет в невозрастных летах, когда он сам правительство вести в состоянии не будет: того ради всемилостивейшее определяем, чтоб в таком случае и во время его малолетства правительство и государствование именем его управляемо было чрез достаточного к такому важному правлению регента, который бы как о воспитании малолетнего государя должное попечение имел, так и правительство таким образом вел, дабы по регламентам и уставам, и прочим определениям и учреждениям от дяди нашего блаженной и вечнодостойной памяти государя императора Петра Великого и по нем во время нашего благополучного государствования учиненным, как в духовных, военных, так и в политических и гражданских делах

поступано было без всяких отмен. К чему мы, по всемилостивейшему нашему матернему милосердию к империи нашей и ко всем нашим верным подданным, во время малолетства упомянутого внука нашего великого князя Иоанна, а именно до возраста его семнадцати лет, по данной нам от всещедрого Бога самодержавной императорской власти определяем и утверждаем сим нашим всемилостивейшим повелением регентом государя Эрнста Иоанна, владеющего светлейшего герцога Курляндского, Лифляндского и Семигальского, которому во время бытия его регентом даем полную мочь и власть управлять на вышеозначенном основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные, и сверх того в какие бы с коею иностранною державою в пользу империи нашей договоры и обязательства вступил и заключил, и оные имеют быть в своей силе как бы от самого Всероссийского самодержавного императора было учинено, так что по нас наследник должен оное свято и ненарушимо содержать. Не меньше же ему регенту по такой ему порученной власти вольно будет о содержании сухопутной и морской силы, о государственной казне, о надлежащих по достоинствам и по заслугам к Российской империи всяких награждениях, и о всех прочих государственных делах и управлениях такие учреждения учинить, как он по его рассмотрению запотребно в пользу Российской империи изобретет. А ежели Божеским соизволением оный любезный наш внук благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего и не оставя по себе законнорожденных наследников преставится, то в таком случае определяем и назначиваем в наследники первого по нем принца брата его от нашей любезнейшей племянницы, Ее высочества благоверной государыни принцессы Анны, и от светлейшего принца Антона Улриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского рождаемого, а в случае и его преставления других законных из того же супружества рождаемых принцев всегда первого, и при оном быть регентом до возраста их семнадцать лет упомянутому же государю Эрнсту Иоанну, владеющему светлейшему герцогу Курляндскому, Лифляндскому и Семигальскому, и управлять всякого именования государственные дела как выше сего установлено, а в таком случае, ежели б паче чаяния по воле Божеской случиться могло, что вышеупомянутые наследники как великий князь Иоанн, так и братья его преставятся, не оставя после себя законнорожденных наследников, или предвидится иногда о ненадежном наследстве, тогда должен он регент для предостережения постоянного благополучия Российской империи, заблаговременно с кабинет-министрами и Сенатом и

генералами-фельдмаршалами и прочим генералитетом о установлении наследства крайнейшее попечение иметь, и по общему с ними согласию в Российскую империю сукцессора избрать и утвердить, и по такому согласному определению имеет оный Российской империи сукцессор в такой силе быть, яко бы по нашей самодержавной императорской власти от нас самих избран был. И яко мы вышеописанное определение по довольному и здравому рассуждению в пользу нашей империи и всех наших верных подданных учинили, того ради чрез сие всемилостивейше повелеваем, чтобы все государственные чины, как духовные, так военные и гражданские и другие, какого бы звания ни были, в управлении по должностям своим дел оному регенту были во всем так как нам послушны, и в пользу империи все его повеления и учреждения исполняли. А между тем несумненно уповаем, что оный определенный от нас регент по имеющей чрез многие годы к нам верной ревности оставшей нашей императорской фамилии достойное и должное почтение показывать и по их достоинству о содержании оных попечение иметь будет. И яко с одной стороны такое регентское правление Его любви герцогу Курляндскому натуральным образом неинако как тягостно и трудно быть может, и он сию тягость принять из единой к нам и к государству и подданным нашим любви и ревности склонился. Тако и с другой стороны, ежели б такие обстоятельства как в рассуждении собственного Его любви состояния, так и других в тягость ему приключающихся околичностей, случись что он правление регентское необходимо снизложить пожелает, то мы на оное снизложение ему всемилостивейшее соизволяем, и в таком случае ему регенту с общего совета и согласия кабинета, Сената, генералов фельдмаршалов и прочего генералитета, учредить такое правление, которое бы в пользу нашей империи и наших верных подданных до вышеписанных наследника нашего уреченных лет продолжиться могло. И учиняя такое учреждение может он регент по своему изволению или здесь остаться, или в свое герцогство возвратиться, в чем ему упомянутым нашим кабинет-министрам, Сенату, генералам фельдмаршалам и генералитету всякое вспоможение и удовольствие учинить. И для вящего утверждения мы сие нашею собственною рукою подписали и нашею печатью утвердили. Дано в Санкт-Петербурге Октября шестого дня тысяща семьсот четыредесятого года.

Подлинный подписан собственною Ее императорского величества рукою тако: Анна.

Печатано при Сенате. Октября 18 дня 1740 года.

(Печатается по: *Пекарский П. П.* Указ. соч. С. 622–628)

4
1740 г. ноября 9. Манифест (копия) об отрешении от регентства Империи герцога Курляндского Бирона

Божиею милостию мы, Иоанн Третий, император и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем чрез сие во всенародное известие. Хотя по всепресветлейшей, державнейшей, Великой Государыни Анны Иоанновны, Императрицы и Самодержицы Всероссийской, вселюбезнейшей нашей Государыни бабки, блаженной и вечнодостойной памяти, учиненному и при манифесте нашем, от 18 дня октября, в народе публикованному определению, регентом Всероссийской нашей Империи, Вов время нашего малолетства, определен и учрежден был светлейший герцог Курляндский Эрнст Иоанн. Но при том, по тому же Ея Императорского Величества определению, ему, герцогу, именно поведено сие свое регентство вести и отправлять по государственным нашим правам, конституциям и прежним как он Ея Императорского Величества, так и от всепресветлейших Ея Императорского Величества предков определениям и учиненным государственным уставам, и особливо ему же притом поведено не токмо о дражайшем здравии и воспитании нашем должное попечение иметь, но и к вселюбезнейшим нашим родителям и ко всей нашей императорской фамилии достойное и должное почтение оказывать, и, по их достоинству, о содержании оных попечение иметь. Но вместо должного, по тому Ея Императорского Величества определению, исполнения, мы, к великому нашему неудовольству, усмотреть принуждены были: коим образом он, герцог Курляндский, тотчас по восприятии сего своего регентства и, не обождав еще, чтобы тело Ея Императорского Величества земле предано было, не токмо многие государственным нашим правам и прежним определениям противные поступки чинить, но, что наивящше есть, к любезнейшим нашим родителям, их высочествам государыне нашей матери и государю нашему отцу такое великое непочитание и презрение публично оказывать, и при том еще со употреблением непристойных угрозов, такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, по которым не токмо вышепомянутые любезнейшие наши государи родители, но и мы сами, и покой и благополучие Империи нашей в опасное состояние приведены быть могли б: и для того желая и

должна себя признавая таким оного герцога Курляндского частоупомянутому Ея Императорского Величества учиненному определению нарушительным и явно противным поступкам и дальновидным его нам, любезнейшим нашим родителям, всей императорской нашей фамилии и государству нашему опасным видам и намерениям заблаговременно упреждать необходимо принуждена себя нашли, по всеподданнейшему усердному желанию и прошению всех наших верных подданных духовного и мирского чина, оного герцога от того регентства отрешить, и по тому же всеподданнейшему прошению всех наших верных подданных оное правительство Всероссийской нашей Империи, во время нашего малолетства, вселюбезнейшей нашей государыне матери, ея императорскому высочеству государыне принцессе Анне (которой мы отныне титул великой княгини всероссийской придать соизволили) поручить и отдать во всем с такою властию и силою, и на таком основании, как по вышеписанному Ея Императорского Величества блаженнейшей памяти определению правительство вести и отправлять учреждено и поведено было. И дабы все наши верные подданные как духовного, так мирского всякого чина и достоинства люди о том ведали, и нам, яко истинному своему государю и императору, верно служили, и по сему нашему уставу ея императорскому высочеству, великой княгине всероссийской Анне, нашей любезнейшей государыне матери, в правлении нашей Всероссийской Империи, во время нашего малолетства, во всем должное повиновение и послушание отдали, и сие наше всемилостивейшее определение не нарушимо содержали и по оному без всяких отмен поступали, а в том торжественную присягу нам учинили б, того ради всемилостивейшее указали сим нашим печатным манифестом для всенародного известия о том публиковать. Подлинный за подписанием всего Синода, министерства и генералитета. Ноября 9 дня 1740 года.

(Печатается по: *Пекарский П. П.* Указ. соч. С. 619–622)

Список основной литературы и опубликованных источников

Анисимов Е. В. Самодержавие XVIII века: Право править без права // Russische und Ukrainische Geschichte vom 16.—18. Jahrhundert. Wiesbaden, 2001.

Он же. Анна Иоанновна. М., 2002 (серия «Жизнь замечательных людей»).

Он же. Елизавета Петровна. М., 1999 (серия «Жизнь замечательных людей»).

Брауншвейгские князья в России в первой половине XVIII века. Gottingen, 1993.

Брикнер А. Г. Император Иоанн Антонович и его родственники. М., 1874.

Валишевский Казимир. Наследие Петра Великого. (Царство женщин, правление фаворитов.) СПб., 1906.

Внутренний быт Русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 1741 года по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции. М., 1880. Т. 1–2.

Герман Э. Царствование Иоанна VI Антоновича // Русский архив. 1867. № 2.

Дворцовые перевороты в России. 1725–1825. Ростов н/Д., 1998.

Дело о Курляндском герцоге Эрнсте Иоанне Бироне // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1862. Кн. 1. Смесь.

Дитятин И. И. Верховная власть в России XVIII столетия // Русская мысль. 1881. Кн. 4.

Записка Бирена // *Хмыров М.Д.* Исторические статьи. СПб., 1873.

Изложение вин графов: Остермана, Миниха, Головкина и других сужденных в первые месяцы вступления на престол императрицы Елисаветы // *Пекарский П. П.* Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым. СПб., 1872.

Империя после Петра. 1725–1765. М., 1998.

Корф М. А. Брауншвейгское семейство. М., 1993.

Он же. Погребение принцессы Анны Леопольдовны и мужа ее, герцога Антона Ульриха // Русская старина. 1870. Т. 1.

Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России. 1725–1762 гг. Рязань, 2003.

Он же. Бирон. М., 2006 (серия «Жизнь замечательных людей»).

Левин Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих

(История Брауншвейгского семейства в России). СПб., 2000.

МанштейнХ. Г. Записки о России // Перевороты и войны. М., 1997.

Материалы, касающиеся до суда над Бироном и ссылки его // *Пекарский П. П.* Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым. СПб., 1872.

Миних Б.Х. Очерк управления Российской империи // Перевороты и войны. М., 1997.

Миних Э. Записки // Перевороты и войны. М., 1997.

На российском престоле. Монархи российские после Петра Великого. М., 1993.

Неизвестный автор. Замечания на «Записки о России генерала Манштейна» // Перевороты и войны. М., 1997.

Описи делам по секретной коллегии… относительно принца и принцессы Брауншвейг-Люнебургских и их семейства // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1861. Кн. 2.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди в России 1740–1742 годов. СПб., 1862.

Он же. Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым. СПб., 1872.

Перевороты и войны. М., 1997.

Приключения посадского человека Ивана Зубарева // *Пекарский П. П.* Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым. СПб., 1872.

Рондо. Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к ее приятельнице в Англию // Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720—1760-е годы). Л., 1991.

Сборник императорского Русского Исторического общества. Т. 6. СПб., 1871; Т. 80. СПб., 1892; Т. 85. СПб., 1893; Т. 86. СПб., 1893; Т. 91. СПб., 1894; Т. 96. СПб., 1896; Т. 99. СПб., 1897.

Семевский М. И. Иоанн VI Антонович, 1740–1764 // Отечественные записки. 1866. Апрель.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен // *Соловьев С. М.* Сочинения. Кн. 11. Т. 21–22. М., 1993.

Холмогорская секретная комиссия: Грустная повесть об ужасной судьбе российского императора и его семьи, написанная Владимиром Стасовым для другого императора и извлеченная с архивной полки для читателя Леонидом Левиным. Архангельск, 1993.

Шаховской Я. П. Записки // Империя после Петра. 1725–1765. М., 1998.

Основные даты жизни императора Ивана Антоновича и членов его семьи

1718, 7 декабря — рождение Елизаветы Екатерины Христины (Анны Леопольдовны) в Ростоке (Мекленбург).

1722, осень — приезд с матерью герцогиней Екатериной Ивановной в Россию.

1733, февраль — приезд жениха принца Антона Ульриха Брауншвейг-Беверн-Люнебургского.

14 шюня — смерть герцогини Екатерины Ивановны. *12 мая* — принятие Елизаветой Екатериной Христиной православия, наречение ее именем Анна.

1739, 3 шюля — свадьба Анны Леопольдовны и Антона Ульриха.

1740, 12 августа — рождение Ивана Антоновича.

5 октября – манифест императрицы Анны Иоанновны о провозглашении Ивана Антоновича наследником престола. *17 октября* — смерть императрицы Анны Иоанновны, провозглашение императором Иоанна III при регентстве герцога Бирона. *9 ноября* — свержение регента Бирона фельдмаршалом Минихом, Анна Леопольдовна – великая княгиня и правительница.

11 ноября — пожалование Антона Ульриха в генералиссимусы.

1741, 3 марта — отставка первого министра фельдмаршала Миниха.

26 шюля — рождение принцессы Екатерины Антоновны. *25 ноября* — дворцовый переворот, свержение Ивана Антоновича и правительницы Анны Леопольдовны, приход к власти императрицы Елизаветы Петровны.

12 декабря — отправление Брауншвейгской фамилии в Ригу. *1742–1744*— заточение семьи Анны Леопольдовны в Риге и крепости Динамюнде.

1744, 1 января — рождение принцессы Елизаветы Антоновны. *Январь* — перевоз Брауншвейгской фамилии в город Ораниенбург.

Осень — перевоз их же в Холмогоры.

1745, 19 марта — рождение принца Петра Антоновича.

1746, 27 февраля — рождение принца Алексея Антоновича.

7 *марта* — смерть Анны Леопольдовны.

21 марта — похороны Анны Леопольдовны в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря.

1756, 31 января — перевод Ивана Антоновича из Холмогор в Шлиссельбург.

1764, 5 июля — попытка подпоручика Мировича захватить Ивана Антоновича, убийство узника офицерами охраны.

1774, 4 мая — смерть Антона Ульриха в Холмогорах.

1780, лето — вывоз оставшихся членов Брауншвейгской фамилии (принцы Петр и Алексей, принцессы Екатерина и Елизавета) в Данию (г. Горсензе).

1807, 9 апреля — смерть последнего члена Брауншвейгской фамилии – принцессы Екатерины в Горсензе (Дания).

Иллюстрации и фото

[image]

Император Иван Антонович. С портрета неизвестного художника. XVIII в.

[image]

Царь Иван V Алексеевич

[image]

Царица Прасковья Федоровна

[image]

Царевна Екатерина Ивановна

[image]

Измайлово. Гравюра И. Ф. Зубова. 1720-е гг.

[image]

Императрица Анна Иоанновна

[image]

Герцог Эрнст Иоанн Бирон

[image]

Фельдмаршал граф Бурхард Христофор фон Миних

[image]

Вице-канцлер граф Андрей Иванович Остерман

[image]

Старый Зимний дворец в начале XVIII века

[image]

Принцесса Анна Леопольдовна. 1732 г.

[image]

Принц Антон Ульрих Брауншвейгский

[image]

Библиотечный формуляр принцессы Анны Леопольдовны

[image]

Император Иван Антонович в колыбели. Гравюра И. Леопольда. 1740 г.

[image]

Император Иван Антонович с матерью, принцессой Анной Леопольдовной. Неизвестный художник. XVIII в.

[image]

Рожок для кормления младенца. Россия. Конец XVIII в.

[image]

Император Иван Антонович. Неизвестный художник. Начало 1740-х гг.

[image]

Серебряный рубль с именем «Иоанна III Антоновича, Божией милостью императора и самодержца Всероссийского»

[image]

Император Иван Антонович с фрейлиной Юлией фон Менгден. Неизвестный художник. 1740–1741 гг.

[image]

Государственный переворот 25 ноября 1741 года. С современной немецкой гравюры

[image]

Императрица Елизавета Петровна

[image]

Силуэты детей Анны Леопольдовны. Верхний ряд: принц Петр, принц Алексей; нижний ряд: принцесса Елизавета, принцесса Екатерина

[image]

Холмогоры. Рисунок принцессы Екатерины Антоновны

[image]

Иван Антонович. Гравюра А. Тардье. 1780–1800 гг.

[image]

Поручик Василий Мирович у тела Иоанна Антоновича 5 июля 1764 года. С картины И. И. Творожникова

[image]

Граф Никита Иванович Панин

[image]

Барон Николай Андреевич Корф

[image]

Шлиссельбургская крепость. 1820-е гг.

[image]

Император Петр III инкогнито посещает в Шлиссельбургской крепости Иоанна Антоновича. Художник Ф. Е. Буров

notes

Примечания

1

Во всех официальных документах император Иван Антонович имел порядковый номер «III» (учитывавший лишь царей, носивших такое имя, то есть начиная с Ивана Грозного). Впоследствии в литературе у Ивана Антоновича появился другой номер – «VI», учитывавший всех великих князей Московских, начиная с Ивана Калиты. Именно как Иван VI Антонович герой этой книги и вошел в историю и с этим номером и вынесен на обложку данной книги. (Прим. ред.)

2

Здесь и далее по всей книге выделения в тексте источников сделаны автором.

3

Соловьев С. М. История России с древнейших времен // Сочинения. Кн. 11. Т. 21–22. М., 1993.

Семевский М. И. Иоанн VI Антонович, 1740–1764 // Отечественные записки. 1866. Апрель; *Герман.* Царствование Иоанна VI Антоновича // Русский архив. 1867. № 2; *Корф М. А.* Погребение принцессы Анны Леопольдовны и мужа ее, герцога Антона Ульриха // Русская старина. 1870. Т. 1; *Брикнер А. Г.* Император Иоанн Антонович и его родственники. М., 1874; *Валишевский К. Ф.* Наследие Петра Великого (Царство женщин, правление фаворитов). СПб., 1906.

5

Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России. 1725–1762 гг. Рязань, 2003. Некоторые дополнения по теме можно найти в книге того же автора «Бирон» (серия «ЖЗЛ»). М., 2006.

Дитятин И. И. Верховная власть в России XVIII столетия // Русская мысль. 1881. Кн. 4. С. 6.

7

Подробнее см.: *Анисимов Е. В.* Самодержавие XVIII века: Право править без права // Russische und Ukrainische Geschichte vom 16.—18. Jahrhundert. Wiesbaden, 2001. S. 53–61.

8

Похоже на книгу Корфа и двухтомное издание: Внутренний быт Русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 1741 года по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции. М., 1880. Т. 1–2.

Перевороты и войны. М., 1997; Империя после Петра. 1725–1765. М., 1998; см. также: Записка Бирена // *Хмыров М.Д.* Исторические статьи. СПб., 1873.

10

См., например: Дворцовые перевороты в России. 1725–1825. Ростов н/Д., 1998.

11

Сборник Русского исторического общества (далее – РИО). Т. 6. СПб., 1871; Т. 80. СПб., 1892; Т. 85. СПб., 1893; Т. 86. СПб., 1893; Т. 91. СПб., 1894; Т. 96. СПб., 1896; Т. 99. СПб., 1897.

Маркиз де ла Шетарди в России 1740–1742 годов. СПб., 1862.

13

Дело о Курляндском герцоге Эрнсте Иоанне Бироне // Чтения в Обществе истории и древностей российских (далее – ЧОИДР). 1862. Кн. 1. Смесь; Описи делам по секретной коллегии… относительно принца и принцессы Брауншвейг-Люнебургских и их семейства // ЧОИДР. 1861. Кн. 2; Материалы, касающиеся до суда над Бироном и ссылки его // Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым. СПб., 1872; Изложение вин графов: Остермана, Миниха, Головкина и других сужденных в первые месяцы вступления на престол императрицы Елисаветы // Там же.

14

Эйхгольц. Карл-Леопольд, дед императора Иоанна Антоновича (1678–1747) // Русская старина. 1875. С. 8.

15

Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера // Юность державы. М., 2000. С. 11, 28–30 и др.

Эйхгольц. Указ. соч. С. 3–6.

17

Воскресенский Н. Н. Законодательные акты Петра I. М.; Л., 1945. С. 162.

18

Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1861. С. 21–22.

19

Там же. С. 62.

Там же. С. 19.

21

Там же. С. 77–78.

22

Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера // Неистовый реформатор. М., 2000. С. 464.

23

С его титулом не всё ясно. Автор книги о нем Л. И. Левин называет его принцем Брауншвейг-Люнебургским-Вольфенбюттельским, хотя Антона Ульриха титуловали также принцем Вольфенбюттель-Бевернским (*Wolfenbiittel-Bevern),* но чаще – принцем Брауншвейгским. В русских официальных документах Антон Ульрих именуется «Светлейшим принцем, герцогом Брауншвейг-Люнебургским» *(Пекарский П. П.* Маркиз де ла Шетарди в России 1740–1742 годов. СПб., 1862. С. 621, 629), а 23 октября 1740 года регент Бирон пожаловал ему титул «Его высочество Антон Улрих, герцог Брауншвейг-Люнебургский» (Там же. С. 630; см.: РИО. Т. 80. С. 469).

Левин Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих. СПб., 2000. С. 42–43.

25

Это неточность. До 1737 года Бирон не был герцогом Курляндии.

РИО. Т. 80. С. 469–470.

Брауншвейгские князья в России в первой половине XVIII в. Gottingen, 1993. С. 126.

РИО. Т. 80. С. 470.

29

Левин Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих. С. 57.

РИО. Т. 76. С. 101.

31

Дело о Курляндском герцоге Эрнсте Иоанне Бироне // ЧОИДР. 1862. Кн. 1. Смесь. С. 42.

РИО. Т. 80. С. 470.

Брауншвейгские князья. С. 114, 123–124.

РИО. Т. 80. С. 470; Брауншвейгские князья. С. 120–123.

См. также: Дело о Курляндском герцоге. С. 41.

РИО. Т. 86. С. 140, 146, 238.

37

Материалы, касающиеся до суда над Бироном и ссылки его // *Пекарский П. П.* Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым. СПб., 1872. С. 171.

РИО. Т. 80. С. 88, 105; Т. 86. С. 529.

РИО. Т. 96. С. 448.

РИО. Т. 80. С. 472.

41

Там же. С. 346, 390.

Там же. С. 472.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 45.

РИО. Т. 80. С. 470.

45

Эта версия находит подтверждение в письме Мюнхгаузена Антону Ульриху от 23 сентября 1740 года, из которого следует, что Мюнхгаузен действительно был раньше пажом принца. – Брауншвейгские князья. С. 135.

Брауншвейгские князья. С. 126–128.

РИО. Т. 80. С. 459.

Брауншвейгские князья. С. 129.

49

По другой версии, это делал фон Крамм от имени Брауншвейгского герцога Карла – брата Антона Ульриха. – РИО. Т. 80. С. 510.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 67.

51

Цит. по: *Курукин И. В.* Эпоха «дворских бурь». С. 319.

РИО. Т. 86. С. 488.

53

Так было сказано в поздравительном письме Анны Иоанновны брауншвейгскому герцогу Карлу I. – Брауншвейгские князья. С. 135.

РИО. Т. 86. С. 521–522.

РИО. Т. 85. С. 232.

РИО. Т. 92. С. 21.

Миних Э. Записки // Перевороты и войны. М., 1997. С. 385.

58

Материалы, касающиеся до суда над Бироном и ссылки его. С. 228.

59

Записка Бирена // *Хмыров М.Д.* Исторические статьи. СПб., 1873. С. 320; Изложение вин графов: Остермана, Миниха, Головкина и других сужденных в первые месяцы вступления на престол императрицы Елисаветы // *Пекарский П. П.* Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым. С. 233.

60

Как говорил сам Остерман французскому послу Шетарди в мае 1741 года, вся его жизнь была «цепь страданий» («sa vie etait un tissu de souffrances» (РИО. Т. 96. С. 24.)). Подлинность многочисленных болезней Остермана была для всех загадкой и волновала любопытных даже и после того, как его при Елизавете сослали в Березов. В 1747 году начальнику караула поручику Космачеву пришел секретный указ сообщить «в самой скорости: означенный Остерман ходит ли сам и, буде ходит, давно ли ходить начал?». Поручик отвечал, что «вышеписанный бывший граф Остерман ходить начал с 742 года, с августа месяца (то есть с момента прибытия в Березов. – *Е. А.),* о костылях, а потом и сам собой до 747 года мая 5 дня. А мая с 5-го дня заболел грудью и голову обносил морок. А сего мая 22 дня 747 году, по полудни в четвертом часу волею Божие умре» (Изложение вин… С. 330.)). Получается, что «ножная болезнь» Остермана была притворством, «фирменным номером», который он демонстрировал окружающим полтора десятка лет. Впрочем, может быть, свежий сибирский воздух, здоровая простая пища и отсутствие нервных нагрузок способствовали выздоровлению, хотя, с другой стороны, в этом можно и усомниться – обычно сибирская ссылка мало способствует укреплению здоровья. Наверное, дело тут обстояло проще: слуг нет, носилок – тоже, захочешь жить и ходить в нужник – поневоле пойдешь! И мнимый больной впервые за много лет пошел.

РИО. Т. 86. С. 238.

62

Записка Бирена. С. 320.

63

Изложение вин… С. 233–234; Материалы… С. 198; *Курукин И. В.* Эпоха «дворских бурь». С. 277.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди в России 1740–1742 годов. СПб., 1862. С. 620–621.

65

Дело о Курляндском герцоге Эрнсте Иоанне Бироне // ЧОИДР. 1862. Кн. 1. Смесь. С. 69–70.

Изложение вин… С. 227.

Материалы… С. 228.

Дело… С. 60.

Изложение вин… С. 227–228.

Остерман в одном из своих прожектов 1741 года выразился точно: «Узаконение зависит всегда от воли самодержавства такое определение о наследстве учинить» (Изложение вин… С. 249). Финч, посылая в Лондон выписки из указов Петра Великого от 5 февраля 1722 года и основанного на нем указа Анны Иоанновны от 17 сентября 1731 года, пишет, что «они совершенно устраняют прямое наследование, право престолонаследия и всякие притязания по первородству. В силу существующего здесь государственного устройства подданные обязуются признавать наследником престола лицо, назначенное царствующим монархом по его личной воле и выбору» (РИО. Т. 85. С. 319–320).

Материалы… С. 167.

РИО. Т. 85. С. 321–322.

Записка Бирена. С. 321; Дело… С. 93.

РИО. Т. 80. С. 105, 474; Т. 85. С. 238.

Миних Э. Записки. С. 383–384.

Изложение вин… С. 241.

Дело… С. 44; Материалы… С. 191.

См.: *Анисимов Е. В.* Анна Иоанновна. М., 2004.

Дело… С. 41.

Там же. С. 69.

81

Там же. С. 90.

82

Записка Бирена. С. 321–322.

Материалы… С. 227.

Дело… С. 91.

Там же. С. 85.

Материалы… С. 227.

Дело… С. 60.

Материалы… С. 226–227.

89

Миних Э. Записки. С. 383.

Дело… С. 93.

91

Там же. С. 59.

Материалы… С. 192.

Дело… С. 75, 61.

РИО. Т. 85. С. 323–325.

95

Записка Бирена. С. 323–324.

Дело… С. 93.

97

Записка Бирена. С. 324.

Правка эта мало что значила – Бирон имел возможность сложить с себя регентство и без специального пункта.

Дело… С. 69, 86.

Миних Э. Записки. С. 384.

101

Записка Бирена. С. 322; Дело… С. 60, 86; *Миних Э.* Записки. С. 385.

РИО. Т. 85. С. 326.

103

Дело… С. 86.

Материалы… С. 187, 189.

105

Миних Э. Записки. С. 385.

РИО. Т. 85. С. 233–234.

107

Сохранились сведения о том, что Остерман, ставший в начале 1741 года первым человеком в правительстве Анны Леопольдовны, контролировал следствие и выправлял материалы допросов в выгодном для себя свете. Когда в январе 1741 года допрашивали Бестужева и других, Остерман следил за расследованием и приказывал редактировать черновики допросов, делать поправки на полях или «писать по подскобленному» (Материалы… С. 195).

Дело… С. 79–80; Материалы… С. 196.

109

Записка Бирена. С. 336.

110

Финч сообщал 12 ноября в Лондон весь хронометраж жизни Остермана в первые дни кризиса: «Болезнь покойной императрицы, которую стали считать опасною с 5-го, потребовала присутствия графа во дворце 6-го. Там он пробыл еще 7-го и 8-го, когда Ее величеству стало легче и явилась или по крайней мере высказывалась надежда, что опасность миновала. 9-го граф прислал за мной, а 10-го мы приступили к переговорам» (РИО. Т. 85. С. 297).

111

Дело… С. 69.

Дело… С. 79–80, 87; Материалы… С. 189.

113

Там же. С. 80–81, 94.

РИО. Т. 85. С. 328.

115

Дело… С. 81.

Материалы… С. 195.

117

Записка Бирена. С. 324–325.

Дело… С. 82; 109.

119

Материалы… С. 185.

Записка Бирена. С. 323; Материалы… С. 189.

121

Дело… С. 107.

РИО. Т. 86. С. 541, 559; Т. 85. С. 233.

123

РИО. Т. 85. С. 236.

РИО. Т. 86. С. 547.

125

Там же. С. 553–554.

РИО. Т. 85. С. 236, 239.

Дело… С. 50, 105.

Там же. С. 82; Материалы… С. 191.

129

РИО. Т. 85. С. 329.

Миних Э. Записки. С. 385.

131

Дело… С. 108, 94.

Материалы… С. 186.

133

Записка Бирена. С. 325.

Материалы… С. 197.

135

Дело… С. 48.

РИО. Т. 85. С. 329.

137

Дело… С. 107–108.

138

В указе о винах Бирона было сказано, что Бирону и его сообщникам «рассудилось… что к подписанию такой челобитной Синода, Сената и других чинов провесть весьма невозможно для того, что о том деле были неизвестны» (Дело… С. 108).

139

Дело… С. 48.

140

В указе о наказании Бирона от 14 апреля 1741 года подобная манера добывания подписей была названа «воровским, в свете неслыханном вымыслом… (а именно: распределил часы, кому в котором быть)» и по «повестке, один под другом, съезжаться стали» (Дело… С. 107).

Материалы… С. 186–187, 197.

142

Дело… С. 108.

143

Материалы… С. 186.

Соловьев С. М. История. Кн. XI. С. 17.

Дело… С. 79, 69, 71.

146

Внутренний быт Русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 1741 года по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции. М., 1880. Т. 1. С. 537.

Дело… С. 71, 81, 108.

Там же. С. 58, 82; Материалы… С. 190–191.

Материалы… С. 190; Дело… С. 67, 81.

150

Миних-сын, придворный принцессы, в своей записке пишет, что секретарь Кабинета министров Яковлев, позже арестованный, передал копию Акта и принцессе Анне Леопольдовне, и цесаревне Елизавете Петровне *(Миних Э.* Записки. С. 394).

151

Левин Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих. С. 70–71.

152

Еще до визита Миниха «со товарищи» к Анне Леопольдовне был послан родственник Бирона барон Менгден, «чтоб ее на то привесть, дабы она допустила тому герцогу регентом быть, на что-де она, принцесса, ему, Менгдену, ничего не сказала, но токмо-де фрейлен Юлиана ему объявила, что-де принцесса Анна будет о том с герцогом сама говорить» (Изложение вин… С. 228). Однако Бирон тогда на прямой контакт с ней не пошел, а послал к принцессе своих клевретов.

153

Миних Э. Записки. С. 386.

Дело… С. 49, 70–71; Материалы… С. 168.

155

РИО. Т. 85. С. 329.

156

Дело… С. 80.

157

Материалы… С. 165.

158

Дело… С. 72

159

Записка Бирена. С. 326.

Миних Б. Х. Очерк управления Российской империи // Перевороты и войны. М., 1997. С. 300.

161

РИО. Т. 85. С. 241 («Her Majestry looking up said to him: „Nie bois!“ – the ordinary expression of this country, and the import of is „Never fear!“ These were the last words of Her Majesty…»). Тщеславный Миних в своих мемуарах писал, что «последние произнесенные ею слова были: „Прости, фельдмаршал!“» *(Миних Б. Х.* Очерк… С. 299). Сын его, Эрнст Миних, описывая прощание Анны Иоанновны со своими министрами, деликатно поправляет отца: «Первым узнала умирающая императрица и сказала ему: „Прощай, фельдмаршал!“, других не могла она больше различить, но спрашивала, кто они таковы, и когда они называли свои имена, сказала всем: „Прощайте!“» *(Миних Э.* Записки. С. 387).

162

Там же. С. 392; см. также: *Неизвестный автор.* Замечания на «Записки о России генерала Манштейна» // Перевороты и войны. М., 1997. С. 450.

163

Записка Бирена. С. 327

РИО. Т. 85. С. 331.

165

Дело… С. 71–72.

Там же. С. 109, 73.

167

Там же. С. 81.

168

Из манифеста Ивана Антоновича «о вечном заключении Бирона» от 14 апреля 1741 года: Бирон «крайне же старался, чтоб оное определение задними числами было подписано, и для того оное, изготовя 7-го октября, подал Е. и. в… а число подписал, яко бы Ея величество пред тем 6-го числа того октября апробовать и утверждать изволила» (Дело… С. 107).

169

В допросе Бестужева (январь 1741 года) было сказано, что об этом «руки твоей и записка найдена» (Материалы… С. 194).

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 623.

Соловьев С.М. История. Кн. 11. С. 16.

Там же.

173

Записка Бирена. С. 329–330.

РИО. Т. 85. С. 335–336.

175

Замечания на «Записки о России генерала Манштейна». С. 301, 450.

РИО. Т. 85. С. 245.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 624–628.

Дело… С. 107.

179

РИО. Т. 85. С. 342 («to be kept only for the breed»).

180

«This regency has been sworn to and settled as perfectly as anything so recent can be». РИО. Т. 85. С 241.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 628–629.

Материалы… С. 192.

183

Дело… С. ПО.

Манштейн Х. Г. Записки о России. С. 167.

185

Материалы… С. 169.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 630.

РИО. Т. 86. С. 568–569.

Дело… С. 50, 76; *Миних Б. Х.* Очерк… С. 305.

Соловьев С. Ж История. Кн. 11. С. 13.

190

Дело… С. 54.

191

Шаховской Я. П. Записки // Империя после Петра. М., 1998. С. 31.

Дело… С. 54.

193

Записка Бирена. С. 328–329; Дело… С. 82–83, 97.

Дело… С. 43, 111; Материалы… С. 170.

195

РИО. Т. 85. С. 366.

196

Записка Бирена. С. 329–330.

197

Там же. С. 331.

198

Дело… С. 74.

199

Миних Э. Записки. С. 396.

200

Записка Бирена. С. 332–333. Впрочем, Э. Миних не дает картины полного унижения принца. Он пишет, что «по долгом словопрении, на котором принц во всем запирался и уверял, что он никакого зла на него не мыслит, разошлись они друг с другом без всяких дальнейших следствий» *(Миних Э.* Записки. С. 396).

201

Дело… С. 45. Отвлекая на минуту внимание читателя, отмечу, что ответ Бирона следователям на это обвинение должен был бы вызвать у нас слезу умиления, равно как и похвалу уму и изворотливости бывшего регента. Он сказал, что когда государыня «в слезы приведена была, и то не от его противных поступков, но сожалея по тогдашним тяжким военным обращениям о состоянии и нужде подданных своих, от которой печали он Ея императорское величество не без великого труда иногда унимал» (Материалы… С. 174). Действительно, кто теперь наверняка может сказать, от чего порой могла всплакнуть покойная государыня – от хамства своего любовника или от сочувствия к бедному своему народу, несшему тяготы военного времени! Но все-таки никого из русских государственных деятелей, кроме Бирона (да, пожалуй, может быть, еще только Ивана Грозного), нельзя было упрекнуть в таких неслыханных для политика поступках: «Других коронованных глав и высоких Всероссийской империи союзников, даже до самого цесаря Римского и их министерство часто в присутствии многих непристойными словами поносил и бранивал, и, яко здесь пребывающие чужестранные министры не оставили ко дворам своим доносить, и то от того интересам здешним не малые повреждения и затруднения приключены» (Дело… С. 46). И здесь Бирон оправдывался, причем умело: да, хамил, но все ради блага России. Так, с австрийским посланником поругался исключительно «для российской славы», и шведскому посланнику «равным же образом учинено» (Материалы… С. 176).

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 630–631.

203

Дело… С. 43.

Миних Э. Записки. С. 396–397.

205

Дело… С. 54.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 13.

207

Дело… С. 54.

Там же. С. 83.

Брауншвейгские князья… С. 150–167.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 15–16.

211

Замечания на «Записки о России генерала Манштейна». С. 53.

212

Записка Бирена. С. 331. Намерение (но только намерение!) распределить старых гвардейцев («признавая их себе за ненадежных») по другим полкам ставилось в вину Бирону по ходу следствия 1741 года; см.: Дело… С. 76.

213

Там же. С. 43, 46.

Материалы… С. 172.

215

Мысль об этом встречается у Манштейна и в других источниках: *Манштейн Х. Г.* Записки. С. 167.

РИО. Т. 85. С. 244.

Там же. С. 332–333.

Миних Б. З. Очерк… С. 305.

219

РИО. Т. 85. С. 384.

Миних Э. Записки. С. 397.

221

РИО. Т. 86. С. 387.

Миних Э. Записки. С. 397.

223

Манштейн Х. Г. Записки. С. 169.

По версии Эрнста Миниха, Манштейн даже привел дежурных офицеров к самому фельдмаршалу.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 26; РИО. Т. 85. С. 442.

Дело… С. 87.

227

Манштейн Х. Г. Записки. С. 167.

Дело… С. 50.

229

Манштейн Х. Г. Записки. С. 172.

230

Там же.

231

Миних Э. Записки. С. 399.

Внутренний быт Русского государства… Т. 1. С. 536.

233

Там же. С. 542–543.

Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». С. 288.

235

Миних Э. Записки. С. 401.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 632–633.

РИО. Т. 96. С. 24–25.

РИО. Т. 85. С. 442.

239

Миних Э. Записки. С. 400.

Дело… С. 90.

241

Манштейн Х. Г. Записки. С. 173–174.

РИО. Т. 85. С. 439.

243

В мемуарах Миних писал, что «доктора, а с ними и все, полагали, что я был отравлен» *(Миних Б. Х.* Очерк… С. 307). В это трудно поверить.

РИО. Т. 85, 400, 410, 414, 421.

245

Там же. С. 405–407. Есть глухое упоминание о том, что часть богатств Бирона ушла в качестве подарков Карлу Леопольду от его дочери (РИО. Т. 86. С. 394).

РИО. Т. 85. С. 473.

247

I Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1838. Т. 11. № 8326.

РИО. Т. 85. С. 508–509.

249

Дело… С. 119.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 174–175.

251

Изложение вин… С. 282.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 105.

РИО. Т. 85. С. 451–452.

Изложение вин… С. 291.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 175.

Материалы… С. 227.

РИО. Т. 85. С. 513–514.

Материалы… С. 179–180.

259

РИО. Т. 85. С. 513.

Материалы… С. 163.

261

Дело… С. 58–60.

РИО. Т. 85. С. 512.

263

Дело… С. 34–39.

Там же. С. 99.

265

Миних Э. Записки. С. 403.

Там же. С. 307.

РИО. Т. 96. С. 422.

Там же. С. 123.

269

Внутренний быт Русского государства… Т. 1. С. 126–127.

Там же. С. 254.

Рондо. Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к ее приятельнице в Англию // Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720—1760-е годы). Л., 1991. С. 222.

Там же. С. 211.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 199.

Там же. С. 198–199.

Миних Э. Записки. С. 399–400.

РИО. Т. 85. С. 323–324.

277

Дело… С. 47.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 293.

Там же. С. 105.

Миних Э. Записки. С. 402–403.

281

Изложение вин… С. 252.

Там же. С. 238.

283

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 295.

Миних Э. Записки. С. 397–398.

285

Манштейн Х. Г. Записки. С. 199.

Дело Волынского // ЧОИДР. 1858. Кн. 2. С. 152.

Левин Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих. С. 70–71.

Там же. С. 91, 94.

РИО. Т. 92. С. 246; Т. 86. С. 358.

РИО. Т. 85. С. 504.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 89.

РИО. Т. 86. С. 466; *Пекарский П. П.* Маркиз де ла Шетарди… С. 335.

РИО. Т. 86. С. 160–161.

Миних Б. Х. Очерк… С. 307.

Корф М. А. Брауншвейгское семейство. М., 1993. С. 63.

РИО. Т. 86. С. 264, 272.

Там же. С. 181–182.

РИО. Т. 96. С. 346.

Корф М. А. Брауншвейгское семейство. С. 57.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 180.

301

Миних Э. Записки. С. 402.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 90.

303

Дело… С. 47.

Корф М. А. Указ. соч. С. 63, 65.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 47.

РИО. Т. 85. С. 464.

РИО. Т. 86. С. 333, 395.

Там же. С. 358–359.

309

Там же. С. 393.

310

РИО. Т. 96. С. 346.

Там же. С. 426–427.

312

Слова, внесенные публикатором в скобки, написаны рукой Анны Леопольдовны над зачеркнутыми ее же рукою словами подлинника.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 294.

РИО. Т. 85. С. 503–504.

315

Дело… С. 49.

Внутренний быт… Кн. 1. С. 131.

Там же. С. 77–79.

Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». С. 304.

319

Памятники новой русской истории. Т. 3. СПб., 1873. С. 257–258.

Курукин И. В. Указ. соч. С. 305.

321

Изложение вин… С. 235.

Дело… С. 116–118.

323

Изложение вин… С. 247.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 49.

325

РИО. Т. 85. С. 505.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 94.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 47.

РИО. Т. 86. С. 489.

329

РИО. Т. 85. С. 479.

РИО. Т. 86. С. 335–337.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 295.

Внутренний быт… Т. 2. С. 534.

333

Изложение вин… С. 239.

Материалы… С. 187.

335

Изложение вин… С. 244.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 95.

337

Изложение вин… С. 250.

РИО. Т. 92. С. 403.

РИО. Т. 96. С. 448, 518.

340

Изложение вин… С. 246.

341

Там же. С. 245.

Там же. С. 237.

343

Там же. С. 247.

Там же. С. 245.

345

РГАДА. Ф. III. Д. 8. Л. 24 об. – 25. В показаниях Головкина есть противоречие относительно содержания документа, точнее – повестки дня заседания. Среди проблем, предложенных на рассмотрение совета, был и такой вопрос, который навел некоторых исследователей на мысль, что Анна Леопольдовна хотела развестись с нелюбимым мужем: «В манифесте о наследстве показано, что рождаемым принцам от принца Антона Брауншвейгско-Люнебургского быть наследниками, почему он рассуждал, ежели б того принца Антона, яко отца, не стало, то от другого принцессы Анны мужа могли б быть дети наследниками?» (Изложение вин… С. 245).

Изложение вин… С. 238.

347

РГАДА. Ф. **III.** Д. 8. Л. 22.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 192.

349

Изложение вин… С. 248.

350

РГАДА. Ф. III. Д. 8. Л. 41–41 об.

351

Там же. Л. 46–47; Ср.: Изложение вин… С. 248–249.

Записка. С. 158; РГАДА. Ф. **III.** Д. 8. Л. 47 об.

353

Изложение вин… С. 249.

Там же. С. 252, 254.

Там же. С. 253.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 95–96.

357

Изложение вин… С. 256.

РИО. Т. 96. С. 332.

Там же. С. 199, 298.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 70–71.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 237–238.

Там же. С. 72.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 73.

Соловьев С. М. История. Кн. 10. С. 686–690.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 184.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 89.

367

РИО. Т. 92. С. 250.

368

Извлечения из старинных уголовных дел 1742–1754 годов. С. 331.

369

Манштейн Х. Г. Записки. С. 189–190.

РИО. Т. 86. С. 382.

371

РГАДА. Ф. **III.** Л. 43 об. – 45.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 386–387.

Там же. С. 386.

Там же. С. 387.

Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». С. 330–333.

См.: *Анисимов Е. В.* Елизавета Петровна. М., 1999 (серия «ЖЗЛ»). С. 19–20.

377

Изложение вин… С. 238.

Соловьев С. М. История. Т. 10. С. 672.

Курукин И. В. Указ. соч. С. 330.

И в церковных проповедях, и в театральных представлениях елизаветинской поры предшествующее царствование контрастно противопоставлялось эпохе дочери Петра, как черное белому. Всё, что относилось к эпохе правительницы, было окрашено в черные, темные, ночные цвета, и наоборот – приход Елизаветы выглядел как восход солнца после ночи «немецкого засилья», пробудивший солнечный свет, яркие, живые цвета и краски.

381

Изложение вин… С. 229.

Миних Б. Х. Очерк… С. 310.

383

Манштейн Х. Г. Записки. С. 194.

РИО. Т. 86. С. 491.

РИО. Т. 96. С. 54–55.

Изложение вин… С. 259.

РИО. Т. 96. С. 346.

РИО. Т. 85. С. 495.

389

Там же. С. 499.

390

Изложение вин… С. 260.

Там же. С. 225–226.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 194.

393

РИО. Т. 96. С. 20.

Изложение вин… С. 234–235.

РИО. Т. 96. С. 521–522.

Левин Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих. С. 91.

397

РИО. Т. 96. С. 560.

Там же. С. 87, 111.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 40–41.

РИО. Т. 86. С. 124.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 52.

Там же. С. 53.

403

РИО. Т. 96. С. 113.

Там же. С. 265.

РИО. Т. 92. С. 246, 289.

РИО. Т. 96. С. 16.

Там же. С. 19–20, 114.

Курукин И. В. Указ. соч. С. 327–330.

409

Цит. по: *Корсаков Д. А.* Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880. С. 83.

Курукин И. В. Указ. соч. С. 329.

411

РИО. Т. 86. С. 348.

РИО. Т. 96. С. 167.

Там же. С. 482, 426, 633.

Миних Б. Х. Очерк… С. 311.

415

РИО. Т. 96. С. 55.

416

Замечания на «записки о России генерала Манштейна». С. 470.

417

РИО. Т. 96. С. 567.

Там же. С. 631–632.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. XIII–XIV.

Там же. С. III.

421

РИО. Т. 96. С. 358.

422

Комментатор к сочинению Манштейна краток: «Французский посланник снабжал царевну деньгами, но в малом количестве»: Замечания на «Записки о России генерала Манштейна». С. 470.

423

РИО. Т. 96. С. 424.

Там же. С. 633.

Гелъбиг Г. Русские избранники. М., 1999. С. 126, 131.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 194.

427

РИО. Т. 96. С. 426.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 194.

Гелъбиг Г. Указ. соч. С. 130–131.

РИО. Т. 96. С. 111–112.

431

Княгиня Ангальт-Сербская Анна Елизавета, мать Екатерины Великой. Ее письма // Русский архив. 1904. Кн. 8. С. 465.

РИО. Т. 96. С. 563, 267.

433

Там же. С. 268–270. При этом Шетарди захватил с собой письменное обязательство Елизаветы перед Швецией, чтобы, пользуясь своим обаянием, уговорить ее подписать бумагу.

РИО. Т. 96. С. 295.

Гелъбиг Г. Указ. соч. С. 126.

РИО. Т. 86. С. 174, 346, 348.

РИО. Т. 96. С. 19, 348.

Изложение вин… С. 314–315.

РИО. Т. 85. С. 503–504.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 194.

Миних Б. Х. Очерк… С. 310.

Изложение вин… С. 286.

Там же. С. 307–308.

РИО. Т. 85. С. 495.

Там же. С. 514.

РИО. Т. 96. С. 321.

Там же. С. 88–89.

Изложение вин… С. 292.

РИО. Т. 96. С. 167–168.

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 255.

451

Там же. С. 256.

РИО. Т. 96. С. 426–427.

453

Там же. С. 663.

Изложение вин… С. 261.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 195–196.

РИО. Т. 96. С. 629–631.

Там же. С. 652–653.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 197–198.

459

Там же. С. 196.

Цит. по: *Пекарский П. П.* Маркиз де ла Шетарди… С. 434.

461

РИО. Т. 96. С. 112.

Впрочем, он мог быть знаком с текстом Манштейна *(Миних Б. Х.* Очерк… С. 311).

Пекарский П. П. Маркиз де ла Шетарди… С. 429.

Amener— приводить, привозить, принудить к повиновению, притащить *(фр.)*.

РИО. Т. 96. С. 642.

Там же. С. 653, 665, 679.

Там же. С. 682.

Там же. С. 632–633.

Миних Б. Х. Очерк… С. 311.

Соловьев С. М. История. Кн. 11. С. 120.

Курукин И. В. Указ. соч. С. 334.

Там же.

Миних Б. Х. Очерк… С. 312.

Курукин И. В. Указ. соч. С. 335.

РИО. Т. 96. С. 633.

Миних Б. Х. Очерк… С. 312.

РИО. Т. 96. С. *666*.

Манштейн Х. Г. Записки. С. 196.

Миних Б. Х. Очерк… С. 312.

РИО. Т. 96. С. 643–644.

481

Там же. С. 645–646.

Там же. С. 654.

483

Там же. С. 679.

Внутренний быт Русского государства… Т. 1. С. 88–90.

РИО. Т. 96. С. 667.

Миних Б. Х. Очерк… С. 310–311.

РИО. Т. 96. С. 679.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 100.

489

В описании переворота у Шетарди это мелькает: «Принцесса эта, не упуская ничего в обдуманных заранее предосторожностях („sans rien omettre des precautions qu'elle avait d'avance premeditees“), помышляла лишь о выполнении своих последних мер» (РИО. Т. 96. С. 674).

Соловьев С. Ж История. Кн. 11. С. 155.

491

РИО. Т. 96. С. 667.

Левин Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих. С. 100.

Корф М. А. Брауншвейгское семейство. С. 35.

Там же. С. 43.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 114.

РИО. Т. 6. С. 435–436.

Корф М. А. Указ. соч. С. 56.

Шаховской Я. П. Записки. С. 37–39.

499

Описи делам по секретной коллегии… относительно принца и принцессы Брауншвейг-Люнебургских и их семейства // ЧОИДР. 1861. Кн. 2. С. 6.

Корф М. А. Указ. соч. С. 90.

501

Пекарский П. П. Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым. СПб., 1872. С. 333–334.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 116.

Корф М. А. Указ. соч. С. 96.

Там же. С. 101.

Там же. С. 100.

Там же. С. 109–110.

Там же. С. 113.

Там же. С. 90, 120.

Там же. С. 122, 127.

Там же. С. 121.

511

Описи делам по секретной коллегии… С. 13; *Корф М. А.* Указ. соч. С. 129.

Корф М.А. Указ. соч. С. 131.

513

Описи делам по секретной коллегии… С. 14.

514

Там же.

Корф М. А. Указ. соч. С. 172.

Левин Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих. С. 157.

Там же. С. 158–162.

518

Приключения посадского человека Ивана Зубарева // Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым. СПб., 1872. С. 379.

519

Левин Л. И. Указ. соч. С. 163–164.

Приключения посадского человека… С. 384–385.

Корф М.А. Указ. соч. С. 179–180.

Анисимов Е. В. Дыба и кнут: политический сыск и русское общество в **XVIII** веке. М., 1999. С. 305.

Цит. по: *Левин Л. И.* Указ. соч. С. 165.

Корф М. А. Указ. соч. С. 194.

525

Там же. С. 192.

Там же. С. 193.

Там же. С. 194.

Там же. С. 209.

Там же. С. 286–287.

Там же. С. 208.

531

Там же. С. 206.

Там же. С. 203.

Там же. С. 206.

Там же. С. 213–214.

Там же. С. 203.

Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Берлин, 1900. Т. 2. С. 476–479.

Соловьев С. М. История. Кн. 13. М., 1994. С. 198.

Корф М. А. Указ. соч. С. 288–289.

Там же. С. 211.

Там же. С. 274.

541

Там же. С. 234.

Левин Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих. С. 196.

Корф М. А. Указ. соч. С. 293.

Там же. С. 277–278.

Там же. С. 278–279.

Там же. С. 250–251.

Там же. С. 294.

Там же. С. 281.

549

Там же. С. 282.

Там же. С. 266.

551

Корф М. А. Указ. соч. С. 329.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 220.

Корф М. А. Указ. соч. С. 300.

Там же. С. 360.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 224.

Корф М. А. Указ. соч. С. 320.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 217.

Корф М. А. Указ. соч. С. 357.

Левин Л. И. Указ. соч. С. 220–221.

Корф М. А. Указ. соч. С. 380–384.

Корф М. А. Указ. соч. С. 403.